

Георгий Бранцев

КОНЕЦ ОСИНОГО ГНЕЗДА



БИБЛИОТЕКА
ТРИКЛЮЧНИЙ

Дмитрий Мегведев



ЭТО
БЫЛО ПОД РОВНО





Библио-
тека
приключе-
ний





Библиотека
приключений

13

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«Детская
литература»

МОСКВА

1968



Георгий Брянцев

**КОНЕЦ
ОСИНОГО
ГНЕЗДА**



Дмитрий Медведев

**ЭТО БЫЛО
ПОД РОВНО**



Р2
Б89

Рисунки
П. Пинкисевича

Георгий Бранцев

Конец
осинового
гнезда





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О С И Н О Е Г Н Е З Д О

1. СВЯЗНИК ГАУПТМАНА ГЮБЕРТА

Телефонный звонок дошел наконец до моего сознания. Я вскочил и подбежал к аппарату. В окне уже брезжил рассвет. Вызывал к себе подполковник Фирсанов.

Хотя за год войны пора было привыкнуть ко всяким неожиданностям, я все же встревожился — фронт проходил недалеко, всего в полусотне километров отсюда. С вечера, когда я отправлялся на квартиру, никаких

непредвиденных заданий для меня в штабе партизанского движения как будто не намечалось. Наоборот, мне приказали сутки не появляться в штабе, пока не закончу обработку материалов, которые собрал во время своей недавней ходки в тыл противника. И вот — неурочный звонок...

Спал недолго — всего часа два: ночи нашего передового городка были тревожными, его бомбила вражеская авиация, и лишь незадолго до рассвета наступала тишина.

Наскоро умывшись и одевшись, я рассовал по карманам папиросы, фонарик, складной нож — все, что при любых обстоятельствах должно было быть при мне, — затянул ремень с полевой сумкой и пистолетом и выскочил из дому. Светало. Теплели краски неба. Зеленоватая полоска на востоке быстро розовела. Рассветный ветерок пахнул в лицо прохладой, росистой свежестью и донес из соседнего садика волнующий запах влажной мяты. Листья тонкой березки у моего окна будто умылись росой — были совсем мокрые.

С холма, на котором стоял дом, виден городской парк, окутанный туманной дымкой. Река тоже курилась туманом, и в нем неясно вырисовывались металлические формы железнодорожного моста.

Я вышел из палисадника, прикрыл за собой калитку и зашагал вниз по травянистой узенькой улице, между двумя рядами бревенчатых домиков с резными наличниками окон и крылец. Через две-три минуты я уже был на мощеной «главной» улице.

Городок просыпался рано. Немилосердно грохоча по булыжной мостовой, промчалась трехтонка. В ее обшарпанном кузове, держась друг за друга, стояли люди с кирками и лопатами. На перекрестке расхаживал солдат-регулирующий с автоматом. С северной окраины, где размещались ремонтные мастерские фронта, доносился тяжелый гул танковых моторов, а с восточной, с аэродрома, — звенящий рокот самолетов.

На улице виднелись следы ночной бомбежки: чернели воронки, пахнущие гарью и свежей землей, — вечером их не было. Тротуар в одном месте завалило грудой кирпича. У водоразборной колонки из-под земли фонтаном била вода. Вокруг лужи, деловито чирикающая, копошились неуго-

монные воробы. Едкий дымок горелой краски щеко-
тал нос.

Я торопливо обошел трансформаторную будку, превращенную бомбой в грудку мусора, из которой торчали обрывки проводов, сваленный взрывной волной серебристый тополь, и выбрался на тенистую окраинную улицу, обрамленную двумя рядами старых лип.

Вот и аккуратный, обшитый тесом зеленый дом штаба. Его окна украшают кружевные, богатой резьбы наличники, а верх венчает легкая шатровая башенка с флюгером. Буйная, густая трава скрывает обитый досками фундамент. Знакомый часовой у калитки с подчеркнутой молодцеватостью приветствовал меня и пропустил во двор. Я вбежал на крашенные деревянные ступеньки крылечка, прошел застекленную веранду по дорожке из небеленого холста и, перешагнув порог комнаты, увидел подполковника Фирсанова.

Подполковник стоял у окна, дымя папиросой. Видимо, он не спал в эту ночь. Лицо у него было усталое, веки припухли и покраснели.

— Майор Стожаров по вашему вызову явился! — доложил я.

Подполковник хмуро сказал:

— Поедете в Красные Кочки. Там поймали парашютиста. С вами будет офицер из разведотдела армии. Надо допросить пойманного. Если это гитлеровский солдат-десантник, передайте его армейцам, а если агент-разведчик, везите сюда.

— Слушаюсь, — сказал я. — Разрешите выполнять?

«Эмка» мчалась по разбитому большаку в клубках пыли. Прыгая по рытвинам и ухабам, она обгоняла санитарные машины, автофургоны, повозки, грузовики и жалась к обочине, уступая дорогу автоколоннам, идущим к фронту. Над большаком висело тугое, душное облако пыли: пыль тянулась за каждой встречной машиной, пыль, несмотря на поднятые стекла, забивалась внутрь.

Рядом с шофером дремал, привалившись к дверце, майор Коваленко из разведотдела армии. Это был пожилой человек, старый чекист, пенсионер, с начала войны снова вставший в строй. А я спать уже не мог.

Почти неделя прошла с тех пор, как мы с Семеном Криворученко вернулись на Большую землю, в этот прифронтовой городок, но я все еще не сжился с мыслью, что нахожусь «дома». Все пережитое и виденное продолжало мучительно тревожить. В тылу врага, когда мы отдыхали где-нибудь в лесной глухомани, Семен иногда говаривал с грустью «Как-то сейчас там, дома?» И мы молча думали о «доме», вкладывая в это понятие всё — и наш штаб, и армию, и Москву, и далекие тыловые города, где остались наши близкие: у Семена мать, у меня моя Маша и маленькая Танюшка.

И сейчас в машине, ощущая во рту соленый вкус пыли, я думал о жене, дочке и вообще о детях, встреченных мною на дорогах войны.

Мне припомнилась одна такая встреча. Это было ранней весной в тылу противника. Снег, рыхлый, ноздреватый, залежался только в лесу. Вдали мы увидели сожженную деревушку. На опушке сиротливо стоял единственный уцелевший дом — старенький, весь поросший мхом.

У порога нас встретила тощая, с выпирающими ребрами, старая собака. Она поднялась с нагретой солнцем земли, уступила нам дорогу и тоскливо поглядела на нас. В доме мы увидели маленькую девочку. Это было до того неожиданно, что мы застыли, глядя на нее во все глаза. Она сидела на широкой, толстой деревянной скамье и крохотными чумазыми руками перебирала сорное зерно. Поверх грязного ситцевого платья на ней была чья-то большая суконная куртка, над полом свисали голые ножки. Спутанные волосы, давно забывшие о гребешке, падали на плечи.

Она нас не испугалась. Даже не удивилась, а только внимательно и пристально разглядывала.

После долгого молчания я сказал:

— Здравствуй, девочка!

— Здравствуй,— тихо ответила она и потупила взор.

— Где твоя мамка? — спросил Криворученко.

— Мамки у меня немає... — еще тише ответила девочка. — И сестры немає... Немцы побили.

Начальник штаба партизанского отряда Василий Чухнов шумно вздохнул и спросил:

- С кем же ты живешь?
- С тетей Варей.
- А где ж она?
- Пишла за хлебом, за ричку.
- И ты совсем одна?
- Никого немає.
- А в деревне еще кто есть?
- Ни.
- А давно ушла тетя Варя?
- Четыре дни.
- И ты не боишься одна?

— Боюсь,— призналась девочка.— У ночи Каштан шибко вое.— Она проворно прыгнула со скамьи, взрослым движением оправила на себе неуклюжую куртку и, подойдя к порогу, звонко крикнула: — Каштан!

На зов явился уже знакомый нам худущий пес и уставился на маленькую хозяйку грустными глазами. Запустив ручонку в свалявшуюся рыжую шерсть пса, девочка представила его нам:

- Це Каштан.
- А как тебя зовут, дочка? — поинтересовался я
- Катю.
- Сколько ж тебе лет?
- Шість.
- Вы и раньше жили здесь?

— Ни, в Полтави. Тату був машинистом, а мама працювала в дитсаду. Нас пид Брянском разбомбили, и тату тамось убило. Мы не знайшли его... — Катя сделала паузу, сдвинула белесые брови и сказала: — Пидемте, дяленька, я вам покажу могилку мамі.

Мы переглянулись и молча последовали за ней. Катя, шлепая босыми пятками по холодной земле, провела нас к маленькому холмику недалеко от дома.

— Тут мы с теткой Варей сховали маму и Таню,— проговорила она и тихо, беззвучно заплакала, вытирая грязным кулачком градом катившиеся слезы.

У нас троих тоже что-то подкатило к горлу.

Василий Чухнов подхватил Катю на руки и стал неумело, прокурненным басом, успокаивать ее. Мы вернулись в дом.

- Что же ты кушаешь? — спросил Семен
- Хлеб...

— Ну, угощай и нас,— шутливо сказал Чухнов, опуская Катю на скамейку.

Она стеснительно улыбнулась:

— Мало у меня...— Но все же, прыгнув со скамьи, подошла к полке, поднялась на носки, взяла кусочек черной сухой лепешки, напоминающей изношенную подошву, и подала Чухнову.

— Вот спасибо! — поблагодарил Чухнов, глотнул от волнения воздух, сунул лепешку в карман и спросил: — Как фамилия тети Варей?

Катя задумалась и не сразу ответила:

— Грунь...

Мы переглянулись. Все стало ясно: Варвара Грунь два дня назад по заданию отряда отправилась в разведку, и эсэсовцы схватили ее на железнодорожном разъезде.

— Вот что, Катюша,— заговорил Чухнов.— Пойдешь с нами в партизанский отряд?

Она не колебалась:

— Пиду. А как же с тетей Варей?

— Она знает к нам дорогу, придет.

— А Каштан?

— Каштана заберем с собой.

— Пиду! — твердо сказала девочка.

— А фашистов, которые загубили твоих папку, мамку, сестренку, мы непременно накажем. Всех перебьем,— скрипнув зубами, пообещал Чухнов, снова беря Катю на руки.

— А в Полтаву звернемся? — недоверчиво спросила она.

— Обязательно!

...Мы шли глухим лесом. Чухнов посадил Катю на плечо. Она ему что-то рассказывала. Сзади, опустив голову, плелся обессиленный Каштан.

На этом мои воспоминания прервались. Мы приехали в Красные Кочки. Машина остановилась у правления колхоза.

Майор Коваленко проснулся и тяжело полез из машины. Через прохладные сени, где стоял полумрак, мы прошли в большую, светлую комнату с бревенчатыми стенами.

Нас встретила председатель колхоза Ульяна Семеновна, пожилая, крепко сбитая женщина с полным простодушным лицом и совсем молодыми глазами.

Все убранство комнаты составляли большой, покрытый красным сукном стол, несколько табуреток, деревенской работы крепкий шкаф и развешанные по стенам сельскохозяйственные плакаты.

Осведомившись, не голодны ли мы, и распорядившись, несмотря на наши протесты, насчет чайку, Ульяна Семеновна принялась рассказывать подробности ночного происшествия. Рассказ ее был короток.

Ночью, в половине первого, к ней в избу прибежал дед Ефим, караульщик колхозных коровников, и сообщил, что пролетевший самолет что-то сбросил над коровниками и что сброшенный предмет висит на старой сосне. Ульяна Семеновна живо подняла людей, приказала деду Ефиму не шуметь и побежала с народом к ферме. Действительно, на высокой сосне неподвижно висело что-то темное. Стали кричать — никто не отзывается. Тогда один шустрый паренек, Мишка, вскарабкался на сосну, пригляделся и закричал сверху, что, мол, на суку висит человек. Народ, понятно, ахнул. Снова стали окликать — и снова ответа не последовало.

Ульяна Семеновна послала в деревню за рыболовной сетью. Когда сеть принесли, на дворе уже рассвело, и все увидели, что в самом деле, запутавшись в парашютных стропах, вниз головой висит человек. Сеть растянули под сосной, затем тот же Мишка снова забрался на дерево и подрезал стропы. Человек упал в сеть. Он был жив, но без сознания. Колхозники обыскали его и пришли к выводу, что это чужой человек, не наш, не советский. Чужака накрепко связали, заперли в амбарушке и приставили караульщиками деда Ефима и Мишку.

— Покажите-ка нам, уважаемая Ульяна Семеновна, что нашли на нем, на этом висельнике, — попросил майор Коваленко.

Ульяна Семеновна открыла толстые визгливые дверцы шкафа и вынула сверток. В свертке оказались: пистолет «вальтер» с запасной обоймой, пятьдесят пять тысяч рублей советских денег, расческа в пластмассовом футляре, коробок спичек «Малютка», металлический портсигар, набитый махоркой, и начатая пачка «Беломор-

канала». Кроме того, в свертке были паспорт, служебное удостоверение, профсоюзный билет и две справки, отпечатанные на пишущей машинке. Одна удостоверяла, что владелец ее Брызгалов Спиридон Кузьмич освобожден от военной службы ввиду болезни — грыжи. Справка была выдана Смоленским горвоенкоматом. В другой бумажке значилось, что гражданин Брызгалов является агентом отдела снабжения Старопокровского ремонтно-механического завода и направляется на один из уральских заводов в служебную командировку сроком на двадцать пять дней, по делам, связанным с выполнением срочного заказа оборонного значения.

Майор Коваленко попросил привести задержанного. Ульяна Семеновна вышла в сенцы.

— Посмотрим, каков этот залетный гусь, — сказал Коваленко. — Только бы он не отдал богу душу. Целую ночь вниз головой повисел...

Опасения оказались напрасными. Скоро дед Ефим, вооруженный охотничьей двустволкой, и Мишка ввели в дом человека со связанными руками. Майор отпустил конвоиров, и мы остались с глазу на глаз с ночным гостем.

Это был долговязый белесый человек с голубоватыми неподвижными глазами. Ему можно было дать и двадцать пять, и тридцать, и сорок лет. Невыразительная помятая физиономия, тонкая шея, костлявая фигура, выпирающие на спине лопатки — в общем, не красавец. На нем были синий поношенный шевиотовый костюм, полосатая сорочка с помятым галстуком, желтые полуботинки. На плечи его был накинут дешевый рыжий плащ. Встретишь такого на улице — пройдешь мимо, не обратив на него никакого внимания.

Майор Коваленко развязал ему руки и приказал сесть. Парашютист опустился на табуретку и уставился в пол.

Майор спросил тихим, безразличным голосом:

— Фамилия?

— Моя? — Парашютист дернулся, но тут же, не поднимая глаз от пола, заученно-быстро ответил — Брызгалов, Спиридон Кузьмич Брызгалов. Раненбургский район, Рязанская область, одна тысяча девятьсот пятого года рождения.

— Если врете, потом раскаетесь, — предупредил майор. — Малейшая ложь обернется против вас.

Брызгалов поглядел на нас, снова уставился в пол и стал покусывать ногти.

Я внимательно сморгнул на него и решил, что этот субъект не из храбрых. Это было написано на его вялом, тусклом лице. Да и взгляд...

В бледных голубых глазах Брызгалова за внешним тупым безразличием я угадал страх, непреодолимый страх, свойственный большинству предателей. Этот заговорит начистоту.

— Фамилия? — все так же тихо повторил Коваленко.

Парашютист молчал. Правой рукой он нервно водил по подбородку.

— Думайте побыстрее, чтобы не жалеть после, что долго думали, — сказал Коваленко.

Но парашютист по-прежнему молчал, безразлично глядя под ноги майора. Видимо, он решал, какой тактики ему надо держаться.

— Ну?.. — напомнил Коваленко. — Назовите вашу настоящую фамилию

Брызгалов судорожно вздохнул, помял кадык и с усилием произнес:

— Ладно. Я скажу правду...

Оказалось, что Брызгалов — это его последняя фамилия. За свою жизнь он сменил их так много, что затрудняется вспомнить и назвать все. Он был вором-рецидивистом, много раз подвергался аресту, три раза судился и отбыл в общей сложности шесть лет наказания. Бежал из места заключения. В последнее время был участником крупной банды железнодорожных грабителей и связанных с ними спекулянтов. На товарных станциях и в пути следования вскрывали запломбированные вагоны и расхищали грузы. «Были крупные дела, — не без гордости сообщил он. — В Минске два вагона обуви и мануфактуры вывезли...» В сорок первом году ограбил и убил железнодорожного кассира-артельщика. Поймали. Приговорили к высшей мере — расстрелу. Это произошло 18 июня в Бресте, за четыре дня до начала войны.

Брызгалов подал ходатайство о помиловании. Началась война. Брызгалова в арестантском вагоне отправили на восток. Под Минском поезд попал под бомбы, вагон разнесло в щепы. Из заключенных уцелели немногие, в том числе и Брызгалов. Пользуясь ночной темнотой и

паникой, он бежал, укрылся в какой-то деревне и дождался прихода гитлеровцев. Он явился к германскому офицеру — командиру танковой части, рассказал о себе и предложил свои услуги. Тот направил его в какой-то штаб. Гитлеровцы хорошенько допросили его, направили на подготовку и теперь, через год, выбросили с парашютом на советскую территорию с заданием собирать разведывательные данные в прифронтовой полосе. Приказано ему осесть в районном городке Бутове и ждать агента-посыльного.

— И всё? — не скрывая усмешки, спросил Коваленко.

Фашисты иногда практиковали заброску парашютистов на нашу территорию с подобными заданиями, и изложенная Брызгаловым версия звучала более или менее правдоподобно. Скорее — менее...

— Зачем же вас выбросили так далеко от фронта? — спросил я. — Да еще в гражданской одежде? И с командировочным направлением на Урал.

Брызгалов неопределенно пожал плечами:

— Ошиблись, видать.

— Вы прыгнули, когда бомбили город?

— Да.

— А какие дела вас ожидали на Урале? — поинтересовался Коваленко.

Брызгалов оскалил в усмешке большие желтоватые зубы:

— Я туда и не собирался. Удостоверение это так, для отвода глаз, на всякий случай.

— А пятьдесят пять тысяч?

— Ну, это на расходы.

— Так много?

— Наших денег они не жалеют.

— Та-ак... — протянул Коваленко и вдруг резко скомандовал: — Раздевайтесь!

В глазах предателя мелькнул страх. Он покачулся, как от удара, и дрожащим голосом переспросил:

— Раздеваться? Сейчас?

— Сейчас, и поживее! — приказал Коваленко.

Он встал из-за стола и направился к Брызгалову.

Предатель вскочил на ноги Табуретка упала.

Несколько секунд Брызгалов и майор пристально глядели друг другу в глаза. Затем Брызгалов медленно

стянул с себя пиджак. Коваленко, глядя в лицо предателя, передал пиджак мне.

— Дальше... — сказал он.

— Совсем... раздеваться? — спросил Брызгалов.

— Да, — ответил Коваленко. — Догола.

Предатель расшнуровал ботинки, разулся, снял одежду и сел, обхватил бледными руками голые плечи.

Я занялся обследованием пиджака: осмотрел карманы, в которых ничего уже не было, и принялся прощупывать подкладку.

Тогда Брызгалов вдруг скороговоркой выпалил:

— Я всё скажу, граждане начальники. Всё, всё! Один черт! Запутался...

— А мы и не сомневались, что вы всё скажете, — очень спокойно отозвался Коваленко, осматривая брюки. — Куда же вам деваться?

— Правильно, гражданин майор! — подобострастно подтвердил Брызгалов. — Всё, всё скажу.

Вооружившись перочинным ножом, я вспорол борт пиджака и извлек из-под подкладки кусочек жестковатой бумаги, обернутый лоскутком бязи.

— Так... — проговорил Коваленко. — Интересно. Нука, посмотрим...

Это была часть фотокарточки молодой женщины, обрезанная по ломаной линии.

Брызгалов не сводил глаз с майора. От сильного волнения на лбу у него выступили росинки пота.

— Ну?... — обратился к нему Коваленко.

Брызгалов шумно выпустил из груди воздух и, облизнув сухие губы, сказал:

— Влип!

— Дальше? — потребовал Коваленко, заканчивая осмотр одежды.

— Фотокарточка — это пароль, — проговорил Брызгалов. — Теперь я расскажу все по порядку.

— Одевайтесь, — разрешил Коваленко.

Брызгалов медленно оделся, обулся и, бросив взгляд на стол, где лежали отобранные у него вещи, попросил разрешения закурить.

Коваленко взял щепотку махорки, листок бумаги из своего портсигара и передал предателю.

— Фотокарточку, эту половинку, надо показать Сав-

расову. У него вторая половинка. Сложенные вместе, они должны составить целую фотографию.

— Кто такой Саврасов?

— Инженер.

— Где он?

Брызгалов назвал один из уральских городов.

— Кто вас послал к нему?

— Гауптман... Капитан Гюберт.

Далее выяснилось, что после побега из арестантского вагона Брызгалов попал из танковой части не в штаб дивизии, а в разведывательную организацию гитлеровцев и что его подготовкой занимался капитан Гюберт.

Брызгалову было приказано побыстрее проникнуть на Урал, отыскать инженера Саврасова, сказать ему три слова: «шифр 17 апреля», получить информацию и вернуться обратно к капитану Гюберту. Для этого ему и выдано было служебное удостоверение, паспорт и командировочное предписание на имя агента снабжения Старопкровского завода. Документы принадлежали одному из расстрелянных гитлеровцами советских граждан. Из пятидесяти пяти тысяч рублей — сорок Брызгалов должен был передать Саврасову, а пятнадцать оставить себе.

— Вы знаете Саврасова? — спросил я.

— Нет.

— А где обитает капитан Гюберт?

Брызгалов назвал небольшой районный город, оккупированный гитлеровцами. Но Гюберт живет не в самом городе, а примерно в километре от него, в лесу, в бывшем детском санатории. В распоряжении Гюберта имеется небольшой штат из двадцати — двадцати пяти человек, и среди них двое русских. Фамилий их Брызгалов не знает.

— Может быть, знали, но забыли? — спросил Коваленко.

— Совсем не знал, — ответил Брызгалов. — Мне с ними не разрешали...

— Сколько времени вы пробыли в резиденции Гюберта?

— Восемь месяцев. С декабря прошлого года. И никуда не выходил. Вся территория обнесена колючей проволокой в три ряда, круглосуточно охраняется, подходы заминированы. У них там все свое: и кухня, и баня, и радиостанция, и электродвигок...

Он докурил сигарку до самых губ, аккуратно положил окурки на пол и затоптал ногой.

— Что вы должны были сказать Саврасову при встрече? — спросил я.

— Ничего.

— То есть?

— Вначале ничего. Я должен был показать ему вот этот кусок фотокарточки, и всё.

— А потом?

— А после того как Саврасов мне покажет вторую половинку, сказать ему: «шифр 17 апреля».

— Что это значит?

— Не могу знать. Капитан Гюберт не сказал мне об этом ничего...

— Выкладывайте всё! — жестко сказал Коваленко, глядя прямо в лицо парашютисту.

Брызгалов рассказал, что он обязан был выслушать Саврасова, хорошенько запомнить все, что тот скажет, и, не теряя времени, возвратиться с докладом к капитану Гюберту. Капитан в ближайшее время не намерен переносить свою резиденцию, по крайней мере, к такому заключению пришел Брызгалов. Возможно, что Саврасов снабдит его новыми документами, командировкой в прифронтовой район. Возвращаться Брызгалов должен через линию фронта на том участке, где ему указано. Он назвал это место. При встрече с первым же гитлеровцем надо сказать пароль: «Ахтунг, панцер!», что в переводе означает: «Внимание, танки!», и потребовать, чтобы его доставили к гауптману Гюберту. На участке передовой, где обусловлен переход, пароль, данный Гюбертом, будет известен командирам германских частей.

— А кто вас свел с Гюбертом?

— Он сам приехал в штаб танковой дивизии и забрал меня, — ответил Брызгалов. — Нас сопровождала охрана и солдаты фельджандармерии.

— И Гюберт сразу отвез вас в свою резиденцию? — спросил я.

— Нет, — ответил Брызгалов. — Меня еще месяца два держали в кутузке жандармерии. Вытребовали из Бреста сохранившиеся судебные дела, всё проверяли. Гюберт время от времени приезжал беседовать со мной, а в декабре забрал к себе.

2. КОМАНДИРОВКА

Прошло три дня. Ничего нового Брызгалов не рассказал. Подполковник Фирсанов позвонил в Центр. Выслушав его, Центр предложил допросы временно прекратить и сообщил, что на днях к нам вылетит полковник Решетов. Кто такой Решетов — никто у нас не знал.

Полковника мы встретили утром на фронтовом аэродроме. Это был рослый хмурый человек, судя по его выправке — в прошлом строевик. Представившись и поздоровавшись с нами, он уселся в машину рядом с шофером, наклонился вперед к ветровому стеклу и молчал всю дорогу до штаба. Я сидел сзади, и в глаза мне бросилась одна особенность: правой рукой Решетов все время старательно массировал кисть левой. Эта кисть была заметно бледнее правой, суше и помечена большим белым рубцом, идущим по тыльной стороне.

В рабочей комнате Фирсанова он уселся на маленький жесткий диванчик, прижавшийся к простенку между окнами, расчесал свои густые волосы и расстегнул воротник гимнастерки.

— Садитесь, товарищи, — сказал он нам: подполковнику Фирсанову, майору Коваленко и мне.

Его спокойное хмурое лицо со сросшимися на переносице бровями казалось утомленным.

Пауза затянулась. Полковник курил. Мы ждали.

— Где парашютист? — спросил наконец Решетов, потирая больную руку.

— Во дворе, рядом, — ответил Фирсанов.

— Где его лучше допросить: там или здесь?

— Только у меня, там негде.

— Распорядитесь, чтобы его привели, — приказал Решетов.

Я, как младший по званию, вышел и через несколько минут возвратился с Брызгаловым.

За эти дни Брызгалов немного отошел, отдохнул, глаза его, тогда, при первом знакомстве в колхозе, показавшиеся мне очень маленькими, теперь как бы увеличились и смотрели с некоторой наглостью, словно он уже считал себя в полной безопасности.

— Садитесь, — бросил ему полковник.

Брызгалов осторожно сел

Решетов несколько секунд молча смотрел ему в глаза. Брызгалов поежился под его тяжелым взглядом, как жук, наколотый на булавку, потом нервно передернул плечами и уставился в пол.

— Вас готовил к переброске Гюберт? — спросил Решетов.

— Эге... Я уже говорил об этом вот им.— И Брызгалов небрежно кивнул в нашу сторону.

Глаза полковника сузились.

— Встать! — резко сказал он.— Отвечать как полагается!

Брызгалов вскочил, словно его подбросило сильной пружиной, подтянулся, вытянул руки по швам.

Решетов ставил вопросы громко, четко, отрывисто, не отводя взгляда от Брызгалова.

— Да, капитан Гюберт, — отвечал Брызгалов.— Он готовил к переброске и возил на аэродром.

— Кто сопровождал в самолете?

— Тоже он.

— Еще кто?

— Второй немец.

— Фамилия?

— Не знаю.

— А Саврасова знаете?

— Нет, никогда в глаза не видел.

— А Гюберт Саврасова знает?

Лицо Брызгалова застыло: казалось, в его голове происходит какая-то усиленная работа мысли.

Задержавшись с ответом, он сказал наконец:

— По-моему, не знает.

— Садитесь! — разрешил полковник.— Почему вы так решили?

Брызгалов сел, вздохнул, вытер влажный лоб рукавом пиджака и начал рассказывать. Накануне выброски Гюберт обстоятельно беседовал с ним. В ходе беседы он вызвал к себе незнакомого Брызгалову русского и предложил ему: «Опишите подробнее и точнее наружность Саврасова». Брызгалов считает, что если бы Гюберт лично знал Саврасова, он бы не передоверил описание его наружности другому. К тому же, когда этот русский рисовал портрет Саврасова, Гюберт спросил его, кто выше ростом — Брызгалов или Саврасов. Русский взглянул

на Брызгалова, попросил его встать со стула и ответил, что Саврасов если и выше, то очень ненамного.

Трудно было предположить, что Брызгалов врал так тонко. К тому же этот вопрос к его личной судьбе не мог, по-видимому, иметь отношения. Из рассказанного можно было заключить, что Гюберт действительно не знал Саврасова.

Это обстоятельство, очевидно, пришлось по душе Решетову. Он чему-то усмехнулся, прошелся по комнате и продолжал допрос:

— Как звали русского?

Брызгалов покачал головой. Этого он не знал. Может быть, при нем Гюберт и называл русского по имени или фамилии, но Брызгалов не обратил на это внимания, не запомнил. За все время пребывания в разведывательном пункте он видел этого русского только два или три раза и знаком с ним не был.

— В чем он был? — спросил Решетов.

— В гражданском костюме.

— Обрисуйте мне его, — предложил полковник. — Каков он собой?

Брызгалов помедлил немного, видно собираясь с мыслями, потер угреватый лоб, посмотрел в потолок, прищурил один глаз, точно прицеливался, и начал рассказывать. Он дал яркий, сочный, запоминающийся портрет, по крайней мере я получил довольно живое представление о внешности и характерных особенностях этого неизвестного «русского».

— Значит, брови у него мои? — спросил Решетов.

Брызгалов посмотрел исподлобья и ответил:

— Пожалуй... А в плечах он пошире немного. Он пожирнее вас, а вы суховаты...

— Какое вознаграждение обещал вам Гюберт по возвращении?

Брызгалов потупился и после небольшой паузы проговорил:

— Обещал на тридцать тысяч часов и золота из Ювелирторга... И интересную должность...

— Какую именно?

— Начальника полиции в Рославле.

Полковник усмехнулся, прошел к дивану, сел и прился за свою левую руку.

Я попросил разрешения задать арестованному несколько вопросов.

— Спрашивайте,— сказал полковник.

Брызгалов перевел взгляд на меня.

— Вы владеете немецким языком? — спросил я.

Брызгалов разрешил себе улыбнуться: кроме русского, он не владел никакими.

— Как же вы изъяснялись с Гюбертом?

— Хм... Он по-русски говорит не хуже нас с вами.

Полковник быстро встал:

— А может быть, Гюберт не немец?

— Немец! — твердо заверил Брызгалов. — Самый настоящий немец. С немцами по-своему он говорит очень быстро. А по-русски хоть и правильно, но медленно.

— А почему вы решили, что тот, незнакомый вам человек, — русский? — осведомился я.

— И по разговору и по облику. Нет, уж тут я не ошибаюсь.

— Так... — произнес Решетов и хлопнул себя по коленям. — Еще есть вопросы?

Вопросов не было.

— Отправьте, — распорядился полковник.

Я увел арестованного и вернулся.

— Можете быть свободны, — сказал Решетов мне и Коваленко.

Мы вышли. Я решил отправиться домой и закусить, так как с утра у меня крошки во рту не было. Коваленко остался в штабе.

День выдался жаркий. Я шел теневой стороной улицы, не торопясь. Колонка была уже починена, три воронки засыпаны, около трансформаторной будки стояла грузовая машина: несколько бойцов грузили в ее кузов глыбы кирпичей, спаянные цементным раствором.

Когда я перешагнул порог дома, меня встретил настойчивый телефонный звонок. Я вбежал в комнату и схватил трубку. Звонил Коваленко.

— К полковнику Решетову, быстро! Где вы пропадаете?

— Как — где? Я только что до дому дошел, еще не завтракал даже.

— Не умрете... Давайте быстрее. Он не из тех, кто любит ждать.

Обратно в штаб я почти бежал. Майор встретил меня у входа, видимо специально, чтобы сгладить впечатление от своего резкого тона по телефону.

— Успели перекусить? — спросил он.

— Когда же? Я только вошел — и звонок.

— Ничего! Дело поправимое. После разговора прямо ко мне. Я тоже не завтракал. — И, подмигнув мне многозначительно, добавил: — Закусим добре!

Я понял без пояснений, что майор грозит выставить к завтраку что-нибудь более интересное, чем пиво, которым славится городок.

В кабинете меня ждали Решетов и Фирсанов.

— Садитесь, майор... — пригласил полковник. — Вы понимаете, что кому-то надо ехать на Урал, на свидание с Саврасовым? — с ходу спросил он.

— Очень хорошо понимаю, — ответил я. — Думал об этом. Нельзя упускать такой возможности.

— Вот именно. Вы к такому путешествию готовы?

— Я?.. Так точно, готов немедленно.

— Отлично! — сказал полковник и откинулся на спинку дивана. — Правда, подполковник Фирсанов колебался, на ком остановить выбор — на вас или на майоре Коваленко, а потом согласился со мной, что ваша кандидатура более подходит. Важно, что вы уже трижды были в тылу врага, видели тамошнюю обстановку, знаете режим, установленный оккупантами, их повадки. Разговаривая с Саврасовым, вам не придется фантазировать. А Саврасов безусловно заинтересуется воинскими подвигами своих хозяев, всякими там подробностями и деталями. Рассказывайте ему побольше. Это очень важно. Ведь вы пойдете к Саврасову как посланец Гюберта, как человек с той стороны. О Саврасове мы, правда, почти ничего не знаем. Но есть основания полагать, что это гусь крупный... — Полковник помолчал и спросил: — Разведчиком вы стали, кажется, совсем недавно?

— Так точно, — ответил я.

— А кем были до войны?

— Учителем математики.

— В армии служили?

Я ответил, что отбывал срочную службу, затем три года на сверхсрочной, учился на специальных курсах и, наконец, воевал с белофиннами.

— Так вот, майор,— сказал полковник Решетов,— задание это не менее важное, чем ходка в тылы противника. Свидание с инженером Саврасовым надо провести на «отлично». Неизвестно, во что выльется и что повлечет за собой эта встреча. Неизвестно, с кем вам еще придется познакомиться после знакомства с Саврасовым. Гадать мы не будем, но предвидеть кое-что можем.

— Ясно.

— Ведите себя в разговоре с Саврасовым смелее, чувствуйте себя свободно, поставьте дело так, чтобы он понял, что вы не просто курьер, вроде Брызгалова, а доверенное лицо капитана Гюберта с особыми от него полномочиями. Постарайтесь выудить из него все, что можно. Постарайтесь узнать больше, чем он сам сочтет нужным передать Гюберту.

— Ваша встреча с Саврасовым,— заметил Фирсанов,— проверит показания Брызгалова. И от результатов ее будет зависеть многое.

— Теперь вот что,— продолжал Решетов,— помимо предметного пароля, вот этой разрезанной фотографии, вы должны назвать Саврасову устный. Вы должны сказать ему: «Привет от Виталия Лазаревича», а Саврасов обязан ответить: «Очень рад, я видел его в феврале сорок первого года».

— Значит, Брызгалов?..— сказал я.

— Да, да...— перебил меня Решетов.— У Брызгалова дух еще неокончательно сломен. Он кое-что скрывает. Насчет устного пароля он сознался только что, когда вы отсутствовали. Я с ним еще раз беседовал.

— Понятно.

— Возможно, что он и сейчас не все сказал,— проговорил Фирсанов.

— Возможно, даже весьма вероятно,— согласился Решетов.— Но я предупредил этого субъекта, что за все, что он не нашел нужным нам рассказать, он отвечает головой. Итак, собирайтесь, майор.

Я встал.

— Полетите завтра утром,— заключил полковник — Вас встретят там и дадут знать, где искать Саврасова. Я буду звонить ночью и предупрежу товарищей. Доброго пути. Желаю успеха! — И он подал мне руку.

3. САВРАСОВ РАЗГОВАРИВАЕТ ОТКРОВЕННО

Самолет доставил меня из Москвы в город на Урале около полудня.

Два товарища, предупрежденные полковником, встретили меня и сразу же сообщили, что Саврасова в городе нет. Его ждут с минуты на минуту. Живет Саврасов в центральной городской гостинице. В той же гостинице, этажом ниже, забронирован номер и для меня — «представителя одного из железнодорожных главков».

Условившись о встречах и телефонных звонках, мы распрощались, и я, усевшись в автобус, отправился в город.

Получив номер и сдав документы на прописку, я решил прежде всего привести себя в порядок: надо было предстать перед инженером в самом лучшем виде и произвести впечатление хорошего конспиратора, человека, располагающего средствами и идеальными документами.

Я побрился, переоделся и вышел на улицу. День был на исходе. Длинные тени тянулись через мостовую.

Улицы города, широкие, просторные, озелененные, были заполнены пешеходами и машинами. Война взбудоражила город, перекинув в него с запада крупные предприятия и десятки тысяч новых людей. Я шел неторопливо, разглядывая вывески и афиши, временами останавливаясь перед витринами, чтобы посмотреть на свое отражение.

Погода портилась. Лето покидало Урал. Деревья на улицах и в скверах дрожали под порывами ветра. Над центральным сквером, предчувствуя дождь, беспокойно летали и каркали галки.

Я решил было пройти до конца главной улицы, но передумал и пошел обратно. Не то, чтобы я волновался. Нет. Еще в самолете я мысленно рисовал картину моего первого визита к Саврасову. Я представлял себе, как войду к Саврасову, что скажу, как направлю ход беседы, пытался предусмотреть опасные вопросы. Казалось, я был вполне подготовлен. Но, видимо, подсознательно меня тревожило ощущение неизвестности, и мне вдруг захотелось ускорить встречу, чтобы избавиться от этого ощущения.

Около гостиницы стоял изрядно потрепанный

«ЗИС-101», и я подумал, что на этой машине вернулся Саврасов. Я поднялся на третий этаж, толкнул дверь его номера. Дверь была заперта.

Я отправился к себе и прилег на диван. Время потянулось в раздумьях и ожидании.

Через час-полтора я снова поднялся на третий этаж и увидел ключ, торчащий в двери Саврасова. Значит, инженер явился. Ждать больше нечего: я огляделся по стоконам, убедился, что коридор пуст, и без стука вошел.

У круглого стола, уставленного посудой, с журналом «Огонек» в руках сидел Саврасов. Он поднял голову и сквозь большие очки в черной оправе выжидательно уставился на меня. У него было большое, гладкое, актерское лицо, старательная — волосок к волоску — прическа с ровным пробором, темные, с припухшими веками глаза.

— Вы к кому? — спросил он бархатистым, звучным голосом, не меняя позы, с нотками удивления в голосе.

— Если вы инженер Саврасов, то к вам, — ответил я, стоя у порога.

— Да, я Саврасов. Чем могу быть полезен? — спросил он, слегка прищурив глаза.

— Я к вам с приветом от Виталия Лазаревича, — произнес я негромко, внимательно следя за его лицом.

Он немного побледнел, полная рука, державшая журнал, вздрогнула. Он бросил журнал на стол, откинулся было на спинку стула, но тотчас быстро встал.

Эти резкие и непоследовательные движения ясно говорили о волнении.

— Никак не ожидал... — произнес Саврасов вполголоса и, обойдя стол, направился к двери. Походка у него была тяжелая, и паркет под его шагами поскрипывал. Приоткрыв дверь, он вынул ключ, вставил его изнутри и, повернув два раза, строго сказал: — У вас очень громкий голос. Нельзя ли потише?

Я почувствовал повелительные нотки, прозвучавшие в его голосе.

Саврасов подошел вплотную, посмотрел мне в глаза пристальным взглядом, будто прицеливался, и тихо, но очень медленно и внятно назвал ответный пароль:

— Очень рад... Очень рад... Я видел его в феврале сорок первого года... — И прежним повелительным тоном спросил: — Вас кто послал, Доктор?

Тон этот мне не понравился — он сразу ставил меня в зависимое положение, а этого нельзя было допустить.

— Кто послал, не так важно, — ответил я немного развязно, взял стул, повернул его и уселся верхом, положив руки на спинку стула. — Когда надо будет, скажу. Черт вас занес в такую даль!.. — Я старался говорить тоном брезгливым и небрежным, так, чтобы установить строгую дистанцию между нами.

Он вздохнул, подошел к просиженному дивану и тяжело опустился на него. Диван издал жалобный стон.

— Так, так... — произнес Саврасов, немного смешавшись и как-то растерянно. — Ну-с?.. — Видимо, от волнения его губы пересохли, и он облизал их.

— Рассказывайте, что случилось, почему молчите? Где люди? — сказал я.

— Виноват. Маленькая деталь...

— То есть?

— Вы обязаны показать мне кое-что.

Я неторопливо вынул из нагрудного кармана пиджака зеркальце, вделанное в замшевый чехольчик, извлек из него половинку фотокарточки и подал Саврасову.

Он взял ее, рассмотрел на расстоянии вытянутой руки, как это делают люди, страдающие дальновзоркостью, и, покачав головой, усмехнулся:

— Все ясно, все ясно... Что и требовалось доказать.

Он достал из кармана пухлую записную книжку в засаленной обложке, перетянутую резинкой, и раскрыл ее. Надорвав внутреннюю сторону обложки, извлек из нее фотографию, положил ее на край дивана и присоединил к ней половину, врученную мной. Края обеих половинок, разрезанные по ломаной линии, сошлись точка в точку.

— Вот так... — проговорил Саврасов, ослабил галстук и, расстегнув воротник сорочки, откинулся на спинку дивана. — Но вы все-таки скажите, — обратился он уже просительно, — от кого вы: от Доктора или от Габиша?

Ни о том, ни о другом я не имел ни малейшего понятия. Отсюда неопровержимо следовало, что отвечать опрометчиво нельзя. Надежно уложив в памяти два новых имени — Доктор и Габиш, — я ответил:

— Я от Гюберта. Гауптмана Гюберта...

— Гюберт... Гюберт... — протянул Саврасов, прикрыв



— Кто послал, не так важно,— ответил я немного развязно.

глаза и стараясь, вероятно, что-то вспомнить. — Это не племянник Габриша? Вы имени его не знаете?

— В эти детали не посвящен, — коротко ответил я.

— А каков он из себя?

Со слов Брызгалова я довольно живо обрисовал внешность и манеры капитана Гюберта.

— Не то, не то... Безусловно, не то, — проговорил инженер, подтвердив догадку незадачливого парашютиста, что Саврасов, по-видимому, не знает Гюберта. — Да это, в сущности, и не так важно.

Обычно я придерживался непреложного правила: не зная игры, не делать первых шагов. Сейчас обстановка предписывала мне действовать крайне осторожно. Но она вовсе не исключала риска. Даже наоборот — она предполагала риск. Если бы Саврасов не допустил оплошности и не упомянул о каком-то Докторе и Габрише, то я, пожалуй, не нарушил бы своего правила и не пошел бы на риск. Но тут козыри сами шли в руки.

Решив обыграть ответный пароль, я небрежно осведомился:

— Стало быть, Виталия Лазаревича вы видели не так уж давно, в феврале сорок первого?

— Почему вы так решили? — удивился Саврасов.

— Я ничего не решал, — пожав плечами, ответил я. — Таков пароль.

Саврасов рассмеялся и махнул рукой.

— Вы правы, — признался он. — Совершенно верно. С Доктором мы встретились в феврале... перед уходом его на ту сторону. Но Виталий Лазаревич высказал твердую уверенность, что мы еще встретимся. Когда я сказал: «Прощайте!», он меня поправил и заметил: «Почему так театрально? Не прощайте, а до свидания». Поэтому-то я и решил сначала, что вы от него.

Итак, Виталий Лазаревич — это не случайное имя для пароля. Виталий Лазаревич существует, он и Доктор — это одно и то же лицо.

— И после вы ни с кем не встречались? — продолжал уточнять я.

— Конечно.

— И никого ни о чем не информировали?

— Да, да... Неожиданный переезд на восток. Связь через Минск нарушена войной... Доктор должен понять...

Я кивнул, сделав вид, что меня это вполне удовлетворяет. Но следовало углубить разговор, выяснить побольше.

— Видите, в чем дело...— начал я, сделал умышленную паузу и продолжал: — Ваше присутствие здесь крайне необходимо, важно. Связь восстановим. «Шифр 17 апреля» действует, учтите. Задачи перед вами очень большие, ведь на Урал и в Сибирь перебазирована почти вся военная промышленность. Здесь формируются крупные соединения советских войск. Вам надо на какое-то время выехать в Москву, восстановить связи, организовать переезд двух-трех надежных людей сюда, на Урал, и в Сибирь...

— Что?! — воскликнул Саврасов. — Поехать в Москву? Это невозможно! Абсолютно невозможно!

— А если необходимо? — спокойно спросил я.

— Все равно...

— Если этого требует Гюберт?

— Я не знаю, кто такой Гюберт...— Саврасов вскинул плечи и растерянно развел руками. — Во всяком случае, если я уеду в Москву, то вернуться сюда не смогу и должен буду перейти на нелегальное положение.

— Не понимаю, — сказал я.

Саврасов объяснил, что работа по приему заводского оборудования, идущего с запада, которая на него возложена, не допускает никаких отлучек и промедлений. Никто его не освободит от этой работы. Время военное. Конечно, если вопрос стоит так, что, невзирая ни на что, он должен быть в Москве, то придется рвать с заводом. Опасно, это грозит судом. Покинуть завод официально не удастся, а неофициально... Завод имеет чрезвычайно важное оборонное значение. Перебазировка его из центральной полосы на Урал проводится быстрыми темпами. Сам Саврасов на заводе — человек не новый, всем известный, и терять такое место было бы неразумно. «Вы же сами говорите, что мое присутствие здесь крайне важно».

Я промолчал. Воцарилась долгая пауза, которую нарушил Саврасов.

— Вы говорите, Москва...— начал он.

— Не я, а Гюберт...

— Да, да, это понятно, — кивнул Саврасов. — Но надо же учесть, что я устроился здесь фундаментально.

Меня уважают, со мной считаются, мне доверяют. Сюда, если вы хотите знать, двери, как в рай, очень узенькие. Конечно, если дело требует, я брошу все, но это пахнет, я повторяю, нелегальщиной. Мое исчезновение насторожит руководство, возникнут подозрения. В данный момент я ничем официально не смогу обосновать свое желание покинуть завод. Но если, как принято говорить, цель оправдывает средства, тогда можно рискнуть.

— Нет, так не пойдет,— сказал я решительно.— Гюберт, очевидно, не предполагает, что поездка в Москву так сложна. Я его информирую. Оставайтесь здесь, и больше к этой теме возвращаться не будем. В Москве все же остались у вас свои люди?

— Как это понимать? — испытующе спросил Саврасов.

— Раз вы категорически не можете к ним поехать — а ваши доводы меня убедили,— придется мне помочь вам.

— Хм... Есть один человек, служит на железной дороге. Я приобрел его еще в прошлом году. Удачный человек. Я бы сказал — очень удачный и перспективный. Проверен. Он уже оказал нам кое-какие услуги и готов их оказывать дальше.

— Это надежно?

— Вполне! — твердо заверил Саврасов.— Я информировал о нем Доктора. Он понравился ему еще тогда, до войны. Мы условились именовать его «диспетчером». На него можете рассчитывать.

— Ах, диспетчер! — воскликнул я. (О диспетчере я слышал, конечно, впервые!) — Слышал... А еще кто? Диспетчера трогать пока не разрешают.

— Есть еще человек, уже другой категории,— сказал Саврасов нерешительно.

— Именно?

— За этого поручиться не могу — будет слишком смело.

— Кто он?

Саврасов охотно рассказал, как рассказал бы любому другому, пришедшему к нему с паролями. Этот второй человек — бывший прораб одной из подмосковных гражданских строек. Инженер-строитель по опыту, но без диплома. Судился по уголовному делу, после заключения

долго не мог обосноваться в Москве и получить прописку, но перед самой войной ему удалось это. Живет на частной квартире в районе Тимирязевской академии.

— О нем мне ничего не говорили,— деловито сказал я.— Так вы говорите, человек он ненадежный?

— Ненадежный,— кивнул Саврасов.— Этот тип привык к большим деньгам и очень избалован ими. За деньги, тем паче за хорошие деньги, которых у него теперь нет, он не остановится ни перед чем. Использовать его постоянно очень опасно, он пригоден лишь для эпизодической работы. Пьяница. А пьяницы, с одной стороны, весьма нам полезны, но с другой — опасны, неосторожны. Поэтому использовать его можно с оглядкой. Я виделся с ним перед отъездом из Москвы. Он озабочен получением документов, которые освободили бы его от призыва в армию. Воевать не хочет.

— Понятно,— сказал я.— Еще кто?

— Все. Больше нет. Война все перемешала, раскидала людей.

«Негусто у тебя, оказывается»,— решил я про себя и сказал:

— Значит, сами вы ничего не сделали, чтобы восстановить положение? А как вы живете материально?

— Живу неплохо, но можно было бы и лучше,— усмехнулся Саврасов.

— Это дело легко поправимо...

— Что вы сказали? — Саврасов подался немного вперед.

Я прямо не ответил на вопрос и продолжал:

— Давайте договоримся так... — Тут я почесал переносицу, будто что-то соображая.— Все, что вы считаете нужным сообщить Гюберту, набросайте себе для памяти, чтобы завтра подробно рассказать мне. Хватит времени до завтра?

— Безусловно.

— Отлично. Завтра же я сниму деньги с аккредитива и вручу вам. Тут с этим делом нетрудно?

— Как вам сказать. Жмутся, конечно. У вас большая сумма?

— Сорок...

— Ого! Ну что ж... Я вам подскажу, в какие кассы обратиться.

— Договорились,— весело сказал я и встал.

— Позвольте! — спохватился Саврасов и тоже встал.— А что вы делаете вечером?

— Ничего. Если не возражаете, давайте поужинаем у меня в номере и поболтаем.

— Ради бога, я с удовольствием. Вечер и у меня свободен. А где ваша комната?

— Внизу, под вами...— Я назвал номер.

Не прощаясь с Саврасовым, я вернулся к себе, вытащил из чемодана сверток с нехитрой закуской и немного подкрепился. Потом прилег на диван и перебрал в памяти всю беседу с Саврасовым. Записывать я, по уже укоренившейся привычке, считал нецелесообразным. Да в этом сейчас и не было нужды: память служила мне пока безотказно.

Потом я набросал план дальнейших действий.

Погруженный в раздумье, я не заметил, как уснул, и проснулся от стука в дверь. В комнате царила темнота. Я вскочил и зажег свет.

Вошел Саврасов.

— Отдыхали? — спросил он, энергично потирая руки.

— Немножко.

— А вы посмотрите, что делается на дворе.— Саврасов раздвинул шторы.

Я тоже подошел к окну. В заплаканное окно глядел слякотный сумрак. По запотевшим стеклам змеились дождевые струйки.

— Бож-же мой, какая гадость! — передернув плечами, воскликнул Саврасов и отошел от окна.— В такую погоду даже лягушки могут схватить воспаление легких!..

Мы долго сидели за столом у окна. Незатемненная улица выглядела неуютной и неприветливой. Торопливо сновали пешеходы, прижимаясь к стенам домов.

Беседа наша затянулась. Вначале я рассказывал Саврасову разные были и небылицы о жизни в оккупированных гитлеровцами городах. Он слушал с интересом, задавал множество вопросов и, кажется, убедился в моей полной осведомленности. Затем я осторожно попытался узнать, какая среда взрастила и воспитала такого отщепенца и предателя. Но мои попытки проникнуть в прошлое Саврасова успехом не увенчались. Прошлого он не

касался и, как мне показалось, даже избегал тронуть его. То ли это была осторожность, то ли черта характера, я так и не определил. Зато о заводе Саврасов рассказал очень пространно; он действительно был хорошо информирован, и это делало его особенно опасным врагом. Тем скорее надо его обезвредить. Но от этого корня могли появиться и ростки... Я воспользовался рассказом Саврасова об уральских делах.

— Вы пробовали искать людей, которые могли бы пригодиться нам здесь?

Саврасов снисходительно посмотрел на меня.

— А как вы думаете? — сказал он.

— Я ничего не думаю, — в тон ему ответил я. — Я интересуюсь.

— Пробовал, дорогой, не раз... — Он налил в стакан вина, затем снял очки и стал протирать стекла носовым платком. — Пробовал, зондировал почву, обхаживал кого-то, но ни черта путного не получается. Что скрывать — патриотический подъем в народе огромный! Я никак не ожидал. Войска фюрера бьют их, блестяще прошли в глубь страны: Прибалтика, Молдавия, Белоруссия, Украина, Западные области! А все твердо уверены, что немцев побьют... Черт те что! Какой-то фанатизм! Откуда только берутся силы, терпение, вера и упорство?! Признаюсь честно: позавидовать можно. Вы не подумайте, что я сочувствую. О нет! Я ненавижу их, ненавижу от всей души! Но поражаюсь. Ведь, кажется, всем ясно, что от таких ударов Советы не оправятся, а попробуйте с кем-нибудь поговорить на эту тему. Ого! Вас быстро сведут в милицию, а то и в другое место. При таком положении надо быть очень осторожным. Сто раз отмерь, а один — отрежь! Я уже ученый...

Почему он уже ученый, Саврасов не договорил.

— Ну что ж, — сказал я со вздохом, — поскольку передвинуть в Москву вас не удастся, дайте мне координаты этих ваших... диспетчера и прораба. Придется связаться с ними.

Он, не колеблясь, вырвал листок из записной книжки и написал адреса и фамилии, потом сообщил мне несложные пароли, которые я мысленно несколько раз повторил.

Мы расстались почти в полночь. Проводив гостя и выждав некоторое время, достаточное для того, чтобы

убедиться, что Саврасов улегся отдыхать, я покинул свой номер. Мне надо было связаться с местными товарищами.

Дождь перестал, небо прояснилось, проглядывали звезды. Не высохшие еще асфальтовые мостовые при свете фонарей напоминали реки. Я радовался улучшению погоды, так как на другой день мне предстояло лететь.

Утром состоялся последний разговор с Саврасовым, хотя о том, что он последний, знал лишь я. Саврасов надеялся еще на встречу после обеда и рассчитывал получить обещанные деньги. Он, конечно, и не подозревал, что я поручил его «заботам» местных товарищей.

Задолго до обеда я был уже в воздухе.

4. КОНТРОПЕРАЦИЯ

В наш прифронтовой городок я вернулся вечером, подробно доложил полковнику Решетову о своей встрече с Саврасовым и отправился спать. В эту ночь, как и в другие, был налет вражеских бомбардировщиков. Бомбили и обстреливали одновременно мост, железнодорожный узел, центр города, аэродром и больничный городок.

А через полчаса после отбоя, когда легким туманом задымилось утро, меня вызвал к себе на квартиру подполковник Фирсанов.

Я добрался до его дома по исковырянной бомбами улице. Над городом стлался дым пожаров. Фирсанов расхаживал по двору вместе с комендантом штаба, который ему что-то докладывал.

Ответив на мое приветствие и отпустив коменданта, Фирсанов сказал:

— Ну вот... сегодня наши зенитчики отличились. Сшибли два «юнкерса». Один упал на кладбище, второй — в реку. С одного успел выпрыгнуть парашютист, кажется стрелок... Полковник Решетов уже побеседовал с ним... Ну, а ты как чувствуешь себя? Как настроение?

Я отлично знал, чему предшествуют такие по виду ничего не значащие вопросы. Знал также (как и другие офицеры штаба), что если подполковник обращается к подчиненному на «ты», это не проявление панибратства. Отнюдь нет. Это свидетельствует прежде всего о том, что

предстоит серьезный, ответственный разговор. Это было таким же обыкновением Фирсанова, как и привычка смотреть прищурившись прямо в глаза собеседника.

— Пойдем, — сказал Фирсанов. — Нас ждет полковник.

Решетова мы нашли в кабинете Фирсанова. Склонившись над столом, он рассматривал топографическую карту.

Он обрадованно встретил меня, усадил и продолжал изучать карту.

— Как парашютист? — поинтересовался Фирсанов.

Решетов досадливо отмахнулся.

— Диву даюсь, — проговорил он, — что у вас тут за народ. Будто никогда не видели живого гитлеровца! Сбежались все: из разведотдела фронта, из контрразведки, из политуправления, из редакции армейской газеты...

— Он же все-таки с самолета, — напомнил Фирсанов. — А эта публика не так часто дается в руки.

— Ерунда! — возразил Решетов. — Этой публики сейчас развелось, как воробьев на горохе...

Мы с Фирсановым рассмеялись. Решетов прошелся по комнате, массируя раненую руку, и, опросив меня о том, как летелось, кого успел повидать в Москве, вдруг, с нетерпеливыми нотками в голосе, сказал:

— Ну, майор Стожаров, рассказывайте! В общих чертах я все уже знаю по шифровкам уральских товарищей. Давайте подробности, подробности!

Я обстоятельно доложил о своем визите к Саврасову, стараясь не упустить ни одной детали. Полковник ставил мне всё новые и новые вопросы. Когда я уже иссяк и больше рассказывать было не о чем, полковник на несколько минут задумался, а потом сухо, но сжато как бы подвел итог этой «операции А», как он ее назвал.

— Итак, — начал он, — наши с вами предположения, в общем, подтвердились. Брызгалов, видимо, действительно только курьер, почтальон, посланный для восстановления связи с затерявшимся в военной суматохе агентом фашистской разведки Саврасовым. Ясно, что для немцев оказались неожиданными и темпы и размах перебазирования нашей военной промышленности на восток. Шутка сказать — как в сказке, возникают там артиллерийские, танковые, авиационные, автомобильные заводы, персбро-

шенные с Украины и Белоруссии, из центральных областей и Москвы. Ясно также, что если до войны главное внимание гитлеровской разведки было устремлено на западные районы и центр страны, то теперь ее щупальца устремятся на восток. Миссия господина Брызгалова, очевидно, один из эпизодов перестройки вражеской разведки,— заключил он.

Полковник подошел к столу и наклонился над картой. Подчеркнув что-то на ней красным, остро отточенным штабным карандашом, он, не отходя от карты, продолжал:

— А теперь перейдем к другой стороне вопроса. Из показаний Брызгалова — а эти показания в отношении Саврасова подтвердились — явствует, что за линией нашего участка фронта свила свое «осиное гнездо» одна из оперативных групп гитлеровской разведки, руководимая Гюбертом. Эта группа вербует и готовит агентов для переброски через линию фронта, к ней стекается шпионская информация из одного или нескольких районов страны. И вот теперь возникла возможность проведения «операции Б». Итак, майор Стожаров, дело сейчас за вами... Знаете, что мы придумали?

Я отрицательно покачал головой. Мне почему-то не хотелось признаться в том, что я уже предугадывал развитие событий и свою роль в них.

Решетов подробно пояснил свою мысль: Гюберт ожидает возвращения своего посыльного Брызгалова. Он послал его с расчетом на быстрое возвращение. То, что Брызгалов должен был пробираться на Урал, а не в Москву, где ранее находился Саврасов, говорит о том, что Гюберт (или те, кто стоит за ним) в какой-то степени находится в курсе событий. Брызгалов по обстоятельствам, от него не зависящим, вернуться к Гюберту не может. Допустим, что он выбросился из самолета, удачно приземлился, благополучно покинул зону приземления, а вот дальше ему не повезло. На одном из разбегов он сел в поезд, а поезд попал под бомбежку фашистской авиации. Отсюда и пошли все беды. Вагон, в котором ехал Брызгалов, разбило. Брызгалову перебило осколком ногу. Он попал в московскую больницу и лежит в гипсе. Пока срастется кость, времени уйдет много. Брызгалов решил искать выход. И нашел его. Ему уда-

лось связаться с одним из дружков по шайке железнодорожных грабителей. Этот человек скрывался от органов НКВД. Он работал в передвижной вагон-лаборатории на железной дороге, но чувствовал себя неуверенно. Брызгалов снабдил его своими документами, дал немного денег и отправил к Саврасову. Человек этот, с точки зрения Брызгалова, надежный и грамотный. Техник...

— Этот железнодорожник — вы, — закончил Решетов. — И вас же он решил послать к Гюберту. Пароли для перехода вам известны со слов Брызгалова, участок для перехода линии фронта — тоже. Так, кажется мне, может в общих чертах выглядеть легенда.

— Да... — ответил я и спохватился: неудержимые и не признающие никаких границ мысли витали где-то далеко и опережали содержание разговора.

— Вы слушаете меня, а сами думаете о чем-то? — догадался Решетов.

— Так точно, — признался я.

— Правильно, — одобрил Решетов. — Я изложил только схему задания. А теперь мы хотели бы услышать ваши предложения. Поразмыслите хорошенько и заходите. Мы вас будем ждать.

— Однако долго не раздумывайте, — предупредил Фирсанов. — Железо надо ковать...

— Понимаю, товарищ подполковник, — ответил я, вставая. — Много времени мне не потребуется. Я только соберусь с мыслями.

— Вот, вот, — сказал Решетов. — Заходите часика через два. Надо учитывать все, — добавил он. — Давайте поставим себя на место Гюберта. Что бы вы сделали, если бы ваш курьер не вернулся к сроку?

— Послал бы второго, — ответил я.

— Вот! — воскликнул Решетов и поднял указательный палец. — И Гюберт поступит так же. Возьмет да и второго бросит, а тот приземлится более удачно. Это нежелательно... Итак, давайте ваши соображения. Помозгуйте...

Я вышел. В таких случаях всегда ощущается потребность побыть одному.

Я спустился к реке и прошел в городской парк, совершенно безлюдный в это раннее время. Я выбрал заросшую аллею, что вела к берегу реки, и уселся на уцелевшую скамью под большой липой.

Густо-синее высокое небо было чистым и безмятежным: по нему медленно скользили едва приметные легкие облачка. Тихо, бесшумно несла свои воды река, и, как вчера, как сотню лет назад, ее шелковый плес солнце разукрасило расплавленным серебром. Утренний ветерок шелестел листвой огромной липы, густая тень которой покрывала почти всю аллею.

Шелест ветерка помогал мне думать. Мозг работал напряженно и четко. Возвращаясь в штаб, я мог предложить уже кое-что, на мой взгляд, интересное.

— Ну как? Надумали что-нибудь? — спросил Решетов. — Что ж, послушаем. Присаживайтесь.

Я постарался как можно короче изложить свои сообщения. Я пойду к Гюберту вместо Брызгалова. Пока невозможно предугадать, как использует меня Гюберт: он может задержать меня, оставить при себе, а возможно, перебросит обратно для связи с Саврасовым или же с кем-либо другим из своей агентуры на нашей территории. Но любой из вариантов не исключает главного: в период пребывания в резиденции Гюберта у меня могут возникнуть вопросы, требующие или совета, или немедленного решения.

Далее, нам пока неясно, что собой представляет резиденция Гюберта: то ли это разведпункт, то ли школа диверсантов, то ли филиал гестапо, то ли контрразведки. Наконец мне, возможно, встретятся интересные люди, которых можно будет использовать, или же станут известны сведения о замыслах и планах противника, которые надо будет немедленно предупредить, разрушить. Но, лишенный связи с Большой землей, я буду бессилен что-либо предпринять. А когда я вновь окажусь на Большой земле, все добытые мною сведения устареют и потеряют цену. Стало быть, самый существенный вопрос — это связь с Большой землей. Она должна быть, чего бы это ни стоило...

— Истина, не требующая доказательств! — перебил меня подполковник Фирсанов. — Разведчик без связи — пустой звук. Мы уже думали об этом. Сейчас этого вопроса...

— Минутку!.. — вмешался полковник Решетов и обратился ко мне: — У вас есть предложение?

— Да!

Решетов и Фирсанов переглянулись.

— Предлагаю,— продолжал я,— выбросить в район города, около которого базируется Гюберт, нашего разведчика с радистом. Если мне нельзя явиться к Гюберту с рацией, а это действительно нельзя, значит, следует именно так организовать связь. Я исключаю мысль, что никто из горожан не знает о «хозяйстве» Гюберта. Так не бывает. Кое-кто да знает. И не может быть, чтобы люди Гюберта, которых более двух десятков, и он сам не бывали в городе. Бывают... Наша подсобная группа из двух человек — разведчика и радиста — должна осесть не в городе, а где-то вблизи него, с таким расчетом, чтобы связаться со мной. А это уже дело техники. Мы и разработаем условия связи, явки, как делали это не раз, и тогда я смогу держать штаб в курсе всех событий.

Решетов встал и быстро заходил по комнате.

— А почему бы в самом деле не поступить так? — сказал он будто самому себе. — Что мы теряем? Абсолютно ничего. А что выигрываем? Много шансов за то, что наладится связь... Майор, мысль ваша работает правильно! И связь с группой вы должны налаживать именно через город. Вам придется найти подходящего человека. Так... так... Все становится на свои места! — Решетов энергично потер руки. (И я заключил, что он не всегда бывает спокойно-уравновешенным человеком, каким казался в первые дни нашего знакомства.) — А есть подходящая кандидатура, чтобы возглавить группу? Через Центр — это долго.

— Есть,— решительно ответил я.

Решетов и Фирсанов вопросительно посмотрели на меня.

— Криворученко... — сказал я.

Фирсанов усмехнулся.

— А кто это? — спросил Решетов.

Ответил Фирсанов:

— Это напарник майора по тылам противника. Опытный товарищ.

— Ага... Совсем неплохо. Где он сейчас?

— Здесь,— ответил Фирсанов.

— А ну-ка, подать сюда Тяпкина-Ляпкина...

Я вышел, передал приказание дежурному и вернулся.

— Вы с ним предварительно беседовали? — поинтересовался Решетов.

— Нет, не получил еще разрешения...

— Он когда-нибудь прыгал с парашютом?

— Нет. Но это дело немудреное, тем более для Криворученко.

Вошел дежурный и доложил, что Криворученко явился.

— Зови его, — приказал Решетов.

Стройный и, как всегда, стремительный, Семен Криворученко вошел в кабинет, отрапортовал и застыл в положении «смирно», глядя прямо в лицо Решетову смелыми, почти дерзкими темно-кариими глазами. Из-под пилотки падал на лоб русый волнистый чуб.

Полковник пытливо всмотрелся в него и без всяких предисловий приступил к делу:

— Необходимо перебросить разведчика с радистом за линию фронта, в неприятельский тыл, для организации связи с майором Стожаровым, который направляется туда с особым заданием. Мы остановились на вашей кандидатуре. Как вы на это смотрите?

Криворученко спокойно ответил:

— Готов, товарищ полковник. Я готов.

Ни один разведчик, как бы опытен он ни был, не может без волнения отнестись к новому заданию в тылу противника. Но лицо Семена оставалось ясным и безмятежным. Да, он был парень с выдержкой...

— Отлично! — сказал полковник, не сводя с него глаз. — Майор сам введет вас в курс дел. Но идти вам придется врозь: вначале майора переправим, а потом уже вас с радистом. Его сухопутьем, а вас по воздуху.

Криворученко весело блеснул глазами и коротко сказал:

— Есть!

— Хорошие у вас хлопцы! — заметил Решетов, когда Криворученко вышел. — С такими можно дела делать. — Он наклонился над картой: — Давайте познакомимся с местностью.

— Да, кстати, и решим, куда лучше выбросить Криворученко, — сказал Фирсанов и спохватился. — А как же с радистом? У нас сейчас нет ни одного в резерве.

— Я найду, — успокоил Решетов. — В крайнем случае возьмем из школы молодого. А с вами, майор, мы еще

поговорим обстоятельнее. Я должен посвятить вас в кое-какие подробности. Виталий Лазаревич появился не вдруг. Этим паролем кое-кто уже пользовался. Я, кажется, натолкнулся на старых знакомых. Но об этом расскажу вечером. Не всё сразу.

И мы принялись за изучение местности, окружающей резиденцию Гюберта.

5. ГАБИШ, ДОКТОР, ВИЛЛИ И ДРУГИЕ

Вечером мы с майором Коваленко сидели на лавочке во дворе штаба. Вскоре подошли Решетов и Фирсанов. Решено было поужинать на открытом воздухе. Мы расположились под большим кленом за старым садовым столиком. Наверное, за ним когда-то мирно собиралась жившая здесь семья.

Сегодня в наш обычный пайковый ужин было внесено приятное разнообразие: кто-то из свободных от дежурства товарищей наловил на речке раков, и мы прямо-таки набросились на них.

Когда с ужином было покончено, полковник Решетов приступил к рассказу, который должен был дать мне кое-какие дополнительные данные.

— Как-то летом сорокового года,— начал он,— в городе, где был расквартирован Особый отдел, в котором я работал, грузовая машина ночью сшибла человека. Кто был убит, осталось загадкой: никаких документов на неизвестном не оказалось. Однако под брезентовой курткой убитого была обнаружена портативная и компактная, но большой разрушительной силы мина со взрывателем часового действия, а в подкладке куртки — половинка такой же фотографии, что мы изъяли у Брызгалова. Попытки особых органов расшифровать личность диверсанта (а то, что убитый — диверсант, не вызывало сомнений) так и не увенчались успехом.

Немного времени спустя, тем же летом, к нам поступило интересное заявление. Один товарищ сообщил, что год назад ему как представителю спортивной организации довелось познакомиться в одном портовом городе с тренером футбольной команды бразильского торгового парохода, совершавшего рейсы в Советский Союз. Заяви-

тель хорошо запомнил внешность тренера. Это был стройный мужчина лет тридцати, имеющий, как принято говорить, особую примету: небольшой шрам, идущий от середины лба до левой брови. И вот на днях, идя по нашему городу, заявитель вдруг встретил этого иностранца в компании некоего Робуша, работника номерного завода. Но заявителя смутило странное обстоятельство: год назад тренер объяснялся только через переводчика, а теперь он говорил с Робушем на отличном русском языке. Заявитель шел за ним следом два квартала и слышал только русскую речь.

Вскоре мы вынуждены были арестовать Робуша. При обыске у него было изъято закодированное письмо. В нем шла речь о вещах, составляющих большую государственную тайну. Робуш признался, что во время немецкой оккупации Украины в восемнадцатом году он стал агентом немецкой разведки. К разведывательной работе его привлек немецкий капитан, по фамилии Габиш.

— Габиш?! — воскликнул я невольно.

— Да, Габиш,— подтвердил полковник Решетов и продолжал: — После окончания гражданской войны Робуша долго никто не тревожил. Только в тридцать девятом году о нем вспомнила немецкая разведывательная служба, теперь уже гитлеровская. И вот однажды весной, в воскресный день, к нему на улице подошел неизвестный молодой человек, сказал ему несколько слов и попросил зайти в сквер. Это был пароль, который много лет назад дал ему капитан Габиш. Кроме того, неизвестный передал Робушу еще и новый вещественный пароль на будущее — половинку фотокарточки молодой женщины. Вторую половинку должны были предъявить Робушу как пароль посланцы немецкой разведки.

После этого нам стало ясно, что сшибленный автомашиной диверсант, у которого была обнаружена половинка фотокарточки, принадлежал, очевидно, к той же вражеской группе.

Далее Робуш рассказал, что посланца Габиша звали Вилли, что он имел примету — шрам на лбу, что появлялся он несколько раз.

Во второй свой приход Вилли получил нужную разведывательную информацию и потребовал, чтобы Робуш помог устроить на номерной завод некоего молодого чело-

века. Этот человек скоро явился к Робушу на квартиру, а затем непонятным образом исчез, будто в воду канул. Робуш описал нам внешность этого молодого человека, и мы поняли, что он-то и есть тот диверсант, который попал под машину.

Далее Робуш рассказал, что Вилли был очень обеспокоен внезапным исчезновением молодого человека, и заявил, что должен покинуть город. Он передал Робуша на связь некоему Виталию Лазаревичу Шляпникову, якобы доктору. Познакомил их Вилли в ресторане.

Робуш рассказал нам все, что знал о Докторе, но назвать его местожительство не мог.

Вот, пожалуй, и все, что мы узнали от Робуша.

Вилли и Доктор исчезли, и захватить их нам не удалось. Первый исчез бесследно, второй оставил кое-какие следы, но они завели нас в тупик. Когда нам наконец сообщили, что доктор Шляпников Виталий Лазаревич якобы обнаружился в соседнем городе, я туда немедленно выехал. Но, увы, доктора увидеть не удалось. Он успел вовремя смотать удочки. След был утерян, дальнейшие розыски ничего не дали. Можно предположить, что исчезновение и доктора и Вилли было вызвано одной и той же причиной — провалами Робуша и неизвестного диверсанта. Можно было предположить и другое. По словам Робуша, и Вилли и Шляпников — люди с той стороны, но Вилли — немец, а Шляпников — русский. Оба они, по мнению Робуша, являлись представителями разведывательного органа, возглавляемого Габишем, и, возможно, выполнив свою задачу на территории Советского Союза, вернулись восвояси. Вот и вся история.

Полковник допил свой чай, закурил и продолжал:

— Теперь давайте подведем итоги. Вилли — это тренер, человек со шрамом, фамилия его и местопребывание нам неизвестны. Известно только, что он немец. Далее — доктор, Виталий Лазаревич Шляпников. Он русский, связан с гитлеровской разведкой. Его знают Робуш и, как теперь выяснилось, Саврасов. Первый его видел за год до войны, второй — в феврале прошлого года. Где он находится — вопрос... И, наконец, Габиш. Он был капитаном в годы первой мировой войны. Сейчас он может быть генералом. Фамилию Габиша назвал и Саврасов. Габиш вербовал и засылал к нам и Робуша и Вилли. Итак, три

лица, связанные общностью дел и одним вещественным паролем. Их имена, майор Стожаров, нужно хорошенько запомнить. Возможно, что ваш визит к гауптману Гюберту повлечет за собой встречу с кем-либо из этой тройки.

— Странно, что в ход снова пущена эта половинка фотокарточки,— заметил подполковник Фирсанов.— Ведь двое, имевших этот пароль, провалились — диверсант и Робуш. С точки зрения гитлеровской разведки, этот пароль должен быть, безусловно, исключен — он мог попасть в руки советских органов.

— Вы, конечно, правы,— сказал Решетов.— Но иногда обстоятельства могут заставить пойти на риск. Видимо, иначе нельзя было восстановить связь с Саврасовым.

— Пожалуй, что и так...— согласился Фирсанов.

— Я ночью уеду,— предупредил меня Решетов,— и мы больше не увидимся в ближайшее время. Все ли вам ясно?

— Ясно, товарищ полковник,— ответил я.

— Ну, это главное. Остальное и для меня в тумане,— признался Решетов.— Помните, вас не оставят в покое, вас станут всячески проверять. Держитесь! Возможны и провокация и шантаж, будьте начеку, настороже, в постоянной боевой готовности, как на линии огня. Знание немецкого языка не обнаруживайте ни в коем случае. Держитесь так, чтобы враги абсолютно были уверены, что вы не знаете их языка. Хочу еще раз подчеркнуть: в предстоящем деле полагайтесь на свою память. Записку, документ, как бы хитро вы их ни составили, можно потерять, они могут подвести и погубить вас, а память — надежнейшая шкатулка!

Я кивнул.

— Трудная задача поставлена перед вами, майор,— заключил Решетов,— но я верю, что мы встретимся. Обязательно встретимся! Будьте здоровы, от души желаю успеха!

Он крепко, ободряюще пожал мне руку и отпустил меня.

6. СЕМЕН КРИВОРУЧЕНКО

Утром следующего дня я отправился на дом к Семену Криворученко. Решение о его отправке с радистом для связи со мной было принято окончательно.

Я познакомился с Кризорученко в июле сорок первого года в штабе истребительного батальона. Он понравился мне с первой встречи, и я сразу решил, что это настоящий парень. Дальнейшее знакомство подтвердило это. Видно, и я пришелся ему по душе.

В моем общении с людьми бывало по-разному: меня часто покоряли люди при первом же знакомстве, а затем я в них разочаровывался. Случалось и наоборот: вначале человек был неприятен, но потом оказывалось, что я неправ, и у нас возникали хорошие, дружеские отношения. Криворученко я полюбил сразу, с первых дней знакомства. Скоро наше знакомство переросло в крепкую дружбу, которая выдержала все испытания.

Говорят, чтобы хорошо узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. Не знаю, насколько применима эта поговорка ко мне и Криворученко. Мы сдружились именно тогда, когда тяжело страдали из-за полного отсутствия соли. Это произошло в январе сорок второго года, когда нас вместе направили с заданием в тыл противника. Мы должны были проникнуть в один из городов Белоруссии, отыскать руководителя разведывательной группы, получить от него важные документы и вынести их на нашу территорию.

Самолеты, на которых нас перебрасывали через линию фронта, должны были совершить посадку на партизанские костры, а идти дальше по своему маршруту нам следовало уже от партизанского лагеря.

Зима выдалась лютая, от жестокого мороза трещали деревья. Помню, стояла холодная лунная ночь с обжигающим ветерком, выжимавшим слезы. Белая даль простиралась впереди. Мы медленно ехали на аэродром по сильно заснеженной дороге, приходилось часто останавливаться, вылезать, помогать вытягивать машину.

В высоком студеном небе бисером мерцали далекие звезды.

Полтора часа мы затратили на дорогу до аэродрома, заметенного снегом. В реденьком сосновом бору, недалеко от деревни, мы наткнулись на торчавший из снежного кургана кусок железной трубы, наподобие самоварной. Из нее густыми клубами вперемешку с мохнатыми искрами вылетал дым. Ветерок подхватывал его и разносил по бору.

Здесь был командный пункт летчиков. Мы спустились по скользким ступенькам, вырытым в снегу, в глубокую землянку и, смертельно уставшие, повалились на топчан.

В землянке гудела железная печурка. Раскаленные докрасна стенки ее излучали страшный жар. Было очень душно, пахло свежесрубленными бревнами, смолой. Разморенные усталостью и теплом, я и Криворученко отказались от ужина и мгновенно заснули.

Нас разбудили перед отлетом, и сонную одурь мы сбросили уже на морозном воздухе. Два самолета «У-2» подняли нас в темное небо. На первом летел Криворученко. Поначалу все шло так, как предполагалось. Мы удачно перевалили через передний край фронта, и только когда до лесного массива, где базировался партизанский отряд, остались считанные минуты лета, мы попали под многослойный зенитный огонь.

Партизаны не успели сообщить командованию о том, что на нашей трассе, на территории бывшего совхоза, расположился зенитный дивизион гитлеровцев. До этого дня совхоз пустовал и служил летчикам хорошим ориентиром.

Самолет, на котором летел Семен Криворученко, сразу вспыхнул. Был пробит запасной бензобак. Пламя охватило весь центроплан, и летчик резко повел машину на снижение, пытаясь, видимо, дотянуть до леса.

Летчик моего самолета бросил машину в глубокий вираж. Потом он прокричал мне что-то и показал рукой вниз, за борт. В лесу под нами ярким синеватым пламенем горел подбитый самолет.

Трудно передать охватившее меня чувство отчаяния, злобы и горечи. Все произошло на наших глазах, в считанные секунды, и ни летчик, ни я ничего не могли предпринять. Я готов был плакать от сознания своего бессилия, готов был кричать. А возможно, что я и плакал, и кричал, сейчас уже не помню.

Но, как оказалось, к моей великой радости, Криворученко уцелел и остался жив. Он явился к партизанам на вторые сутки в совершенно неузнаваемом виде: левый глаз его сплошь заплыл, исчез под пухлым кровоподтеком, часть волос, брови и ресницы обгорели, на обеих скулах красовались ярко-багровые пятна. Вместе с Семеном пришел и летчик, который выглядел не лучше. Брови и

ресницы его обгорели начисто, на щеке зиял кровоточащий шрам.

— Отделались легким испугом, Кондратий Филиппович,— смеялся Семен.— Бывает и хуже.

— Хуже было бы,— сказал летчик,— случись посадка на несколько минут раньше, не в лесу. Тогда, пожалуй, нам не миновать бы лап фашистских молодчиков.

— Но как вы не разбились? — удивился я.— Как вы посадили горящую машину в лесу?

— Откровенно говоря,— усмехнулся летчик,— я и сам не могу представить себе, как все произошло. Повезло. Я думал, что уже гроб...— Он помолчал, сдержанно улыбаясь, и добавил: — А конструктора «утенка» я бы расцеловал! Это не машина, а сущее чудо! Она словно специально сделана для таких передрыг. На любой другой нам был бы каюк...

— Самолет сгорел? — поинтересовался командир партизанского отряда.

— Дотла,— ответил летчик.— Жаль птичку. Уже третья сгорела с начала войны, а меня огонь не берет.

Когда ожоги Криворученко зажили, мы отправились по заданию. Здрóрово тогда мы померзли, поголодали, и все, что ни ели, было несоленым. За щепоткой соли наши советские люди ходили за сотни километров.

Из второй ходки в тыл врага мы с Криворученко вернулись совсем недавно. И хотя уже стояло лето, поход оказался не менее трудным. На этот раз нам приказано было проникнуть в район, где не было партизан, и доставить радиостанцию разведывательной группе, проникшей на один из железнодорожных узлов. Мы пробрались через передовую на лесистом участке Западного фронта, углубились на оккупированную территорию и в условленном месте приняли на свои сигналы сброшенный с самолета парашют с прикрепленным к нему грузовым мешком. В мешке были рация, батареи, оружие, боеприпасы, различные продукты, но мы едва успели унести рацию и батареи. Все остальное досталось карателям, которые заметили нас и кинулись в погоню.

Мы попали в тяжелое положение. Еды не было. Был табак, но не было спичек. К счастью, у меня сохранилось увеличительное стекло, так что днем, при ясном солнце, можно было курить и разводить огонь.

Мы бродили две недели по лесным чащобам, измотались, изголодались. В конце концов нам удалось выполнить задание и на обратном пути собрать ценные разведывательные данные для нашего командования, но потом долго пришлось приходить в себя.

Эти две ходки в неприятельский тыл прочно скрепили нашу дружбу. Между нами установилось то взаимное понимание, без которого немислима работа разведчиков в паре и которое гарантировало нас от всяких случайностей. Я убедился, что Криворученко, одаренный природной смекалкой, обладает именно теми качествами, которые так дороги в разведке. Горячий и шумный, очень энергичный и деятельный, он отличался смелостью, выносливостью, мог переносить любые невзгоды, приноравливаться к любой обстановке и, когда сталкивался с неожиданным, принимать смелые и остроумные решения.

Домик, в котором квартировал Криворученко, стоял на окраине города, над глубоким оврагом с крутыми склонами, поросшими ольшаником. Оба склона оврага были изрыты небольшими пещерами с узенькими лазами, в них население укрывалось от бомбежки. Окруженный небольшим садиком, домик приветливо и доверчиво смотрел оконцами на улицу. В его старательно протертых стеклах плескалось утреннее солнце.

Меня встретила хозяйка Криворученко — седенькая тихая женщина.

Она отказалась эвакуироваться из города и осталась хозяйничать по дому, заботясь о Семене, к которому привязалась, как к сыну.

Чистота и порядок, царившие в трех маленьких комнатах, были удивительными для этих суровых, беспокойных дней.

Стол под гладкой белой скатертью, кровати, застланные отглаженными кружевными покрывалами, тщательно вымытые полы, много цветов, приятный запах какой-то сушеной травки, и нигде ни паутинки, ни соринки.

— Хорошо у вас! — сказал я, присаживаясь на диванчик.

Хозяйка вздохнула и промолчала. На мой вопрос, где же Семен, ответила:

— По воду пошел. Сейчас явится... Да вот он идет.

В прихожей показался Семен. Он отнес ведра с водой на кухню и вернулся в комнату голый до пояса, босой и, как всегда, веселый.

— Завтракали, Кондратий Филиппович? — спросил он вместо приветствия.

— Не успел, — признался я.

— И отлично! — заметил Семен. — Пока мы будем говорить, мамаша нам что-нибудь сообразит. Пойдемте в сад...

Он вынес во двор байковое солдатское одеяло и расстелил на траве, в холодке. Мы прилегли и поначалу закурili.

Нам предстояло заранее обсудить, как мы найдем друг друга в тылу врага. Надо было разработать несколько вариантов связи, строго учитывая обстановку и режим в оккупированном городе, договориться о сигналах, условных знаках, паролях. Следовательно, определить четкую линию поведения Криворученко и радиста на первых порах после их прыжка с самолета. Наконец, наметить примерную точку, где они должны осесть.

Весь день мы говорили, чертили, спорили, соображали.

7. «АХТУНГ, ПАНЦЕР!»

Спустилась ночь, душная, пасмурная. Безрадостное, сплошь задернутое тучами небо нависло над лесом. Изредка на севере вскидывались сполохи, и после них становилось еще темнее.

Старенький, отживший все сроки «пикап» с трудом пробирался по ухабистой лесной дороге. Осторожно, как будто ощупью, водитель вел его на запад, в сторону переднего края, к участку, где мне предстояло перебираться через фронт.

Я и Семен Криворученко сидели друг против друга в открытом кузове, цепляясь за кабину, покачиваясь из стороны в сторону, дергаясь, подскакивая и съезжая с сидений, когда машину клонило набок или встряхивало.

Машина то и дело попадала в выбоины, садилась на дифер, с отчаянным визгом буксовала и, кое-как выбравшись, продолжала свой путь. Часто останавливались.

Шофер на мгновение включал фары, освещал дорогу, затем вылезал из кабинки и, посвистывая, шел изучать препятствие.

Когда машина останавливалась, слышалось уханье далеких пушек, нас обступало множество лесных шорохов и звуков. Ночной лес жил своей жизнью, нашептывал что-то одному ему известное и нагонял тоску. Верховой ветер, не приносящий прохлады, раскачивал вершины сосен, и они протяжно и заунывно поскрипывали.

Возвратившись, шофер молча садился за руль, долго заводил натруженный мотор, и мы вновь продолжали двигаться вперед, вглядываясь во тьму, окружавшую нас. Нелюдимо и жутковато было ночью в незнакомом месте.

— Разбойничья ночь! — проворчал Семен.

Я промолчал. Ночь и в самом деле была неприятная и тоскливая. Даже говорить ни о чем не хотелось.

— Уж не заблудились ли мы? — сказал вдруг Семен. — Что-то долго ползем.

Я не ответил. Я не думал, что мы заблудились. Ехали мы, сокращая путь и выигрывая время, самой прямой и кратчайшей дорогой, которую показали нам на карте товарищи из разведотдела армии. Но, как иногда получается, самая короткая дорога превращалась в самую длинную, и то, что было так ясно и просто на карте, на местности выглядело необычайно запутанным и сложным.

Около двух часов ночи, с трудом преодолев большой участок лежневки, усталой тонким кругляком дороги через какое-то болото, машина сделала несколько поворотов, с пыхтением и посапыванием вскарабкалась на высоту и остановилась. Мотор вздохнул с хрипом раз другой и заглох. Запустить его вновь не удавалось, несмотря ни на какие усилия. Мы с Семеном улеглись в кузове и заснули. Наш шофер продолжал возиться. Проснулись мы, кажется, очень скоро от шума заработавшего мотора. Начинался туманный рассвет.

Только в два часа пополудни мы добрались до расположения нужной нам части.

Командир полка — широкоплечий, кряжистый, с открытым и простодушным лицом, немного тронутым оспой, — встретил нас приветливо, посмеялся над нашими блужданиями и немедленно усадил за стол. О цели нашего приезда он был предупрежден еще вчера утром.

После простого, но сытного солдатского обеда, состоявшего из жирных щей и пшенной каши с ломтиками сала, мы заговорили о предстоящем деле.

— О вашем переходе, кроме меня, знают еще двое,— сказал комполка,— командир второго батальона и старшина одной из его рот. Оба они люди тертые и умеют держать язык за зубами. По-моему, в вашем деле это самое важное.

Я кивнул. Он снял фуражку, вытер большим, похожим на салфетку, платком обильный пот с начисто обритой головы и усматривая ординарца за кваском.

— Я все продумал,— вновь заговорил он.— Вам повезло. Складывается очень удачная обстановка. Видите ли, что получается.— Он вынул из полевой сумки пухленькую карту-километровку, сложенную квадратиком, и бережно расстелил ее на траве.— Немцы уже пять суток сряду перед рассветом пытаются выровнять вот этот клин и войти в деревеньку. Вот она. Этот клин не дает им покоя. Мы их не пускали, по зубам давали, а теперь пустим.— Он рассмеялся и подмигнул нам.— Понимаете? Пусть жалуют, потом жалеть будут. А вы в деревне спрячетесь. И ничего особенного в этом я не вижу, поверят: после отхода наших войск в деревне остался прятавшийся гражданский человек. Иногда так случается. Случай редкий, но вполне допустимый... Ну, а о чем и как с ними разговаривать, вы знаете сами, и не мне вас учить.

Он замолчал, так как подошел ординарец. Комполка взял из его рук солидную эмалированную кружку с квасом и выпил ее с жадностью.

Когда ординарец ушел, он продолжал:

— Я уверен, что они и сегодня сунут нос. Вот увидите. Заварушка начнется перед рассветом. Немцы — народ педантичный, они любят порядок: все по уставу, по графику...— Он задумался немного и добавил: — Полагаю, что все утрясется, и ничего советовать не буду. Советов на все случаи жизни не бывает. А теперь пойдемте, я вас познакомлю с комбатом. Да, кстати, посмотрите, так сказать, на театр будущих действий.— Он поднялся с земли, крепкий, сильный, оправил поясной ремень, гимнастерку, надел фуражку и обратился к Криворученко: — А вам, мой друг, придется остаться здесь.

Криворученко встал. Он порывисто протянул руку и

посмотрел мне в глаза. Все шло просто, по-деловому, как и должно идти. До этого нам с Семеном приходилось все время бывать вместе: мы вместе перелетали, вместе переходили линию фронта, вместе скитались по вражеской территории, вместе возвращались и отдыхали, а сейчас нас впервые разлучали.

Мне стало грустно. То же, видать, чувствовал сейчас и Семен. Оба мы шли в неизвестность, но шли врозь, предоставленные каждый себе. Он молча смотрел на меня, и его глаза как бы говорили: «Мы еще встретимся. Безусловно, встретимся. И сделаем все, что нужно. На меня ты можешь положиться».

— Что ж, Семен...— нарушил я затянувшуюся паузу.— Давай прощаемся...

Криворученко шагнул ко мне и сильно обнял. Мы расцеловались.

— Добре! — заметил почему-то командир.

— До встречи, Кондратий Филиппович! — взволнованно проговорил Семен, трясая мою руку.— Я отыщу вас где угодно, хоть в аду. От всей души желаю вам успеха!

— И тебе тоже,— ответил я и предупредил: — Обязательно сделай два-три пробных прыжка с парашютом. Обязательно...

— Да, да. Прыгну, не беспокойтесь...— заверил Криворученко и обратился к командиру: — Мне подождать вас?

— Да, лучше подождите,— отозвался тот.— Я быстро. Обратно поедете с моим человеком и уже блуждать не будете.

Я пошел следом за командиром и до того пенька, у которого тропинка сразу круто поворачивала, дважды обернулся.

Криворученко стоял у входа в землянку не двигаясь и провожал нас взглядом.

Через несколько минут на лесной тропе нас встретил небольшого роста, аккуратный и подтянутый командир второго батальона с капитанскими шпалами на петлицах. Я сразу обратил внимание на его сосредоточенно-хмурый вид. Ему, наверное, не было еще тридцати лет, но черные волосы на висках уже поблескивали сединой. Темные, немного выпуклые глаза его смотрели спокойно, но в них таилась какая-то неизжитая боль.

Командир полка познакомил нас, и дальше мы пошли втроем.

Комполка на ходу задавал капитану вопросы по службе, тот отвечал коротко и деловито. Потом речь зашла о моем переходе, и комбат уверенно сказал, что, конечно, немцы и завтра утром вновь попытаются выровнять участок своей передовой.

Лес неожиданно расступился, и нашему взору открылась небольшая деревенька, вытянувшаяся вдоль косогора. По правую сторону понуро и жалко сутулились давно покинутые хозяевами рубленые домики, все казавшиеся на один лад, а по левую — тянулись погребов с присыпанными землей крышами. От деревни веяло нежилым духом. Сиротливо глядели пустыми окнами избы, от частокотов уцелели лишь торчащие колья, на крышах погребов буйно рос бурьян. И не красили обезлюдевшую деревню местами сохранившиеся резные коньки, петухи на крышах, наличники с затейливыми узорами на окнах.

Командир полка протянул руку вперед и сказал:

— Тут и облюбуйте себе местечко для ожидания. Лучше всего забраться в погребок. Надежнее. Но не прячьтесь, а стойте так, чтобы вас можно было сразу увидеть.

Я не понял.

— Видите, в чем дело... — объяснил комполка. — Я по опыту знаю, что гитлеровцы, занимая населенный пункт, как правило, закидывают погребов гранатами. Это надо помнить.

Я кивнул. Совет был полезный.

Комполка обратился к батальонному:

— Кто сейчас в моей прежней землянке?

— Старшина, сержант и парикмахер, — ответил тот.

— Ага... Вот там вы и поместите нашего гостя.

— Есть, — сказал комбат. — Я так и намерен был поступить.

Миновав деревню, мы вошли в лес и направились к большой землянке между четырьмя высокими, с пышными кронами соснами. Землянку покрывал свежий дерн, под ним — толстые бревна в три наката. Неожиданно прорвавшийся сквозь облака луч солнца, клонящегося к закату, яркой полосой лежал на переднем стояке.

Мы спустились в землянку.

Уже немолодой, с обвисшими рыжими усами старшина считал комплект летнего обмундирования, перекладывая его из одной груды в другую. При нашем появлении старшина бросил счет, вытянулся, привычным движением вскинул руку к лихо заломленной пилотке и по уставу представился.

Это был тот самый старшина, о котором говорил командир полка.

Он назвал себя:

— Пидкова.

Землянка была глубокая, просторная, с широкими и прочными нарами вдоль трех стен. Ее меньшая часть отделялась подвешенными к потолку плащ-палатками. Я заглянул туда: чисто, опрятно. На срубке висели зеркала и несколько открыток, с которых смотрели знакомые лица киноактеров.

— Временного квартиранта к вам привел,— представил меня командир полка.— Это... гм... военный корреспондент. Прошу любить и жаловать.

— Так точно,— ответил старшина.— Я имею указание от товарища капитана.

— Как только фрицы начнут атаковать,— сказал комполка, понизив голос,— вам, старшина, поручается проводить товарища в деревню и выбрать там погреб понезаметнее.

— Есть, проводить в деревню и выбрать погреб...

Мы покинули землянку. Командир полка распрощался со мной, пожал руку, пожелал удачи и, оставив меня на попечение комбата, отправился к себе.

— Есть не хотите? — осведомился капитан.

Я ответил, что уже обедал. Он помолчал, затем, глядя в сторону, тихо спросил:

— В первый раз идете туда?

Я пожал плечами.

— Да, да,— виновато сказал капитан.— Мне не следовало спрашивать. У каждого свое. Я только хотел сказать, что к таким вещам, наверное, трудно привыкнуть. Каждый раз должно казаться, что это в первый раз...

В его словах была правда. Несмотря на тренировки и уже приобретенный опыт, я и в этот раз шел на задание с таким же чувством, с каким шел впервые. Да иначе, видимо, и не могло быть. Очень мало сходного было

во всех заданиях, непохожая обстановка и разные обстоятельства сопутствовали каждому из них. Но я опять ничего не сказал. Мы присели на сваленную сосну, закурили. Мало-помалу угасал день, и уже исчез последний закатный луч солнца. Вечер был ясный, но быстро сгущались сумерки, заволакивая все вокруг.

Комбат сказал мне, что эти места — его родина, что вот пришлось воевать здесь — кто мог подумать! — затем он принялся подробно описывать прелести здешних мест...

В землянку я вернулся, когда стемнело и на небе выпали звезды.

Налицо были все обитатели землянки: старшина Пидкова, маленький курносый сержант и миловидная, лет двадцати, девушка, оказавшаяся батальонным парикмахером. Они сидели за жиденьким столом, с кривыми, крест-накрест, березовыми ножками, и аппетитно уплетали из одного котелка крутую гречневую кашу.

— Як хочете исты, товарищ корреспондент, — предложил мне старшина, — то сидайте з нами вечеряти, а як ни, то видпочивайте.

Я есть не хотел и решил отдохнуть. Место мне было уже приготовлено: на нарах постланы две шинели, покрыты плащ-палаткой, а под голову вместо подушки положен противогаз. Я прилег и стал глядеть в низкий потолок землянки. Спать мне не хотелось, хотя в прошлую ночь, в дороге, я спал не больше двух-трех часов.

Старшина старательно облизал деревянную ложку, засунул ее за голенище сапога, выбрался из-за шагкого стола и сказал:

— Видтого козак и гладок, що поив, та и на бок.

Но он лег не сразу, а принялся оправлять коптилку, смастеренную из стреляной артиллерийской гильзы. Он отщипнул черный нагар, подправил фитиль, и в землянке стало чуть-чуть светлее. Затем он лег, а рядом с ним расположился и сержант.

Девушка принялась убирать со стола, что, видимо, входило в ее обязанности, и тут же запела песню про Катюшу. Она пела все один и тот же куплет, начало песни:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...

Голос у нее был мягкий, грудной, показавшийся мне вначале приятным, но одни и те же слова песни, повторяемые раз за разом, действовали неприятно, вызывали досаду и раздражали.

Вначале я пробовал мысленно подпевать девушке, мне когда-то нравился мотив этой простой песенки, а потом у меня засосало под ложечкой, и я заерзал на своем жестком ложе.

А девушка все продолжала тянуть одно и то же. Это, видимо, вызывалось какой-то внутренней потребностью и доставляло ей удовольствие. Может быть, пение давало разрядку нервному напряжению. Девушка уже сидела в своем уголке, и по тени на стенке я видел, что она расчесывает волосы.

Старшина не вытерпел.

— Марусь! — с тоской в голосе взмолился он. — Змины пластинку! Хай воны скажутся, твои яблони и груши. Душу прямо вывертае!

— Станный вы человек, товарищ Пидкова, — обиженно отозвалась девушка. — Даже песен не любите!

Старшина вздохнул и ничего не ответил.

— Вот товарищ корреспондент, — продолжала она, — не обижаются же...

Я сделал вид, что сплю, и промолчал, хотя чувствовал, что девушка рассчитывает на мою поддержку.

Тогда она обратилась к сержанту:

— Товарищ Катков, вас беспокоит мое пение?

— Я и не такое могу выдержать... — дипломатично ответил сержант.

Старшина захохотал и закашлялся. Я не вытерпел и тоже фыркнул. Маруся умолкла. Наступила тишина. Из леса доносилось кваканье лягушек на болоте и унылые крики неведомой ночной птицы.

Я понимал, что мне надо уснуть, чтобы к утру чувствовать себя бодрым. Я пытался уснуть, накрыл ухо фуражкой для уюта, плотно закрыл глаза, старался считать, но из моих попыток ничего не получалось. Сон, особенно нужный сейчас, не приходил. Слишком велико было нервное напряжение. Так случалось всегда, когда я не мог себе отчетливо представить, что ждет меня в ближайшие часы. Приходили и тут же мгновенно улетучивались тысячи мыслей, и ни на одной из них я не мог сосредоточиться.

Эти мысли утомляли и не давали спать. Иногда я впадал в тревожное забытие, потом вдруг вздрагивал от какого-то внутреннего толчка, всматривался в острый язычок пламени коптилки и опять лежал с открытыми глазами, вслушиваясь в тишину. А ее нарушали по-прежнему лишь кваканье лягушек и тоскливые птичьи выкрики. Но почему птичьи? Может быть, это кричит не птица? Может быть, это подают условные сигналы гитлеровские солдаты? Я напряженно вслушивался. Крик следовал через определенные интервалы, начинался с низкой ноты и кончался высоким, пронзительным воем. Я прислушивался и... незаметно уснул.

Проснулся я мгновенно от гулких и близких разрывов. В землянке стояла кромешная тьма и слышался голос старшины:

— Скорийше, товарищ! Переодевайтесь. Скорийше! Бой иде.

Я вскочил и мгновенно переоблачился в приготовленную заранее одежду — синюю косоворотку и старую ватную стеганку. Брюки на мне были солдатские, много раз стиранные, сапоги кирзовые. За пазуху сунул мятую шапку. Чтобы не смущать своим видом бойцов, я накинул на себя длинную плащ-палатку и плотно закутался ею. На этот «маскарад» ушло не более двух минут.

Откинув полог у входа в землянку, я увидел бледное, предрассветное небо. Старшина торопливо запикивал что-то в вещевой мешок и помигивал ручным фонарем.

— Берить ноги в руки и за мной!.. — скомандовал он и выбежал из землянки.

Я последовал за ним. Сердце гулко колотилось в груди, но бежать было легко — я словно не чувствовал веса своего тела.

Немцы вели беглый минометный огонь по расположению батальона. Мины рвались слева, видимо в деревне, взметая комья земли, космы желтого огня, траву и кустарник. Сзади слышались автоматные очереди.

— Сюды... сюды! — звал меня старшина хриплым шепотом. — А то як раз пид вогонь сунемся... — И, круто взяв влево, он кубарем покатился в овраг, замеченный мною вчера.

Мы бежали по дну оврага, продираясь сквозь кусты орешника. Ветви хлестали по лицу. Над нами сверху уже

строчили звонкие пулеметные очереди, глуховатые разрывы ручных гранат.

Старшина, за которым я следовал по пятам, стал карабкаться по крутому склону оврага. Добравшись до его края, он высунул голову, огляделся и подозвал меня. В нескольких метрах от нас виднелся погреб.

Старшина перевел дыхание, смахнул рукавом пот со лба и подал мне свою большую, теплую и влажную руку.

— Бувайте здоровеньки!.. Ховайтесь пошвидче у погреб. Воны зараз тут будуть... Счастливо!

Он скатился на дно оврага и исчез в орешнике.

Я остался один. Надо было скорее укрыться в погребе. Я скинул с себя плащ-палатку, отбросил ее подальше и вылез на край оврага. Я хотел было уже ползти вперед, как вдруг перед глазами вспыхнул ослепительный огонь. Гулко лопнула мина. Осколки ее со свистом разлетелись в стороны, не тронув меня. В ушах остался звон. Я приподнялся и на четвереньках преодолел расстояние, отделявшее меня от погреба. Потом быстро юркнул в распахнутую дверь и скатился по трухлявым ступенькам. В лицо пахнуло гнилью, сыростью и затхлым воздухом. Уже внизу я присел на корточки и почувствовал, как трясутся ноги.

В дверной проем лился бледный, утренний свет. Навверху раздавались хриплые крики, стрельба, тяжелый топот пробегающих людей, а в погребе было тихо, как под водой.

Потом грохнул взрыв, и на меня что-то посыпалось. Следом раздался второй, третий. Я вспомнил предупреждение командира полка о том, что гитлеровцы обычно закидывают погреба гранатами. Я не причисляю себя к робкому десятку, но тут сердце мое повело себя не особенно благоразумно. Ему, очевидно, показалось в груди тесновато и захотелось вырваться на свободу.

Я не то чтобы «праздновал труса», но, как выражался Семен Криворученко, немного «труханул». Это не зависело от разума, хотя и разум настойчиво подсказывал мне, что крайне нелепо погибнуть в погребе от вражеской гранаты. Поэтому я поднялся ступеньки на три, прижался к сырой земляной стене и стал ждать. Ожидание показалось мне бесконечно долгим.

Бой шел на убыль, минометный обстрел прекратился,

да и автоматные очереди становились всё реже. Наконец все стихло.

Я поднялся еще на одну ступеньку, и вдруг в дверях появились два гитлеровских солдата. Увидев меня, они отпрянули назад, вскинули автоматы.

И один из них испуганным тонким голосом закричал:

— Хальт!¹

Я замер на месте, невольно всматриваясь в лица врагов и ожидая, что они предпримут дальше. Наступил самый опасный момент. Эти обалдевшие от страха и злобы болваны могли без всяких разговоров тут же пристрелить меня.

— Хенде хох!² — приказал все тот же солдат, что был повыше ростом.

Второй добавил по-русски:

— Рукам горю!

Я вскинул руки и, в свою очередь, громко крикнул:

— Ахтунг, панцер!³

Солдаты недоумевающе переглянулись. Потом тот, что повыше, ухмыльнулся, дотронулся пальцем до своего лба и сказал:

— Дер ист вольт феррюкт!⁴

— Ахтунг, панцер! — настойчиво повторил я, и собственный голос показался мне далеким, неестественным, принадлежащим кому-то другому. — Гауптман Гюберт!

Гитлеровцы вновь переглянулись.

— Мне нужен гауптман Гюберт, — сказал я.

— Раус!⁵ — бросил мне высокий и, видя, что я не понимаю его команды, жестами предложил мне выйти наружу. — Шнель раус!..⁶

Я поднялся наверх. Ко мне уже вернулось самообладание: сердце перестало частить, ноги твердо стояли на земле. Самое опасное, кажется, миновало. Если они меня не убили сразу, то теперь, наверное, не станут этого делать. Итак, я уже в стане врагов.

Высокий солдат взял из рук своего товарища автомат, отступил на несколько шагов и предложил ему:

¹ Стой!

² Руки вверх!

³ Внимание, танки!

⁴ Наверное, сумасшедший!

⁵ Выходи!

⁶ Выходи быстрее!..

— Лейбес визитацион!¹

Второй подошел ко мне вплотную, быстро вывернул мои карманы и вытряхнул из них пачку папирос, спички, перочинный нож, зеркальце, расческу, носовой платок, мелкие деньги. Высокий рассовал все по своим карманам.

Затем последовала команда «Марш!», и меня подтолкнули.

Когда я сделал несколько шагов, сзади раздался взрыв: один из немцев бросил гранату в погреб, где я скрывался, опасаясь, видимо, что там мог быть еще кто-нибудь.

Мы обошли деревеньку, не встретив на пути ни одного человека, вошли в лес, перебрались по шаткому мостику через проток с черной водой, спустились в пустой ход сообщения, глубокий, в полный рост человека, и, наконец, вышли в тыл гитлеровской части.

Тут царило оживление — волокли станковые пулеметы, минометы, несли на носилках раненых. Вокруг офицера стояло несколько солдат, и он отрывистыми фразами давал им какие-то указания.

Мы проследовали дальше, не вызвав к себе никакого интереса, и остановились возле землянки с толстенным бревенчатым покрытием. Высокий конвоир куда-то ушел, а второй остался сторожить меня. Он уселся на крышу землянки, свесил ноги и закурил.

На востоке, за стеной леса, небо становилось все румянее, и вот-вот должно было показаться солнце. Негустой туман плыл над поляной, по которой сновали немцы.

В землянку один за другим забежали четыре солдата и, побыв там немного, выскочили.

И до чего же смешно мне было после вспоминать о своих нелепых думах в эти минуты ожидания! Я только что избег смертельной опасности. Еще полчаса назад нельзя было предвидеть, что со мною будет. Я оказался в совершенно новой для себя обстановке. Правда, мне не раз приходилось бывать в тылу врага. Но я бывал либо один, либо со своими, и если входил в соприкосновение с фашистами, то только для того, чтобы бить их, стрелять в них... Сейчас я находился среди врагов как

¹ Обыщи его!



Мы перебрались по шаткому мостику через прогон с черной водой.

пленный, но вместе с тем и как «свой» — по той роли, которую я с этого момента уже должен был играть. Сейчас все зависело от каждого моего слова, поступка, движения, мимики... А на какой мысли я сейчас себя ловил? Я думал... о своем перочинном ноже, который попал в карман высокого солдата. Смешно, но это так: думал о ноже, сожалел, что захватил его с собой в эту ходку и потерял навсегда. Нож этот мне подарил начальник связи полка еще в финскую войну. Вернее — не подарил, а дал взамен портсигара, полученного от меня. И ничего особенного этот нож не представлял собой — обычный нож, каких сотни и тысячи, а мне было жаль с ним расстаться...

Ожидание возле землянки затянулось. Мой караульный принялся уже за вторую сигарету, а я, глядя на струйки табачного дыма, глотал слюнки. Хотелось курить и хотелось есть. Я знал по опыту, что голод возвращается вместе со спокойствием и уверенностью в себе. Я пожалел, что отказался вчера ночью от гречневой каши, предложенной старшиной.

Наконец вернулся высокий солдат, и меня сейчас же втолкнули в землянку.

За столом, сложенным из снарядных ящиков, сидел младший лейтенант, окруженный множеством телефонных аппаратов. Они попискивали на разные голоса, и этот лейтенантик едва успевал хватать трубки. Он почти ничего не говорил, а только называл себя и что-то записывал в толстую тетрадь.

Мне показали на перевернутый ящик. Я сел. Конвоиры вышли, а вместе с ними безвозвратно исчез и мой перочинный нож. Я вспомнил о нем в последний раз и еще раз пожалел, что взял его с собой.

Прошло, должно быть, еще минут двадцать, прежде чем в землянку ввалился тучный обер-лейтенант с бледным жирным лицом и трубкой во рту. Он прилично владел русским языком и приступил к допросу. Узнав, что я иду на встречу к гауптману Гюберту, и услышав пароль, он понимающе подмигнул и поинтересовался, как удалось мне так удачно проскочить на их сторону. Я объяснил, что три дня ждал в деревне, в погребке, удобного случая для перехода. Обер-лейтенант спросил мою фамилию, имя, отчество, возраст и записал ответы в записную книжку.

Младший лейтенант не обращал на нас никакого внимания — телефоны одолевали его.

— Подождите меня здесь, — сказал обер-лейтенант, собираясь покинуть землянку.

В эту минуту тишину на передовой сменила пальба. Дружно застучали пулеметы, захлопали мины, густо застрекотали короткие автоматные очереди.

Обер-лейтенант прислушался, приподняв белые брови, пососал потухшую трубку и, бросив мне: «Я сейчас», быстро вышел из землянки.

Бой разгорался, огонь усиливался, и мне вспомнились слова командира полка: «Пусть жалуют, потом жалеть будут».

Минут через десять — пятнадцать обер-лейтенант, потный и задыхающийся, ввалился и предложил мне следовать за ним. Мы не шли, а бежали лесом: обер-лейтенант впереди, а я следом, пока не выбрались на дорогу. В стороне от дороги стоял испятнанный маскировкой лимужин «Адлер».

Обер-лейтенант усадил меня на заднее сиденье, рядом с каким-то полусонным лейтенантом, а сам пристроился возле шофера.

Машина тронулась и побежала на запад.

У самой переправы через реку нас догнал мотоциклист. Он промчался вперед, соскочил с седла и поставил мотоцикл поперек дороги.

Мы остановились. Обер-лейтенант открыл переднюю дверцу. Мотоциклист передал ему объемистый пакет и сказал по-немецки:

— Русские отрезали наших в деревне. Майор убит.

— Доннер веттер! — выругался обер-лейтенант и в сердцах сильно хлопнул дверцей.

Дремавший лейтенант произнес только одно слово:

— Ферфлюхт!¹ — и вновь задремал.

Машина понеслась по накатанной дороге, поднимая за собой облако пыли.

Я не знал, куда меня везут, и не хотел обращаться с расспросами к обер-лейтенанту. Я знал только, что углубляюсь в логово врага и что каждый оборот колеса приближает меня к Гюберту и его осиному гнезду.

¹ Проклятие!

8. ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ НА ЛБУ

Ночь тянулась томительно, казалось, что ей не будет конца. Машина медленно пробиралась по лесной дороге. Я уже потерял представление о времени и не делал больше попыток уснуть.

А мой сосед, очень флегматичный и неразговорчивый субъект, не терял времени понапрасну и спал. Правда, спал он довольно чутко: стоило машине остановиться хотя бы на минуту, как он просыпался и осведомлялся, приехали ли мы наконец на место или все еще находимся в пути. Но стоило машине тронуться, как он вновь погружался в сон, и его похрапывание вторило урчанию мотора.

Наконец на одной из остановок обер-лейтенант, не сказав ни слова, покинул свое место и, сделав шаг от машины, растворился в темноте. Шофер тоже вышел, откинул капот и принялся возиться в моторе.

Сосед мой проснулся, зевнул и спросил по-немецки:

— Кажется, приехали?

Никто ему не ответил.

Он поерзал на месте, побряхтел и опять завалился на бок.

Я открыл дверцу и вышел. Машину плотно обступал лес. Я всмотрелся в темноту и через некоторое время заметил очертания двух небольших домиков, проступающие на фоне леса сероватыми пятнами. В одном из них сквозь неплотную маскировку пробивался чахлый огонек.

От долгой и почти непрерывной езды шумело в голове. Тело ныло от усталости.

От голода сосало под ложечкой, хотелось курить... «По-свински обращаются со своими кадрами господа гитлеровцы», — подумал я, усмехнувшись.

Знобкий ветерок, предвестник осени, шелестел по лесу. Я решил уже вернуться в машину (в ней было теплее), но тут показался обер-лейтенант и предложил следовать за ним.

Мы направились к домикам. Возле одного из них бродил часовой. Обер-лейтенант вполголоса сказал ему что-то, и мы вошли в дом.

Дом состоял из одной просторной комнаты и освещался площадками. Воздух был наполнен копотью, сигаретным

дымом и запахом давно не мывшихся людей. В комнате находилось четверо немцев — все солдаты. Один из них разговаривал по телефону, а остальные вытянулись, отдавая честь вошедшему офицеру.

Когда солдат у стола положил трубку, обер-лейтенант обратился к нему:

— Ну, выяснили?

— Так точно. Продолжать путь дальше на машине невозможно. Дорога никуда не годится. Приказано отправиться утром на подводе.

— На какой подводе?

— Подвода пойдет от нас в город за продуктами.

Я сообразил, что речь идет о моей дальнейшей транспортировке.

Обер-лейтенант подтвердил мою догадку, сказав:

— Завтра утром вас доставят к гауптману Гюберту. Тут уже недалеко.

Я кивнул головой.

— Леген зи зихь! Руен зи зихь аус! — обратился ко мне солдат.

Я сделал вид, что ничего не понял, недоуменно пожал плечами и посмотрел на обер-лейтенанта.

Тот сказал мне по-русски:

— Ложитесь на скамью и отдыхайте до утра.

Ничего другого в эту минуту я и не хотел. Войдя в душную комнату, я сразу почувствовал страшное утомление и неодолимую потребность лечь. Не ожидая вторичного приглашения, я направился к узкой скамье, врезанной в бревенчатую стену, и улегся.

Обер-лейтенант и солдат разговаривали. Речь шла о заправке машины на дальнейший путь и о заезде куда-то. Обер-лейтенант сказал, что ему потребуется не меньше тридцати литров бензина. Солдат ответил, что бензин выдаст, но попросил расписку.

Обер-лейтенант вынул из офицерской сумки блокнот, написал на листочке оправдательный документ и вручил его солдату. Затем они вместе покинули комнату.

Почему я до сих пор помню эти ничтожные мелочи? Видимо, несмотря на страшную усталость, автоматически действовал мозг разведчика: он фиксировал каждое слово, каждое движение вокруг...

Трое оставшихся солдат тихо, вполголоса, говорили.

На меня паваливалась дремота, но все же и полусонный я уловил фамилию Гюберта. Усилием воли я заставил себя вслушаться в разговор и понял, что гауптман Гюберт еще не вернулся и его ожидают под утро.

Мысли мои путались, я погружался в приятную теплоту, и сон быстро одолел меня. Спал я беспокойно. Напряжение прошедших суток сказывалось. Я видел бесконечную вереницу тяжелых бредовых снов. То мне чудилось, что я окружен где-то в городе кучкой гестаповцев. Им якобы отлично известно, кто я.

Они смеются мне в лицо. Потом они опутывают меня толстой и жесткой веревкой и толкают в спину раз, другой, третий, наконец, мои ноги теряют опору, я лечу куда-то в бездну и с придушенным криком просыпаюсь. Солдат, который дежурит за столом у телефона, смотрит на меня, трое остальных храпят на скамьях вдоль стен. Я лежу несколько секунд с открытыми глазами и засыпаю вновь. И вновь меня давят кошмары.

Проснулся я от толчка. Передо мной стоял пучеглазый солдат. Жестами он предлагал мне подняться. Я вскочил. Уже занималось неяркое утро. Оба окна были настежь открыты, и комната наполнена прохладой. Солдат жестами пригласил меня к столу. Я выпил какую-то бурду, напоминающую кофе, и съел две твердые галеты.

Затем мы вышли из дома. В лесу деловито, по-хозяйски, постукивал дятел и звонко перекликались иволги. Я быстро осмотрелся. Домики, рубленные из сосновых бревен, стояли на краю просторной поляны. Над входом в избу, в которой я провел остаток ночи, красовалась небольшая аккуратная вывеска. На ней желтым по черному было написано: «Форстерей» — по-немецки и «Лесничество. Опытная станция» — по-русски.

«Странное лесничество», — подумал я.

Солдат вывел из сарая пару тяжелых лошадей с мохнатыми ногами и впряг их в укрытую под навесом повозку. Два других солдата сидели на крылечке и остреливали, покатываясь со смеху. Их громкий смех и взвизгивания врывались в торжественную тишину окружавшего нас чудесного лесного утра. Я прикусил губу...

Под застрехой навеса шумно копошились и отчаянно чирикали воробьи. Пучеглазый солдат ткнул в застреху

штыком, и оттуда сорвалась испуганная воробьиная ватага.

Мы тронулись.

Повозка запрыгала по лесной кочковатой дороге. Я подложил под себя побольше влажного, свежескошенного сена, уселся поудобнее и стал разглядывать своих спутников.

Это была все та же троица солдат, которая ночевала в избе. Все они были по виду нестроевые и, наверное, обозники. У того, что правил лошадьми, запомнилась мне широченная, жирная спина и отвислые плечи. Пучеглазый, разбудивший меня, был худ и тщедушен. У него было желтое лицо, и он производил впечатление больного человека. Никто из них не обращал на меня никакого внимания.

Восход солнца застал нас в пути около небольшого болотца. Над ним держался плотный голубоватый туман, сквозь который пробивались солнечные лучи. В болотце плескались нырки.

Дорога спустилась в низину, под копытами лошадей захлупала грязь.

За поворотом дороги открывалась лесная опушка. Тут устроили привал. Расположились, не выпрягая лошадей, у давно покинутого избяного сруба. Сруб стоял, как отшельник, у стены леса, покосившийся, посеревший, обросший мхом, с прогнившей щепной крышей. Рассохшаяся дверь висела на одной петле, вместо окон зияли проемы.

Я заглянул в нутро сруба. Общипанная старая ворона, хозяйничавшая там, с тревожным криком метнулась в оконный проем, перепугав солдат.

На опушке, залитой еще холодным солнечным светом, мы почистили обувь и привели в порядок свою одежду.

Меня угостили сигаретой, и я закурил — впервые на чужой стороне. Потом мы вновь уселись в повозку и тронулись дальше.

Лес все больше дичал и приобретал мрачно-торжественный вид. Густые, пышные кроны сосен сплетались вверх, образуя подобие плотного, почти непроницаемого шатра, сквозь который с трудом пробивались лучи солнца. В таких местах и в самый солнцепек царят полумрак и прохлада.

Пошла песчаная дорога. Она вилась между медно-красными стволами, делая замысловатые повороты.

Из слов, которыми обменивались солдаты, я понял, что недалеко до жилья. И верно: вскоре лес стал редеть, в просветах между деревьями замелькали строения. Лошади приободрились и перешли на рысь.

На развилке дорог повозочный решительно свернул влево и вывез нас на светлую, большую поляну. Я увидел несколько больших рубленых домов, тесно сбившихся в кучку и обнесенных тремя рядами колючей проволоки. На ней были развешаны фанерные дощечки с крупными надписями: «Ахтунг! Минен!» — «Внимание! Мины!»

Повозка остановилась у ворот, возле которых прогуливался часовой. Над воротами висели таблички: «Вход воспрещен!», «Предъяви пропуск!»

За домами и за проволочной оградой виднелся детский гимнастический городок: невысокий турник, горка, шведская лесенка, бум, столб для гигантских шагов, а за городком начинались густые заросли красного папоротника. Над крышами домов провисала длинная радиоантенна. Я смотрел, стараясь запомнить каждую мелочь.

Пучеглазый солдат вступил в переговоры с часовым. Тот дернул за конец проволоки, болтавшейся на воротах, и где-то мелодично забренчал колокольчик.

Я спрыгнул с телеги, прошелся и почувствовал, что ладони рук стали влажными. «Нехорошо,— подумал я.— Это признак волнения, а волноваться мне не полагается. Подтянись, держись молодцом!» Я был твердо уверен, что нахожусь у ворот осинового гнезда. И я не ошибся.

В ответ на звон колокольчика последовал резкий свисток, и часовой пропустил пучеглазого на территорию «Опытной станции».

Солдат поманил меня рукой, и мы, пройдя за проволочную ограду, подошли к большому дому. Зеленый пышный лишайник, напоминающий жатый бархат, густо покрывал его нижние венцы. Солдат открыл на себя тяжелую дверь, обитую войлоком, пропустил меня вперед и вошел следом. Мы оказались в просторной, чисто подметенной комнате с голыми бревенчатыми стенами. У окна за столом сидел плотный унтер-офицер, занятый делом, которое его, видно, очень занимало: ученической ручкой с пером он гонял по столу большого жука-носорога. Жук

пытался удрать, но унтер его не пускал. Выведенный из себя, жук злился, временами останавливался, свирепо топорщил надкрылья и поднимался на дыбки, издавая при этом какой-то шипящий звук. Унтера это очень радовало. Он так увлекся травлей жука, что даже не обернулся при нашем появлении.

Писк телефона прервал его развлечение. Он схватил трубку, вскочил с места, загремев стулом, и, оглянувшись на меня, отбарабанил кому-то:

— Хир унтер-офицер фон динст Курт Венцель... Яволль, эр ист хир. Цу бефель!¹

Он подошел ко мне и принялся выворачивать мои уже до него опустошенные карманы.

Я не услышал скрипа двери и шагов и поэтому невольно вздрогнул, когда позади раздался глуховатый, словно из сундука, голос:

— Это вы, что ли, к господину Гюберту?

Вопрос был задан по-русски.

— Так точно,— ответил я и обернулся.

Передо мной стоял, широко расставив тонкие ноги, обтянутые бриджами, хлипкий пожилой человечек довольно уродливого сложения. Измятый мундир топорщился на нем. Лицо человечка с большим лбом и водянисто-мутными глазами было вдоль и поперек изрезано глубокими морщинами. Руки он держал в карманах.

Я смотрел на него, а он бесцеремонно, с любопытством разглядывал меня.

Покачиваясь с пяток на носки и склонив набок свою маленькую головку, он задал второй вопрос:

— Где вы ночевали?

Я оглядел короткие голенища его сапог, едва доходявшие до икр, и ответил, что спал в лесу, в избе под вывеской «Лесничество».

— Ага... — протянул человечек. — Понятно... Пойдемте, я вас проведу.

Я сразу определил по его речи, что имею дело с русским. Кем он был, как сюда попал, какую роль выполнял, пока было трудно сказать. Предатель, по всей видимости.

¹ Дежурный унтер-офицер Курт Венцель слушает... Так точно, он здесь. Есты!

Мы вышли, оставив унтера с жуком и пучеглазым солдатом, моим конвоиром.

Пересекая наискось небольшой двор, я заметил, что дома — их насчитал шесть — стоят в определенном порядке, образуя нечто вроде буквы П, и что, кроме домов, здесь сохранились и всякие подсобные служебные постройки.

Дом, к которому меня подвел человек, стоял на высоком кирпичном фундаменте, был обшит тесом, украшен желтыми резными наличниками и выглядел свежее остальных.

Внутренне волнуясь, я следовал за своим провожаемым. Ведь я был у самой цели своего путешествия. От того, какое впечатление я произведу с самого начала, должно зависеть многое.

Мы поднялись по ступенькам на крыльцо, обнесенное перилами, миновали прихожую. Пол ее был застлан ковром, на круглом столике, покрытом цветной бархатной скатеркой, стоял графин с водой; к глухой стене прижался диван. В первой комнате, видимо столовой, я успел разглядеть большой стол, окруженный стульями, посудный шкаф, картины на стенах. В следующей комнате за письменным столом стоял немецкий офицер в чине капитана, в полной военной форме. Я взглянул на него и только невероятным усилием воли сохранил на лице маску равнодушной готовности ко всему, которую напялил на себя со вчерашнего утра. Передо мной был не кто иной, как «Вилли», тренер футбольной команды, о котором рассказывал полковник Решетов. Шрам! Шрам на лбу, идущий к левой брови...

Несмотря на уже значительный опыт в разведывательной службе, меня всегда поражали такие совпадения, когда в известной степени умозрительные, еще не проверенные агентурные данные вдруг воплощались в реальную действительность. Какое-то сообщение мало осведомленного человека, сделанное когда-то, вдруг облекалось в плоть и кровь. «Вот что значит особая примета для разведчика!» — мелькнуло у меня в голове.

Гауптман пронизывающе смотрел на меня прозрачными, стального оттенка, блестящими глазами. Взгляд у него был режущий, твердый.

Я ждал.

Наконец гауптман Гюберт — а это был он — произнес по-немецки первую фразу:

— Что вам угодно здесь?

Я пожал плечами и сделал вид, что не понял ни слова. Гюберт продолжал сверлить меня холодным взглядом. Потом он вышел из-за стола, прошелся по комнате, внимательно осмотрел меня сбоку, сзади и уже по-русски спросил:

— Каким языком владеете?

— Кроме русского, никаким, — ответил я.

Гюберт остановился против меня. Теперь я рассмотрел его лучше.

Он был старше меня, высок, статен и, надо отдать должное, даже красив. У него было удлиненное лицо с высоким лбом, немного тяжелый подбородок, надменные, со злым и острым изломом брови, прямой нос, тонкие, резко очерченные губы и суровые линии у рта. Хорошо приглаженные волосы были разделены косым пробором. Весь облик гауптмана говорил о воле и решительности.

Подойдя к столу, Гюберт вынул из портсигара сигарету, закурил. Все это он проделал размеренными движениями человека, вполне уверенного в себе.

Несмотря на высокий рост, походка его была мягкой и гибкой, даже несколько крадущейся.

— Чем могу служить? — спросил он, элегантно жестом вынув папиросу изо рта.

— Я к вам от господина Саврасова.

Гюберт искусно изобразил на лице недоумение и, прищурив один глаз, поинтересовался:

— От какого Саврасова?

«Начинается... — подумал я. — Начинается экзамен на разведчика».

— От того инженера Саврасова, к которому вы послали Брызгалова, — пояснил я.

Гюберт продолжал курить, смотрел на меня с непроницаемым лицом и после новой, долгой паузы спросил:

— Вы знаете Саврасова?

— Да.

— Брызгалова?

— Тоже.

— Кого же вы узнали раньше? — И я почувствовал режущий взгляд его глаз.

- Брызгалова. Он послал меня к Саврасову.
- Когда вы появились на нашей стороне?
- Вчера на рассвете.
- Каким путем?
- Отсиделся в деревенском погребе и перешел передовую по паролю: «Ахтунг, панцер! Гауптман Гюберт!»
- С приключениями?
- Без приключений.

Гюберт ставил вопросы резко, точно командовал. Я старался отвечать на них возможно быстрее и лаконичнее.

— Вас допрашивали?

— Да. Со мной говорил офицер на передовой, владеющий русским языком.

Гюберт сдвинул брови и отдал распоряжение моему провожатому:

— Полный туалет, новую экипировку, накормить — и ко мне...

Это он сказал по-немецки.

— Пойдемте,— пригласил меня провожатый.

— Беседу продолжим,— предупредил Гюберт.

«Кажется, не поверил ни одному моему слову,— подумал я.— Самое страшное впереди».

Но хорошо, что дана передышка. Любая передышка давала мне возможность подумать, взвесить вопросы, сопоставить их, попытаться уловить их общую тенденцию. Что ж, скрестим шпаги, поборемся. Хотя... эта же передышка продолжала держать меня в крайнем напряжении.

Мой провожатый отвел меня в домашнюю баньку, где я отлично помылся. Затем я облачился в чистое трикотажное белье, надел подобранный по росту синий шевиотовый костюм («Как у Брызгалова»,— подумал я), получил демисезонное драповое пальто, полдюжины носовых платков, две пары белья, несколько галстуков, кепи, фетровую шляпу и шерстяной шарф. Долго не мог подобрать ботинки — все были велики, но в конце концов подобрал и их.

Меня побрили, подстригли и отвели в столовую. Я с удовольствием позавтракал, уничтожил добрый кусок ветчины, порцию горохового супа с сосисками и запил все кружкой сносного кофе.

После завтрака тот же провожатый сразу отвел

ня к Гюберту. На этот раз хлипкий человечек ограничился тем, что ввел меня в комнату и тут же ретировался. Мы остались с глазу на глаз.

И вот тут, кажется, начался настоящий разговор.

Гюберт усадил меня против себя и спросил:

— Ваша настоящая фамилия?

— Хомяков.

— Расскажите подробно, как вы перешли линию фронта?

Я подробно рассказал.

— Что просил передать Саврасов?

Я передал информацию, полученную от Саврасова (предварительно прошедшую цензуру полковника Решетова), и добавил, что Саврасов просил передать привет от Виталия Лазаревича.

— От какого Виталия Лазаревича?

Хотелось сказать, что от того, которого Гюберт знает лучше меня, но ответил, конечно, другое:

— Это мне неизвестно.

— Почему Саврасов решил послать ко мне вас? — полюбопытствовал Гюберт.

— Меня послал не Саврасов, а Брызгалов.

— Слушаю, говорите, — потребовал Гюберт.

Я объяснил, что Брызгалов не мог вернуться обратно по обстоятельствам, от него не зависящим. Он приземлился благополучно, в подходящем, безлюдном месте спрятал парашют и удачно выбрался из зоны приземления. Он шел уже по маршруту, но через три дня его постигло несчастье. Стремясь побыстрее добраться до Урала, где жил и работал Саврасов, Брызгалов на станции Лебедянь пристроился на товарный поезд. Этой же ночью около одного из разъездов поезд подвергся налету немецких бомбардировщиков. В вагон, на тормозной площадке которого ехал Брызгалов, угодила бомба. Брызгалов получил тяжелое ранение и контузию: ему перебило осколком ногу повыше колена; вместе с другими его подобрала и увезли в Москву, в больницу.

Гюберт потер переносицу, подумал и спросил:

— Долго ему придется лежать?

— Пожалуй, да.

— Документы его уцелели?

— И документы и деньги. Деньги были в крупных ку-

пюрах, занимали мало места, и его мешок не привлек к себе внимания.

Я хотел добавить еще что-то, но Гюберт перебил меня:

— Откуда вам известны все эти подробности?

— От самого Брызгалова.

— Но вы же заявили при первой беседе, что не знаете его!

Я сообразил, что Гюберт пытается запутать меня. Я отлично помнил каждое сказанное слово. Поэтому я разрешил себе усмехнуться и спокойно проговорил:

— Вы ослышались. Я не мог так заявить. Ведь меня прислал Брызгалов.

— Допустим,— заметил Гюберт (к чему это относилось: к тому, что он ослышался или что Брызгалова я знаю,— предоставлялось судить мне).— Как вы его узнали?

Вот тут мне и пришлось во всех подробностях изложить подготовленную нами версию. Смысл ее сводился к тому, что Брызгалов, еще до войны знавший меня по некоторым «общим делам», вызвал меня из больницы через смазливую санитарку и попросил съездить к Саврасову. Он вручил мне часть фотокарточки, передал пароль и пообещал по возвращении пять тысяч рублей. Предложение показалось мне соблазнительным, я отправился на Урал, встретился с Саврасовым, получил от него информацию и вернулся. Тогда Брызгалов предложил мне перейти линию фронта, что отвечало моим тайным желаниям.

— И вы согласились? — спросил Гюберт прищурившись.

— С Брызгаловым шутки плохи,— сказал я.— И потом... мне угрожала мобилизация в армию.

— Он дал вам деньги?

— Нет,— сердито ответил я.— Он послал меня к вам и сказал, что со мною расплатитесь вы.

— Но ведь вы знали, что у него есть деньги?

— Он сказал, что должен передать их Саврасову. И он поклялся, что вы заплатите втрое больше, если я доберусь до вас. Он даже хотел дать записку, но потом передумал: опасно.

Гюберт помолчал, кривя рот в усмешке и разглядывая меня.

— Он мне соврал? — спросил я.

Гюберт встал, вышел из-за стола, пересек неслышно комнату и остановился у окна. Он о чем-то думал.

Я ясно оценивал положение свое и Гюберта. Я был в более выгодном. Чтобы обстоятельно проверить меня, требовалось долгое время. Очень долгое. А временем в условиях войны Гюберт не располагал.

Он стоял в молчании несколько долгих минут, потом прошел на свое место и задал новые вопросы: кто я, чем занимаюсь, где служу, как оправдаю свое отсутствие на службе, когда вернусь домой.

Я рассказал о себе все, что требовалось, и объяснил, как думаю оправдать свое отсутствие. Я подчеркнул, что эта версия разработана вместе с Брызгаловым и сводится к следующему. По долгу службы мне часто приходится выезжать на дистанции. Недавно мне поручили выехать на один из прифронтовых железнодорожных узлов для работы в бригаде специалистов по устранению непорядков, мешающих продвижению грузов к фронту. Я поехал и исчез. А потом, когда вернусь, расскажу на службе, что немцы предприняли на этом участке наступательные операции и я оказался у них в тылу. Во избежание плена, пользуясь теплой погодой, я вынужден был некоторое время скрываться в лесу вместе с другими окруженцами. Мы дождались удобного момента и перешли на свою сторону. Никто сейчас не в состоянии проверить моих показаний, и мне должны поверить на слово.

Гюберт выслушал меня не прерывая, вынул из стола свернутую карту, подал мне и сказал:

— Покажите этот железнодорожный узел.

Я развернул карту и, увидев немецкие надписи, сказал:

— Мне по ней трудно ориентироваться. Нет ли у вас русской?

Конечно, у него оказалась и русская. Он достал ее, и я показал ему железнодорожный узел, действительно оставленный недавно нашими войсками.

Гюберт угостил меня сигаретой. Сигарета была крепкой. Легкий туман заволок мой мозг; можно было подумывать, что она чем-то начинена.

— А как у вас относятся к людям, которые невольно, вот так, как вы, попадают на неприятельскую сторону, а

потом спустя некоторое время возвращаются? — с оттенком иронии спросил Гюберт.

Беседа, продолжавшаяся уже второй час, начинала приобретать острый характер.

— К сожалению, косо смотрят,— ответил я.— В старые времена это считалось в некотором роде геройством. К таким людям относились, как и к попавшим против воли в плен, снисходительно. Сейчас же другое дело.

— На вашей служебной карьере это не отразится?

— Не думаю. Теперь много окруженцев. Я вернусь в полном порядке, сохранив документы. Кроме того, что мне до карьеры? Я ведь по чужому паспорту, долго это продолжаться не может. Плевал я на их карьеру!

— А Саврасов сидит прочно?

— Как я его понял, довольно прочно.

Гюберт постучал по столу пальцами с выхоленными, отполированными ногтями и предложил новый вопрос, к которому я был подготовлен.

— А какие у вас разногласия с Советской властью? В чем вы не поладили? Почему вы решили вдруг стать нашим другом? — спросил он.

Я помедлил с ответом. Потом, раздумывая, сказал:

— Да никаких особенных разногласий не было...

— То есть?

— Так, не было. Мне просто нет до них дела. Это политика. А я всегда держался дальше от политики. Самое главное — деньги. Я их старался делать. При Советской власти дельцом трудно быть. А мне нравится быть деловым человеком, знаете ли. Крупные барыши, вообще — частная инициатива... Пришлось пуститься в рискованные операции, привлечь брызгаловскую публику...

— Охотились за железнодорожными грузами? — усмехнулся Гюберт.

Я промолчал.

— Так... хорошо,— сказал Гюберт и решительно поднялся.

Я тоже встал и понял, что беседа окончена. Да и пора уже было.

— Вам придется все, что вы мне сказали,— предупредил он,— изложить письменно.

Я кивнул.

Гюберт снял трубку телефона и потребовал к себе

обер-лейтенанта Эриха Шнабеля. Положив трубку, он сказал:

— До города недалеко, но я поселю вас здесь.

— Как вам угодно,— заметил я.

— Так будет и вам и мне спокойнее. Но со временем я разрешу вам бывать в городе. Это совсем не вредно.

— Хорошо,— согласился я.

— Вы бывали в этом городе?

— Да, раза два-три, но очень давно.

— Примерно?

— Лет десять назад.

— Тогда это не страшно.

Вошел обер-лейтенант и вытянулся перед Гюбертом. Гюберт приказал ему поместить меня в отдельную комнату, зачислить на довольствие, обеспечить бумагой, ручкой, чернилами, выдать несколько пачек сигарет и тут же очень спокойно, не меняя выражения лица, добавил по-немецки:

— Повесить его. Сегодня же ночью. Я ему ни в чем не верю.

— Яволль, герр гауптман!¹ — ответил обер-лейтенант.

Призвав на помощь всю свою волю, я поклонился Гюберту и, повернувшись, пошел к выходу. Ноги мои двигались автоматически, независимо от желания и воли.

«Повесить! Сегодня же ночью повесить!..» Удар был неожиданный и страшный. И это после того, как разговор принял вполне дружелюбный характер.

Мы вышли, пересекли двор и оказались в столовой, где я уже завтракал. Мне подали обед, но я не хотел есть. На несколько минут я поддался настроению, вызванному безвыходностью своего положения. Поддался внутренне. Внешне я, кажется, «не терял вида». А это — главное. Натренированные нервы не выдали. Я беру себя в руки. Ведь я «ничего не понял». Это — основное правило моего поведения здесь. Все должно выглядеть так, будто я действительно ничего не понял, не подозреваю. Я сделал несколько физических упражнений, чтобы привести себя в норму, прошелся вокруг стола, пытаюсь восстановить нормальное дыхание. Мой взгляд упал на обер-лейтенанта. Он сидел в кресле, откинувшись назад, и пристально смотрел на меня. Признаюсь, что, погру-

¹ Есть, господин капитан!

женный в свои переживания, я на несколько минут совершенно забыл о существовании этого молодчика. Мне казалось, что я один в комнате, тем более что Шнабель сидел неподвижно. И тут молнией пронзила меня мысль, от которой мне снова стало жарко. Зачем он здесь? Почему он так испытующе смотрит на меня? И тут же сознание дает ответ: не потому ли, что он проверяет меня и хочет знать, понял ли я приказ Гюберта, то есть знаю ли я немецкий язык? И мгновенно, почти одновременно, другая мысль: а может быть, все это провокация, но наивная, рассчитанная на слабые нервы?

Мысли несутся вихрем. В самом деле, если меня решили повесить всерьез, потому что не доверяют или имеют улики против меня, мне неизвестные, то зачем же проверять, к чему? Что это может дать, если судьба моя решена? Ровным счетом ничего. Если окажется, что я понимаю язык, то Гюберт получает добавочный сильный довод не доверять мне и, следовательно, покончить со мной. А если проверка покажет, что я действительно не знаю языка, то может ли это обстоятельство смягчить мою участь, послужить поводом для отмены вынесенного приговора?

Мысль работает лихорадочно. Логика говорит, что приказ Гюберта — эксперимент, провокация. Чувствую, что появляется лучик надежды. Может быть, не все потеряно. И тут же новая мысль, новый страх: может быть, все было хорошо, а я выдал себя именно сейчас, вот в эти самые минуты? И Гюберт, как притаившийся хищник, ждал именно этих самых минут, этого состояния внутренней растерянности своей жертвы. Стоит ли еще маскироваться, если и так все кончено? Нет, бороться до последней минуты!..

Я снова бросаю взгляд на Шнабеля. Тот по-прежнему смотрит на меня. А может быть, прошло и не так уж много времени, как мне показалось? Надо спасать положение. Я делаю еще несколько упражнений, как бы продолжающих прежние, бодро улыбаюсь, одобрительно киваю обер-лейтенанту, потираю руки, медленно, как бы предвкушая еду, подвигаю к себе тарелку с первым блюдом. Надо показать, что я ничего не понял, что я тот же, что и раньше. Медленно нагибаюсь, чтобы распустить шнурок на ботинке. Говорю обер-лейтенанту: «А ботинки мне все-таки не удалось подобрать как следует».

После обеда обер-лейтенант Шнабель провел меня в отведенную комнату и жестами предложил располагаться. Мне все время чудилось, что на лице Шнабеля играет какая-то зловещая улыбка.

Наконец я остался один. Первым делом я сдернул с себя галстук. Туго затянутый и непривычный, он плавил на тяжелые мысли: казалось, что уже накинута петля на шее... Затем я осмотрел свое жилище. Это была небольшая комната с двумя глухими стенами и одним оконцем, смотревшим в лес. Столик, кровать, тумбочка с часами старинной конструкции и очень замысловатыми на вид, старый коврик и три стула составляли убранство комнаты.

В моих ушах отчетливо звучали сухие, бесстрастные слова Гюберта: «Повесить его. Сегодня же ночью». Машинально, по профессиональной привычке, я бегло осмотрел все предметы, находившиеся в комнате,—хотел убедиться, не спрятаны ли где-нибудь специальные приспособления для подслушивания и наблюдения за мною. Но ничего подозрительного не обнаружил.

Потом я заглянул в оконце. Между двумя рядами проволоки прохаживался часовой. На дворе уже темнело.

«Повесить!..» Это не то, что «проверить» или «наблюдать». Это не призрак опасности, а уже сама опасность. Более того, это конец. Конец в самом начале. Но что же мне делать? Как поступить? Я опустил на стул и уставился глазами в пространство. Теперь, когда я остался наедине с собой, я пытался разобраться в своем положении. Казалось, оно безвыходно.

Бежать? Нет, не годится... Выйти из этого логова невозможно. Мысль о бегстве, по крайней мере сейчас, до возникновения каких-либо иных, более удобных обстоятельств, следовало отбросить.

А таким ли уж в самом деле безнадежным было мое положение? На первый взгляд — да. Но человеческая натура такова, что человек даже на самом краю гибели не хочет отказываться от надежды на спасение, хотя разум не видит для этого никаких оснований.

Я сказал себе: «Подумай, как поступил бы ты сейчас, если бы ничего не произошло, если бы ты не знал языка и не понял сказанного Гюбертом? Ты плохо спал, устал и, наверное, лег бы сейчас же спать. Именно так ты и

должен действовать. Настрой себя внутренне на этот лад».

Я походил по комнате, надеясь разрядить нервное напряжение, какого я, кажется, не испытал за всю жизнь. Я заставил себя зевнуть, потянуться, принять вид уставшего человека. Я даже пробурчал себе под нос какой-то мотивчик, хотя он прозвучал довольно неестественно и жалко. Подойдя к кровати, я взбил подушку, не спеша разделся, выключил свет и лег. Я старался делать все так, как делал это обычно,— не торопясь, привычными движениями. Но сон был далек от меня. Ведь я все-таки не знал, были ли слова Гюберта подлинным приказом или испытанием.

«Сегодня же ночью». Но ночь велика! Ее с избытком хватит на то, чтобы умереть сто раз.

Я улегся на бок. Перед глазами была бревенчатая стена. Свет от качавшегося снаружи на ветру электрического фонаря метался по стене.

Где-то глубоко-глубоко сверлила мысль: «А если это не провокация, не испытание, то чего же ты лежишь? Почему не действуешь? Вставай! Не жди, пока тебе набросят петлю на шею! Еще есть время спасти себя. Окно без решетки, ты можешь им воспользоваться. Лес ты знаешь, как леший... Вставай! Ты же разведчик! А разведчик всегда должен найти выход из положения. Твое задание сорвалось. Но зря жизнь-то губить глупо и ни к чему».

Но я продолжал лежать. Голос искушения не встречал отзвука. Какая-то часть моего сознания сопротивлялась ему. Мое внутреннее «я» было словно ареной ожесточенного боя. На одной стороне как будто здравый смысл, на другой — чувство долга, который еще не был исполнен. Сколько бы раз я ни ходил по заданию в тыл врага, я всегда решал для себя, что должен вести себя так, чтобы после моей гибели родные и товарищи вспоминали мое имя не краснея, чтобы партия была твердо уверена, что я сделал все, что от меня требовалось, или, по крайней мере, все, что я мог. А пока я еще не сделал ничего. Ровным счетом ничего.

Тик-так... тик-так... тик-так... — монотонно выступивал маятник, отсчитывая секунды и минуты. Стук ча-

сов был единственным звуком в окружавшей меня тишине. Я вслушивался в него, старался забыться, не думать о том, что уже случилось и что еще случится, и опять почему-то на ум мне пришел отобранный вчера утром перочинный нож. Нелепо, но факт. Мне как-то говорил подполковник Фирсанов, что люди, которые особенно часто сталкиваются с опасностью, способны сильно привязываться к мелким вещам. Я не придавал тогда никакого значения этому замечанию, а сейчас вспомнил и поймал себя на том, что и сам страдаю этой странной болезнью...

Прошел час, другой, третий... Я лежал с открытыми глазами, ощущая все возрастающую боль в затылке. Мысленно я несколько раз умирал и несколько раз вновь возрождался к жизни. Я понимал, что меня стерегут, что я в западне.

Но вот послышались шаги. Они приближались. Я закрыл глаза и, призвав на помощь всю силу воли, стал легонько похрапывать. Кто-то остановился у дверей моей комнаты. Остановился и, наверное, прислушивается. Пауза затянулась. Наконец в дверь осторожно постучали. Я не шелохнулся и сильнее захрапел. Стук повторился настойчивее. Я не отозвался. Но вот дверь открылась, кто-то вошел в комнату. Щелкнул выключатель, и загорелся свет. Он ударил в глаза сквозь смеженные веки. Я продолжал лежать.

Вошедший легонько коснулся моего плеча, а когда я и на это не реагировал, резко толкнул меня. Тогда я быстро вскочил, сбросил с себя легкое одеяло, сел, свесив ноги, зажмурил глаза и с непонимающим видом уставился на вошедшего.

Это был обер-лейтенант Эрих Шнабель. Он внимательно смотрел на меня, и теперь в его темных глазах я не подметил и намека на усмешку.

Эрих Шнабель жестами и знаками предложил мне одеться и следовать за ним. Сейчас все решится. Неужели конец?..

Но почему он один? Вешать человека не так-то просто! Хотя там, на месте, наверняка будут люди...

И почему-то именно в этот момент ко мне пришло то спокойствие, в котором я так нуждался и которое не раз выручало меня в трудную минуту. Конечно, я попы-

таюсь... Попытаюсь в последнюю минуту. Вешать меня будут, наверное, в лесу. И как только мне станут вязать руки, я решусь. Другого выхода нет. Даже если вдонку мне пошлют пулю, и то лучше.

Я одевался и обувался не торопясь, тщательно завязал галстук, расчесал волосы.

Шнабель не спускал с меня внимательных глаз, а я усыплял его бдительность и старался изобразить из себя человека, ничего худого не подозревающего.

Мы вышли.

На темном небе, точно изумруды на бархате, трепетали крупные, мохнатые звезды.

Ночь дышала тишиной, покоем, и постукивание электродвижка где-то под навесом казалось нереальным.

Я был очень удивлен, когда Шнабель повел меня не в лес, не к машинам, а в дом Гюберта. Что это — отсрочка или?..

Шнабель вошел в комнату Гюберта, оставив меня в столовой перед закрытыми дверями.

Сердце стучало. И вдруг до моего слуха из кабинета Гюберта донесся разговор на немецком языке. Я вытянул шею, вслушался.

— Ну как? — раздался голос Гюберта.

— Спал, как покойник, — ответил Шнабель.

— Раздетым?

— Да, под одеялом.

— Как держит себя сейчас?

— Ни следа волнения. Я уверен, что он не понимает по-немецки.

— Хорошо, ступайте. Пусть он зайдет сюда.

Я вытер пот со лба, повернулся спиной к двери и вцепился взглядом в старую литографию, висевшую на стене.

Шнабель вышел, впустил меня в кабинет и прикрыл за собой дверь.

Гюберт холодно извинился, что потревожил меня, и спросил:

— Как устроились?

— Прекрасно.

— Если в чем будете нуждаться, скажите.

— Хорошо.

— А сейчас у меня просьба: быстренько напишите

свою биографию и принесите мне. И ничего не скрываете, в том числе и ваши, так сказать, операции с грузами. Утром я должен все отправить. Сколько времени вам надо?

Я ответил, что достаточно получаса.

Было ясно, что в этот поздний час дело не в биографии. Гюберт, решив проверить меня, спровоцировать, теперь хотел воочию убедиться по моему поведению, знаю я немецкий язык или нет.

Кажется, он убедился. Первый тур боя решился в мою пользу.

Менее чем через полчаса я отнес ему биографию, вернулся к себе и вдруг почувствовал огромную усталость. Эту усталость не снимало и радостное сознание победы: я не совершил ничего опрометчивого, удержал себя от неверных шагов, в общем — разгадал уловку врага и не поддался ей.

Но следовало сделать выводы. Начало не предвещало ничего утешительного. Решетов был прав: меня будут, конечно, проверять еще и еще. Гюберт не успокоится, будет расставлять новые ловушки. Надо выдержать и не оступиться. Надо добиться абсолютной естественности и точности всех своих действий, обдумывать каждый шаг, каждое слово, даже взгляд. Так, и только так! Мое возбуждение было настолько сильным, что я не мог заснуть. Мысль рвалась вперед, стремясь приоткрыть завесу, скрывающую будущее.

9. ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ

Прошло пять суток моего пребывания на Опытной станции. Пять суток, очень похожих друг на друга и в то же время неодинаковых. Чем-то они отличались. Ощущение новизны уже исчезло, и наблюдений было достаточно, чтобы немного разобраться в обстановке.

Убедившись, по-видимому, в том, что я не знаю языка, окружающие не соблюдали в моем присутствии должной осторожности, и я чутко прислушивался к разговорам обитателей станции, жадно схватывая каждое слово. Так я узнал главных действующих лиц спектакля, участником которого стал сам. Я убедился, что руководит Опытной

станцией гауптман Вильгельм Гюберт. Помощником его был Отто Бунк, но его я еще ни разу не видел. Из обрывков разговоров, подслушанных мною, можно было понять, что Бунк находится в командировке. Функции коменданта выполняет обер-лейтенант Эрих Шнабель. Хилый человек, первым заговоривший со мной по-русски, носит фамилию Похитун и является шифровальщиком. По всему видно, что с гитлеровцами он связан давно и чувствует себя здесь своим человеком. Унтер-офицера, дразнившего жука-носорога, звали Курт Венцель. Есть еще радист Раух, есть фельдшер, повар, шофер, солдаты и еще кто-то, кого я пока не знаю ни по должности, ни по фамилии. Из того, что Опытная станция расположена в сравнительном отдалении от фронта, за чертой города, в лесу, нетрудно было заключить, что это конспиративный пункт гитлеровской разведки, который готовит и забрасывает специальных агентов на нашу территорию. Возможно, что некоторые из этих агентов, подобно мне, проходят подготовку и содержатся здесь, а другие размещены в городе.

Наличие собственной приемно-передаточной радиостанции убедительно свидетельствовало, что этот центр имеет где-то своих радистов-корреспондентов, с которыми поддерживает регулярную связь. Вероятнее всего, эти корреспонденты в свое время были переброшены за линию фронта, в наш глубокий тыл, удачно осели там, собирают разведанные и сообщают их Гюберту. Станция, видимо, работает по определенному расписанию, в чем нетрудно было удостовериться за это время.

Сделанные мною выводы и наблюдения, еще требующие уточнения и проверки, подтверждались кое-какими деталями. Например, за эти дни станцию несколько раз посещали офицеры-летчики. Они приезжали одиночками и группами, уединялись с Гюбертом и вызывали шифровальщика Похитуна и радиста Рауха. Я пришел к заключению, что летчики являются к Гюберту за получением разведывательной информации.

То, что это осиное гнездо прикрывается вывеской лесной Опытной станции, могло вызывать удивление лишь у людей неосведомленных. Я отлично знал, что подобные разведывательные точки, укрывающиеся под различными наименованиями, вроде «опытная станция»,

«лесничество», «контора по вывозке древесины», «скипидарный завод» и так далее, разбросаны по всему тылу фашистского фронта — от севера и до юга.

Что гитлеровских разведчиков не устраивает близость передовой и что они сторонятся крупных населенных мест и размещают свои пункты вдали от них, тщательно маскируясь, было вполне закономерно.

Первые два-три дня я был переполнен радостью от того, что самое страшное миновало. Я ловил себя на том, что гордился собой, что сознание долга и ответственности оказалось сильнее чувства страха за собственную жизнь. А ведь как точил меня червь-искуситель, как толкал он меня на неправильный шаг! А что бы стало со мной, если бы я не выдержал и учинил преждевременный побег? Провал всего дела и неизбежная гибель.

Провокация, подстроенная Гюбертом, явилась для меня серьезным экзаменом.

Все последующие дни я упражнялся в осторожности, выдержке, наблюдательности, следил за каждым своим шагом и тренировал себя.

О прогулках в город, обещанных Гюбертом, разговор больше не заходил, а я умышленно не напоминал. Решил ждать.

Все эти дни я усердно сидел над составлением доклада Гюберту. В докладе я должен был письменно повторить все, о чем говорил устно. Надо было сделать так, чтобы и то и другое сходилось, чтобы не было ни одной подозрительной щели, в которую можно было бы просунуть палец. Конечно, доклад также являлся проверкой. И не только проверкой, но и документом, которым в случае «измены» меня могли бы изобличить.

Утром, встав чуть свет, я на свежую голову внимательно репетировал доклад до той поры, пока не смог повторить его наизусть.

После завтрака, к которому мне впервые дали порцию разведенного спирта, я попросил Гюберта принять меня и вручил ему свое произведение. Гюберт полистал его, бегло просмотрел и ничего не сказал. Отпуская, он предупредил, что сегодня вечером со мной, возможно, будет беседовать шеф, полковник Габиш, которого он ожидает.

Габиш! Это имя я впервые услышал от Саврасова, а затем от Решетова. Итак, Габиш уже полковник.

События продолжают стремительно разворачиваться, количество действующих лиц — увеличиваться. Происходила своеобразная реакция: я медленно, но верно, подобно газу или жидкости, проникал в другой, чужой мне организм.

Когда я возвращался от Гюберта, меня перехватили Похитун и унтер-офицер Курт Венцель. Похитун заговорил со мной и объяснил, что Венцель приглашает меня совершить прогулку по лесу. Он, мол, хочет познакомить меня с окрестностями Опытной станции.

В чем дело? То ли Венцелю специально поручили сдать мне такое предложение, то ли он проявил собственную инициативу и просто ищет себе попутчика для прогулки? От прогулки я не отказался. Мне уже опротивело торчать за проволочной оградой, стала надоедать моя комната. Не имея ни газет, ни книг, ни радио, я чувствовал себя отрезанным от мира. Прогулка меня вполне устраивала. Она давала также возможность познакомиться с окружающей местностью. Конечно, я предпочел бы экскурсию в город, а в провожатые — Похитуна, который интересовал меня больше, нежели немец Венцель, выполняющий обязанности одного из дежурных.

Я отправился в лес с унтер-офицером Венцелем.

Увядал золототканый осенний наряд. Меркли краски: буро-желтые, оранжевые, пурпурные, алые. Осень доживала свои последние дни. Стояла та пора, когда вода в реках темнеет, густеет и замедляет свой бег. Крылатые караваны начинали покидать наш край. На юг острыми уголками тянулись вереницы гусей, длинными пунктирными строчками улетали утиные стаи, по ночам в темном небе прощально и печально курлыкали журавли.

Мы шли хорошо протоптанной тропинкой: Венцель впереди, я — следом. Минут через двадцать в просветах между деревьями блеснула голубоватая гладь озера. Оно было знакомо мне по карте, я знал его название. Оно действительно выглядело очень живописным, окаймленное песчаным берегом и гигантскими, мачтовыми соснами.

Прогулка заняла три часа, но все удовольствие мне испортил Курт Венцель. Этот здоровый, неуклюжий дегитина, с физиономией цвета свежей говядины, с бездумными и прозрачными, как стекла, глазами, оказался невероятно самодовольным и прилипчивым типом.

Ему пришло в голову использовать нашу совместную прогулку для обучения меня немецкому языку. И я еще раз подумал: действует ли он по заданию или по собственному наитию? Я склонен был остановиться на первом. Возможно, что проверка продолжалась иными средствами. К такому выводу я пришел потому, что настойчивость Курта Венцеля никак не соответствовала его флегматичному самодовольному виду.

С немецкой педантичностью он не дал мне за все время прогулки ни одной минуты покоя. Показывал на воду, небо, землю, птиц, различные деревья, травы, тропу, предметы своего и моего туалета, спички, зажигалку, ручку, записную книжку, называл их по-немецки и требовал повторения всех этих слов. Я скрепя сердце, страшно уродуя, повторял их. Тупое и самоуверенное выражение лица Венцеля, его манера говорить и смеяться вызывали у меня глухое раздражение. Я хотел сосредоточиться, побыть наедине с собственными мыслями, тем более что меня ожидало свидание с полковником Габишем, а Венцель досаждал своим уроком, требовавшим большого внимания, чтобы нечаянно не выдать себя.

Черт бы взял его, этого педагога!..

Я был несказанно рад, когда мы повернули обратно.

Венцель показал мне участки земли вокруг Опытной станции и дал понять, что мины, там заложенные, могут взорваться даже от прикосновения к ним птицы.

Ничего утешительного для себя я в этом не нашел, хотя это было очень важно знать и могло пригодиться. Но, может быть, он просто пугал меня или указывал на безопасные участки земли, скрывая заминированные?

Войдя во двор, мы увидели две автомашины — комфортабельный лимузин и открытую штабную, — стоявшие впритык к воротам и покрытые маскировочными сетками. Значит, полковник Габиш был уже здесь.

Мы сразу отправились в столовую, где нас ждал обед. Я рассчитывал, что меня уже ждут и вот-вот вызовут, но я был приглашен в дом Гюберта только вечером.

Гюберт и Габиш ждали меня в комнате, обставленной под гостиную. Габиш картинно полулежал на диване, облокотившись на тугой валик. Это был тучный человек лет под шестьдесят, с широкой, жирной грудью и с крупным, гладко выбритым мрачным лицом. Жесткий

стоячий воротник мундира подпирал его отвислые щеки и уже дряблый тройной подбородок. Его темные полуприкрытые тяжелыми веками глаза смотрели внимательно и сосредоточенно.

Гюберт в форме, облежавшей его фигуру, как лайковая перчатка руку, расхаживал по комнате.

Я, перешагнув порог, остановился и представился.

— Очень приятно,— ответил Габиш и указал мне на стул, видимо специально поставленный как раз против дивана.

— Расскажите полковнику обо всем, что вы рассказывали мне,— предложил Гюберт.

Габиш подтвердил это легким кивком головы.

Я сел, положил ногу на ногу и приступил к рассказу. Я пересказал тот доклад, который сдал сегодня, сделал для разнообразия перестановку кое-каких фактов и деталей, не меняющих целого.

Габиш благосклонно слушал меня, не прерывая, и изредка снисходительно кивал головой. Его глаза все время были полузакрыты и, как мне казалось, затянуты мутноватой пленкой.

Когда я кончил, Габиш стал задавать вопросы. Говорил он по-русски с сильным акцентом, неправильно. Но, как бы там ни было, мы отлично понимали друг друга без помощи Гюберта.

Габиша интересовало многое. Он ставил передо мной самые разнообразные вопросы, которые совершенно не затронул до этого Гюберт. Ему хотелось знать, сможем ли мы, то есть я, Брызгалов и Саврасов, подобрать пригодных людей и направить их в Сибирь, в Среднюю Азию, на Урал, на Дальний Восток, можно ли надеяться на приобретение там солидной агентуры. Он не скрывал от меня, что теперь очень важно организовать сеть надежных кадров именно там, куда перебазировалась наша промышленность из оккупированных районов. Далее он спросил, какие железные дороги нашей страны несут сейчас наибольшую нагрузку, как разрешается вопрос со специалистами-железнодорожниками, какие новые линии строятся.

Вопросы ставились хитро и тонко, с определенным расчетом. Можно было заключить, что, с одной стороны, его, как разведчика, интересовали определенные данные,

а с другой стороны, он проверял мою осведомленность, мое знание транспорта, работником которого я себя называл.

Я не пытался делать из себя всезнайку, осведомленного во всех областях. На часть вопросов я отвечал подробно, исчерпывающе, приводя кое-какие цифры, иллюстрируя свои выкладки примерами, на другие вопросы отвечал сбивчиво, признавался, что я не в курсе дела.

Затем Габиш круто изменил направление разговора и спросил меня:

— Ви шифровальный работ умеете?

Я ответил отрицательно.

— Искусство это несложное, — вставил Гюберт. — Обучиться не очень трудно.

— Попытаюсь, если это нужно, — сказал я.

— Вам надо знать не только шифр и код, — добавил Габиш, поправил валик и изменил позу. — Вам надо знать фоторабот, радиоработ, особый техника, специфик-техника.

— Вы понимаете, о чем говорит господин полковник? — обратился ко мне Гюберт, не совсем, видимо, уверенный в том, что все, сказанное Габишем, дошло до меня.

Я не успел ответить. За меня ответил Габиш. Дернув головой, он резко бросил, повысив немного голос:

— Он все прекрасно понимает! Он человек грамотный...

Гюберт недовольно поморщился, но ничего не сказал.

Наступившее молчание нарушил Габиш. Он спросил меня:

— Что ви будет делает, когда ми вас не отпускать долго от себя?

Я неопределенно пожал плечами и попросил пояснить, что надо понимать под словом «долго».

Габиш пояснил: «долго» — это два, а возможно, и три месяца, то есть минимальный срок, необходимый для обучения меня радио, фото, шифру и другой технике.

— Ну что ж, — ответил я, — придется выдумать для начальства более сложный вариант моих приключений...

Тогда Габиш спросил Гюберта по-немецки, поставил ли он меня в известность о предстоящей поездке к Доктору.

Я, конечно, все понял отлично. Речь, по-видимому,

шла о том докторе Шляпникове, за которым накануне войны безуспешно охотился полковник Решетов.

Гюберт ответил Габишу, что без него не решился беседовать со мной на эту тему.

Тогда Габиш обратился ко мне и сообщил, что в самое ближайшее время, а точнее — завтра утром, надо выехать в один из прикарпатских городов и встретиться там с Доктором.

— Доктор хорошо знает Советский Россия,— заметил Габиш,— он гросс-мастер. С ним вы будете договориться основательно.

О чем договориться, Габиш не сказал, а я, конечно, не просил пояснений. Я знал, что чрезмерная любознательность в такой обстановке может испортить дело. При встрече с Доктором так или иначе все выяснится. Для того чтобы показать, что я чувствую себя вполне уверенно и спокойно, я задал все же вопрос:

— Я должен буду оставаться у Доктора или возвратиться сюда?

— Сюда, обязательно сюда!..— ответил Габиш и сказал Гюберту по-русски: — С поездкой к Доктору не затягивайте. Чем скоро, тем лучше. Обязательно завтра.

Гюберт наклоном головы дал понять, что принял сказанное как приказ.

— А мне вы подробно напишите рапорт вся ваша работа,— предложил мне Габиш.

— О встрече с Доктором?

— Найн,— тряхнул головой Габиш.— Ваша работа Советский Россия.

Я посмотрел на Гюберта и объяснил Габишу, что подробный доклад о себе и лицах, мне известных, я уже написал и вручил гауптману Гюберту. Я не мог допустить, что Габиш не ознакомлен с моим докладом и не знает о его существовании.

— Неважно! — барственно бросил Габиш.— Рапорт сделает мое имя.

— Хорошо! — сказал я и тут же сообразил, что, располагая двумя моими письменными документами по одному и тому же вопросу, Габиш и Гюберт получают возможность лишней раз проверить меня.

— Вы можете быть свободны,— произнес Габиш, тяжело встал и заложил руки за спину.

Не удостоенный «честь» пожать руку шефу, я поклонился и покинул комнату.

До двух часов ночи я сидел за столом и писал второй доклад. Я передал его Гюберту, так как Габиш уже покинул Опытную станцию.

Рано утром следующего дня меня подняли с постели: вызывал Гюберт. Я быстро оделся и прошел к нему. Гюберт сказал, что меня ждет машина: пора ехать на вокзал. Он вручил мне приличную сумму немецкими оккупационными марками, документы на беспрепятственный проезд к месту нахождения Доктора, небольшой сверток для передачи Доктору и условный телеграфный адрес на случай какого-либо непредвиденного приключения в пути.

— В машине вас ждет обер-лейтенант Шнабель, — пояснил Гюберт. — Он вас усадит в поезд. Вам дают недельный паек, но я думаю, что дорога займет не более четырех суток.

Гюберт назвал мне город, место, где должна произойти встреча с Доктором, описал внешность Доктора, сообщил условный пароль, но не назвал ни фамилии, ни имени Доктора. Получив исчерпывающий инструктаж, я понял, что таинственный Доктор — «гросс-мастер» по русским делам — находится сейчас на лечении в курортном городке и что полковник Габиш не склонен вызывать его сюда для встречи со мной. Понял я и другое: о моем визите Доктор будет извещен по телефону или по радио.

— Вы там долго не задерживайтесь, — сказал мне вместо прощального напутствия Гюберт.

— Если это будет зависеть от меня... — Я помялся и спросил, смущенно ухмыляясь: — А как с деньгами? Брызгалов говорит...

— Все в свое время! — сказал Гюберт и проводил меня до дверей.

Час спустя я сидел в накуренном офицерском вагоне. Поезд шел на юго-запад.

10. В ПРИКАРПАТЬЕ

Я сидел на жестком диване и глядел в окно на оголенные поля, испытывая непередаваемо странное чувство: ехать по родной земле, как по чужой, как иностранец.

в окружении врагов! Это царапающее, угнетающее чувство не покидало меня.

Гауптман Гюберт был прав — дорога уложилась в четверо суток с небольшим. Маленький, с писклявым голосом паровозик резво тащил небольшой состав к кочечной точке моего путешествия.

Устал я изрядно. Путь по сложному маршруту с пересадками в Киеве, Житомире, Виннице и Львове, с толчеей на вокзалах, с неизбежными и частыми проверками документов измотал меня основательно.

Захотелось подкрепиться немного. С утра у меня в рту не было ни крошки. Я открыл небольшой чемоданчик, в который Шнабель уложил продукты, открыл банку голландских мясных консервов и съел их мгновенно.

Потом взял в руки сверток для Доктора, врученный Гюбертом. Прикинул на руке: в нем было не больше двухсот граммов. Всю дорогу мне очень хотелось раскрыть его. И сделать-то это было совсем несложно. В свертке было что-то твердое, видимо какая-то картонная коробочка. Сверток был обернут целлофановой бумагой и перевязан крест-накрест шнурком. С одной стороны просвечивало что-то розовое, вероятно конверт, а с другой — черное. Развязать шнурок и точно так же завязать его не составляло бы никакого труда. Уже несколько раз, и в вагоне и на вокзалах в ожидании поезда, я подолгу держал в руке этот сверток и почти готов был удовлетворить свое любопытство, но не решался. Не решился и в этот последний раз.

Конечно, мне надо собрать побольше сведений о враге, вывести как можно больше тайн. Но вряд ли новому человеку, еще не проверенному в деле агенту, доверят пакет, содержащий что-либо важное. Кроме того, профессиональная выучка и логика подсказывали, что сейчас главное для моего дела — это заслужить полное доверие оккупантов. В этом смысл моего пребывания здесь. Было бы глупо воображать, что они больше не проверяют меня. Не исключено, что этот сверток вообще ничего не содержит и служит для проверки моей надежности. К какому нелепому провалу привела бы моя легкомысленная невыдержанность! Нет, сверток надо оставить в покое.

Путешествие окончилось. Поезд уткнулся в тупик возле крохотного, аккуратного вокзальчика. Здесь конча-

лась железнодорожная ветка. Пассажиры, схватив свои пожитки, ринулись к выходу. Я почти последним вышел на перрон и, обойдя здание вокзала, оказался на небольшой площади, вымощенной брусчаткой.

Здесь было намного теплее, чем там, откуда я приехал. Вдали четко рисовались Карпаты, покрытые у подножия бурными пятнами лесов. Над горами нависали многоэтажные белые хребты облаков.

С чемоданом в руке и плащом, перекинутым через плечо, я зашагал по узенькой мощеной улице. Она спускалась вниз и у здания телеграфа упиралась в другую улицу. Все точно соответствовало плану, данному мне Гюбертом. Я повернул налево. Потянулись жилые дома попеременно с санаториями. Я шел по незнакомому городу, не желая прибегать к расспросам. Уже который раз приходилось проверять свою способность ориентироваться в незнакомом месте.

Городок был невелик. Но люди в штатском выглядели здесь белыми воронами: повсюду на улицах, в скверах, на балконах и открытых верандах расхаживали или сидели солдаты и офицеры гитлеровской армии. Тут были представлены все чины и все рода войск. По случаю воскресенья и хорошей погоды никому не хотелось, очевидно, сидеть в четырех стенах.

Улочка, по-прежнему идущая под уклон, привела меня к городскому парку. Когда я вступил на центральную аллею, из музыкальной раковины ударили звуки марша. Играл духовой оркестр. Под навесом у ресторана офицеры стучали бильярдными шарами.

Я осмотрелся. Гюберт, очевидно, не раз бывал здесь и обрисовал мне маршрут четко и ясно. Покинув центральную аллею, я свернул на более узкую, обсаженную старыми, раскидистыми липами, ведущую в глубь парка. Глядя по сторонам, я не заметил, как аллея сошлась с обычной дорогой и парк перешел в лес. Под березами и кленами лежали опавшие, позолоченные осенью листья. Справа осталась деревянная будка, укрывавшая целебный источник. Далее, возле дороги, на небольшом мраморном пьедестале высилась статуя женщины немного меньше человеческого роста. Она была в тунике и глядела слепыми глазами куда-то в пространство. Все это были ориентиры, названные Гюбертом. Я шел правильно.

Сырая, прорезанная глубокими колеями, вся в рытинах, лесная дорога взяла круто в гору, и я оказался на площадке, сдавленной со всех сторон деревьями. На ней, окруженный металлической изгородью, стоял памятник Адаму Мицкевичу. Я был у цели. В моем распоряжении оставалось еще двадцать минут. А если бы я опоздал сегодня, встреча должна была состояться в это же время завтра.

Я никогда не считал себя склонным к особой чувствительности, но памятники людям, покинувшим наш мир и оставшимся жить в наших сердцах, всегда вызывали во мне какое-то волнение и неопределенную грусть. Так было и сейчас. Я сел на неотесанный камень, лежащий в сторонке и неведь зачем занесенный сюда, и долго смотрел в неживые глаза великого певца польского народа.

...Мне имя — миллион. За миллионы
Несу страдание свое.
Как сын глядит безумным оком,
Когда отца ведут на эшафот,
Так я гляжу на мой народ,
Ношу его в себе, как носит мать свой плод...—

вспомнил я слова поэта-борца, и мне стало не по себе. Разве не кощунство вот здесь, у памятника этому великому человеку, встречаться с каким-то Доктором, матерым прислужником фашистов? И единственным утешением была мысль, что я нахожусь здесь для борьбы с этим врагом...

Доктор оказался аккуратным. Когда стрелки на моих часах показали ровно пять, появился человек в темной шляпе, сдвинутой на лоб и закрывающей лицо, в коричневом макинтоше, с тяжелой тростью в руке.

Доктор вышел на площадку и спокойным, размеренным шагом направился ко мне. Я продолжал сидеть. Доктор взял трость под мышку, достал портсигар и вынул сигарету.

Это — условный знак.

В двух шагах от меня он остановился и спросил:

— Простите! У вас нет спичек?

Я встал, сунул руку в карман и, вручая ему коробку, ответил:

— Спички всегда при мне.



Доктор взял трость под мышку, достал портсигар и вынул сигарету.

Зажигая и раскуривая сигарету, Доктор внимательно всматривался в меня, очевидно сопоставляя мой внешний вид с приметами, сообщенными ему Гюбертом.

Возвращая спички, он сказал:

— Я вижу, вы приезжий.

— Да.

— Нескромный вопрос: издалека?

— С Опытной станции.

— С Опытной лесной станции?

— Совершенно верно!

— Прекрасно! — воскликнул Доктор, бесцеремонно взял меня под руку и повлек с пригорка. — Я вас сегодня не ждал, на всякий случай пришел. Долго ехали?

— Четверо суток.

— Ого! И напрасно. Совершенно напрасно. Надо было лететь, а не толкаться в поездах.

Я промолчал и лишь пожал плечами.

Доктор говорил громко, густым басом. У него было большое, выразительное лицо с широко расставленными и глубокими черными глазами, крупный нос с горбинкой и четко очерченные жестковатые губы.

— Вы, кажется, Худяков? — спросил он, когда мы покинули площадку.

— Нет, я Хомяков.

— Да, да, вспомнил, правильно, Хомяков. А вот имя и отчество ваше не удостоен чести знать.

— Кондратий Филиппович, — сказал я и, конечно, не поверил, что Доктор спутал мою фамилию и не знал имени и отчества.

— Очень приятно, Кондратий Филиппович, — сказал Доктор, но сам не представился. — Впервые здесь?

— Да, впервые.

— Нравится?

— Хорошее место.

— Чудное! — воскликнул Доктор. — Чего стоит воздух! А лес! Вы обратили внимание на лес? Такого леса, как здесь, вы нигде не встретите...

Мы шли рука об руку, бок о бок. Доктор был чуть-чуть выше меня ростом, солиднее по комплекции и, вероятно, старше по возрасту.

— Обедали? — поинтересовался он.

— Нет.

— Отлично! Пообедаем вместе. И остановитесь у меня. Я один как перст. А сейчас, чтобы нагулять аппетит, проделаем небольшой моцион, невредный в нашем возрасте. Не возражаете?

— Наоборот, приветствую.

— Ну и прекрасно!

Говорил он с бодрыми интонациями, и если притворялся, то надо сказать — мастерски.

— Это все, что у вас с собой? — спросил он, показав глазами на мой чемоданчик.

— Да.

— Молодец! Я сам люблю путешествовать налегке.

Когда мы вошли в парк, я, в свою очередь, спросил Доктора:

— Здесь как будто много санаториев?

— Порядочно. Но это не санатории. Санаториями они именовались недолго, с момента воссоединения с так называемой «ридной Украиной» до июня сорок первого года. А теперь они обрели свои имена, полученные при рождении: виллы, пансионы, отели. Через полгодика можете заглянуть сюда без всякой путевки, а просто с деньжками в кармане. Без всякого бюрократизма. Деньги на кон, и вы получите все, что желаете: и лечение, и питание, и разные удовольствия. Мало вам койки — снимайте комнату; мало комнаты — берите две; мало двух — арендуйте целую виллу вместе с поварами, врачами, няньками и кухарками. Вот так, мой друг. Ясно?

— Вполне.

— То-то... Кстати, вы этот подвиг совершили впервые?

— Что вы имеете в виду?

— Визит с той стороны.

— Да, впервые.

— Поздравляю. От души поздравляю.

— С чем?

— С удачей. Часто, по поговорке, первый блин получается комом.

Я должен был согласиться, что бывает и так.

— А мне вы ничего не привезли? — поинтересовался Доктор.

— Привез небольшой сверточек, — сказал я и хотел было достать его из чемодана.

— Нет, нет,— остановил меня Доктор.— Это не к спеху. Дома... А вы никогда на курортах не бывали?

— Приходилось. Я ведь железнодорожник, раз в год билеты бесплатные...

Доктор начал распространяться о том, какое профилактическое значение имеют курорты даже для людей здоровых, но потом быстро перешел на другую тему и заговорил о событиях на фронте.

Я слушал его и гадал, тот ли это доктор Шляпников, о котором я был наслышан от полковника Решетова, или другой, не имеющий к тому отношения. По внешнему виду, по речи и манерам я не решался определить его профессию и в душе завидовал детищу Конан-Дойла, такому психологу, как Шерлок Холмс. Я лишь подметил, что мой новый знакомый отличался живостью характера и, можно сказать, этакой милой непосредственностью. Она сказывалась хотя бы в том, что он вел разговор без определенной последовательности, и еще в том, что с ним я не чувствовал себя связанным.

Я понимал, что этот стиль может быть искусственным, но далеко не всем это искусство удастся. Такой тип, как Доктор, мог сразу расположить к себе человека, забраться к нему в душу, завоевать симпатию.

Мы неторопливо бродили по чистым улочкам города, и через час-другой я имел полное представление об этом курортном местечке. Доктор оказался толковым гидом: он показал мне местные достопримечательности, перечислил все минеральные источники, объяснил их лечебные свойства, рассмешил несколькими местными анекдотами.

Уже вечерело, когда мы подошли к его дому — небольшому коттеджу в стиле «курортной готики», сплошь увитому плющом.

Нас встретила пожилая полная женщина. Доктор попросил ее подать нам обед и представил мне как свою хозяйку, владелицу дома, жену видного украинского националиста, сподвижника небезызвестного Степана Бандеры.

«Рыбак рыбака видит издалека», — подумал я, входя в комнаты Доктора. Обе комнаты поразили меня неряшливостью, беспорядком. Постель была не убрана, повсюду валялись окурки, у стен стояли пустые бутылки из-под вина, на диване высился ворох неглаженного белья...

Доктор вел себя со мной запанибрата, как старый знакомый, и посторонний мог подумать, что вот, мол, закадычные друзья встретились после долгой разлуки.

— Вот и моя обитель, друже,— весело сказал Доктор, бросая макинтош и шляпу на комод.— Располагайтесь как дома.

Меня удивило, что Доктор не снял перчатки из серой замши. Он развязал галстук, закурил и плюхнулся на диван, пригласив сесть и меня.

Я раскрыл чемодан, достал сверток — посылку Гюберта — и вручил Доктору. Он развязал бечевку, содрал целлофан и извлек из свертка конверт и плоскую коробочку из плотного картона.

Внимательно оглядев ее, он усмехнулся и положил на стол.

— Что ж,— пробормотал он, распечатывая письмо,— будем считать, что экзамен сдан. Вы оказались парнем нужной чеканки. Похвально, похвально! Я сам тоже не из любопытных.

Доктор прочел письмо, фыркнул и подал его мне.

— Вам будет невредно узнать о кое-каких чертах характера своего начальства...

Я пробежал письмо. В нем шла речь исключительно об успехах Гюберта на охоте, об убитой дичи, о достоинствах охотничьих ружей... Письмо не представляло никакого интереса.

— Ну как? — спросил Доктор.

— Охота... Занятие полезное... Я тоже с малых лет грешу.

— Угу,— протянул доктор.— Вы, значит, тоже? Ага... Ну, прошу к столу.— Он сунул руку за спинку дивана и достал бутылку с вином.

Мы усадились за круглый стол. Посередине красовалось блюдо с хорошо зажаренным кроликом.

Доктор наполнил хрустальные стопки и предложил тост:

— Выпьем за осторожность и осмотрительность! У вас были все шансы влипнуть с этим пакетом...

Чтобы не показаться нарочито осторожным, я залпом опорожнил стопку и в душе выругал Доктора за коварство: он угощал чистейшим спиртом. Жидкий огонь мгновенно заструился по жилам. В голове сразу зашумело.

— Забористая штукавина, дьявол ее побери! — воскликнул Доктор. — А что... морщитесь? Если не любите, не пейте! Я не сторонник насилия... А гауптман Гюберт какой-то маньяк. Да, да... Именно маньяк. Расскажите ему о тетеревином выводке, глухаринном токе или берлоге медведя и предупредите, что вся эта прелесть находится где-то у чертей на куличках, — он все равно полезет искать сломя голову. И найдет... Жив не будет, а найдет! Габиш ему давно накаркал, что когда-нибудь он сам вместо тетерева угодит под партизанскую пулю и из него сделают чучело. А он хоть бы что! Диву даюсь. Человек не глупый, далеко не глупый, а вот с этой странностью. Охотиться во время войны, на чужой территории, где все кишмя кишит этими «патриотами», — это же нелепо, неумно, дико! А попробуйте ему сказать. Ого! Даже не пытайтесь... Ну, а вы зачем ко мне пожаловали?

Я в недоумении положил вилку и, проглотив кусок, невольно улыбнулся:

— Уж вам это лучше знать.

— Ясно, ясно... Доктор должен все знать, все уметь, ничего не бояться, ни от чего не отказываться и никогда не ошибаться. Так повелось. Я к этому уже привык. Иначе...

Что «иначе», он не договорил, выпил очередную стопку, и в его крепких зубах захрустели кроличьи косточки.

Я тоже принялся за еду, размышляя над поведением Доктора. Его откровенность начинала казаться мне неестественной и настораживала. Он ведь мог не говорить мне о том, что посылка была ловушкой, а сказал. Он мог не показывать мне письма, а показал. Зачем? На этот вопрос я не нашел ответа ни сейчас, ни после.

Доктор выпил уже четыре стопки спирта и, кажется, намеревался выпить пятую. Глаза у него помутнели, зрачки увеличились, но речь оставалась связной и логичной. Он обстоятельно объяснил, зачем меня прислали к нему. Все дело сводилось, оказывается, к тому, что в самом недалеком времени, то есть вслед за моей выброской, он также должен появиться за линией фронта. И там мне придется работать под его руководством. Я прислан затем, чтобы подробно проинформировать его об обстановке и возможностях работы на той стороне,

обсудить условия и места встреч, разработать средства и способы связи, продумать вопрос о явочных квартирах, дать характеристику людям, которых можно будет привлечь к работе.

— У вас, конечно, остались старые знакомства,— сказал мне Доктор, подмигнув.

В ходе обсуждения этих вопросов я пришел к выводу, что Доктор очень неплохо осведомлен о жизни в Советском Союзе и что Габиш не без оснований считает его серьезным специалистом по русским делам.

Доктор обладал хорошей памятью, и хронология важнейших событий в жизни нашей страны прочно держалась в его голове. Он был осведомлен о передвижениях в правительстве, в высшем комсоставе на фронтах, знал наперечет всех командующих фронтами и армиями.

В отличие от Гюберта, который слушал сам, Доктор заставлял слушать себя. Это была уже черта характера.

Беседа наша затянулась. Спать легли поздно. Доктор так и не снял с рук перчаток. И спал в них...

II. ДОКТОР-УБИЙЦА

Утро принесло плохую погоду. Небо было затянуто серыми тучами, и лил нудный, беспросветный дождь. По запотевшим стеклам окон змеились бесконечные струйки. Вдоль круто спускающихся улиц бежали потоки мутной воды.

Весь день мы просидели дома. Доктор не притронулся к спирту. Вчера я счел его изрядным выпивохой, если не хроническим алкоголиком, а сегодня вынужден был изменить свое мнение.

Мы говорили о тех же делах, что и накануне, вдаваясь в мельчайшие подробности.

Доктор сказал, что ему придется прыгать с парашютом, не скрывал и того, что прыжок этот его не радует. Он признался, что к этому виду спорта он питает отвращение гораздо большее, нежели к охоте, но понимает, что прыжок неизбежен.

— Придется прыгать,— невесело сказал он. — Другого выхода нет. Парашют даст возможность избежать встречи с прифронтовыми особыми отделами, разными

контрольно-пропускными пунктами и прочими неприятностями.

На инженера Саврасова Доктор возлагал большие надежды, считая занимаемое им положение очень удобным для «чертовски интересных дел».

Потом он спросил мое мнение о Брызгалове. Я охарактеризовал его как хитрого и злопамятного человека.

— Он просто-напросто дурак! — заявил Доктор. — Между прочим, это кандидатура самого Гюберта. Великим людям тоже свойственно ошибаться! — И Доктор задребезжал трескучим смехом. — Я, повидав два раза этого типа, предупредил Гюберта, что Брызгалов глуп, малоразвит, истеричен, что его нельзя допускать к делу. Но уж раз допустили, надо умно использовать. А как на него смотрит Саврасов?

Я объяснил, что Саврасов еще не видел Брызгалова.

— А Брызгалова теперь придется как-то устраивать, после больницы, — с досадой заметил Доктор.

Я сказал, что Саврасов уже беседовал со мной на этот счет, но решение вопроса отложил до встречи с самим Брызгаловым.

— Его надо определить на такое место, где бы он не соприкасался с деньгами и ценностями. Проворует... Мы все любим деньги, но он из-за денег погибнет и нас провалит, — сказал Доктор.

— Может быть, лучше от него отказаться? — предложил я.

— А через кого же держать связь? — удивился Доктор.

— А при чем здесь Брызгалов? — еще более удивился я.

— Как — при чем? Он же радист. Он окончил радиошколу. Не бог весть как успешно, но все же окончил. Разве он вам этого не сказал?

Значит, Брызгалов не все нам рассказал. Он утаил эту деталь, и она меня чуть было не подвела.

— Ничего не сказал. Кроме того, у него нет рации, — проговорил я.

— Неважно. Это уж дело техники. Рацию для него теперь повезете вы.

Так прошел второй день моего пребывания в гостях у Доктора. Третий день был похож на минувший: небо

затягивали тучи и лил надоедливый дождь. В комнате стало холодно, и Доктор попросил хозяйку истопить печь.

Доктор по-прежнему был откровенен со мной. Если бы он пытался вызывать на откровенность меня, я счел бы его многословие военной хитростью, но Доктор больше говорил о себе, о своем прошлом и не проявлял никакого любопытства к моей биографии. Я узнал, что он сын видного русского чиновника царской службы, человека состоятельного, владельца богатого имения на Украине. Во время гражданской войны Доктор был офицером деникинской, а потом врангелевской контрразведки. Кличка «Доктор» стала его вторым именем. Получил он ее в кругах белогвардейцев, потому что в свое время окончил два курса Военно-медицинской академии в Петербурге.

Настоящего своего имени он мне не назвал. Когда я спросил, как его называть, он невозмутимо ответил: — Так и называйте Доктором...

После разгрома Врангеля и бегства из Крыма Доктор жил в Турции, Югославии, Болгарии, Польше, Франции, Германии. В эмиграции его услугами пользовались генералы Улагай и Врангель, Кутепов и Миллер. Он сотрудничал с польской дефензивой и с украинскими националистами. Именно через националистов, при содействии полковника Коновальца, он после прихода Гитлера к власти вошел в связь с германской секретной службой.

Доктор не раз нелегально пробирался в Советский Союз, выполняя различные, как он выразился — «деликатные», поручения, и все сходило ему с рук. Жаловал он на нашу сторону под видом транзитника, туриста, корреспондента иностранной прессы, сотрудника Красного Креста.

У него была темная и сложная жизнь белоэмигранта-авантюриста, человека без родины, слуги многих хозяев... Я не заметил, чтобы он гордился своей биографией. Наоборот, в его рассказах нет-нет да прозвучит нотка циничной издевки над самим собой.

Накануне моего отъезда, за вечерним чаем, Доктор спросил:

— Вы решили, очевидно, после первого вечера, что я завязтый алкоголик, а? Скажите честно.

Я сказал честно, что именно так и думал.

— Я догадался. Иначе вы подумать не могли,— заметил Доктор, и лицо его стало хмурым.— А я не пьяница. Но без встряски не могу. Собачья жизнь!.. И один пить не могу. Ни за что. А вот так с кем-нибудь, в хорошей компании могу нализаться до чертиков. В тот день, когда вы приехали, мне особенно хотелось выпить, и я был рад вашему приезду. Вы спросите: почему? Я не буду скрывать. Смотрите, любуйтесь! — И он резким движением снял с рук замшевые перчатки.

Я внутренне содрогнулся и отвел глаза. Кисти рук были изуродованы сплошными струпьями землистого цвета.

— Красиво?.. — со злой улыбкой спросил Доктор и, быстро расстегнув ворот рубахи, обнажил грудь. Там была такая же картина.— Теперь ясно?

Я молчал.

— Нервная экзема. Ест она меня, подлого, как ржа желсзо. Я не знаю от нее покоя. Но вы не бойтесь, это не заразно, не передается другим. Это страшная штука... Проклятый зуд может довести до сумасшествия, а когда одурманишь себя алкоголем, зуд пропадает дня на три-четыре, а то и на неделю. Я говорил об этом врачам, они смеются. Говорят, что я внушил себе. Возможно... Вот полковник Габиш и послал меня сюда подлечиться.

— И как? — придя в себя, спросил я.

— Как будто немного лучше.

— А когда это у вас началось?

Доктор ответил не сразу. Он надел перчатки, отхлебнул чая и тихо проговорил:

— Давно... После одной ночи... У меня сдали тогда нервы, как-то сразу, мгновенно. Я влип в неприятную историю. Очень неприятную... Вы не были террористом?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну да, вы же были «интеллигентным вором»! Чистенький. Убивал-то глупый Брызгалов. Ну ладно... Так вот: в двадцать девятом году в Белграде мне поручили ликвидировать бывшего врангелевского поручика Якобсона. Он доводился мне дальней родней. Поручили это мне, как бывшему контрразведчику. Военные круги нашей белой эмиграции заметили, что поручик стал быстро «краснеть» и часто посматривал в вашу сторону. Это было опасно — он слишком много знал, этот поручик.

Я согласился убрать его, но мне чертовски не повезло. Вместе с ним мне пришлось пристрелить его жену, дочку десяти лет и прихватить за компанию горничную. Другого выхода не было. Понимаете?

Я кивнул, стараясь не выдать охватившего меня волнения.

— Для одного раза это многовато. Или нервы поистрепались... Я, помню, целую неделю ходил как очумелый, хлестал водку. Меня душили кошмары. Я готов был повеситься на первом суку, даже пытался это сделать, но меня успели снять. И вот с этого началось... — Он выдержал долгую паузу и продолжал: — А вообще наше дело собачье! Я так смотрю: если Гитлер своего добьется и удержит за собой хотя бы то, что взял, — мы еще проживем, а полетит он — полетим и мы к чертовой бабушке. Другое дело Гюберт! Ему что? Он ничего не потеряет ни в том, ни в другом случае. Денег он нахватал тьму-тьмушую и обеспечен на свой век. У него в Италии прекрасный особняк, своя яхта, солидный счет в банке. А я? Что я имею за двадцать лет преданной службы? Из крох, которые перепадают, капитала не составил.

Я молчал. Разговор принимал щекотливый характер, и тут легко было поскользнуться. Доктор мог умышленно пересолить, в надежде прощупать мое настроение. Я молчал и продолжал пить чай.

Доктор не ограничился этим и продолжал откровенничать. Я узнал, что до войны он выполнял функции резидента в одном из наших крупных промышленных городов. Узнал также, что он, как и Гюберт, еще в тридцать пятом году начал работать агентом гитлеровской службы безопасности, известной под сокращенным наименованием «СД». Она была организована в тридцатых годах при имперском руководителе «охранных отрядов» Гиммлере.

Доктору дважды довелось встречаться и беседовать в Берлине с самим Кальтенбруннером, обергруппенфюрером СС и начальником службы безопасности, консультировать представителей Главного Штаба.

Через таких людей, как Гюберт, Робуш и Доктор, служба безопасности пыталась создать на территории Советского Союза активную диверсионно-шпионскую организацию.

Доктор был вызван в Берлин перед самой войной,

потом заболел и вот уже полтора года болтается в тылу, консультирует. Теперь полковник Габиш теропит Доктора: надо опять пробраться в Советский Союз, найти потенциальных людей, восстановить связи, приобрести новую агентуру в новых районах.

Я, закончив специальную подготовку, должен помочь Доктору в этом. Меня, как я понял, выбросят с радиостанцией, на которой будет работать Брызгалов. На мою ответственность ляжет подбор наиболее удобного и безопасного места для выброски Доктора...

Поздно ночью Доктор проводил меня на вокзал, помог купить билет, усадил в поезд. И я отправился в обратный путь.

12. ФОМА ФИЛИМОНОВИЧ ПОЕТ

Прошла неделя, как я возвратился на Опытную станцию.

Погода стояла ненастная, злая, с белесо-бурыми туманами и унылыми дождями. Землю пучило от избытка влаги, а дожди — густые и мелкие — всё лили и лили. В заплаканное оконце моей комнаты бились оголенные ветви рябины, и с них беззвучно падали капли воды. Распутица разъела все проселочные дороги, и они стали непроезжими.

В свободное время я подолгу стоял у окна, наблюдая, как пузырились и пенились огромные лужи между рядами колючей проволоки, или выходил на крыльцо. Солнце не показывалось. Сумрачное, свинцовое небо опустилось низко-низко. Рваными лохмотьями, «на бреющем полете» неслись облака, казалось, что они вот-вот зацепятся за верхушки столетних сосен.

По утру ам клочья седого, грязноватого тумана напозали на строения Опытной станции и обволакивали их, будто мокрой и липкой ватой. Подчас ничего не было видно за пять шагов.

Печей еще не топили. Под навесом кто-то целыми днями колол дрова и выкладывал их ровными поленицами.

По ночам я долго не засыпал, кутаясь в колючее, грубошерстное одеяло и подбирая под себя ноги. Выключив

свет, я лежал в темноте с открытыми глазами, отдаваясь своим думам. Ветер свистел за стенами дома, бился в окно, пробирался в печную трубу, тормозил плохо прикрытую дверцу, гремел листом железа на крыше. По комнате, натываясь на стекла, летала полусонная муха и противно жужжала, а невидимый сверчок тянул свою одностороннюю запечную мелодию.

Я вслушивался во все эти звуки, в заунывные причитания ветра, и как-то тоскливо и грустно становилось на душе. Я засыпал, устав от дум, но вставал неизменно бодрым и жизнедеятельным.

Дни мои были плотно заняты — я жил по твердому графику. Меня начали обучать шифру, радио и фотоделу. Все это я, конечно, знал не хуже преподавателей и мог преподавать сам. Но было интересно и полезно видеть, как это поставлено у немцев. Ежедневно, кроме воскресенья, до самого обеда я был загружен занятиями. Шифру меня обучал Похитун, а радио и фотоделу — немец Раух.

Кормили меня хорошо, наравне со штатными сотрудниками Опытной станции. Даже выдавали через каждые три дня по бутылке водки местного производства. Кроме того, в день приезда я получил приличную сумму в оккупационных марках. Следовательно, я мог кое-что приобрести на рынке, хотя нужды в этом не было.

От коменданта Эриха Шнабеля я получил постоянный пропуск и в свободное время мог беспрепятственно отлучаться в город. Это было очень важно — ведь я ждал условного сигнала от Семена Криворученко. Искать его следовало только в городе. На этот счет у меня с ним была точная договоренность. Я уже совершил несколько прогулок в город, но они оказались безрезультатными. Никаких сигналов я не нашел, хотя был уверен, что Криворученко уже переброшен и ищет меня.

Однажды вечером, вернувшись к себе в комнату после ужина, я, к великому удивлению, увидел в комнате большой радиоприемник «Филиппс». Для него у изголовья кровати поставили специальный маленький столик. Я был озадачен и отправился за разъяснениями к гауптману Гюберту.

На мой вопрос Гюберт холодно ответил, что это сделано по его распоряжению. Он считает, что мне нельзя

отрываться от советской действительности. Я должен знать все, что происходит в советском тылу и о чем освещен каждый советский гражданин. По мнению Гюберта, лучше всего меня бы держало в курсе дел систематическое чтение советской прессы, но она поступает на Опытную станцию нерегулярно.

— Ловите что пожелаете, настраивайтесь на любую волну,— сказал в заключение Гюберт,— только воздержитесь от коллективных слушаний. Что полезно вам, может повредить другим.

Так я получил возможность слушать голос Большой земли. Я вернулся в свою комнату, подсел к приемнику, быстро ознакомился с его устройством и стал немедленно ловить передачу из Москвы...

Уснул поздно, но теперь уже не от грустных дум. Я не слышал, как стрекочет сверчок, как барабанит дождь по крыше, как завывает ветер. Я слышал лишь голос Родины. Трудно передать то чувство, которое я испытывал в эти минуты. Пожалуй, по-настоящему меня мог бы понять только человек, который сам пережил подобное.

Я проснулся, когда едва брезжил рассвет, и находился в том утреннем полусне, когда еще не хочется шевельнуться, не хочется покидать нагретую постель, даже глаз не хочется раскрывать. Я лежал ленись, стараясь угадать, который час. В это время скрипнули плохо смазанные четлы двери и в комнату осторожно, бочком, вошел старик с охапкой дров в руках. Я наблюдал за ним сквозь неплотно сжатые веки. Он тихо, без стука, уложил дрова около печки, достал из-за голенища бересту для разжигания и, стараясь не шуметь, начал разводить огонь.

Это был невысокий старик, с далеко не мужественной осанкой, заросший бородой до самых ушей. Глаза его, маленькие, как у медведя, умно поблескивали из-под косматых бровей. На голове торчала потрепанная шапочка из искусственной мерлушки, а на плечах был заплатанный пиджак с длинными полами, перехваченный в поясе тоненьким ремешком.

Через несколько минут в печи бился и гудел сильный огонь. Мне показалось, что в комнате сразу стало теплее. Старик между тем присел на корточки, прислонился плечом к стене и глядел, как с треском горят су-

хия дрова. Его губы шевелились, он что-то бормотал про себя, но я не мог разобрать, что именно. Несколько раз он кинул взгляд в мою сторону, но я делал вид, что сплю. И не шевелился.

Старик достал из кармана кисет с табаком и газету, сложенную гармошкой. Оторвав клочок газеты, он скрюченными, узловатыми пальцами с обломанными ногтями принялся вертеть самокрутку. Он вертел ее и тихо, но довольно явственно проговорил:

— На-кась, выкуси, злыдень...

Я едва удержался от смеха.

Он старательно облизал самокрутку, такую огромную, что ею могли бы накуриться несколько человек, сунул ее в рот и спрятал кисет.

Затем ловко выхватил из печи огонек, прикурил и опять произнес:

— Вишь чего захотел!

Дед пускал дым в приоткрытую дверцу печки, но дым все же поплыл по комнате. Нестерпимое желание закурить охватило меня. И закурить именно самосада из стариковского кисета, свернуть сигарку из его же газеты. И я не выдержал.

Резко поднявшись, я сел на кровати, спустил ноги и попросил:

— Дедок, поделись табачком!

Он ничуть не смутился, обернулся и поглядел на меня. У него были сердитые глаза, в которых светились ум и хитрость.

— Проснулись? — спросил он. — А чего проснулись? Вам бы спать да спать, господин хороший.

— Привык вставать рано, — сказал я. — И табачку твоего захотелось попробовать.

Старик покачал головой, поднялся, сунул руку в карман и шагнул ко мне.

— Из русских? — спросил он, изучающе разглядывая меня.

— Что значит — из русских? — недовольно произнес я. — Я настоящий русский.

— Вот я и подумал, что русский, — подтвердил дед. — Хотя тут вот начальник немец и радист немец, а по-русски здорово лопочут. Не хуже нас. — Он протянул мне кисет и добавил: — Табачок-то самодельковый, горлодер.

— Ничего,— сказал я.— Всякий курить приводилось.

— Тогда угощайтесь.

Дед вернулся к печке и уложил в нее оставшиеся поленья. Я свернул сигарку, прикурил от старикинской закрутки, сделал привычную затяжку, захлебнулся, и глаза мои полезли на лоб. Самосад был до того крепок, что горло мое сдавили спазмы и я отчаянно закашлялся.

Старик закатился тоненьким, дребезжащим смешком, и глаза его задорно блеснули.

— Ну как? — полюбопытствовал он.— Всякий курили, а такой нет?

Я не мог сразу ответить. Наконец, откашлявшись, бросил закрутку в печь и едва выдавил из себя:

— Табачок, будь он проклят!..

— Это с непривычки,— успокоил меня старик.— А вообще, конечно, табак дрянь, горлодер.

Я отдышался окончательно, закурил свою сигарету и спросил старика:

— Зовут-то тебя как, отец?

— Фомой Филимоновичем Кольчугиным...

— Из местных?

— Не совсем. Однако недалеко отсюда, из черниговских.

— А сюда как попал?

— Кого же сюда пошлют? Некого. В старину говорили, что на безрыбье и рак рыба, а я говорю: на безлюдье и Фома человек. Вот и пригодился Фома. Народу-то нет, господин хороший. Разметало народ по всему свету: одни сюды, другие туды подались. А я в тутошнем городе двадцать годков без малого живу. Человек я безобидный, никакой работой не брезгую, всем известен, вот меня и приткнули сюда по печной да по конской части.

Все это звучало более или менее правдоподобно. Я знал, что гитлеровцы берут даже в свои военные учреждения на черную работу русских людей. Но Опытная станция представляла собой не обычное учреждение. Это был строго засекреченный разведывательный пункт. Попасть сюда было не так легко!

— Хитришь, отец,— шутливо заметил я и подмигнул Фоме Филимоновичу.— К нам первого встречного не возьмут, даже если он самый лучший в городе работяга. Видно, по чьей-то рекомендации сюда пристроился.

— Ага... Что-то вроде этого,— кивнул Фома Филимонович.— Без этого трудно теперь. На бирже труда заручка оказалась. Землячок мой в каких-то начальниках ходит там, а мы при царе у одного помещика с ним лет пять работали. Не забыл он Фому, закинул за меня словцо — и выхлопотал мне местечко. Вот комендант ваш и забрал меня. Я ему перво-наперво дровец припас, навозил, наколол с солдатами, дымоходы прочистил да и за лошадами приглядываю. Солдат что? Нынешний солдат к лошадям непривычный. По этой части и за солдатом глаз нужен.

— А кем работал у помещика?

— Конюхом.

— Ну и как жилось тебе у помещика? — спросил я.

— А как? Неплохо жилось, царство ему небесное. Душой не буду кривить, хорошо жилось. Помещик хоть и немец, а славный был человек. В почете я был у него как спец по охотничьим делам. А он уж так любил эту охоту, что и обсказать трудно. Нашему начальнику сто очков вперед дать мог.

— Вот как...

Старик был словоохотлив, но с хитринкой. Эта хитринка проглядывала в осторожности, с которой он ронял каждое слово.

— Ну, покалякали, и хватит,— заключил он, подтягивая поясок.— Сейчас подброшу вам, господин хороший, еще дровец охапки две, и теплынь у вас будет, как в баньке.

— А на дворе холодно? — поинтересовался я, чтобы задержать старика и продолжить беседу.

— А с чего оно быть теплу-то? — ответил старик.— Времечко такое подоспело: ни на колесах, ни на полозьях. К зиме поворачивает... А вы из Москвы будете?

Я кивнул.

— Славный, рассказывают, городишко.

— Ничего, подходящий... — в тон ему заметил я.— А как тебе платят здесь?

— А платят аккуратно, каждую неделю. Ну и харчишки... — И он улыбнулся.— Насчет заработка что можно сказать? От такого заработка не помрешь, а хором не наживешь.

— Не тяжело с лошадьми и печками возиться?

— А што... лихо нам не страшно, всякое видывали.— И он опять улыбнулся.

— Почему зубы не лечишь? — спросил я, увидав у него во рту желтые корешки.

— Лечить-то уж нечего, господин хороший. За шестьдесят пять годков все дочиста и съел.

— И пиджачишко у тебя не по сезону. Шубу надо.

— Шубу моим костям надо уж сосновую... последнюю шубу. Я уж и так загостевался на этом свете.

— Это ты зря. О смерти нечего думать...— заметил я и спросил, какая семья у Фомы Филимоновича.

Он рассказал, что имеет двух сыновей. Жену похоронил в двадцать девятом году. Старший сын в финскую войну потерял на фронте руку, но, вернувшись инвалидом, снова поступил на обувную фабрику. Вместе с фабрикой эвакуировался куда-то в глубь страны, и слух о нем пропал. Второй сын не успел окончить техникум, где сейчас находится — неизвестно. А внучка, от старшего сына, живет с Фомой Филимоновичем.

— Вот так и живем, господин хороший,— закончил старик. — Пойду припасу вам дровец, — и, переваливаясь, зашагал к двери.

Я взглянул на часы и заторопился. Через четверть часа должен был начаться урок по радиodelу. Я быстро оделся, наскоро умылся и помчался в столовую. Быстро покончив с едой и кофе, я поспешил обратно.

Со своим учителем Вальтером Раухом я столкнулся в дверях. Он куда-то торопился. Вернувшись в свою комнату, он сунул мне в руки какой-то иллюстрированный журнал, сказал, чтобы я подождал его, и исчез.

Окно его комнатки, как и моей, выходило в лес. Здесь Раух жил. Здесь и занимался со мной. Работал он на радиоцентре, в отдельном домике.

Я полистал журнал и положил на стол. Взгляд мой остановился на огромных часах, стоявших в углу на тумбочке. Они меня заинтересовали в первый же день, но при Раухе разглядеть их внимательно я не мог. Часы были аккуратно вделаны в резной деревянный футляр в виде старинной готической башни. В нижней части башни имелись воротца, обитые красной медью, с двумя медными кольцами вместо ручек, а шпиль башни венчал пятиконечный крест с распятием. Башня была обнесена

рвом, над которым висел перекидной мостик на цепях. Очевидно, футляр делал искусный мастер. Ажурная резба на карнизах, каждое бревнышко, каждая деталь, звенья цепи, деревянный крест — все было выточено с душой, с любовью. А над воротами башни, на темной деревянной планочке, я заметил три маленькие разноцветные кнопки: белую, синюю и черную.

Я задумался о назначении кнопок. Зачем они здесь? Уж, конечно, не для того, чтобы заводить часы, и не для того, чтобы переводить стрелки.

Я нажал белую кнопку. Часы продолжали тикать. Нажал синюю — то же самое. Попробовал черную — опять ничего не случилось. В чем же дело? Часы стали отбивать время. Звон был мерный и торжественный.

«А может быть, кнопки для того, чтобы вызывать или прекращать звон?» — подумал я и вновь поочередно, сначала слева-направо, затем справа-налево, нажал на кнопки. Часы продолжали невозмутимо отбивать удары: пять, шесть, семь...

Тут я услышал скрип двери в коридоре. Я отошел от часов и заглянул в дверную щелку. Нет, это шел не Раух, а старик Кольчугин. Он нес в мою комнату охапку дров. Я вернулся к часам. И вдруг услышал грохот. Я застыл на месте. Мне почудилось, будто вот здесь, рядом со мной, кто-то бросил на пол дрова. Но в комнате был я один. Что за чертовщина?! Неужели, если Фома Филимонович бросает дрова в моей комнате, расположенной в противоположном конце дома, грохот слышен здесь? Я еще не догадался, в чем дело, когда услышал пение. Кто-то пел старинную русскую песню, и до меня отчетливо доносилось каждое слово:

Славное море, священный Байкал...

Так петь эту песню мог только русский человек.

Эй, баргузин, пошевеливай ва-а-ал!
Молодцу плыть недалечко...

От напряжения и волнения у меня на лбу выступила испарина. В голове шевельнулась догадка. Я приблизил лицо к часам — звуки лились из них, из ворот башни:

Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

И тут пришла запоздавшая мысль: вот для чего нужны кнопки! Все ясно! Я нажал белую — пение продолжалось, синюю — то же самое, наконец, надавил на черную — и пение смолкло. Я опять нажал белую и услышал голос:

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

Проверку следовало довести до конца. Я понимал, что в моем распоряжении считанные секунды — вот-вот может вернуться Раух.

Я быстро вышел из комнаты Рауха и устремился к своей. У дверей остановился и замер. До слуха явственно донеслись слова песни:

Слышны уж грома раскаты...

Я дернул дверь на себя. У печи на корточках сидел старик Кольчугин. Он уставился на меня любопытными глазами.

— Поёшь? — спросил я.

— Пою помаленьку, — отозвался Фома Филимонович.

— А я за сигаретами... забыл, — произнес я, схватил со стола пачку сигарет и ушел.

Значит, меня подслушивают. Это ясно. Из моей комнаты в комнату Рауха, который владеет русским языком, идет скрытая проводка, а репродуктор искусно замаскирован в часах. Новость важная. Чрезвычайно важная. Я вернулся в комнату Рауха, нажал на черную кнопку и едва успел закурить, как вошел Раух.

13. ШИФРОВАЛЬЩИК ПОХИТУН

Через четыре дня я сделал новое открытие: во время моих прогулок по городу за мной велась слежка. Выяснилось это так. Проходя мимо дома на окраине города, я обратил внимание на одного человека. Он сидел на деревянной скамье, вделанной в стенную нишу. Погода стояла пасмурная, и можно было подумать, что он укрывается от дождя. Я так и подумал.

На человеке была клетчатая кепка из ткани, обычно идущей на одеяла.

Полчаса спустя в самом центре города я заметил эту «кепку» на противоположной стороне улицы. Я решил на всякий случай проверить этого субъекта. Сделать это надо было так, чтобы не выдать своих подозрений. Я дошел до угла и остановился, засунув руки в карманы. «Кепка» тоже дошла до угла, на мгновение задержалась в нерешительности и пересекла улицу. Я пожегся от холода и дождя, потоптался на месте и повернул обратно. Пройдя полсотни шагов, я сделал вид, что оступился, начал растирать ногу и увидел позади себя «кепку». Не ограничившись этим, я решил убедиться еще раз и пошел дальше.

Проходя мимо городской биржи труда, отгороженной от улицы глухим кирпичным забором, я свернул в калитку, сделал несколько шагов и повернул обратно. И при выходе столкнулся нос к носу с «кепкой».

Это был плохой агентик, неопытный, не уверенный в себе. Зная, что во дворе биржи всегда толпится много народу, он, опасаясь потерять меня и, конечно, не ожидая, что я сразу выйду, бросился сломя голову за мной.

Больше в этот день я его не видел, да и вообще никогда уже не встречал. При очередной прогулке в город я опять обнаружил за собой наблюдение, но теперь его вело новое лицо.

Это открытие осложняло мои планы. Надо было что-то придумать. Встречаться с Криворученко, имея за собой «хвост», конечно, нельзя.

Я долго размышлял над тем, как выйти из положения. И придумал. Я решил «подружиться» с шифровальщиком Похитуном. Это был первый человек, заговоривший со мной по-русски на Опытной станции. Он же первый начал заниматься со мной радиodelом. Что-то похожее на сближение наметилось между нами на первом же уроке. Возможно, поводом послужила моя «откровенность» с Похитуном. Я охотно отвечал на все его вопросы и даже выкладывал перед ним свои «взгляды».

Нетрудно было заметить, что Похитун любит не только чеснок, которым от него разило, но и спиртное. Я убедился, что он горчайший пьяница. Водка, получаемая мною, оказалась тем магнитом, который притягивал его

ко мне. Алкогольный червяк не давал покоя Похитуну. Первый урок по радиоделу закончился тем, что он, мертвецки пьяный, свалился на койку и захрапел тотчас, как только содержимое бутылки перекочевало в его утробу.

Но он успел кратко поведать мне о своей жизни. Я узнал, что еще до первой мировой войны Похитун служил бухгалтером в московском филиале крупной немецкой фирмы и по хозяйским делам дважды бывал в Берлине. Там хозяйский сын, немецкий офицер, хвастал в компании собутыльников феноменальной памятью Похитуна на цифры. Похитун мог наизусть пересказать grossбух филиала за полугодие с тысячами разных чисел. Там же он познакомился с молодым капитаном Габишем. Война 1914 года... Похитун сдался в плен немцам и был подобран Габишем, у которого, по словам Похитуна, «преотличнейший нюх на деловых людей». Похитун был штабным шифровальщиком в царской армии, а стал шифровальщиком в немецкой разведке.

В России у него остались жена и сын, но он о них забыл и в двадцатых годах женился на немке. Жена его — особа с крутым характером, но отменная хозяйка. Она живет сейчас в предместье Берлина, и он получает от нее три письма ежемесячно. Ровно три — ни больше ни меньше.

Накануне этой войны Похитун почти совсем прекратил пить. «Вылечила» его жена довольно радикальным способом: все, что он зарабатывал, она отбирала до последней марки и складывала в комод, к которому доступ Похитуну был категорически запрещен. Рассчитывать же на угощение друзей почти не приходилось.

А когда Похитун в феврале сорок первого года оказался на фронте и выскользнул из-под контроля жены, он стал опять пошаливать. Итак, у этого типа за спиной почти тридцать лет усердной службы в немецкой разведке...

Я пришел к выводу, что Похитун — человек безвольный, ломкий. Это была личность без личности, какой-то «пльвун». Но при всем этом он действительно обладал феноменальной памятью и блестяще знал шифровальное дело. В его голове легко и прочно укладывались всевозможные цифры и коды, сложные цифровые и буквенные комбинации, разнообразные шифровальные ключи.

Эти достоинства спасали его от увольнения с работы за чрезмерную любовь к спиртным напиткам.

«В шифре,— говорил Похитун,— я так насобачился, что стал настоящим профессором».

Коротко говоря, он ускоренными темпами стал называть себя в мои приятели. Этому способствовала не только моя водка, но и получаемые мною деньги. Часть их я сразу предложил Похитуну. Он не отказался, заметив, что почти все его жалованье и сейчас попадает в руки жены, которая намерена поразить его вскоре каким-то решительным коммерческим ходом.

Водка развязывала Похитуну язык, и он в пьяном виде выбалтывал то, что надежно хранили сейфы и о чем он трезвый побоялся бы даже заикнуться.

Однажды в конце урока после бутылки «зелья», которую я накануне принес из города, он под большим секретом выболтал мне чрезвычайно важный факт. Оказывается, во время моей поездки к Доктору Гюберт перекинул на нашу сторону агента-радииста, некоего Василия Куркова. Его обучал радиodelу Похитун, но не здесь, на Опытной станции, а в городе, где Курков жил на конспиративной квартире. После выброски Курков передал пять радиogramм. Он сообщил, что хорошо устроился, нашел комнату в надежной семье, начал собирать разведывательные данные, собирается в Москву, чтобы навестить Брызгалова. Но потом замолк по неизвестным причинам и подряд пропустил четыре сеанса, не отзывается... Гюберт очень нервничает. Да и Похитуну неприятно: могут подумать, что он плохо подготовил Куркова, а он выжал из него все, что мог.

— Его бросили, наверное, к Саврасову на Урал? — рискнул я задать вопрос.

— Какой шут, к Саврасову! — возразил Похитун. — Он послан на самостоятельную работу в район станции Горбачево, между Орлом и Тулой.

Наша «дружба» принесла свои плоды. За мной прекратилась слежка. Это объяснялось очень просто: Похитуну, безусловно, доверяли, в его преданности не сомневались, и когда я стал ходить в город вместе с ним, то ни разу не обнаружил за собой «хвоста». Да и зачем было вести за мной слежку, когда мы вместе уходили и вместе возвращались. Наша «дружба», конечно, не

мешала Похитуну докладывать начальству о моем поведении. В этом я нисколько не сомневался.

Как-то мы опять отправились в город. Надо сказать, что по совету Гюберта я уже больше недели не брился и оброс бороденкой, делавшей меня неузнаваемым.

Город был мне знаком: здесь родилась моя жена и я несколько раз бывал в нем до войны. Всегда волнующе-отрадно навестить места, с которыми связаны давние радостные воспоминания. Я нашел знакомую улицу, обсаженную кленами, и стал искать глазами аккуратно срубленный домик, в котором прошло детство жены. Но домика я не нашел, как не нашел и соседних с ним домов; вместо них было немецкое кладбище с березовыми крестами, расставленными в строгие шеренги.

В горле у меня запершило, горький осадок лег на душу. Я быстро покинул улицу. У Похитуна, между прочим, сложилось мнение, что я тянул его сюда затем, чтобы специально поглядеть на кладбище. Он даже стал напевать старую солдатскую песню: «Спите, орлы боевые...», но потом умолк.

Никаких знаков и сигналов Семена Криворученко я не нашел, хотя мы исходили из конца в конец все главные улицы городка.

«Неужели выброска сорвалась? — лезли в голову тревожные мысли. — Но что могло помешать ей? А может быть, случилось худшее, без чего не обходится дело в войну? Может быть, и Семен и радист обнаружили себя и попали в лапы гитлеровцев? Но ведь их должны были сбросить в глухом лесу, а в лесные дебри гитлеровцы забираются редко».

Во всяком случае, и из этой прогулки в город я возвратился ни с чем. Беспокоила мысль об этом радисте Куркове. Что, если он разведает, что в указанной мной больнице никакого Брызгалова не было и нет? Необходимо немедленно связаться со своими, предупредить их.

14. ПАРАШЮТИСТ

Зима стояла на пороге. Заморозки уже частенько перепадали по утрам, обжигая одинокие, жалко трепетавшие листья на оголенных деревьях. Листья короби-

лись, жухли, свертывались в трубочки и безропотно умирали, слетая на землю с грустным шелестом. Бесчисленные лужицы, заводи и берега рек покрывались за ночь хрустким ледком. Грязь на дорогах густела к утру и только за день оттаивала опять.

В один такой день я проснулся в очень плохом настроении. Я все время думал о Криворученко. На нем сосредоточивались мои надежды и помыслы все последние дни. Я был во власти одной мысли: почему он до сих пор не дает о себе знать?

С каждыми новыми сутками настроение мое падало катастрофически. Предчувствие надвигающейся беды охватывало меня. Особенно остро я переживал то, что, находясь в окружении врагов, не мог ни с кем поделиться тревожными думами, перекинуться двумя-тремя дружескими словами.

Самым трудным было сохранить видимость внешней жизнерадостности и бодрости, чтобы не навлечь на себя никаких подозрений.

Перед лицом опасности я редко терял самообладание, перед лицом испытаний старался быть собранным. Но, видимо, и опасности и испытания выпадают разные — раз на раз не приходится.

День прошел, как обычно, целиком загруженный до обеда. После обеда я надеялся побеседовать со стариком Кольчугиным, но он куда-то исчез.

Похитун по случаю понедельника пребывал в тяжелом похмелье и ползал по территории станции, как отравленная муха. На него напала хандра. Я сходил в город один и вернулся окончательно расстроенный. От Криворученко по-прежнему ничего не было...

Незаметно стемнело. Застучал электродвижок, и в окнах вспыхнул свет.

Я сидел в столовой за ужином, когда мое внимание привлек необычный шум во дворе. Я услышал зычный и картавый голос коменданта Эриха Шнабеля. Он выкрикивал фамилии младших офицеров и солдат, затем приказывал им быстро следовать за ним. Раздался свисток, топот ног, бряцание оружия, и все смолкло.

Я постарался быстрее управиться с ужином и вышел во двор.

Уже стемнело. Кругом стояла настороженная тиши-

на, нарушаемая монотонным и негромким постукиванием движка. И вдруг в лесу, совсем недалеко, ударил выстрел, и как бы в ответ ему скороговоркой застрочили автоматы.

Я прислушивался. Что это означало? До передовой далеко. Десанту здесь делать нечего. Возможно, партизаны?

И вот послышался отчаянно-зловещий крик, который мог принадлежать лишь человеку, попавшему в смертельную опасность. Протяжный крик закончился стоном и оборвался. Все стихло.

Не в силах справиться с охватившим меня волнением, я быстро прошел в свою комнату и включил приемник. Москва передавала обзор о боях под Сталинградом. Но слова диктора не доходили до моего сознания. Мысленно я был там, в лесу, где, несомненно, случилось что-то страшное. В это время кто-то неуверенными шагами прошел по коридору и остановился у моих дверей.

Я взялся за регулятор громкости и стал вертеть его. Дверь отворилась, и вошел Похитун. На лице его блуждала подленькая улыбка. Напустив на себя таинственно-заговорщический вид, он наклонился к моему уху и шепотом произнес:

— Изловили советского парашютиста... Только что. Еще свеженький, горяченький...

Он смотрел в мои глаза хитрыми белесыми глазками и хотел, видимо, определить, какое впечатление произведет его сообщение. Я неопределенно пожал плечами и ничего не сказал. Да я и не мог ничего выговорить. В груди что-то с болью перевернулось. Тревога, острая, глубокая, наполняла все мое существо. Я сделал вид, что увлечен прослушиванием обзора и прибавил громкость.

Похитун потоптался на месте и полюбопытствовал:

— Не имеете желания взглянуть на своего землячка? Меня взорвало.

— Как это понимать? — злобно осведомился я.

Губы Похитуна растянулись в усмешке.

— Да я же шучу. Какой вы петушистый!.. Слушайте. Мешать не буду.— И он вышел из комнаты своей утиной походкой.

Я резко встал и прижал руку к сердцу. Мною овладело отчаяние.

«Криворученко! Это Криворученко! Это его крик ты слышал. Это его схватили враги!» — шептал тайный голос.

Я ощутил, как холодные росинки выступили на лбу.

В коридоре вновь послышались шаги, но теперь быстрые, уверенные. И едва я успел сесть на место, как вошел инструктор-радист Вальтер Раух.

— Вас требует к себе гауптман, — сказал он коротко и вышел, хлопнув дверью.

В голове у меня все перемешалось. Болезненное впечатление рисовало картины одна другой чудовищнее.

«Неужели схватили Семена? — сверлила голову мысль. — Как он мог оказаться здесь? Почему с парашютом? Ведь и он, и Фирсов, и Решетов точно знали, как и я, со слов Брызгалова, где расположено осиное гнездо».

Взвинченный до предела, я выключил приемник и пошел к Гюберту. На дворе я несколько раз подряд глубоко вздохнул, чтобы унять волнение. Мне надо было выбросить из головы страшные мысли, чтобы не выдать себя перед Гюбертом. Ведь я не знал, что ожидает меня там. Но в ушах моих стоял тревожный человеческий крик.

Не знаю, каких усилий стоило мне собрать себя, заглушить стук сердца, и не знаю также, насколько мне это удалось.

Я постучал в дверь гауптмана.

— Да! — отозвался Гюберт.

Я открыл дверь, переступил порог, и из моей груди чуть не вырвался вздох облегчения: это был не Криворученко. Это был совершенно незнакомый мне человек. Перед Гюбертом, прислонившись плечом к стене, стоял парень лет двадцати пяти с искаженным болью лицом. Его спутанные волосы золотистого оттенка колечками падали на мокрый лоб. Пот стекал со лба и, видимо, разъедал его светлые, с сухим блеском глаза, потому что он странно помаргивал и встряхивал головой. Руки его были связаны тонкой медной проволокой, левая — выше локтя — забинтована. На бинте расплывалось кровавое пятно.

Боль сжала сердце: это был не Криворученко, но это был советский человек!

На его плечах болтались обрезанные парашютные лямки, а на столе лежал пистолет «ТТ».

Гюберт, холодно взглянув на меня, бросил:

— Садитесь.

Я сел. Теперь я был вполоборота к пленнику, зато лицом к лицу с Гюбертом.

— Ну? — обратился Гюберт к парашютисту.

Я повернул голову. Гимнастерка пленного взмокла, прилипла к телу.

Судорожно шевеля лопатками, он хрипло проговорил:

— Я все сказал. Ясно?

В тоне его чувствовался бесшабашный вызов смерти. Я еле сдержал себя, чтоб не вздрогнуть.

— Господин Хомяков,— сказал мне Гюберт.— Этот субъект утверждает, что родился в городе Баталпашинске, Армавирской области. Насколько мне известно, Армавирской области не существует и не существовало в составе русской федерации. А вы как считаете? Помогите мне разобраться.

Гюберт говорил бесстрастно, без интонаций. Казалось, слова срываются с его губ независимо от его желания.

«Что же мне ответить? Лгать, как лжет он, этот юноша, запутаться, навлечь на себя подозрение, поставить под угрозу провала большое дело, доверенное мне, или разоблачить его, советского человека?»

Я колебался недолго и ответил:

— Я не бывал в тех краях, но мне кажется...

Мне не дали закончить.

— Плевать я хотел на то, что вам кажется,— прервал парашютист, заставив меня вздрогнуть.— И на все плевать я хотел... Я лучше знаю, где я родился! — И он смерил меня с ног до головы взглядом, полным ненависти и презрения.

Я понимал его. Отлично понимал, преклонялся перед его мужеством.

— Все ясно...— с холодным безразличием произнес Гюберт и спросил пленного: — Вы по-немецки понимаете?

Тот как-то злорадно усмехнулся и с неплохим произношением ответил:

— Ферштее нихьтс¹.

Гюберт поморщился и вновь спросил:

— По всей вероятности, вы офицер. Так?

¹ Не понимаю.

— Да, и горжусь этим.

— Чин?

— Чины у вас, мы без них обходимся.

— Прощу прощения,— иронически заметил Гюберт.—
Звание?

— Лейтенант.

— Зачем пожаловали в наши края?

— Это не ваши, а наши края. Я могу вас спросить:
зачем вы сюда пожаловали?

«Молодец! — отметил я про себя. — Герой!»

Я непреодолимо хотел чем-нибудь — жестом, кивком или движением глаз — ободрить смелого советского воина, но об этом нечего было и думать. Я взглянул на Гюберта. В его глазах мерцали злые огоньки, губы подрагивали. Но он невозмутимо, даже без угрозы, предупредил:

— Ничего, скажете, товарищ Проскуров.

— Закурить дайте! — неожиданно потребовал тот.

— Это дело другое,— произнес Гюберт. Он взял сигарету, раскурил ее и, подойдя к Проскурову, сунул горящим концом в рот.

Проскуров дернулся, облизал губы и сплюнул.

— Я презираю вас, слышите вы! — крикнул он в лицо Гюберту.— Презираю! Не прикасайтесь ко мне! — И он топнул ногой.— Вы способны издеваться над детьми и безоружными... Вы трус! Вы подлый трус! Развяжите мне руки, и я не посмотрю, что у вас пистолет. Я прыгну на вас и перегрызу вам горло! Я не боюсь вас!.. И не скажу вам больше ни слова!

Все это он выпалил дрожащим от ярости голосом. Ярость была не только в голосе, но и в его глазах, в искаженном лице.

Гюберт повел плечом, отвернулся и сказал мне:

— Идите, господин Хомяков. Этого субъекта надо привести в чувство, успокоить. Тогда, я надеюсь, мы найдем общий язык.

— Попробуйте! — угрожающе проговорил Проскуров.

Я вышел подавленный. Хотелось уткнуться головой в подушку и плакать от сознания своего бессилия.

Но этим эпизодом мои испытания не кончились. Они только начались. Не прошло и получаса, как ко мне пожаловал Похитун. Без всяких предисловий он объявил:

— Гауптман распорядился поместить парашютиста Проскурова на ночь в вашей комнате. На полу. Авань он что-нибудь выболтает. Постарайтесь разговорить его. Ему сейчас притащат матрац. В коридоре всю ночь будет сидеть автоматчик. Так что ничего страшного. Устраивает такая компания?

— Не особенно,— через силу ответил я.

— Ерунда! Плюйте на все и не вешайте нос! Часы его сочтены. Утром его прикончат. Гауптман не привык цацкаться... Желаю спокойной ночи и хороших сновидений.— Похитун развязно поклонился, глупо осклабился и вышел.

«Этого еще не хватало!» — подумал я, не зная, куда себя деть и за что взяться. Мне предстояла страшная пытка.

Через короткое время солдат втащил в мою комнату набитый соломой матрац и бросил его на пол у окна. Вслед за этим комендант ввел связанного Проскурова, подвел его к матрацу и толкнул. Проскуров упал лицом вниз и страшно выругался.

Он лежал долго, молчал, тяжело вздыхая и исподлобья поглядывая на меня.

Я решил не гасить свет, разделся и лег. Я понимал игру Гюберта: он, не брезгуя ничем, хочет лишний раз проверить меня. И вот нашел удачный предлог.

Я не мог поговорить по душам с Проскуровым, а как страстно хотелось. Ведь это была его последняя ночь! Где-то там, на нашей стороне, конечно, есть у него отец, мать, может быть, братья, сестры, жена... Кто им поведаст о трагической гибели сына, брата, мужа? А я был бессилен помочь. Меня, конечно, подслушивали. Раух, наверное, уже сидит у своих часов и ждет не дождется услышать мой голос.

О сне нечего было и думать. Как можно заснуть, когда чуть не рядом с тобой лежит твой товарищ, жизнь которого окончится с восходом солнца, когда ты слышишь его прерывистое дыхание, видишь его бледное лицо.

Мне хотелось биться головой о стену...

Проскуров перевалился на бок, и я поймал на себе его стерегущий взгляд.

— Как вас именовать: господин или товарищ? — спросил он громко.

У меня застучало в висках.



— Шкура!.. — бросил он мне последнее слово.

— Это не имеет значения.— ответил я.

— Вы русский или только владеете русской речью?

На такой вопрос я без опаски мог ответить прямо и честно:

— Я русский.

— И вы не связаны?

— Как видите.

— Почему?

Я промолчал. Продолжать такой разговор было хуже пытки огнем и каленым железом.

— Вы живете какой-нибудь идеей или так... вообще? — спросил Проскуров.

— Каждый живет своей идеей,— ответил я и закрыл глаза, делая вид, что хочу спать.

Но Проскуров не унимался: ему нечего было терять, участь его была решена.

— Что вы здесь делаете?

Я промолчал.

— За сколько сребреников продал свою душу, Иуда?

Я не ответил.

— Сволочь! — выругался Проскуров.— Этот капитан хвастает, что у него даже мертвые разговаривают. Посмотрим! Я плюну перед смертью в его рожу...

Ночь превратилась в кошмар. Мгновениями я, кажется, забывался, но это было мучительное забытие. Думы терзали меня, взвинчивали нервы, я был на грани психоза.

Проскуров всю ночь не спал. Он стонал, ворочался, бранился, кому-то угрожал, даже смеялся, засыпал меня вопросами. Я, сжав зубы, молчал и притворялся спящим. Все время я ловил на себе его взгляды, и они действовали на меня, как ожоги.

На рассвете, едва ночной мрак за окном сменился предутренней серостью, в комнату вошел Шнабель с двумя солдатами. Проскурова увели.

— Шкура!.. — бросил он мне последнее слово.

«Вот и всё! — подумал я.— Был человек, жил, смотрел, боролся, дышал вместе со мной одним воздухом — и человека не стало. А я, кроме фамилии его, ничего не узнал».

Минут десять спустя где-то вдали простучала короткая автоматная очередь...

15. ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА

В начале ноября неожиданно наступило потепление, пошли мелкие дожди.

Все это время я жил под впечатлением истории с парашютистом лейтенантом Проскуровым. Пьяный Похитун сообщил мне, что Проскурова вначале предполагали повесить, но затем Гюберт приказал расстрелять. Как объяснил мне Похитун, мужество Проскурова поразило даже Гюберта. Он решил проявить благородство и заменить ему позорную смерть более почетной.

Но это не меняло сути дела: Проскурова не стало, он бесследно исчез, его закопали где-то в лесу, не осталось даже могилы. Этот лейтенант все время стоял у меня перед глазами, в моих ушах звучал его гневный голос. Я думал о нем постоянно, он являлся передо мной во сне, требуя ответа: господин я или товарищ?

Я чувствовал какую-то вину перед погибшим Проскуровым, долго и упорно спрашивал себя: каким образом мог бы помочь ему, чем облегчить его судьбу? И не находил ответа. Но в душе какой-то голос неумолимо твердил, что я все же мог предпринять попытку, но не сделал этого. Мне казалось, что вина моя состоит уже в одном том, что я по-прежнему жив, здоров, хожу, ем, пью, курю, выполняю свое задание, а Проскуров лежит в земле, истерзанный и расстрелянный врагами. А может быть, он вовсе не Проскуров, а какой-нибудь Фролов или Донцов и родом не из Баталпашинска, а из Ленинграда или Саратова?

Я не знал и никогда уже не узнаю, зачем он оказался в районе Опытной станции, с каким заданием его сбросили. Но этого не добился и Гюберт.

Между тем мое время уплотнилось еще более. Я стал не только учеником, но и учителем. Гюберт вызвал меня к себе и сказал, что поручает мне обучение одного парня.

— Что от меня требуется? — спросил я.

— Его надо основательно познакомить с Москвой. Он должен иметь представление о ней, как любой москвич. В вашем распоряжении будут карта и справочник.

Мне оставалось принять приказание к исполнению.

Я ожидал почему-то, что учеником окажется немец, но комендант Шнабель привел ко мне русского.

— Константин,— назвал он себя при знакомстве, не сказав фамилии.

По виду ему было не больше двадцати пяти — двадцати шести лет.

«Что же тебя, подлец, толкнуло идти в услужение к фашистам? — подумал я, взглянув ему в глаза.— Смерти испугался?»

По опыту я знал, что пути к душе человека очень часто непроходимо трудны. Познакомившись с Константином, я сразу почувствовал, что никакого душевного контакта между нами не будет.

Константин показался мне человеком чрезвычайно тяжелым, с явно угнетенной психикой. В выражении его худого, истощенного и малоподвижного лица проглядывала не только смертельная усталость, но еще и тупое безразличие, равнодушие ко всему, что его окружало. Жизнь, видно, основательно выжала, высушила его. Его скорбные глаза смотрели отчужденно, а подчас я подмечал в них глубокую опустошенность.

Я невольно сравнивал его с Проскуровым: в том бурлила жизнь, а в этом уже свила себе гнездо смерть.

За два занятия я с невероятным трудом вытянул из него несколько слов, не относящихся к делу, и узнал, что он бывший кадровый офицер в звании старшего лейтенанта, окончил Орловское танковое училище, в плен к немцам попал в бессознательном состоянии, тяжело раненным. И всё.

На занятиях он молчал, безразлично смотрел на меня и в ответ на мои объяснения угрюмо кивал головой. За два урока он не задал мне ни одного вопроса.

После второго урока я отпустил Константина и решил проверить, куда он пойдет. Мне хотелось узнать, где он живет: на Опытной станции или в городе? Лучше всего было сделать это из комнаты Похитуна, окно которого выходило во двор.

Похитун отдыхал, лежа на неубранной постели, задрав ноги в сапогах на спинку кровати.

Заговорив с Похитуном, я смотрел в окно: Константин, опустив голову, медленно пересек двор и скрылся в двери дома, где размещался Курт Венцель и другие младшие офицеры. Значит, жил он, как и я, на Опытной станции. То, что я не видел его ранее, не удивило меня.

— Дождь все сыплет? — спросил Похитун, не меняя позы.

Я ответил, что дождь перестал.

— В город заглянем?

Как я мог возражать, когда только и думал о городе!

Но пошли мы не сразу, а после обеда. Зашли в казино. Оно пустовало. За единственным столиком сидели три эсэсовца, пили водку и громко разговаривали. На помосте дребезжал плохонький оркестр из пианино, аккордеона и скрипки. Тщедушный, обросший щетиной румын с огромными, навывкате, глазами пиликал на скрипке, и она издавала фальшивые, тянущие за душу звуки. От них даже на лице Похитуна обозначилась гримаса страдания.

— Мерзавец мамалыжник, что вытворяет! — произнес он, покачав головой, и потянул меня к стойке.

У меня в кармане были считанные гроши, положенные деньги должны были выдать лишь завтра, но о наличии этих грошей Похитун знал с моих слов. Мы выпили по стопке водки, и Похитун, как всякий пьяница, сразу осоловел. На него напала болтливость. Он взял меня под руку, и мы зашагали по городу.

За эту неделю я сравнительно хорошо изучил Похитуна. Я догадывался, что ему приказано приглядывать за мной и что он неспроста сам предлагает мне прогулки в город.

Но я понимал также, что моя водка и мои деньги тоже устраивают его и что о распитии водки за мой счет он доносить Гюберту не станет.

Чем больше узнавал я Похитуна, тем больше поражался. Даже в пьяном состоянии он легко разбирался в головоломных шифрах и никогда не допускал ошибок. Язык его заплетался, когда он говорил об обычных вещах, но как только речь заходила о делах профессиональных, он изменялся до неузнаваемости. У меня сложилось впечатление, что шифровые и кодовые вариации так прочно засели в его голове, что говорит он о них чисто автоматически.

Похитун был в жесточайшей вражде с самой элементарной гигиеной. Он не пользовался зубной щеткой, обходился без носового платка, с отвращением относился к чистому белью. Кровать его неделями стояла неубранной,

полотенце было черным-черно. В баню его загнали чуть не насильно, под угрозой ареста, когда всему личному составу станции делали противотифозные прививки.

Я испытывал к нему непреодолимое чувство брезгливости, но с этим приходилось мириться: Похитун был мне нужен, и пока я не видел на Опытной станции другого человека, которого можно было бы использовать в своих интересах.

Мы шли по самой людной улице города. Миновали «Арбайтсдинст» («Биржа труда»), «Ортскоммандатур» («Местная комендагура»). Я внимательно ощупывал взглядом стены домов, заборы, но сигналов Криворученко не находил. Мы свернули на поперечную улицу, прошли мимо сожженного здания кинотеатра, в который когда-то водила меня жена. Рядом уцелело каменное помещение бывшей пищеторговской столовой. Сейчас на нем висела небольшая вывеска с надписью на немецком языке — «Зольдате́нхейм» («Солдатский клуб»). На перекрестке свернули еще раз, прошли квартал и очутились возле парикмахерской. Над входной дверью в нее, на куске железа, желтым по черному красовалась предупреждающая надпись: «Нур фюр ди цивильбефолькерунг» и тут же по-русски: «Только для гражданского населения».

Глаза мои скользнули ниже вывески, правее дверей, — и я едва не вскрикнул от радости. Наконец-то! Вот он, долгожданный сигнал! Вот он, условный знак!

Это было настолько неожиданно, что я усомнился: не галлюцинация ли? Я так долго ждал сигнала, так много думал о нем! Но нет, ошибки быть не могло. На углу дома я увидел еще один такой же знак. И тут и там было написано: «К/4». Расшифровывалось это просто: «К» — значит Криворученко, а «4» — вчерашнее число. Но это было понятно лишь мне. Даже такой маститый специалист по шифру, как Похитун, не мог обратить внимания на эту надпись. Она не вызвала никаких подозрений. Всевозможных надписей, цифр, указателей и предупреждений на стенах было полным-полно.

Криворученко использовал для сигнала первый из четырех разработанных нами вариантов, самый простейший, и сразу достиг цели.

Значит, Семен уже появлялся в городе!

На радостях я способен был выкинуть что-нибудь

такое... И выкинул: прыгнул через лужу на тротуаре, а Похитун, державшийся за мою руку и потерявший точку опоры, угодил в лужу.

— Куда вас несет? — обиженно заворчал он. — Что вас, сзади жжет, что ли?

— Это шнапс действует, — отшутился я.

Границы моего мира раздвинулись. По договоренности я обязан был сейчас же подать ответный сигнал, дать знать, что у меня все благополучно, что я заметил знак, но сделать этого не мог — мешал Похитун. Он, конечно, мог помешать мне и завтра, но я был твердо уверен, что так или иначе найду выход и на несколько минут останусь один.

Обратный путь мне показался необыкновенно приятным. Улицы города выглядели как будто приветливее, а дорога через лес — не такой уж грязной.

Голова моя была полна радостных мыслей. Я думал над тем, где обосновался Семен с радистом, как и под видом кого пробрался в город, днем или ночью. Я шел насвистывая и думал о близкой встрече.

16. ЗНАК — «СК/4»

Гюберт будто почувствовал, какие надежды я возлагаю на этот день, и сломал все мои планы. Еще до обеда, во время урока по радиodelу, он вызвал меня и спросил:

— Советских писателей и их произведения вы, я надеюсь, знаете?

Я ответил, что не очень, но основные знаю.

— Тогда никуда не отлучайтесь, — предупредил он. — Вы мне будете нужны.

Я молча повернулся и вышел, проклиная в душе Гюберта. Я не суеверен, но мне вдруг показалось, что приказ Гюберта может быть как-то связан с моим желанием пойти сегодня в город.

Но город я все-таки посетил, хотя и не мог подать Криворученко ответный сигнал.

Уже вечером меня вновь пригласили к Гюберту.

— Пойдемте, — сказал он.

Мы вышли со двора и усаелись в громоздкий вездеход, в котором ожидал нас худощавый немец в военной форме.

— Познакомьтесь,— предложил Гюберт.

Я подал руку и назвал себя.

— Отто Бунк,— отрекомендовался наш спутник.

Так я впервые увидел помощника Гюберта, долго отсутствовавшего.

Поездка, занявшая больше трех часов, никакого интереса для меня не представила. Машина остановилась на окраине города, возле обшарпанного дома. Мы вошли, и в угловой комнате я увидел груды книг, сваленных в беспорядке. Гюберт распорядился просмотреть их и отобрать те, которые принадлежат перу советских писателей. Видимо, они понадобились Гюберту, коль скоро он сам поехал сюда.

Я принялся за работу, а Бунк и Гюберт светили мне фонарями.

В этой книжной свалке, которую я добросовестно перетряхнул, набралось десятка два интересующих Гюберта книг. Я нашел томики Федина, Серафимовича, Сейфуллиной, Фадеева, Горбатова и других известных мне писателей.

Бунк увязал книги и положил в машину.

И лишь на обратном пути я кое-что извлек для себя. Гюберт и Бунк говорили по-немецки о положении на фронтах, о смерти какого-то знакомого им обоим полковника, о том, что Габиш никак не избавится от ревматизма. Потом Бунк сказал, что неподалеку от города разместились новый авиаполк тяжелых бомбардировщиков авиации стратегического назначения, что он уже успел познакомиться с некоторыми офицерами.

Когда машина подъехала к Опытной станции и Гюберт сошел на землю, со стороны города послышался сильный взрыв.

За ним последовал второй, третий, четвертый. Я насчитал их шесть подряд.

Гюберт постоял, вслушиваясь, и обратился к помощнику:

— Это еще что за новость?

Отто Бунк недоумевающе пожал плечами.

— Позвоните в город и выясните,— приказал Гюберт. И мы прошли во двор.

Когда я дошел до порога своего дома и взялся за дверную ручку, грохнули еще два взрыва, правда слабее,

чем первые: затем простреляли длинные автоматные очереди, щелкнуло несколько одиночных выстрелов, и все стихло.

Я не меньше Гюберта заинтересовался тем, что произошло в городе. Но через кого узнать? Ничего не поделаешь, придется потерпеть...

Не зажигая света, я улегся в постель. В комнате было тепло и даже уютно. Я погрузился в размышления. Пораздумать было над чем. В который раз за этот неудачный день я стал суммировать все, что мне стало известно об Опытной станции и что надо было сообщить на Большую землю. В том, что связь с Большой землей наладится в самое ближайшее время, я несколько не сомневался. Не сомневался и в том, что мы встретимся с Семеном, хотя не имел еще ни малейшего представления, когда, где и как. Но я знал, твердо знал, что найду выход.

Кажется, я уже задремал, когда кто-то вошел в комнату и включил свет. Это был Похитун. У него была дурная привычка садиться на кровать. Сейчас он тоже плюхнулся на одеяло у меня в ногах.

— Сволочи!.. Что они хотят этим доказать? — сказал он с нескрываемым раздражением. — Все равно выловят всех до одного.

— О ком это вы? — спросил я с удивлением.

— Вы знаете, что произошло в городе?

Я покачал головой.

— А взрывы?

— Слышал и взрывы и пальбу.

— Вот, вот... Это местные бандиты. Сволочи!..

Я понимал, кого Похитун именует бандитами. Знал я, что, возможно, Раух подслушивает нашу беседу. Учитывал и то, что Похитун мог быть специально подослан ко мне. Но решил поддержать беседу.

Из наблюдений и разговоров, подслушанных на улице, в казино и даже на Опытной станции, я понимал, что в городе действует патриотическое подполье, но точно не знал еще ничего. Я надеялся, что Похитун, по обыкновению, выболтает что-нибудь.

— Что же они вытворяют? — спросил я.

Похитун встал и заходил по комнате своей ныряющей походкой.

— Подняли на воздух казарму батальона СС и

швырнули две гранаты в гестапо. Убиты девять офицеров и что-то около шестидесяти солдат...

— А куда смотрит комендант, начальник гестапо?! — Я даже привстал, имитируя испуг и возмущение.

— Миндальничают, вот что я скажу. А надо хватать из жителей каждого десятого без разбора, не считаясь ни с полом, ни с возрастом, и стрелять! А еще лучше — вешать. Вешать беспощадно — среди дня, прямо на улице, на столбах, на воротах!.. У них организация! Это не так просто. Нужен террор! Понимаете — террор.

Я сел, опустил с кровати ноги и закурил.

— Вешать, террор, это все хорошо. Только... знаете ли, поверить, чтобы в этом маленьком городке существовала организация...

— Хм... Вы хотите сказать, что это никакая не организация, а просто кучка головорезов из окруженцев? А электростанция?! — воскликнул Похитун. — Почему на прошлой неделе четыре дня не было света в городе? Почему, я вас спрашиваю? Это тоже кучка головорезов? А помните, мы шли с вами и наткнулись на шлагбаум около автобазы?

— Ну, помню. Ремонт канализации, и проезд через два квартала был закрыт...

— «Канализация, канализация»! — передразнил меня Похитун. — Это для дураков. Но мы-то с вами не дураки. Хм... Канализация! Хорошенькая канализация! Улица на протяжении двух кварталов была заминирована. За ночь подорвались сразу три машины. Это вам что? Тоже кучка головорезов? Ничего себе, кучка! Вот ведь что делают, подлецы!..

В душе я торжествовал. Мои предположения оправдались: и здесь советские люди не склоняли головы перед оккупантами. В городе, несомненно, существует и действует подпольная группа. И группа хорошо организованная. Подорвать казарму и помещение гестапо совсем не просто. Это предприятие рискованное и сложное, требующее подготовки и, главное, смелых людей. А такими людьми могут быть только истинные патриоты.

Похитун продолжал ходить взад и вперед, шаркая ногами.

Я нарушил затянувшуюся паузу и сказал:

— Хорошенькое дело! Так они, чего доброго, и к нам еще сунутся...

— А что вы думаете? — подхватил Похитун. — И сунутся. Им нечего терять. В этом-то и вся суть...

Я не ожидал от него подобной паники, и мысль о том, что Похитун специально подослан ко мне, отпала.

Мы поговорили еще немного об активности «бандитов», а потом переключились на другие темы. Я предложил совершить вылазку в город и посидеть в казино.

— По случаю чего? — осведомился Похитун.

— Сегодня получил монету.

— Ах, вот оно что... Готов, готов! Но я вижу, что и вы не дурак выпить. А?

— Все хорошо в меру, — заметил я. — Так пить, как вы, я не могу.

Похитун потерял руки и опять уселся на кровать. Он начал рассказывать сальные, плоские анекдоты, причем, еще недоговорив, начинал смеяться. Ему казалось, что смешно и мне, но я только улыбался. Меня сместили не анекдоты, а сам Похитун. Я улыбался и в то же время обдумывал один ход. Мне очень хотелось узнать фамилию Доктора, у которого я гостил, и мне казалось, что удобнее всего попытаться выведать это у Похитуна. И я придумал. Я принялся чесать руки.

Похитун вначале не обращал на это внимания, а потом спросил:

— Вы что чешетесь? Чесотку подхватили?

— Не знаю, — ответил я и нахмурился. — У меня все время чешется после знакомства с вашим врачом.

Похитун поднял свои вылезшие брови:

— С каким врачом?

— К которому я ездил.

Похитун хрюкнул и рассмеялся.

— Виталий Лазаревич такой же врач, как мы с вами. И его экзема не заразна. Я с ним спал на одной койке и вытирался одним полотенцем. У вас повышенная мнительность. Натрите руки водкой. Это лучшее средство.

Я обещал воспользоваться советом, зевнул и сказал Похитуну, что хочу спать.

— Ну и спите себе, — разрешил он и оставил меня в покое.

Мне даже не верилось, что ход, предпринятый мною и к тому же очень примитивный, себя оправдал.

Значит, Доктор и есть тот самый Вигалий Лазаревич Шляпников, с которым имели дело наши контрразведчики. Как тесен мир! Встретились все «знакомые»!

Я встал, открыл печную дверцу, порылся в теплой золе, нашел крепкий уголек, сунул его в карман своего плаща, выключил свет и лег спать.

С утра со мной занимался немногословный и педантичный радист Раух.

От него трудно было услышать лишнее слово. Он говорил только о том, что мне следовало знать. Занимались два часа: час — фото, час — радиodelo.

Потом явился Константин. Я разложил на столе план Москвы, усадил ученика и поставил перед ним задачу: каким маршрутом быстрее всего добраться с Курского вокзала на Савеловский. Он сделал это без затруднения и именно так, как сделал бы я. Затем мы побродили с ним по Малому и Большому кольцу, покружили по кривым арбатским переулкам, въехали в Москву с Ярославского, Ленинградского, Рязанского, Дмитровского и других шоссе.

Константин не изменял себе и оставался таким, каким был при первой встрече: отчужденным, угрюмым, глядящим исподлобья и даже враждебно.

Иногда по блеску в его глазах мне казалось, что он хочет спросить меня о чем-то, не относящемся к занятиям. Я с интересом ждал от него живого слова, но блеск сейчас же угасал, и лицо Константина оставалось мертвенно-неподвижным.

А может быть, все это мне только казалось, потому что я этого хотел и ждал?

После занятий с Константином я попал в лапы Похитуна. Прежде чем приступить к разбору очередной шифровальной комбинации, мы уточнили время, когда отправимся в город.

И никто не знал, что творилось у меня в душе, никто не догадывался, что означает для меня сегодняшний день. А день был необычен, и уж я-то забыть об этом не мог. Я знал, что все советские люди, где бы они ни находились — в огне переднего края, в суровой Сибири,

в знойной Средней Азии, в тылу врага, в партизанском отряде или в лапах фашистов, за колючей проволокой или в застенках гестапо,— всюду-всюду, хотя бы только в сердце и молчаливо, как я, празднуют двадцать пятую годовщину Советской власти, годовщину Великой Октябрьской революции.

Я был горд тем, что продолжаю дело, начатое нашими отцами. Я был горд тем, что тоже нахожусь на линии огня, что здесь мой передний край, что моя вахта не менее сложна, опасна и ответственна, чем любая другая.

После окончания занятий меня вызвали к Гюберту. Сердце екнуло: а вдруг он и сегодня сорвет вылазку в город?

Гюберт усадил меня против себя, и я сразу заметил необычное: он остановил внимательный и пристальный взгляд на моих руках.

Но он допустил промах. Я сразу увязал его интерес к моим рукам со вчерашним моим ходом. Ясно, что Раух подслушивал мой разговор с Похитуном.

— Как вы себя чувствуете? — поинтересовался Гюберт, не сводя глаз с моих рук.

— Прекрасно. Вот только руки чешутся... Я уж, грешным делом, подумал, не наградил ли меня Доктор своей экземой.

— Ерунда,— отрезал Гюберт.— Но показаться врачу следует. Вы нужны мне абсолютно здоровым. Когда будете в городе, зайдите в комендатуру и отыщите врача Питтерсдорфа. Я дам ему записку. Он осмотрит вас.

Гюберт написал записку и вручил мне.

Страхи оказались напрасными. Гюберт не покушался на мое время.

Я решил было выманить Похитуна в город до обеда, но, поразмыслив, пришел к выводу, что это может вызвать подозрение не только у него. Надо было ждать обеда.

Выйдя из дома Гюберта, я увидел старика Кольчугина. Он сидел под навесом, около сложенных дров, и затесывал топором клин. Возле него, широко расставив тощие ноги и заложив руки за спину, стоял Похитун. Он что-то рассказывал, а старик только крутил головой и делал свое дело.

С неба, задернутого мутными тучами, стал опять

накрапывать мелкий дождь. Похитун передернул плечами, стал под навес, закурил, а потом отправился в дом.

Я сошел с крылечка и направился к Кольчугину. Старик заинтересовал меня с первой встречи, но я еще не мог раскусить его.

— Как она, жизнь-то? — обратился я к нему.

— Да прыгаю помаленьку...

Из-под его мерлушковой шапчонки прядями выбивались мягкие серебряные волосы.

— Зимы-то нет?

Старик задрал голову к небу и заметил:

— Да, запаздывает. Что-то заколодило там, наверху.

— Забот много? — спросил я, не зная, как и чем разговаривать старика.

— Чего-чего, а забот нашему брату не занимать. Хватает...

Дождь усиливался, и я зашел под навес.

— Курить хотите, господин хороший? — спросил старик.

— Да нет, — ответил я.

— А то курите. Поку́рите — не отплюетесь! — И старик закатился смешком.

— Ты бы лучше угостил господина Похитуна. Он любит крепкое, — посоветовал я.

— Нужен он мне, как ячмень на глазу... Пропащий человек! Дюже до шнапса охочий.

— Начальство нельзя критиковать, — заметил я.

— И то верно, — согласился дед. — Да ведь наше дело такое: лай не лай, а хвостом виляй.

— Это как же понимать? — спросил я.

— А как хотите, так и понимайте, господин хороший. — Он встал, осмотрел клин, стряхнул щепки с пиджака и, сунув клин за поясной ремень, добавил: — Пора, Фома, и до дому. Прощайте, господин хороший!

Это «господин хороший» резало мой слух, как тупая пила. Я пожелал старику счастливого пути и отправился к себе. Кольчугин, видимо, не склонен был продолжать разговор, а мне неудобно было навязываться.

Время тянулось медленно, и я был несказанно рад, когда окончился обед. Дождь шел не переставая. Над лесом висело сумрачное, сырое небо. Я надел дождевик, зашел за Похитуном, и мы отправились в город.

Дождь сыпал и просеивался сквозь холодный туман. Мы старательно месили грязь, черную, как вакса, и клейкую, как смола.

Похитун шел впереди, как неподкованная лошадь по льду. Ноги его расходились на горбах тропинки, скользили на обнаженных корнях. Грязь разлеталась в стороны. Полы блестящего клеенчатого плаща шлепали по его сапогам.

На полпути к городу Похитун остановился и преждевременно поднял руку. Навстречу ползли по расквашенной дороге две легковые машины. Они приближались, погромыхая цепями на задних скатах, и через минуту проплыли мимо нас. В машинах сидели летчики. Одну из машин занесло, она нырнула колесом в лужу и обдала Похитуна фонтаном грязи. Он дернулся, взбрыкнул ногой, поскользнулся и со всего размаха сел в лужу. Я с трудом сдержал смех.

Встав на ноги, Похитун растерянно поводил глазами, встряхнул головой и разразился залпом отборных ругательств.

Тут попало и летчикам, и черту, и его матери.

Я уже испугался, что наша экспедиция сорвется, но я плохо знал Похитуна. Кое-как обтерев заляпанный грязью плащ, он с необычной резвостью бросился на тропинку, которая вела к городу стороной, и крикнул:

— За мной!

Я поспешил за ним. Лес редел. Дождь густой сеткой заштриховывал городские строения вдали.

— С чего это мы свернули сюда? — спросил я Похитуна.

— Э, батенька, я уже ученый! Летчики поехали к нам за объектами для бомбежки, — ответил он, полагая, что из этого мне станет ясно, почему понадобилось пробираться дальней тропкой.

— Ну и что же?

— А го, что меня сейчас же хватят на станции.

— Вот оно что...

— А как же! Я нарочно сюда и свернул. А они будут догонять меня по той дороге.

Он чуть не бежал вприпрыжку, тяжело дыша и посапывая. Я с трудом поспевал за ним и диву давался, откуда у него взялась такая прыть.

— Может быть, нам лучше вернуться? — задал я каверзный вопрос.

Похитун остановился, повернулся, смерил меня недоумевающим взглядом и спросил:

— Это как же понимать? Предательство?

— Уж сразу и предательство! Зачем так громко? Я же о вас пекусь.

— Пошли, пошли! — нетерпеливо сказал он. — Обо мне вы не пекусьте. О себе пекусьте. Объекты от летчиков никуда не уйдут.

Наконец мы добрались до города.

Казино, как и позавчера, пустовало. Занято было всего три столика. Тихо завывал оркестрик.

Я выбрал столик в самом темном углу и поманил официанта. Я решил сегодня во что бы то ни стало напоить Похитуна до чертиков и под удобным предлогом вырваться на пять — десять минут. Мне надо было лишь добраться до парикмахерской, где оставил свои знаки Криворученко.

Нам подали бутылку венгерского вина (мне), бутылку мутноватого шнапса (Похитуну), консервированную рыбу в маринаде, несколько кусочков голландского сыра и соленые грибы местного изготовления. Хлеба не полагалось.

— Для начала хватит? — осведомился я.

— Вот именно, для начала... — Похитун захихикал.

— Пить много не буду, — заметил я, разливая напитки по стаканам.

— Это как же? — удивился Похитун.

— Мне надо быть у врача. — И я вытащил записку Гюберта.

— Ну и бог с вами...

Мы выпили по стакану, принялись за закуску, и в это время в зал вошел унтер-офицер Курт Венцель.

Я толкнул Похитуна. Он заерзал на месте, втянул голову в плечи и сгорбился.

— Чужало мое сердце! — с плачущей миной проговорил он, быстро налил себе новую порцию и опрокинул водку в рот.

Курт Венцель оглядел зал и направился прямо к нам. Бросив взгляд на стол, он облизнул толстые губы и, наклонившись к уху Похитуна, стал что-то шептать.

«Почему Венцель сразу пришел сюда? — блеснула у меня мысль. — Вероятно, Похигун предупредил, где мы будем».

Похитун махнул рукой и встал. Я взял бутылку со шнапсом и стал наливать в стакан. Предполагая, что я забочусь о нем, Похитун подарил меня благодарным взглядом и сел. Но я поднес стакан Венцелю. Тот глупо улыбнулся и медленно, сквозь зубы, не выпил, а высосал водку.

— Я вас буду ждать здесь, — сказал я Похитуну. — Схожу в комендатуру к врачу и вернусь. Идет?

— Да, да... Обязательно. Мы придем вместе с Куртом.

Курт Венцель кивнул.

Они вышли, и я остался один. О такой удаче я даже не мечтал. Расплатившись с официантом и предупредив его, чтобы он приберег нам столик в случае наплыва публики, я покинул ресторан.

Город тонул в дожде и тумане. По мостовой и тротуару пузырились грязные лужи. Запахнув плащ, я прежде всего направился в комендатуру. Так было лучше. Я все-таки не исключал возможности слежки за собой, а в комендатуре можно было «провериться».

Дежурный офицер сказал, что врач Питтерсдорф на квартире, и указал на дом тут же, во дворе комендатуры. Я без труда нашел врача, представился ему и подал записку Гюберта.

Доктор оказался благодущным толстяком лет за пятьдесят. По-русски он говорить не мог, знал лишь несколько слов, и, если бы не записка Гюберта, мы, вероятно, и не столкнулись бы. Он внимательно исследовал мои руки, заставил снять рубаху, похлопал по плечу и сказал:

— Гут! Зер гут!

На записке Гюберта он написал диагноз, который я прочел позднее: «Фантазия. Повышенная мнительность. Здоров как бык». Я сунул записку в карман, любезно раскланялся и выбрался во двор комендатуры. Двор был пуст. Я заметил второй выход, на смежную улицу, и воспользовался им.

Пройдя квартал, я оглянулся: никого. Я пошел прямо, еще раз обернулся и свернул в переулок.

Уже темнело. Около парикмахерской — ни души. Наступал самый ответственный момент. Малейшая оплошность с моей стороны могла погубить все, а поэтому следовало быть крайне осторожным. Я прошел до угла и заглянул за него — пусто. Нашупал в кармане припавший уголек, зажал его в руке и шагнул к стене. Поставить букву, одну-единственную букву — это отняло у меня какую-то долю секунды. Затем подошел к двери и рядом с косяком тоже чиркнул углем. Теперь каждый знак выглядел так: «С К/4». Я прибавил лишь «С» — первую букву своей фамилии. Это означало: «Я здесь. Все благополучно. Жди моих сигналов». Теперь пришла моя очередь назначить встречу.

Облегченно вздохнув, я зашагал в казино.

К моему удивлению, Похитун и Венцель уже ждали меня. Оказалось, что до города их подвезли на своих машинах летчики.

На столе стояла начатая бутылка, закуска и три стакана. Похитун знал, что деньги у меня есть. Щелкнув пальцами, он громко крикнул официанту по-немецки:

— Нох айне! ¹

Но одной дело не ограничилось. До Опытной станции мы едва добрались. Похитун, расчувствовавшись, чмокнул меня в ухо и, как бревно, свалился на кровать. Мне тоже пришлось выпить довольно много. В голове непривычно шумело. Не успев прикоснуться к подушке, я сразу будто провалился в глубокий сон.

17. ФОМА ФИЛИМОНОВИЧ ПРИГЛАШАЕТ ВЫПИТЬ

Время шло, дела мои налаживались, провокации Гюберта как будто прекратились. Я, понятно, знал, что за мной приглядывает Похитун, знал, что меня подслушивают, но привык к этому и не особенно тревожился.

Можно без натяжки сказать, что за последние дни я даже успокоился, ко мне вернулся крепкий, здоровый сон, я стал лучше есть, в голову не лезли беспокойные мысли.

Мне удалось обменяться новыми сигналами с Семе-

¹ Еще одну!

ном Криворученко. Я назначил ему встречу пока на открытом воздухе, в городе. При встрече я намеревался назначить ему свидание в таком месте, где можно было поговорить подробно.

Пришла настоящая зима. Ранним утром мой сон нарушил Кольчугин. Я вскочил с кровати, разбуженный грохотом, и увидел в дверях смущенного старика. Он нес изрядную охапку дров, и, когда переступил порог, добрая половина их упала на пол.

— За такое дело полагается по мордасам,— огорченно произнес Кольчугин и принялся подбирать поленья.

— Ерунда! — успокоил я старика.— Очень хорошо, что разбудил. Через сорок минут занятия.

— Так не будят...— пробормотал он.

Я бросился к окну, расшитому тоненькими кружевами мороза, и присвистнул: все было бело от выпавшего за ночь снега.

Я быстро оделся, умылся и побежал в столовую. Стояло прелестное первозимнее утро с легким, бодрящим морозцем. Все было присыпано свежим, чистым, нетронутым снегом. Холодным пламенем сияло солнце, под его лучами снег сверкал мириадами искр. В воздухе алмазами переливалась морозная пыль. За проволоочной оградой Опытной станции торжественно и величаво красовался запорошенный лес. Пышные пласты снега лежали на ветвях сосен и елей, на крышах домов, на оконных наличниках. На трубах и верхушках столбов высились белые шапки, телефонные и антенные провода провисли.

Я быстро позавтракал и вернулся в свою комнату.

Сегодня первые два часа я должен был посвятить Константину, но до этого мне хотелось переброситься несколькими словами со стариком. К нему я никак не мог подобрать ключик. Мне совершенно ясны были враги, ясен был «друг» Похитун, казалось, ясен был Константин, а вот что тайлось в душе у Кольчугина, мне раскусить еще не удалось. Он был хитер, как старый лис, испытывший на своей холке зубы борзых, и скользок, как угорь. Он умело скрывал свои мысли. Когда я в разговоре ставил его перед необходимостью выложить откровенно свое мнение, дать оценку определенным фак-

там и событиям, высказать свое отношение к конкретным лицам, он, подобно ежу, сворачивался и ошетикивался: отвечал на вопросы скупно, неопределенно, а то и вовсе обрывал разговор на самом интересном месте.

Как ни странно, но меня почему-то подкупали глаза Кольчугина. В них светилось что-то хорошее, располагающее. А вот его манера общения со мной настораживала. Он часто заводил по своей инициативе разговоры, далеко не беспредметные, и у меня закрадывалась даже мысль: уж не «подключен» ли старик тоже к проверке моих настроений?

Он выпрашивал меня, кто я таков и как сюда попал; почему я не бреюсь и отпустил здесь бороду; почему мне, а не ему, не Похитуну и не Венцелю дают водку; какая у меня профессия; есть ли у меня семья, из кого она состоит и где находится; чем я занимаюсь с Константином.

Больше того, Кольчугин как-то даже пригласил меня к себе в город, как он выразился, в «свои хоромы».

Я спросил его:

— А зачем?

— А так... Посидим, чайком побалуемся.

Я ответил, что подумаю. Старик тут же предупредил меня:

— Только не болтайте об этом, господин хороший.

— Как это — не болтайте? — осведомился я.

— А так. Чтобы знали об этом вы да я...

Я еще раз сказал, что подумаю, но это предупреждение насторожило меня. Я решил рассказать обо всем при удобном случае Гюберту. Видимо, Кольчугин втягивает меня в какую-то интригу, и, конечно, по распоряжению Гюберта...

Возвращаясь в свою комнату, я тронул двери инструктора Рауха — они были закрыты. Значит, он в операторской, работает. Я пошел к себе.

Кольчугин сидел возле открытой печи, в излюбленной позе — на корточках, и дымил своим горлодером.

Я посмотрел на часы. До прихода Константина оставалось десять минут. У меня мелькнула мысль угостить старика водкой.

— Фома Филимонович, — сказал я, — ты водочкой не балуешься?



Кольчугин сидел возле открытой печи, в излюбленной позе — на корточках, и дымил своим горлодером.

— А почему же? Можно и пошалить,— ответил старик.— Но я смотрю так: всему свое время, все надо делать с пользой и в меру. У меня братень старшой, царствие ему небесное, страсть как уважал эту брыкаловку. За глоток ее готов был в церкви плясать. Вот он и добаловался. Пошел как-то — кажись, в тринадцатом году — в соседскую деревню на свадьбу. У него голос был что у протодьякона. Песни знал всякие. Вот его и приглашали. Ну, а где петь, там и пить полагается. Поднакачали его на этой свадьбе до краев. До умопомрачения нахлестался он и все домой рвется. А стояла зима. Ранняя зима, как сейчас, но морозец держался уже исправный, правильный морозец. Его не пускают, а он рвется. Ночь, зима... И все-таки убег. И шубенку оставил. А в дороге, видать, заблажило его, и прилег он под копенку сена дух перевести. И перевел. Как прилег, так и не встал. Нашли его на шестые сутки, а он как кочерыжка. Водка — такое дело, господин хороший!.. А побаловаться, что ж... я не против. Но на службе ни-ни. Вот припожалывай до меня, там мы и соорудим по махонькой, у меня есть припас, а хошь — свою тащи.

— А если гауптман узнает?

— Тогда и затевать нечего. Гауптман по головке не погладит.

Меня это никак не устраивало. Меня всегда учили придавать серьезное значение мелочам. И хотя рюмка водки, выпитая в доме старика, была бы мелочью, я не хотел пить ее тайком. Такую мелочь Гюберт мог расценивать по-своему. Кольчугин не Курт Венцель, не Похитун и не Доктор.

Надо замять этот разговор, а если старик будет навязываться с приглашением, обязательно поговорить с Гюбертом. Я переключил разговор на другую тему, поинтересовался, как обстоит в городе дело с продуктами питания, есть ли у горожан топливо, потом перешел на вопросы семейные и спросил Кольчугина:

— А сыновья у тебя коммунисты?

— Это зачем же? — воззрился на меня старик.— Нет, нет! Старшой, правда, хотел было записаться, да я рассоветовал. К чему? Можно и так прожить. Хлопоты лишние, и опять же неприятности... Времена меняются.

Предполагаешь одно, а глядишь — другое получается. А вы не ходили в коммунистах?

— Нет,— сказал я, усмехаясь,— можно и так прожить. Хлопоты лишние, и опять же неприятности...

Дед насунил брови, закрыл печную дверцу, поднялся и сказал:

— Ну, пойду. Дорожки надо расчистить.

Я проводил его и взглянул на часы. За разговором я не заметил, как прошло без малого полчаса, а Константина все не было. Он отличался аккуратностью, и я решил справиться у коменданта, почему его нет. Но в коридоре я наткнулся на Похитуна.

Он пощелкал себя по горлу и поинтересовался:

— Есть?

Я кивнул.

— Несколько капель для поправки, а?

Я ответил, что жду Константина. Похитун приложил палец к своим синим губам и, дыша на меня чесноком, таинственно шепнул:

— Вы его не дождетесь. Берите водку — и ко мне. Я вам расскажу такое, что вы ахнете.

Через минуту с бутылкой в руках я был в комнате Похитуна.

Он сам выбил пробку, налил в стакан и выпил, ничем не закусив.

Затем он подсел ко мне поближе, обнял меня за плечи и, строго-настрого предупредив о строжайшем молчании, начал рассказывать.

Оказывается, сегодняшней ночью Константина повезли на самолете для выброски под Москвой. Его сопровождал помощник Гюберта — Отто Бунк. Константину выдали деньги, документы, пистолет и рацию. И только сейчас стало известно, что самолет вернулся не на свой, а на прифронтовой аэродром. В самолете все, кроме пилота, оказались мертвыми, в том числе Отто Бунк. Пилот, раненный в шею и руку, с трудом посадил самолет. Из шифровки можно понять, что под Каширой, перед тем как совершить прыжок, Константин вытащил пистолет и уложил всех.

Я и в самом деле чуть не ахнул.

Вот тебе и Константин! А я что думал о нем? За кого я его принял?..

Вот как оно бывает: встанет гора между людьми, и не распознают они друг друга.

В отношении Константина у меня сложилось довольно твердое убеждение, а вышло... вышло иначе. Он оказался настоящим советским человеком, героем. Как трагично сознавать, что между нами — единомышленниками и соратниками в общей борьбе — сразу легла пропасть взаимного отчуждения, что мы не поняли друг друга, не нашли общего языка. Какую силу мы представляли бы вдвоем! Трагизм был именно в том, что мы не имели права доверять друг другу, открыться друг перед другом, подчиняясь основным законам нашей работы — конспирации, когда простое, человеческое, должно быть подчинено более высоким соображениям, и дело не может быть поставлено на карту.

Похитун же негодовал. Он пил водку и наливался злобой.

— Собака! Бешеная собака! — ругал он Константина. — Его вырвали из лагеря еле живого, опухшего. Он был похож на мешок с костями. Его выходили, вывели, выкормили, обучили. И смотрите, отблагодарил!..

— Да-а... — протянул я. — Страшная история! Я вам говорил как-то, у меня душа не лежала к Константину...

— Помню, помню... Но кто же мог допустить? Только, ради бога, молчок. Ни гугу! Иначе с меня кожу сдерут...

Я заверил Похитуна, что все останется в тайне, но тут у меня возникла неожиданная мысль: а что, если использовать бсытовню Похитуна в свою пользу для укрепления своего положения? Я пропускал мимо ушей ругань Похитуна и думал о своем.

Сославшись на то, что надо повидать инструктора Рауха, я немедленно отправился к Гюберту и постучал в закрытые двери его кабинета.

— Войдите! — разрешил Гюберт.

По его лицу трудно было что-нибудь определить, на нем лежала маска абсолютного спокойствия.

— Урок с Константином сегодня не состоялся из-за его неявки, — доложил я.

— Ах, так! У вас всё? — небрежно спросил он.

— Нет, не всё.

— Я вас слушаю.

— Мне он не нравится.

— Не нравится? — удивился Гюберт. — Чем именно? Садитесь!

Я понимал, что ничем навредить Константину не могу. Он сделал все, что задумал. Я рад за него. Но, как разведчик, я должен был использовать с выгодой такую удобную ситуацию.

— На последнем занятии он вел себя подозрительно, — сказал я.

— То есть? — Гюберт чуть-чуть приподнял брови.

— Интересовался мной, спрашивал, как я сюда попал, спрашивал о вас. Когда я пояснял ему расположение московских парков, мне показалось, что он знает их не хуже меня.

— Почему вы решили доложить мне об этом лишь сегодня?

То, что Гюберт вчера отсутствовал весь вечер и появился на Опытной станции только ночью, я знал точно, и поэтому ответил:

— Я хотел это сделать вчера, но мне не удалось. Я дважды пытался попасть к вам, но вас не было. Кроме того, я считаю, что это не поздно и сейчас. Если вы подскажите мне, как себя вести с Константином, то я надеюсь прощупать его основательно. Правда, он тип очень скрытный и замкнутый, но мне думается, что я смогу его расшевелить.

— Не стоит, — произнес Гюберт. — С Константином вы больше не встретитесь.

— Совсем?

— Да, кстати, он знает вашу фамилию?

— Если и знает, то не от меня. Я ему не назвался, — солгал я и спросил: — А что?

— Так, между прочим, — ответил Гюберт и, очевидно, для того чтобы не вызвать у меня никаких подозрений, добавил: — Если вы с ним встретитесь в городе и он заговорит с вами, то ни имени, ни фамилии своей не называйте. Это — лишнее. А то, что вы мне сообщили, заслуживает внимания. Я учту. У вас всё?

— Всё.

— Хорошо, идите.

Я направился к инструктору Рауху, затем к Похитуну, а после обеда собрался в город.

Кольчугин расчищал от снега дощатый настил, ведущий к бане. Увидев меня, он разогнул спину, снял рукавицу, осмотрел небо и почесал затылок.

— Погодка-то, господин хороший! — заговорил он. — Сейчас бы по первой пороше да по зайчишкам поплутать, а? Стоящее дело!

— Да, заманчиво, — согласился я.

— Теперь снег пойдет валить...

Я согласился и с этим. Небо затянули тучи, и с часу на час можно было ожидать снегопада.

— Куда собрались, господин хороший?

— Хочу воздуха зимнего глотнуть.

— Ну, ни пуха ни пера, гуляйте!

Я вышел со двора. Тропку, которой обычно пользовались, идя в город, занесло снегом, и я пошел по дороге, наезженной автомашинами.

Морозец пощипывал кончики ушей. Острые струйки студеного воздуха проникали под одежду и приятно холодили тело.

Лес наполняли зимние, горьковатые запахи хвои. Я дышал глубоко, всей грудью.

Кольчугин оказался прав. Не успел я добраться до города, как в воздухе тихо и беззвучно запорхали первые снежинки. Сухие и колкие, они щекотали лицо. А когда я вошел в город, снег повалил мягкими и крупными хлопьями.

За последние десять дней я уже третий раз приходил в город, но слежки за собой не замечал. Не заметил ее и сегодня, хотя все время был начеку.

Я шел не торопясь, с видом празднующегося, останавливался у плакатов и объявлений. Время я рассчитал строго.

Местом для встречи с Криворученко был намечен небольшой район, где я загодя поставил условный знак. По договоренности удаляться от знака в ту или другую сторону разрешалось не больше чем на сто шагов. Недалеко от единственного оставшегося в городе кинотеатра, где крутили немецкие фильмы, на деревянном заборе я разглядел свой знак.

По улице торопливо сновали прохожие.

Я пошел дальше, сдерживая нарастающее волнение. В моем распоряжении оставались считанные минуты. Я считал шаги: двадцать... тридцать... семьдесят. Довольно.

Я остановился возле объявления бургомистра, недавно вывешенного на всех улицах, и стал его читать. Бургомистр настойчиво призывал трудоспособных горожан записываться вместе с семьями на отъезд для работы в германской промышленности и сулил им молочные реки в кисельных берегах.

С обращением я познакомился на всякий случай заранее. Сейчас я его не читал. Я смотрел на него, и буквы плясали у меня перед глазами. Волнение ширилось, нарастало, а снег все валил и валил...

Я отсчитывал про себя секунды: семь... восемь... двенадцать... и замер, скосив налево глаза, — рядом со мной кто-то остановился. Я увидел только большой волчий трех и шелковистую курчавую бородку, запорошенную снегом. Да и весь человек, залепленный снегом, походил на елочного деда-мороза.

Неизвестный тоже решил, видимо, прочесть объявление до конца.

Его соседство меня совсем не устраивало. Вот-вот должен подойти Криворученко. Я не допускал мысли, что он заговорит со мной при постороннем. Криворученко, конечно, пройдет мимо.

Я с досадой подумал: «Черт его принес, этого дядю! Не нашел другого времени».

Я решил отойти и раздумывал над тем, в какую сторону отойти лучше. Но едва я сделал движение, как неизвестный шепнул:

— Кондратий Филиппович, дорогой!.. Это я...

Нет, я даже не повернулся. В этом не было нужды. Голос Семена я мог различить из тысячи голосов. И я его узнал.

Впившись глазами в обращение, я вздохнул:

— Семенка!..

А как мне хотелось расцеловать его!

— Да, да, я... Все в порядке! — шепнул он.

— Времени в обрез, — процедил я сквозь зубы.

— У меня тоже... И подвода ожидает, — торопливо проговорил Семен. — Ш-ш...

Подошла женщина. Ее, очевидно, привлекло любопытство: двое читают — почему ей не почитать. Может быть, что-нибудь интересное. Но, пробежав глазами текст обращения, она шумно вздохнула и ушла своей дорогой.

— Говори скорее, — торопил я. — Где бросили якорь?

— В двенадцати километрах. Лес густой, болото, глухомань. Назначайте, где лучше встретиться.

— В кино. Запомни, в кино. Я укажу дату и время...

— Не пойдет, — прервал меня Криворученко. — В городе меня уже знают — я три раза привозил в баню дрова из леса и сейчас привез... Личность для посещения кино неподходящая...

Это меня обескуражило. Другого варианта я не подготовил.

— У вас на Опытной станции, — продолжал Криворученко, — есть истопник Кольчугин. Попробуйте его использовать.

Я не поверил собственным ушам.

— О ком ты?

— О Кольчугине, Фоме Филимоновиче.

— Откуда ты его знаешь?

Криворученко молчал. Приближались мужчина и женщина. Они тащили за собой санки, на которых была укреплена бочка с водой. Когда они прошли, Семен ответил:

— Сказал командир партизанского отряда. Я был у него. Кольчугин — участник городского подполья. Он пробрался к вам при содействии старшего подпольной группы, а тот работает в управе... У Кольчугина два сына на той стороне. Одного звать Петром, второго — Власом.

— Тут не провокация?

— Что вы! И лесник говорил мне о Кольчугине.

— Какой лесник?

— Связой между партизанами и подпольем.

— Что он говорил?

— Что Фома Филимонович вернейший человек. Его сразу не раскусишь.

«Куда там!» — подумал я и спросил:

— Кольчугин знает, кто я?

— Откуда он может знать? Никто не знает, кроме

командира отряда, а он — здешний секретарь райкома. Я было решил встретиться с вами через Кольчугина, но потом не рискнул. Лучше вы сами с ним сговоритесь. Он считает вас предателем, сообщил об этом подполью, и подпольщики уже хотели казнить вас...

— Здрóрово! Только этого и не хватало... Вас двое?

— Да, я и радист. Это уже второй... Тут целая история...

— Ладно. Это потом. Отстучи сегодня же, что у меня все в порядке, а подробности после беседы. Да... Передай срочно, что между городом и селом Поточным разбазирован авиаполк. Пусть его кроют. Пусть немедленно положат кого-нибудь из наших в больницу, под именем Брызгалова. Всё. Иди. Дня через три жди мои сигналы. Понял?

— Да, да... А если Кольчугин будет ломаться, вы ему шепните: «Как лес ни густ, а сквозь деревья все же видно». Это их пароль.

— Добре! Иди...

Криворученко отошел. Я «дочитал» обращение до конца, мысленно поблагодарил бургомистра за то, что оно такое пространное, и зашагал домой.

Снег кружил в воздухе, и трудно было определить, откуда он летит: то ли сверху, то ли снизу. Удачная погода!

В эту ночь я долго не мог заснуть, но теперь уже от избытка радостных мыслей.

Я лежал на койке с закрытыми глазами, в полной темноте. Пурга бесновалась и выла снаружи, возилась в печной трубе, скреблась в окно, а я все думал и думал.

Вначале я мысленно побывал в глухомани, где укрывался Семен с радистом. Успел ли он добраться до места? Хотя в лесу пурга не так страшна, как в степи. Всего двенадцать километров разделяло нас. Но я лежал в теплой комнате, на простыне и подушке, под одеялом, а они?.. Они, наверное, жмутся друг к другу в какой-нибудь норе, дрожат от стужи, а над ними темень, вьюга... А может быть, радист отстукивает сейчас ключом, и его точки-тире жадно ловит радиопередатчик партизанского штаба.

Потом я постарался суммировать все, что накопил в своей памяти за это время и что необходимо было передать на Большую землю. Получилось немало. Во всяком случае, на первых порах радист будет обеспечен работой по горло. Надо сообщить, что нашелся Вилли и что Вилли — это и есть гауптман Гюберт, о котором говорил Брызгалов, что Гюбертом руководит полковник Габиш, что я познакомился с Доктором — Шляпниковым, что в район станции Горбачево выброшен радист Курков, что опустившийся на нашу землю под Каширой Константин — герой и настоящий человек, что, наконец, осиное гнездо, как мы и предполагали, занимается подготовкой и переброской на нашу сторону разведчиков, радистов и диверсантов.

Напоследок мысли мои закружились вокруг старика Кольчугина. Хорош старик! Молодчина! Залез головой по самую шею в пасть зверя и действует! Вот это подлинно русская душа, советский человек!

И теперь мне ясно, зачем он приглашал меня в гости и предупреждал о молчании. Он намерен был передать меня подпольщикам. Только и всего! И получилось бы довольно забавно, особенно если бы меня прикончили. Ну ничего...

При выполнении задачи, которая на меня возложена, такие переплеты не только вероятны, но и вполне естественны.

19. ОБЪЯСНЕНИЕ В БАНЕ

День выдался морозно-звонкий, с чистым и ясным небосводом. С утра топили баню, и в ней поочередно, в порядке субординации, мылись обитатели Опытной станции. Из банной трубы струился витой столбик дыма. Черные вороны неторопливо, с деловым видом копались в куче золы, темнеющей на снегу.

В бане хлопотал старик Кольчугин. Но топкой его дело не ограничивалось: Гюберт, Шнабель и Раух использовали старика как банщика, заставляя его натирать себе спины. Гюберт, подчеркивая свое знание России, парился до одурения.

Сейчас Фома Филимонович таскал в баню охапки дров, а я сидел на скамье возле дома и ожидал своей

очереди. Ожидал и наблюдал за стариком, обдумывая, как похитрее обставить решительное объяснение с ним.

Кольчугин подошел ко мне и сказал:

— Через полчасака пожалуйста, господин хороший. Знатная сегодня банька вышла. Даже гауптман отблагодарил.

— А спину потрешь? — спросил я.

— Можно потереть. А можно и веничком... березовым веничком. Куда лучше против мочалки. От всяких недугов освобождает.

— Гауптмана ты тоже веничком полощешь? — поинтересовался я.

— Кто что любит, господин хороший.

— А воды хватит? — спросил я, вспомнив, что в прошлый раз мне едва удалось domыться.

— Сегодня всем хватит. Солдаты натаскали. Давайте собирайтесь...

Он зашагал по деревянному настилу к бане, а я отправился к себе за мылом, полотенцем и бельем.

По дороге я заглянул к Похитуну. Он валялся в приступе хандры на разрытой, неопрятной постели, ворочался с боку на бок, охал, вздыхал, кряхтел и кашлял.

— Мылись? — поинтересовался я, заранее зная, что он не мылся.

— Делать мне больше нечего! — ответил Похитун и повернулся лицом к стене.

«Грязная тварь!» — подумал я.

Похитун был не в настроении разговаривать. Он вчера выпил всю мою водку и знал, что больше у меня нет. Знал он также, что в банный день я не хожу в город и что рассчитывать на угощение не приходится. Я отправился в баню.

В предбанник, совершенно темное помещение без окон, вместе со мной белым облаком ворвался холодный воздух. В лицо пахнуло теплом. Я захлопнул за собой дверь, накинул цепочку, задвинул защелку и начал раздеваться.

Фома Филимонович, раздетый, расхаживал по бане. В чугунном котле глухо клокотала закипавшая вода. Огонь из печи бросал золотые отсветы на стену и лавку, на которой я сидел. Перегоревшие березовые дрова излучали жар. Приятно пахивало смолой.

— Сейчас мы парку свежего поддадим! — весело объявил старик, когда я перешагнул порог бани.

Я остановился. Фома Филимонович откинул железную дверцу, черпнул большим ковшом воду из бочки, нацелился и плеснул ее на накалившиеся камни. С шипением и свистом мощной струей вырвался сухой пар. Он за клубился под потолком, пополз в предбанник. Я присел на корточки.

— Могу еще подбавить, — сказал Кольчугин.

— Хватит и этого за глаза.

— Тогда пожалуйста, — пригласил старик.

Я нерешительно полез на полку, осторожно ступая на скользкие приступки.

— На гору! На гору! — подбодрил меня Фома Филимонович, видя, что я замешкался на предпоследней приступке.

Я собрался с духом и залез на самый верх. Здесь было сущее пекло. Пар пробирал до костей, дышать было нечем. Но я не хотел терять репутации в глазах Фомы Филимоновича, крепился и решил держаться до победного конца. Дед подал мне шайку с холодной водой. Черпая воду пригоршнями, я помочил грудь у сердца и затылок. Немного полегчало.

Фома Филимонович наблюдал за мной, стоя у стены.

— Ну, как оно? — осведомился он.

— Хорошо! — отозвался я.

И в самом деле, было очень хорошо. Я с детства питал неодолимую любовь к русской бане, любил побаловаться паром и испытывал сейчас подлинное, ни с чем не сравнимое наслаждение.

— А еще можно и так, — заговорил дед. — Распариться да в снежок... Повалиться, покататься да опять в баньку. Потом никакая хвороба не прицепится.

— Это уж слишком, — заметил я и поинтересовался: — А ты пробовал?

— Как не пробовать, пробовал, но давно. А вот сын, старшой, тот и теперь..

— Это которого Петром звать? — пустил я первый пробный шар.

— Ага, — машинально подтвердил старик и, спохватившись, уставился на меня испытующе и тревожно.

Откуда я знаю имя сына?

Я продолжал плескаться водой и, как бы не замечая его смущения, продолжал:

— А меньшого зовут Власом?

Фома Филимонович недоуменно воззрился на меня, чуть приподняв лохматые брови. Его лицо, изрытое глубокими морщинами, застыло в неподвижности. Пальцы теребили березовый веник.

— Ты что, оглох? — крикнул я.

— А? Что такое? — Старик сделал вид, что не слышал.

— Я спрашиваю тебя: меньшого зовут Власом?

— Ну?

— Что — ну? Ты отвечай, а не нукай.

— Ну, Власом? А что? — и похлопал веником по своим жилистым, волосатым ногам.

— Да так, ничего, — невозмутимо ответил я. — Хорошие имена.

— В общем... неплохие, — нерешительно, каким-то чужим голосом проговорил Фома Филимонович, переминаясь с ноги на ногу. Он, видимо, раздумывал над моим странным поведением.

— Почему неплохие — хорошие! — поправил я старика. — Они ведь, кажется, и хлопцы настоящие, не то что их батя.

Тут Фома Филимонович с ненавистью уставился на меня и тихо спросил:

— К чему вы это все, господин хороший?

Я резко ответил:

— Ты не прикрывайся «господином хорошим», не выйдет!..

— Что так? — растерянно спросил дед.

Я решил сжимать пружину до отказа и сказал:

— Так вот, о сыновьях... Ты говоришь: к чему все это? К тому, что хорошими сыновьями гордиться надо!

Фома Филимонович шумно вздохнул. Видимо, собрался с духом и, усмехаясь, проговорил фальшивым, веселым тоном:

— А чего ими гордиться? Нечего гордиться... Сами дралу дали, а батьку-старика с внучкой бросили — как, мол, хотите, так и устраивайтесь! Им-то небось хорошо, плевать на всё, живут себе и в ус не дуют. А каково мне? Им, видать, и в ум не взбредет, что родной их батька...

— Да, вот именно,— решительно перебил я деда,— что родной их батька в это время господам хорошим в парной баньке березовым веничком задницы полирует.

Кольчугин дернулся, точно в него выстрелили. Он хотел что-то сказать, но я продолжал:

— Вот сегодня, после баньки, я с большой охотой проведаю твои хоромы, и мы разопьем по чарочке. Не раздумал?

Старик, предчувствуя что-то недоброе, молчал, опустив руки.

— Что же ты молчишь? Перерешил?

— Почему?.. Нет...— неохотно ответил Кольчугин.

— Вот и прекрасно! — одобрил я.— Гауптману я доложил. Он не против. Он сказал: «Сходите, сходите. Это неплохо... За этим тихоней стариком надо приглядеть, а то он что-то все высматривает, вынюхивает, обо всем выспрашивает. Больно подозрительно. Подпоите его и расспросите... Кстати, узнайте, в каких отношениях он состоит с тем человеком, который рекомендовал его нам и работает в управе. По нашим данным, этот человек является активным участником подполья». Вот так мне сказал гауптман Гюберт. Понял?

Фома Филимонович выпрямился и стал как будто выше ростом, шире в плечах. Ярость вспыхнула в его светлых глазах, они сузились и показались мне черными, как угли. Ветвистая жила на лбу налилась кровью. Желваки заходили на скулах под кожей. Некоторое время он не мог произнести ни слова и, наконец, подавшись немного вперед, не сказал, а прохрипел:

— Кого ты здесь изображаешь, живоглот? Кто ты таков есть?

Я не узнал мирного, добродушного, с хитринкой в глазах старика. На меня смотрели глаза, полные ярости и злобы, не предвещавшие ничего хорошего. Губы Кольчугина дрожали, лицо стало багровым. Все в нем горело, кипело, бурлило. Зажав в горсть левой руки кожу под сердцем, он медленно надвигался на меня.

— А ну, стой! — прикрикнул я, схватив в руки шайку, наполненную водой.— Стой, а то так и огрею!

На всякий случай я привстал и уперся головой в низкий потолок.

— Кто ты есть, шура? Говори! — повторил старик. Он весь трясся, точно в лихорадке.

— Ого! — сказал я спокойно. — Гауптман, оказывается, прав. «Знаем мы этих тихих, — говорил он. — Все они притворы».

Но я увлекся и чуть не переиграл. Кольчугин был, видимо, скор на руку. Тяжело сопя и не спуская с меня воспаленных глаз, он подался влево, нагнулся, и в руке у него оказался внушительный колун с длинным топорщем.

— Вмиг порешу и себя сгублю! Я смерти не боюсь. Но прежде тебя в печи сожгу вместе с потрохами. Раскрывайся, стерва!.. — Он поднял колун и ступил на первую ступеньку.

— Хватит! — строго прикрикнул я. Пора было играть отбой. — Довольно! Раскроюсь... «Как лес ни густ, а сквозь деревья все же видно»... А то и в самом деле подеремся в бане, как дурни, да еще голые.

Старик вздрогнул всем телом, опустил руки, колун со стуком упал на деревянный пол. Голова Кольчугина опустилась на грудь.

— Я такой же, как и ты и твои сыновья, советский человек, а не предатель... — сказал я, спускаясь вниз.

Кольчугин молчал смятый и подавленный. Потом он тяжело опустился на ступеньку и уставился широко раскрытыми глазами в одну точку. Он заплакал. Беззвучно заплакал, дергая плечами и глотая соленые слезы.

Я скатился вниз, бросился на пол, опустился на колени перед стариком и взял его руки в свои. Боль сжала сердце. Я проклял себя в ту минуту за свою нелепую выходку. Ведь можно же было объяснить иначе, без всяких фокусов! Черт меня дернул...

— Прости, Фома Филимонович! Прости, дорогой! Обидел я тебя...

Он высвободил руки и положил их на мои плечи.

— Чего же ты молчал? — тихо проговорил он своим прежним голосом. — Ведь могла беда страстись, неправимая беда! Укокошить мы могли тебя. Все готово было...

— Знаю, всё знаю.

— Откуда? — удивился Кольчугин.

— От верного человека.

— А пароль как узнал?

— От него же.

— Кто же он?

— Мой помощник... Это длинная история, потом расскажу. Он в лесу, связан с командиром партизанского отряда и с курьером вашим, лесником. Теперь сообщать будем действовать...

Фома Филимонович встал, посмотрел на меня в упор, не мигая, и губы его раскрылись в улыбке. Он улыбался, а под ресницами еще серебрились слезы. Я обнял его и расцеловал.

Взволнованный, он расправил плечи, прошел в предбанник, откинул цепочку и защелку. Я сообразил, в чем дело: он хочет, чтобы дверь была не заперта.

Вернувшись, он схватил веник, угрожающе потряс им и приказал:

— А теперь полезай наверх! Лезь и ложись! Уж я покажу тебе сейчас, как у нас чешут спины. Ох, и знатно я тебя отделаю!..

Я покорно выполнил приказание — забрался на самую верхотуру и лег. Я готов был на любую пытку. Я чувствовал, что Фома Филимонович устроит мне настоящую баньку!

А он между тем плескал воду на раскаленные камни и подбавлял парку.

20. ОПЯТЬ ПАРАШЮТИСТ

Чем успешнее шли мои дела, тем осторожнее я действовал.

Наибольший успех — установление связи с Семеном Криворученко и приобретение такого союзника, как Фома Филимонович. Объяснение в бане окончательно и прочно определило наши отношения.

Теперь я был не один. Это и облегчало, и осложняло мою роль. Ведь известно, что самым уязвимым местом разведки является связь. История давала много примеров тому, как иногда блестящие, талантливые разведчики, отличавшиеся безумной смелостью, отвагой, умом

и профессиональным умением, бесстрашно проникавшие на неприятельскую территорию или в чужую страну и успешно бросавшие там якорь, гибли именно «на связи».

Они проваливались в большинстве случаев при встречах со своими помощниками, со старшими, с содержателями явочных квартир, со связными, курьерами.

Памятуя об этом, я объяснил Фоме Филимоновичу, что обо мне и о моей задаче не должен знать никто из его товарищей по подполью. Я строго-настрого предупредил его не расшифровывать и Криворученко. И то и другое не вызывалось никакой надобностью.

Очередную встречу с Криворученко я отложил. Она нужна была позарез, но я все-таки отложил ее. Я знал, что она не уложится, как в прошлый раз, в несколько минут, что я должен буду выслушать Семена, должен буду написать несколько донесений для передачи на Большую землю, уговориться о способах дальнейшей связи. На все это потребуется время и, главное, совершенно безопасное место.

Меня выручил Фома Филимонович. Он предложил к моим услугам для встречи с Криворученко свои, как он выразился,— «купецкие хоромы». Он заверил меня, что числится у оккупантов не на плохом счету, а потому я могу не тревожиться. Оставалось решить вопрос со временем.

Я не хотел идти в город с Похитуном. На этот раз он явился бы для меня помехой. Я мог бы пойти один, как уже ходил не раз, но решил полностью обезопасить себя и изобрести удобный предлог. Мало ли что может случиться? А вдруг я понадобится Гюберту? Вдруг меня начнут искать? Я хотел быть твердо уверен, что ничего подобного не произойдет.

Наконец предлог был найден. Помог случай.

Я отправился в город, чтобы предупредить Семена и оставить понятный одному ему знак. Ведь он ожидал встречи через три дня, а минуло уже несколько раз по три. Меня сопровождал Фома Филимонович. Вернее, он не сопровождал, а наблюдал за тем, чтобы никто не вздумал следить за мною. Я шагал по улицам, а он за мною следом, выдерживая определенную дистанцию. Я раздумывал над тем, как лучше организовать встречу с Семеном, и вдруг услышал странно знакомый голос.

Что-то зашевелилось в моей памяти. Голос раздавался сзади, и тот, кому он принадлежал, шел не один, а с кем-то в компании. Я убавил шаг, силясь припомнить, где я мог слышать этот голос. До моего слуха долетали смешки, обрывки фраз. Но память отказывала.

Будто невзначай я уронил сигареты из пачки, чтобы, подбирая их, взглянуть на обладателя знакомого голоса. Но мой маневр предупредили:

— Эй, любезный! Из вас что-то сыплется...

Я быстро обернулся, сделал шаг назад и почувствовал, будто горячий туман заволакивает мне глаза. Я увидел... Проскурова! Парашютиста Проскурова, схваченного и расстрелянного Гюбертом, неизвестного лейтенанта Красной Армии, из-за которого так долго и мучительно страдала моя душа. Разум отказывался признать это, но факт был налицо. Передо мной был Проскуров: те же рыжие волосы, спадающие завитками на лоб из-под шапки-кубанки, тот же сухой блеск в глазах. Значит, он жив! Значит...

И только сейчас я сообразил, как ловко меня одурачил Гюберт. Хотя что значит одурачил? Правильнее сказать — пытался одурачить.

Но нужно отдать справедливость — инсценировку он провел превосходно: крик в лесу, стрельба, картина допроса, страшная ночь в моей комнате... Да и Проскуров сыграл свою роль блестяще. Так блестяще, что не вызвал у меня даже намек на подозрение.

Проскуров прошел мимо в компании двух полицейских и одного высокого человека. Меня он, к счастью, не узнал. Этому, очевидно, помешали отросшая борода и спущенные уши шапки-ушанки.

Я замедлил шаг, не теряя из виду Проскурова, и дал сигнал Фоме Филимоновичу приблизиться.

— Видишь, пошли трое? — спросил я старика, когда он пошел почти рядом со мной.

— Вижу.

— Надо обязательно узнать, кто этот, в серой кубанке.

— А я знаю, — ухмыльнулся дед.

— Кто?

— Наклейкин, предатель, в гестапо работает... дифферентом каким-то.

— Референтом?

— Во-во... А что случилось, душа моя? Долго его в городе не видать было, а теперь вот выполз откуда-то.

— После, отец... Теперь сворачивай направо и гляди в оба.

Я вынул из кармана уголек...

На другой день, сейчас же после завтрака, я заглянул в клетушку Фомы Филимоновича на Опытной станции. Клетушка была пришта к глухой стене бани. И старик именвал ее своим «закутком». Фома Филимонович, сидя на чурбаке, накладывал кожаную заплатку на валенок.

— Вишь,— пожаловался он, тыча пальцем в большую дыру в заднике валенка,— каши просит.

В руке он держал шило, а в зубах конец дратвы. Он примеривал лоскуток кожи то одной, то другой стороной, пока не приладил его наиболее удачно.

В закутке аппетитно пахло стариновским горлодером. В маленькой железной печурке потрескивали охваченные огнем березовые чурбачки.

Здесь можно было разговаривать без опасений быть подслушанным.

— Ты знаешь, где живет Наклейкин? — спросил я старика.

— Знаю. В доме, где пекарня... Насупротив биржи. Как раз насупротив. А что?

Мне пришлось коротко рассказать Фоме Филимоновичу историю моего знакомства с Проскуровым.

Он выслушал, поцокал языком и сказал:

— Не след тревожиться... не след. Мы нащиплем из него лучинки.

— Нет, нет. Ни в коем случае! — запротестовал я.

— Это как же? Такого стервюгу? Ты знаешь, что он людей ни в грош не ставит? Людям хоть в петлю от него лезь! Обличье у него соколье, а сердце воронье. Подлый человечиска, трухлявая душонка в нем. Губит людей, как короед древесину. Насобачился на предательстве. И вокруг внучки вертелся, как бес перед заутреней.

— Вокруг какой внучки?

— Вокруг моей, какой же еще? Увидел ее и прямо дыхнуть не дает девке, лезет ей в душу, как бурав в доску... Пристает с ножом к горлу. И еще грозит: «Не пойдешь, так отправлю тебя вместе с батькой на кудыкалку». А что такое «кудыкалка», мы уже знаем. А он может, подлец! Он около начальства выноном вьется.

— А другой кто, высокий?

— Дряннь... Переводчик гестапо. Давно до него добраться надо.

У меня окончательно созрел план. Я доказал Фоме Филимоновичу, что расправа с Проскуровым меня не устраивает.

— Можно сделать так, что они сами его уберут,— заверил я старика.— Уберут в самое короткое время, да еще так, что его днем с огнем не сыщешь.

Кольчугин согласился. А вечером я напросился на прием к Гюберту.

Я доложил ему, что, гуляя по городу, встретил весьма интересную личность.

— Мы встречались до войны. Он этажом ниже жил, отдельную квартиру занимал. Я его узнал, а он меня нет. Если память мне не изменяет, он офицер НКВД. Потом уехал на границу служить, в пограничные войска.

Гюберт встал. Я понял, что он очень заинтересован и взволнован.

— Что вы предлагаете? — спросил он.

— Предлагаю выследить его.

— Что вам нужно для этого?

— Только ваше согласис.

— А люди?

— Боже упаси! — с легким испугом возразил я.— Никаких людей. Я выслежу его сам.

— Уверены?

— Не вижу в этом ничего сложного.

— Я разрешаю вам лично задержать его,— сказал Гюберт, вынул из ящика стола маленький маузер и подал мне.— Понятно?

Я кивнул головой, но тут же счел нужным спросить:

— А куда его доставить?

— Только сюда.

— Ясно. Если надо будет, прибегну к помощи полн-

ции.. Тогда разрешите мне завтра остаться без обеда и покинуть станцию сразу после занятий.

Гюберт холодно улыбнулся:

— Если это не отразится на вашем здоровье.

Я тоже позволил себе улыбнуться в присутствии гауптмана, сунул пистолет в карман и вышел

21. «ВНИМАНИЕ! СЫПНОЙ ТИФ!»

Тропинкой в один след, проторенной в снегу, я шел в город. У домика на окраине, где когда-то я увидел «кепку», сидел Фома Филимонович. Я прошел мимо него как незнакомый человек.

Вечерний сумрак все плотнее прижимался к строениям города. Улицы были заметены снегом. На тротуарах — сугробы, и никто не расчищает их: нет хозяина в городе, нет хозяйской руки. Оккупантам не до уборки улиц, они заняты другим. Каждый день идут составы на запад, в Германию. Увозится даровая рабочая сила на подневольный, каторжный труд. Люди сгоняются из окрестных деревень, их хватают в городе, периодически устраиваются облавы. Кругом идет ничем не прикрытый грабеж. Увозится все, что имеет хоть какую-нибудь ценность: древесина, железный лом, кровельное железо. зерно, фураж, скот, кирпичи, рельсы, стекло, сырая необработанная кожа, медь... Доламывается и растаскивается то, что чудом уцелело от огня, снарядов и бомб...

Криворученко был уже там, где ему надлежало быть в это время. Он стоял и читал наклеенную на заборе газету. Я прошел мимо, подал условный знак следовать за мной и направился дальше.

Фома Филимонович топтался на перекрестке с кисетом с самосадом и держал в руках сигарку. Когда он закурил и от этой сверхмощной сигарки пошел дымок, я понял, что все идет благополучно и никакого «хвоста» за мной нет.

Старик пустил для ясности два-три густых облачка и пошел налево. Я последовал за ним, а за мной — Криворученко.

Потянулся высокий покосившийся деревянный забор

Фома Филимонович протиснулся сквозь щель и исчез. Впереди никого не было. Темнота уже плотно заволакивала улицу. Я дошел до щели и тоже протиснулся в какой-то двор. Я лишь успел мельком взглянуть на немецкую надпись на заборе около щели: «Ахтунг! Флекфибер!» — «Внимание! Сыпной тиф!»

Я усмехнулся и осмотрелся. Двор был велик и сплошь завален горами кирпича, железобетона, балками. Здесь когда-то стояло большое здание. Удар бомбы превратил его в развалины. Опаленные огнем, почерневшие от дыма куски уцелевшей стены угрожающе нависали над тоненькой тропкой, по которой не оглядываясь шагал Кольчугин.

Тропка вела в самую глубь развалин. Я сделал несколько шагов и услышал позади скрип снега. Я хотел оглянуться, но не успел — Криворученко обнял меня и принялся мять мои кости.

— Экий, брат, ты медведь! — проговорил я, с трудом переводя дух. — Ну-ну, пойдем скорее... Успеем еще...

Тропка проползла сквозь развалины и привела нас к «хоромам» Фомы Филимоновича. Мне показалось, что это землянка, заваленная снегом. Наружу выглядывал кусок железной водосточной трубы. Из нее вперемежку с густым дымом вылетали искры.

Фома Филимонович ждал нас у входа, запустив пальцы в бороду, отороченную густым инеем.

— Прощу, дорогие гости! — пригласил он и повел за собой вниз по ступенькам.

Мы пробирались в крошечной темноте, держась руками за стену. Я насчитал двенадцать ступенек.

— Надежные у меня хоромы, — слышался голос старика. — Подвалище глубокий. Здесь раньше банк был.

Наконец спуск окончился, и мы оказались в сравнительно просторном помещении. Это была подвальная клетка с довольно высоким потолком, в которой даже Криворученко мог стоять не сгибаясь. Все ее убранство составляли два топчана, стол между ними, две табуретки, железная печь с длинной трубой, уходящей в глухую стену, и что-то имеющее отдаленное сходство с комодом.

На столе стояла керосиновая лампа. Царил полу-

мрак. Но когда Фома Филимонович поднял огонек в лампе, стало светлее.

Как ни угрюмо было убежище старика, оно все же дохнуло на меня милыми домашними запахами, уютом и покоем. Самовар, прижавшийся к железной печке, пускал замысловатые ноты. Его труба пряталась в дверце печи.

— А это моя наследница,— сказал Кольчугин.

Ко мне подошла тоненькая, стройная девушка с еще полудетскими чертами лица. Она подала мне маленькую горячую руку и назвала себя Татьяной. Пожимая ей руку и как-то неуклюже раскланиваясь, Криворученко так внимательно смотрел на девушку, что она смутилась.

У нее были чистые, доверчивые и немного печальные серые глаза. Природную, естественную грацию даже подчеркивало простенькое сатиновое платье. Ткань от частых стирок до того проредилась, что казалась прозрачной.

Мне захотелось получше рассмотреть Семена. Я подвел его поближе к свету и вгляделся в обросшее курчавой бородкой и продубленное ветрами и морозами лицо. Мы долго трясли друг другу руки и в заключение крепко расцеловались.

— Тут, братцы, можете секретничать как хотите,— проговорил Кольчугин.— Тут нет никакой опаски, а если кто нагрывает...— он подошел к комоду, сдвинул его с места, и мы увидели квадратную дыру в стене,— сюда ныряйте. Уж там, кроме меня, никто вас не отыщет. А если хотите одни остаться, то мы с внучкой откомандируемся.

Я решительно запротестовал и дал понять, что не собираюсь таиться ни от старика, ни от Тани.

Довольный, Фома Филимонович поставил на место комод, подошел к Криворученко, взял его за борт полубуха и спросил:

— Так это ты пароль Кондратию Филипповичу притащил?

— Я, Фома Филимонович.

— А кто сказал тебе?

— Командир отряда, товарищ Дмитрий. А лесник вам кланяться велел.

— Трофим?

— Да, Трофим Степанович.

— Видать, он тебя и с партизанами свел?

— Наоборот, партизаны с ним познакомили.

Таня сняла с самовара трубу, обтерла его тряпкой, подула и попросила деда поставить на стол. Но прежде чем Фома Филимонович успел приподняться, Семен быстро подхватил самовар и водрузил его на стол.

На столе появились фаянсовые кружки, чайник. Белая скатерть с синей махровой каймой, стираная-перестираная, оживила скромную обстановку.

— Ты что, дедок? — удивленно спросил я, видя, что Таня расставляет тарелки. — Угощать собираешься?

— А как же? Чем богаты, тем и рады. Я же манил тебя в гости, — он подмигнул мне, — а ты все ломался.

— Напрасно, отец. Время дорого... Мы...

Старик взглянул на меня с таким укором в глазах, что я не окончил фразы. Видно, мало было радости у этих людей, и давно не сидел за их столом близкий человек.

Я быстро сбросил пальто и сел за стол. Собственно, торопиться мне было некуда. Прошло всего сорок пять минут, как я покинул Опытную станцию.

Семен последовал моему примеру. Он отстегнул от поясного ремня флягу, выразительно посмотрел на меня и приладил ее, чтобы она не упала, к заварному чайнику.

Таня подала на стол большую сковороду с пузатыми. докрасна зажаренными карасями и солонку с крупной серой солью.

— Что это за надпись грозная красуется на вашем заборе? — спросил я Кольчугина.

— Это Таня смастерила, — ответил старик. — Туда, где такая вывеска, — немцы в жисть ногой не ступят. Уж больно боятся они сыпняка. Пуще, чем черт ладана.

Мы рассмеялись выдумке Тани. Семен разлил спирт по кружкам, разбавил его водой, мы чокнулись и выпили.

Таня, едва пригубив кружку, поставила ее на стол.

— На-тка, откушай карасика! — И старик подсунул сначала мне, а потом Семену по жирной, чиненной пшеном рыбине. — Знатная рыбешка! Всё ребята свои выручают, подбрасывают.

22. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЛЕСУ ПОД ПЕНЗОЙ

Прикончив пятого караса, я вооружился карандашом, бумагой и быстро исписал целый листок. Это было мое первое донесение. Я отдал его Семену, и он молча кивнул.

Потом я спросил Семена:

— Кто у тебя радист?

— Раздушевный паренек шестнадцати годков и ростом с винтовку.

— Постарше не было?

— Да я этого ни на кого не променяю. Золото, а не парень! Был постарше... Я же дважды к вам прыгал...

— Как это — дважды?

— А так. Накрохина помните?

— Конечно.

— Так вот, первый раз я прыгал с ним.

— Ну... и в чем дело? Что ты тянешь?

— Да тут длинная история...

— Ну, ну, выкладывай!.. Будете слушать? — спросил я хозяев.

И Фома Филимонович и Таня дружно закивали.

— Смотрите, — предупредил Семен, — минут пятнадцать украду у вас, но послушать стоит, не пожалеете.

Закурили. Семен пересел с топчана на табуретку и начал рассказывать «длинную историю».

— Погода в тот день стояла неважная. С полудня запуржило, задула поземка, а к вечеру закрутила метель. Я и Накрохин решили, что в такую погоду о вылете и думать нечего. Метет так, что за десять шагов трудно что-нибудь разобрать. И вдруг, уже в полночь, открывается дверь и входит в хату весь залепленный снегом известный вам майор Коваленко.

Отряхнулся он и говорит:

«А ну, собирайтесь и живо в сани! Поедем на аэродром».

Очень ветрено было, и, хотя лошадки старательно тащили сани, на дорогу к аэродрому мы затратили добрый час. Наконец добрались. И прямо в землянку к коман-

диру отряда. Невезение началось с первой минуты. Не успели мы переступить порог, как тут же выяснилось, что у пилота, который должен был вывозить нас, температура поднялась до тридцати девяти. Надо же такому случиться!

Пилот доказывал, что может лететь, но командир оставался неумолимым и приказал ему лежать. Я и Накрохин были уже знакомы с пилотом. Бывалый, опытный летчик. Я считаю, что половина успеха в нашем деле зависит от опытности летчика. А тут вдруг... Мы повесили носы.

Но майор Коваленко сказал командиру отряда:

«Отменять вылет нельзя. Давайте другого пилота».

На счастье, в резерве оказался молоденький хлопец. Машина у него была какая-то странная, оборудована из рук вон плохо. Кабина пилота отделялась от кабины пассажиров глухой переборкой так, что общаться с пассажирами в воздухе он не мог.

Пилот — паренек лет на пять моложе меня — объявил нам басом:

«Как дам белую ракету, прыгайте! Ясно?»

«Ясно,— говорит Накрохин.— Хотя позвольте... Почему ракету?»

«А что другое предложите? — спросил пилот.— Я же от вас отделен. Место приземления безлюдное, от передовой далеко, поляна в лесу, там хоть сто ракет пускай... Лезьте в кабину».

Машина поднялась, сделала круг, легла на курс и стала набирать высоту.

Мы прилипли к оконцу, затянутому мутным оргстеклом, и сидели так до решающей минуты. Ощущение было такое, будто мы не летим, а стоим на месте, вернее — висим в какой-то мутной жиже. Ни горизонта не видно, ни звезд, ни земли — ничего! На сердце тоскливо и неспокойно.

Я был уверен, что мы заметим передний край по вспышкам выстрелов и ракет, но мы его не увидели. Минут сорок спустя машина вырвалась из снежной полосы, показались звезды, поплыли глухие, без огней деревушки. На душе полегчало. Я знаками спросил пилота, миновали ли мы линию фронта, и он знаками дал понять мне, что уже давно миновали.

И вот на исходе часа мы ясно увидели, как внизу вспыхнула и рассыпалась белая ракета, затем вторая. Что бы это значило? Мы знали точно, что нас никто не должен встречать. Но в этот момент яркая россыпь белой ракеты, пущенной уже нашим пилотом, ослепила нам глаза. Сигнал. Пора! Мы быстро вскочили со своих мест. Накрохин дернул дверцу на себя и решительно нырнул в темноту вниз головой. Я без задержки последовал за ним. Опускаясь, я отлично слышал в небе звон мотора нашего самолета и еще подумал с досадой: «Чего он тянет? Летел бы уж... А то еще, чего доброго, сшибут..»

Спокойно приземлился, освободился от лямок, зарыл парашют в снег, огляделся: голая степь и снег, белый, чистый, глубокий. А где же лес? Где поляна? Мне стало не по себе. Я начал всматриваться и, наконец, на востоке увидел едва заметную темную каемочку леса. «Значит, пролетели лес. Но где же Накрохин? — думаю. — Что буду делать без него, без рации!» Я заметался по степи, как огонь на ветру. Накрохина нигде не было. Тогда я решил укрыться в лесу.

Вдруг вижу — деревушка, хаток пятнадцать. Можно было, взяв правее, миновать ее, но я этого не сделал. Знал, что обычно опасность ожидает разведчика в населенном пункте, но шел. Шел потому, что хотел узнать, что это за деревня и где я нахожусь.

Я понимал, что могу нарваться на немцев, а поэтому стал подбираться к деревне осторожно, оглядываясь, вслушиваясь. На окраине выбрался на наезженную дорогу. Она вела в лес. Я остановился. Тишина. Ни человеческого голоса, ни лая собаки, ни огонька... Я подкрался к крайней избенке, кособокой и словно придавленной снегом. «А вдруг в этой хате немцы?»

Я достал из кобуры пистолет и согнутым пальцем постучал в окно. Никто не отозвался. Постучал вторично. Тишина. Хотел постучать уже в третий раз, но увидел, что кто-то прилип носом к стеклу. Вгляделся — женщина. Она тоже вглядывалась в меня и дрожащим, старушечьим голосом спросила:

«Чего тебе, непутевый?»

«Как называется ваша деревня?» — спросил я.

Она молчала. На мне был белый маскхалат с капюшоном, и трудно было разобраться, кто я таков.

«Чего же молчишь?» — спросил я.

«А ты кто такой?» — спросила, в свою очередь, она.

Я не решился назвать себя и, будто не расслышав ее вопроса, спросил:

«Немцы есть в деревне?»

И тут она вдруг завопила:

«Роберт Францевич! Роберт Францевич! Вставай скорей! Немцев спрашивают...»

Размышлять было некогда. Я помчался изо всех сил. Роберт Францевич, конечно, эсэсовец или комендант. Сейчас он натягивает на себя шинель, потом схватит автомат, выскочит из избы, даст очередь, поднимет своих на ноги — и начнется погоня. Я мчался к лесу, не чуя ног под собой. Леса я достиг в считанные минуты. Посмотрел на часы — стрелка уже перевалила за пять. Тут мне пришла мысль сбить возможную погоню со следа. Я обдумывал, как это сделать, и увидел сваленную ветром сосну. Корни ее, присыпанные снегом, торчали в двух шагах от дороги, а вершина уходила в лес.

Я прыгнул с дороги на корень и пошел по стволу. Добравшись до конца, я соскочил и побежал в чащу. Бежал долго, остановился передохнуть и вздрогнул: на меня кто-то шел, ломая сухие ветки. Я поднял пистолет и крикнул:

«Стой! Кто идет?»

В ответ раздался спокойный голос Накрохина:

«Не дури, Сенька. Это я».

Я бросился к нему, обнял его на радостях и спросил:

«Где же ты пропал?»

«На сосне болтался!»

«Как?»

«Очень просто. Опустился на нее, запутался в стропах и еле высвободился. Но я не пойму, куда мы попали? Ведь то место я хорошо знаю».

Я рассказал Накрохину о своем приключении. Он покачал головой. Плохо дело! Видно, летчик спутал. Мы хотели было сделать перекур, но тут до нашего слуха долетели ослабленные расстоянием голоса людей.

«Это погоня», — сказал я.

«Только без паники, — говорит Накрохин. — Иди за мной!»

Мы пошли и минут через десять вновь услышали голоса впереди себя.

Накрохин выругался и сказал:

«Только бы овчарок не пустили по следу, сволочи, а так мы их обдурим».

Мы свернули круто влево и прибавили шагу. Мы спускались в овраги, скользили по снежным увалам, взбирались на пригорки и, наконец, выбрались на накатанную дорогу. Она мне показалась знакомой.

Накрохин посмотрел на часы и ахнул: до первого сеанса с Большой землей оставалось в запасе не более получаса.

«Бежим,— сказал он.— Десять минут по дороге, пять в сторону, а пять останется мне для раскладки рации».

И тут он втянул голову в плечи и опять выругался: впереди снова послышались голоса. Нас, как волков, обкладывали со всех сторон. Мы взяли круто вправо и побежали сколько было сил. На ходу натыкались на пни, проваливались в ямы, стукались лбами, падали друг на друга, поднимались и вновь бежали...

Остановились, выбившись из сил, на замерзшем болоте. Прислушались и ничего, кроме собственного дыхания, не услышали. Погоня, видимо, отстала или сбилась со следа.

Накрохин сказал:

«Отсюда ни шагу, пока не кончу сеанс. А ты сторожи».

И он передал мне свой автомат. Затем он раскинул рацию, набросал при свете карманного фонарика радиogramму, начал настраиваться. Потом сказал:

«Черт знает что... Я хочу им передать, а Центр свою передачу навязывает».

«Принимай! — посоветовал я.— Теперь не до споров».

Накрохин перешел на прием, записал несколько слов и вдруг, сбросив наушники, захохотал и стал кататься по снегу.

Я опешил, не понимая, в чем дело. Подумал, грешным делом, уж не рехнулся ли он.

Нахохотавшись вволю, он сунул мне в руку лоскут бумаги. Я осветил фонариком и обмер: телеграмма была незашифрованной. И она гласила:

«Выходите в первый населенный пункт и сообщите его наименование. По вине и неопытности молодого пилота вас выбросили на свою территорию, в Пензенскую область. Майор Коваленко».

Тут уж расхохотались все: и Фома Филимонович, и Таня, и я...

Старик смеялся, бился в кашле и приговаривал:

— Не могу... Ей-богу, не могу!.. Довоевались хлопцы. В Пензенскую область... Бежали, как зайцы по просу...

— А эсэсовец?—спохватилась Таня.—Эсэсовец Роберт Францевич откуда взялся? А погоня?

— Сейчас, сейчас. Все по порядку,—успокоил Семен.—Теперь уже и до конца недалеко. Так вот... Прочел я и до того расстроился, что едва не заплакал. Ну, а потом наступила разрядка. Мы выложили здоровенный костер, наломали хвой, улеглись на нее и заснули. И приснилось мне, будто погоня настигла нас. Меня схватили, оплетают веревкой, я хочу вырваться и не могу. Проснулся—и в самом деле связан. И Накрохин тоже. Уже светло. Нас плотным кольцом обступили бабы, подростки, кто с топором, кто с вилами, кто с граблями.

А предводитель у них старик лет под семьдесят, с малокалиберной винтовкой.

Накрохин говорит ему:

«Мы свои, дедушка. Ошибка тут вышла».

«Волки вам свои!—объявил дед.—Ишь ты, свои отыскались! Как научились по-русски болтать, значит, и свои? А это что за цацка?—Он потрянул автоматом.—А это что?—Он пнул ногой рацию.—А немцы кому понадобились?»

«Ну ладно!—в отчаянии проговорил Накрохин.—Веди нас куда следует, а там разберутся».

А разобрались лишь завтра к вечеру. А Роберт Францевич мне не приснился. Тот старик, что предводительствовал бабами, и оказался им. Его-то я и считал за эсэсовца, а он родом из-под Риги, латыш, эвакуировался в Пензенскую область и работал в этой деревне кузнецом.

— А как же пилот?—поинтересовалась Таня.— Почему он дал белую ракету?



«Волки вам свои!» — объявил дед.

— У него выхода другого не было,— ответил Криворученко.— Мы пролетали над соединением нашей авиации дальнего действия, и с земли, не зная, чей самолет, потребовали условного ответа. Иначе угрожали открыть зенитный огонь. Пилот заглянул в табличку, видит, что надо отвечать белой ракетой. А по белой мы должны прыгать. Вот так оно и вышло...

Рассказ развеселил всех. Потом я спросил Криворученко, почему он второй раз прыгал не с Накрохиным, а с новым радистом. Семен объяснил, что у Накрохина умер сын, и Фирсанов отпустил его на две недели в Казань.

Я встал. Предупредил Семена, что связь будем поддерживать через Фому Филимоновича, а когда понадобится, встретимся снова.

Старик проводил меня до забора и пожелал счастливого пути.

Я шел на Опытную станцию довольный и веселый. В радиограмме я сообщил все, что требовалось и что я намечал.

23. ПОХИТУН ВПАДАЕТ В ПАНИКУ

Гауптман Гюберт ожидал меня в гостиной. Он прохаживался по комнате, заложив руки за спину.

— Каковы успехи? — спросил он.

Я потер лоб, как бы собираясь с мыслями, и сказал смущенно:

— Я могу задать вопрос?

Гюберт удивленно поглядел на меня:

— Прошу...

— Скажите, пожалуйста, если это можно: какой участи подвергся тот парашютист, которого вы поймали оsenью?

Губы Гюберта дрогнули. Такого вопроса он, конечно, не ожидал. Устремив на меня пристальный взгляд и, видимо, быстро соображая, он произнес:

— Передан городским следственным органам. А что?

— Я не могу поручиться наверняка, хотя обычно на зрительную память не жалуюсь, но, кажется, с тем офицером оказался этот самый парашютист. Я высле-

дил его. Он вошел в дом 67 по Витебской улице и остался там.

Гюберт озабоченно нахмурился и сказал:

— Позвольте... позвольте... Как это могло быть?

— Не знаю.— И я пожал плечами.

Мы оба «играли». Это были строго рассчитанные ходы шахматистов.

— Почему же вы не схватили его?

— Во-первых, я решил, что его, видимо, используют в какой-то комбинации. И, во-вторых, он был не один. Распроставшись с тем советским офицером, он направился дальше в сопровождении полицейского... Похоже, что пробравшийся сюда офицер-чекист крепко связан с этим парашютистом. До вашего указания я решил не действовать.

Гюберт помолчал и сказал:

— Вы поступили правильно. Я выясню, в чем там дело. Они видели вас?

— Думаю, что нет.

— Это уже лучше...

Я положил пистолет на стол и попросил указаний для дальнейших действий. Гюберт отмолчался.

Я шел к себе, твердо уверенный, что судьба предателя Наклейкина, мастерски сыгравшего роль Проскурова, а заодно и судьба гестаповского переводчика решена окончательно и без вмешательства подпольщиков. Два предателя получают должное от руки своих же хозяев... И в то же время я дивился беспечности Гюберта: как мог он, зная, что я посещаю город, оставлять в нем предателя Наклейкина?.. Неужели даже такой стреляный воробей сделал промах?

В своей комнате я застал Похитуна у включенного радиоприемника. Он слушал передачу Советского Информбюро. Похитун был так сосредоточен, что даже не заметил, как я вошел. Я встал за его спиной и прислушался. Диктор сообщал об окружении трехсоттысячной немецкой армии фельдмаршала фон Паулюса под Сталинградом, подробно перечислял трофеи, захваченные советскими войсками, называл номера разгромленных вражеских дивизий, фамилии пленных генералов.

Как долго мы ждали этой победы! Мысленно я трижды прокричал «Ура!».

Я тронул Похитуна за плечо. Он вздрогнул и, выключив приемник, разразился площадной бранью.

— В чем дело? — удивился я.

Он встал со стула и, расставив тощие, кривые ноги, посмотрел на меня дикими глазами. От него несло водкой и чесноком. Он был пьян, но это не мешало ему, видимо, понять смысл событий, происшедших под Сталинградом.

— Что? Вы не слышали? — спросил он и икнул.

— Я только что вошел, — спокойно ответил я и потянулся к приемнику, чтобы включить его.

Похитун отстранил мою руку и снова выругался.

— Что делают, что только делают, а?! — воскликнул он с возмущением. — Вы подумайте, подумайте только! Ведь это позор на всю Европу, на весь мир. А что скажут немцы в Германии, что скажут союзники? Десятки тысяч пленных, целые дивизии полетели в тартарары... Неслыханное побоище! Я вас спрашиваю: что будет дальше? Почему вы молчите? — Он уставился на меня каким-то ошалевшим взглядом, ожидая ответа, затем схватился за голову и сел на кровать.

«Припекло по-настоящему!» — подумал я и сказал:

— Не пойму, что вас вывело из себя. Что стряслось? Вы можете рассказать толком?

Я учитывал, что нас могут подслушать. Ну и отлично! Пусть Гюберт знает, как настроены его подчиненные.

— Толком! — усмехнулся Похитун, достал из кармана какую-то тряпку, мало похожую на носовой платок, и громко высморкался. — Вы просите толком? Извольте: если верить вашим, то из наших под Сталинградом сделали блин. Просто блин! Вы это понимаете?

— Довольно смутно, — заметил я. — Каким вашим и из каких наших?

— Блин... блин... блин... Ха! Город сровняли с землей, а он ожил. Как Феникс из пепла! Чудо двадцатого века! Чудо из чудес! Теперь уже не мы окружаем русских, а они окружают нас. Судьба играет человеком... Поднявший меч от меча и погибнет. Позор! Катастрофа! Полнейшая катастрофа! Что же будет дальше, я вас спрашиваю? Что? Если не мог устоять Паулюс, то кто же устоит? На кого можно положиться?

— Не понимаю, чего вы так разволновались? — сердито сказал я. — Война есть война! Подумаешь, стукнули нас разок...

— Вы думаете? — спросил Похитун.

— Конечно.

— Я тоже хотел бы так думать, но...

— Что — но? Не впадайте в панику!

Похитун икнул несколько раз сряду и проговорил:

— Не получается... Не получается, и баста...

— Напрасно.

— Что — напрасно? — воскликнул Похитун. — Совсем не напрасно... Какой позор! Паулюса следует повесить. Да, повесить!.. Ха! Я вчера слушал радио. Ваша певичка пела насчет того, что «и не пить им из Волги воды». Я слушал и смеялся: «А мы пьем, а мы пьем... Ты себе пой, а мы пьем». А теперь?..

Похитун, пошатываясь, направился к выходу и сильно хлопнул дверью. Я тотчас же выключил свет и подсел к приемнику.

24. ГАБИШ СТАВИТ ЗАДАЧУ

Мне думалось, что история с Константином не должна пройти даром для гауптмана Гюберта. Так оно и вышло. Из болтовни Похитуна, который, как шифровальщик, был в курсе всех событий, я узнал, что назначено расследование.

На другой день после моей встречи с Криворученко, на Опытной станции появился немецкий майор, оказавшийся, как удалось мне узнать позже, следователем. Он снял допросы с Гюберта, Рауха, Шнабеля, Похитуна. Последним он вызвал меня. Переводчиком был Раух. Из вопросов следователя я без труда догадался, что ему известен разговор, состоявшийся у меня с Гюбертом относительно Константина.

После отъезда следователя Похитун сказал мне, что «Гюберту нагорит, если не вмешается полковник Габиш». По мнению Похитуна, Габиш очень ценит Гюберта, во всем поддерживает его и не дает в обиду.

Похитун оказался прав. Габиш, очевидно, решил вмешаться и неожиданно появился на Опытной стан-

ции. Это случилось через два дня после отъезда следователя.

Не знаю, о чем он разговаривал с Гюбертом, кого еще вызывал к себе, но Похитун «доложил» мне, что там (имея в виду кабинет Гюберта) «идет беседа на высоких тонах».

В тот же вечер, когда я уже собрался улечься в постель, меня пригласили к Гюберту. За его столом сидел жирный, с неподвижным, как у индийского божка, лицом Габиш, а Гюберт стоял у окна. Он, как всегда, казался холодным и бесстрастным, стоял, сложив руки на груди, молчал и даже не ответил на мое приветствие.

Я думал, что Габиш начнет разговор о Константине, но он заговорил не об этом. Сунув мне на этот раз свою пухлую, влажную руку, он пригласил меня сесть и спросил:

— Как ваши успехи? Как поездка к Доктор?

Я коротко рассказал об учебе и о встрече с Доктором.

— Доктор говорил вам, с какой заданий ви будет ехать обратно домой?

Я кивнул.

— Ви будет самостоятельно работайт и имейт дел только с Доктор. Ясно?

— Вполне,— ответил я.

— Для Брызгалоф ви повезет раций, но лично с ним не встречайт. Рацию ви передайт господину Саврасоф, а он даст ее Брызгалоф. И Саврасоф пусть устраивайт Брызгалоф работа. У вас будет другой большой дел. Ви будет работайт так, как работайт немец и как не умеет русский. И ви будет получать большой деньги.

При этих словах я осклабился и поклонился.

Габиш сказал, что под моим началом будет несколько железнодорожников, проверенных на деле. Но ограничиваться этими людьми не следует. Я должен позаботиться о приобретении новых агентов, способных выполнять задания германской разведки. Моя задача — организовать непрерывные систематические диверсии на железнодорожном транспорте, выводить из строя ближайшие к фронту узлы, мосты, водоканалы, депо, поворотные круги, стрелки, систему светоблокировки, подвижной состав. Особенно важно создавать «пробки» на узловых станциях.

— Ви должен создайт массовой диверсионный аппарат,— подвел итог Габиш.— Вам будет помогайт Доктор. Саврасоф надо забывайт, Брызгалоф тоже.

Я заявил, что буду только рад забыть Брызгалова, и поинтересовался, через кого придется мне поддерживать связь с Опытной станцией.

— И через Доктора, и через радиста,— сказал Гюберт.

— Я, я, рихтиг, правильно,— подтвердил Габиш.— Через Доктор ви даете отчет вся диверсионный работа, а через радиста будет передавайт разведывательный информация.

— Следовательно, вы дадите мне радиста?

— Да,— твердо ответил Гюберт.

— Радист уже есть,— добавил Габиш.— Радист там, ваша сторона. Он ожидайт ваш приезд.

У меня мелькнула догадка, что речь, вероятно, идет о радисте Куркове, связь с которым прервалась.

— Но ми с вами будем еще иметь беседа,— предупредил Габиш, вынул из кармана большой платок, вытер им кончик своего массивного носа и поинтересовался: — Ви курсе событий, происходящий на фронт?

— Примерно,— ответил я.

— Мы у него в комнате поставили приемник,— вставил Гюберт.

— Очень хорошо! — одобрил полковник.— И не надо быть страх, что там есть.

— Я понимаю. Война есть война.

— И очень правильно. Котел Сталинград — блёф. Ми будем Москва. Это тактик фюрер...— Он помолчал и спросил: — Что было у вас с Константин?

Я рассказал буквально то же, о чем доложил Гюберту, то есть что Константин показался мне подозрительным.

И тут Габиш, подобно Гюберту, пустился на хитрость:

— Ви его встречайт в город?

— Нет, не встречал...— Я хотел было добавить, что встречал Проскурова, но, перехватив предупреждающий взгляд Гюберта, умолк.

— Тогда все есть ерунда,— подвел итог Габиш.— Ми будем проверяйт Константин. Ми не допускайт его учеба. Ви делайт...

Габиш вдруг замолк и прислушался. Лицо его искажилось, стало каким-то жалким, беспомощным. Снаружи явно доносился рокот самолетов, нарастающий, мощный.

— Давайте смотреть воздух,— предложил Габиш и с быстротой, несвойственной его чину и комплекции, вскочил из-за стола.

Гюберт подал ему шинель, оделся сам.

Рокот приближался, ширился, нарастал, и уже тоненько тренькали стекла в окнах.

Во дворе Опытной станции толклись почти все ее обитатели. Я увидел Шнабеля, Рауха, Венцеля, Похитуна, повара, солдат.

Стояла тихая безветренная ночь, и в тугом, промороженном воздухе, точно шум мощного прибоя, то замирая, то усиливаясь, наплывал рокот моторов. Но в бездонном небесном океане, кроме мерцающих звезд, ничего нельзя было увидеть.

С северо-востока шли тяжелые советские бомбардировщики. Это было понятно по звуку моторов. Это было ясно и мне, и всем обитателям станции.

Однако Габиш, стоявший на крылечке дома, счел нужным сказать:

— Наши идут с бомбежка...

Он сказал это, поправил нервным жестом меховой воротник шинели и начал растирать рукой замерзающие щеки.

Гюберт громко скомандовал по-немецки:

— Выключить движок!

— Гут! — тихо одобрил Габиш.

Среди обитателей станции произошло движение, кто-то побежал в помещение электростанции, и через несколько секунд монотонный стук движка умолк.

Самолеты плыли над нами.

Гюберт сошел с крыльца и остановился посередине двора. Его окружили Шнабель, Раух, Венцель. Я остался рядом с полковником Габишем.

В небе вспыхнули стремительные лучи прожекторов, и тут же затаивали автоматические зенитки. Над городом и южнее его вспыхнули две огромные «люстры». Стало светло как днем. Я отчетливо увидел каждое поленье дров, сложенных под навесом, ручку на дверях

бани, провисающие от снега провода антенны, шевроны на шинелях Гюберта и Шнабеля, каждую морщину на лице Габиса.

Первые самолеты перешли в пике, и их рев перекрыл дикий свист падающих бомб. Огромные вспышки яркого света раскололи ночь. Раздались гулкие взрывы. Земля качнулась под ногами, рубленые домишки закричали. Освободившиеся от бомб самолеты чуть не на бреющем полете уносились прочь, на восток, а новые, идущие оттуда, с ревом и рокотом устремлялись к земле.

На Габиса нашел столбняк. Он стоял, как жена легендарного Лота, с помертвевшим лицом, не произнося ни слова.

Гюберт шепнул что-то на ухо Похитуну, и тот со всех ног бросился в дежурную комнату.

Через короткое время он вновь появился на дворе и на ходу громко крикнул:

— Аэродром бомбят у Поточного! Больше десятка самолетов...

Я-то уже знал, что бомбят. Значит, Криворученко передал то, что я сообщил ему устно при первой нашей встрече.

Бомбовые удары следовали один за другим и сериями. За городом бушевало пламя страшной силы, заливая все вокруг зловещим кровавым светом.

25. ДЕЛА ОХОТНИЧЬИ

Я бездельничал и не знал, куда себя деть. Мое пребывание в осином гнезде подходило к концу. Об этом сказал мне Гюберт. Я понял его так, что моя переброска задерживается из-за Доктора, которого ожидают со дня на день. Но Доктор почему-то не торопился. Шли дни, а его не было.

С Криворученко я больше не встречался. В этом не было нужды. Фома Филимонович с отменным усердием выполнял обязанности связного и через два-три дня уносил от меня коротенькие весточки для Большой земли.

Сегодня, после занятий с инструктором Раухом, я повалялся на койке, послушал радиопередачу и вышел на

воздух, решительно не зная, что предпринять и чем занять себя.

Фома Филимонович топил баню. Вот-вот должен был вернуться Гюберт. Он и Похитун отсутствовали уже вторые сутки. В сопровождении двух солдат и своры собак, взятой в городской комендатуре, они лазали по окрестному лесу в поисках медвежьей берлоги.

Увидя меня, Кольчугин подошел прикурить и тихо сказал:

— Зайди в баньку, душа моя. Целый короб новостей...

— Зайду,— ответил я.

— Как у тебя в комнате, не холодно?

— Прохладно.

— Ну, потерпи. Вот истоплю баньку и за твою печь примусь.

Побродив немного по лесу, я зашел в баню. Фома Филимонович без верхней рубахи, с закатанными штанами и босой старательно драил веником лавки и полки. В печи клубился огонь. От котла с водой шел парок. Въедливый дым стариковского горлодера плавал в воздухе, и от него першило в горле.

Фома Филимонович подошел ко мне и весело сказал:

— Лихо наши их взвеселили, а?

— Не понял,— заметил я.

— Я про бомбежку,— пояснил дед.

— Узнал подробности?

— А как же! Я все могу узнать... Всякий кулик на своем болоте велик. Все в аккурат выведал.

— Ну и как? — торопливо спросил я.

— Лихо, лихо вышло! Уж куда лучше: весь аэродром разнесли, только один самолет уцелел, а остальные прахом пошли. И цистерны с горючим ахнули. Что там творилось, не приведи господи! Одних грузовиков сорок штук сгорело. Так что можешь докладывать.

Фома Филимонович сел на лавку, достал из узелка черный-пречерный сухарь, зачерпнул жестяной кружкой из котла, помочил сухарь и начал его сосать. Он сосал его и прихлебывал горячую воду.

Я в это время обдумывал текст телеграммы на Большую землю.

— А зверь-то наш! — сказал старик немного спустя. — Тю-тю!

Зверем он именовал предателя Наклейкина, так удачно выступившего в роли парашютиста Проскурова.

— Что же с ним? — любопытствовал я.

— И хвоста от зверя не осталось, — ответил дед и рассмеялся. — Убрали крапивное семя. И переводчика того, заразу, тоже. Они же сами убрали. Ай, и здорово ты сработал, Кондрат Филиппович! Мастак ты...

Я спросил о подробностях, и дед охотно рассказал.

Дело обстояло так. Третьего дня вечером Таня неожиданно наткнулась на улице на Наклейкина. Она возвращалась с маслобойки, где ей удалось раздобыть немного подсолнечного жмыха. Уже темнело. Он был вместе со своим приятелем — переводчиком гестапо. Он остановил ее, начал всяческие разговоры разговаривать, посмеялся, что она за жмыхом бегала. «Я, — говорит, — могу тебе за дружбу хоть каждый день по три банки консервов дарить. И шоколад есть у меня. Зря ты от меня бегаешь, я ведь с серьезными намерениями к тебе, все честь по чести будет. Королевой, — говорит, — будешь жить». В общем, старый разговор завел, гадюка. Танька думала было бежать, а потом вспомнила, что с минуты на минуту должен явиться Криворученко. Боязно ей стало: а что, если этот пес Наклейкин со своим дружкой увяжутся за ней до самого дома?

Нельзя, чтобы Семен попался на глаза предателям. И она решила поддерживать разговор.

Когда они свернули к дому, где жил Наклейкин, Таня заметила, что сзади идут четверо неизвестных в гражданском. Она вначале заподозрила, что это приятели Наклейкина и что он что-то затеял против нее, но Наклейкин тоже забеспокоился и стал оглядываться.

Короче говоря, на перекрестке неизвестные налетели на Наклейкина и стали крутить ему руки назад. Переводчик сразу дал ходу, побежал. Один из нападавших вытащил пистолет, послал пулю вдогонку и уложил беглеца намертво. Увидя такое дело, Наклейкин изловчился и вытащил свой пистолет, но выстрелить ему не удалось: сильный удар по голове свалил его наземь. Таня, насмерть перепуганная, стояла, прижавшись к стене.

Когда Наклейкин затих, неизвестные заговорили между собой, и Таня поняла, что это немцы.

Один из них подошел к Тане, осветил ее лицо фонариком и, подмигнув, толкнул в плечо и скомандовал: «Шнель, марш!...»

И Таня помчалась, не чувствуя под собой ног.

— А сегодня сволокли зверя на кладбище,— закончил Фома Филимонович.

Так закончилась жизнь предателя.

Затем старик сообщил мне последнюю новость: партизаны ходили в рейд, разгромили гитлеровский гарнизон, захватили большой обоз с оружием и продовольствием.

Я поблагодарил Фому Филимоновича за новости. Он предупредил меня, что скоро придет топить мою печь.

Я вернулся к себе, а часа через три в комнату ввалился Кольчугин с дровами.

— Гауптман прибыл,— доложил он, складывая дрова.

— С медведем?

— Ну, прямо...— усмехнулся старик.— Вместо медведя тетеревов настреляли.

— Много?

— С полдюжины.

— Ого!

— Да разве это охота? Баловство одно!— заметил Фома Филимонович.— Двое суток—и полдюжины! Только время убили.

Я высказал предположение, что виновны тут, видимо, не охотники—война распугала дичь. Старик возразил: дичи в лесу много, а вот охотники—шляпы. Не знают, где хоронится птица.

— А то Похитун!—возмущался он.—Какой же с него охотник! Балбеска сушая! Обсевок какой-то... рваны! Смотреть на него тошнехонько. Он пьяный не отличит тетерева от своих сапог, а еще хвастается: я да я... А что он? Тьфу!—И дед сплюнул.—Ввернул я ему как-то, что, мол, не годится, когда курица хочет петухом петь. Так он обозлился! Ну и пусть себе... А дичинки в наших лесах на всех хватит.

Достав из поддувала уголек и присев на корточки

спиной к дверям, Фома Филимонович начертил на полу неровный круг и объяснил мне, что это лес. Затем он обозначил Опытную станцию, озеро, реку, протоку, зимник и поставил крестики там, где, по его твердому убеждению, должна таиться дичь.

В это время распахнулась дверь и на пороге появился Гюберт. На нем был охотничий, ладно сшитый костюм и мягкие меховые сапоги.

Он пнул носком сапога Фому Филимоновича пониже спины. Тот вскочил, и Гюберт прошел в комнату.

В глазах старика, как мне почудилось, мелькнул недобрый огонек. Я по себе знал, что самая сильная обида — это та, на которую нельзя ответить, и отлично понимал Фому Филимоновича. Бросив несколько поленьев дров в печь, он собрался уже выйти, как Гюберт спросил, подозрительно разглядывая примитивный чертеж на полу:

— Чем занимаетесь?

Вопрос мог быть обращен и ко мне и к Кольчугину. Я решил ответить за обоих и сказал:

— Спорим насчет охоты.

Гюберт сел на стул и, уставившись на Фому Филимоновича холодными глазами, спросил:

— А ты понимаешь что-нибудь в охоте?

— А почему я не должен понимать? Чай, годков тридцать брожу по лесу. Собаку на этом деле съел.

— Собаку... — усмехнулся Гюберт, что с ним бывало редко. (И я решил, что он вернулся из лесу в хорошем настроении.) — А ходишь на охоту?

Фома Филимонович поскреб загылок:

— Это дело сложное. Надо коменданту города в ножки кланяться, а я не хочу — стар уж, да и характер не таков. И опять-таки с ружьишком дело дрянь... Совсем дрянь!

— Плохое?

— Никакого нет.

— Выходит, что дрянь не с ружьишком, а без него? — заметил я.

— Так оно и выходит, — согласился Фома Филимонович, порываясь покинуть комнату.

Но Гюберт его остановил:

— Погоди!.. Ты и в самом деле охотник? — спросил он.

— А зачем мне брехать при седой голове,— ответил старик.— Я, можно сказать, потомственный охотник. Прадед мой, дед и батька — все были отчаянные медвежатники, да и дичинкой не гнушались. Особенно боровой. Мне довелось еще промышлять в лесу с батьковским самопалом. Старинная такая штуковина! Как вдаришь из нее, так и оглохнешь сразу.

В глазах Гюберта я заметил искорки заинтересованности. Лицо заметно оживилось. Я еще не видел его таким и вспомнил слова Доктора: «Гауптман Гюберт — какой-то маньяк».

Гюберт, не сводя глаз с Кольчугина, спросил:

— Почему же ты до сих пор молчал?

— А зачем лезть на глаза? — смело ответил Фома Филимонович.— Да и опять-таки проводник у вас есть, господин начальник.

— Это кто же? — подняв брови, осведомился Гюберт.

— А господин Похитун...

Гюберт опять усмехнулся и проговорил:

— Какой из него проводник? Он понимает в охоте так же, как ты в астрономии.

— Вот, вот!.. — подхватил Фома Филимонович.— И я то ж говорю... С его мордой пристало только кассы взламывать. Кабы такой егерь в доброе старое время моему хозяину попался, он бы за него и щенка последнего не дал. Ей-богу!

Я опасался, что прямота в высказываниях Кольчугина не понравится гауптману, но этого не произошло.

— Твой хозяин, видно, требовательный был человек?

— Он был человек правильный, серьезный и охотник отменный! Царство ему небесное.— И старик перекрестился, заведя под лоб хитрые глазки.

— Это хорошо,— одобрил Гюберт.— А как звали твоего хозяина?

— Карлом Карловичем Эденбергом... Первостатейный был хозяин.

— Эденбергом?! — воскликнул в удивлении Гюберт.

— Да,— подтвердил Фома Филимонович.

— Так ты у Эденберга служил?

— Без малого семнадцать годков. И не служил, а работал,— поправил дед.— Сам и в могилу положил

старика в шестнадцатом году. Золото, а не человек! Такого днем с огнем теперь не сыщешь: требовательный, и добрый, и горячий. Для всякого человека у него хорошее слово припасено. На семь годков старше меня был и рано ушел. Такому жить бы да жить...

Во мне зрело твердое убеждение, что Фома Филимонович врет самым отчаянным образом. Я был поражен его смелостью и находчивостью и, признаться, немного струхнул за деда. Струхнул потому, что у меня складывалось впечатление, что по странному совпадению Гюберт знал этого Эденберга. Я побаивался, что старик запутается. Действительно, в здешних местах до революции существовал такой помещик. Об этом мне Фома Филимонович как-то рассказывал. Это было связано с Наклейкиным, отец которого служил управляющим имения у этого помещика. Но Фома Филимонович не работал у помещика, работал его двоюродный брат, по фамилии тоже Кольчугин. И по рассказу Фомы, не таким уж милым человеком был этот Эденберг, каким расписывал он его сейчас...

А Фома Филимонович продолжал говорить, не моргнув глазом и нисколько не смущаясь. И, чем дальше он говорил, тем естественнее и правдоподобнее звучал его рассказ. Я сам готов был верить ему. Старик делал вид, что воскрешает в памяти сохранившиеся детали, и, пользуясь тем, что Гюберт слушает его со вниманием, продолжал плести.

— А какой охотник был покойный Карл Карлович! — проникновенно говорил он. — Куда там! А без меня в лес — ни шагу! Точно... Звал меня Хомкой. Ружья его всегда у меня в избе висели. Я за ними и присматривал. Никому более не доверял...

Он умолк и неожиданно обратился к Гюберту, попросив у него разрешения закурить.

Гюберт, к моему удивлению, разрешил. Фома Филимонович достал кисет, свернул сигарку и задымил.

— Так-так... — задумчиво промолвил Гюберт. — Значит, ты знал Эденберга... — И, повернувшись ко мне, продолжал: — Представляете себе?

Я кивнул.

— Самого старика Эденберга я, правда, почти не знал, — сказал он. — Видел лишь один раз, даже плохо

представляю, как он выглядел, а вот с сыном его мы вместе учились.

— Правильно! — подтвердил Фома Филимонович. — Был у него наследник, один-одинешенек. И его я знал. Как же! Тоже Карлом звали, как и батьку.

— Совершенно верно, — подтвердил Гюберт. — Карлом, как и отца.

Я диву давался. Искусство старика поражало меня. Откуда такая бойкость? Я не представлял себе, что с гауптманом Гюбертом можно было заговорить о чем-либо, не относящемся непосредственно к делу.

— Сынок-то его больше по разным странам ездил, — продолжал Фома Филимонович, — к нам сюда редко заглядывал. Непоседа был, за девками все волочился и такой хлюпенький с виду, не в батьку... А одевался с шиком, всем, бывало, господам нос утрет. И в музыке силен был. Выйдет в сад, в беседку, и в сопелку свою дует и дует... И как у него терпежу только хватало. А за год до смерти батьки пропал куда-то. Совсем пропал. Слух прошел, что громом его убило где-то в горах...

— Ерунда! — заметил Гюберт. — Он в крушение попал в Польше в 1915 году и погиб.

— Видишь... — покачал головой Фома Филимонович. — Хорошим людям не везет. А хозяин после его смерти совсем сдал. Любил его шибко...

— Да... В хороших руках ты был, старик! — одобительно произнес Гюберт. — Придется попробовать тебя.

— Попробуйте, — отозвался Кольчугин.

— Ружье тебе дам отличное, — сказал Гюберт. — Посмотрю, какой ты охотник.

— А чего смотреть, — заметил Фома Филимонович. — Я ведь зазря негож болтать, господин начальник. Непривычный к этому сызмальства. Каков есть, таков есть. Будут у нас и зайчишки, и тетерева, и глухарей сыщем. Они, правда, одно время откочевали отсюда, подались на Смоленщину, а ноне, как я примечаю, опять тут объявились. Недавно за дровами с солдатами ездил, своими глазами двух видел. Здоровенные, сытые, красавцы! Я все загодя проверю, обнюхаю, и поедем наверняка. Мне вот все недосуг было. То трубы почистить надо, то дровишек запасти, то с конями, а тут опять снегу под-

намело. Не в обиду будь сказано — ленивые солдаты вам попались!

Гюберт энергично потер ладонью о ладонь и встал.

— Попробуем. Обязательно попробуем...— сказал он и обратился ко мне: — Почему вы не подстригаете бородку?

Я провел рукой по голове и признался:

— Разленился...

Гюберт покачал головой и ничего не сказал.

— Можно идти мне, господин начальник? — спросил Кольчугин.

Гюберт вдруг принял свой обычный холодно-безразличный вид. Он надменно кивнул. Старик вышел, а вслед за ним и Гюберт. Минуту спустя ко мне забрел Похитун.

Уставший и голодный, он был мрачен. Хоть он и бахвалился, что является занятым охотником, я этому не верил. Вид его после охоты говорил об обратном.

— О чем вы тут? — спросил он, наверняка зная, что у меня был Гюберт, и притом необычно долго.

Я рассказал о беседе Гюберта с Кольчугиным.

— Ядовитый старикашка! — отозвался Похитун о Фоме Филимоновиче. — И языкатый... Вы обедали?

— Не успел.

— Пойдемте. У вас ничего нет?

— Пока нет, но к вечеру выдадут.

Похитун разочарованно сморщился, и мы отправились в столовую.

26. МОСКОВСКИЕ РОДСТВЕННИКИ

Следующий день начался с того, что меня вызвали к Гюберту. Он принял меня в своем кабинете и объявил, что завтра начнутся пробные прыжки с парашютом.

Я выразил полную готовность.

Затем Гюберт вынул из кармана ключи в кожаном чехольчике и подошел к сейфу. Дверца сейфа открылась с шипящим свистом.

Гюберт подал мне листок бумаги, на котором его рукой по-русски были написаны шесть фамилий и адреса передаваемых мне на связь агентов, а также

пароли. С этими людьми мне предстояло «работать» на нашей стороне.

— Запишите, если не сможете выужить и запомнить,— сказал Гюберт.— Они будут знать лишь вас одного. Друг с другом незнакомы.

Я придвинулся к столу и вооружился карандашом.

— Я сейчас вернусь,— сказал Гюберт и вышел.

Мне слышно было, как он пересек гостиную, как хлопнула дверь другой комнаты. Я остался в кабинете один. На столе лежали какие-то заметки, расшифрованные телеграммы на специальных бланках, гербовая круглая печать и рядом с ней открытый металлический футляр для ее хранения. С моего места была отлично видна внутренность сейфа, стопка папок, какие-то книги в цветных коленкорových переплетах, пистолет «парабеллум» без кобуры.

Стоило мне протянуть руку — и любой документ или печать оказались бы у меня. Я мог сделать несколько оттисков гербовой печати. Я мог ознакомиться с содержанием расшифрованных телеграмм. Я мог, наконец, поинтересоваться содержимым сейфа. Но я даже не шелухнулся. Я вспомнил сверток, доставленный Доктору. Значит, проверка не прекращалась. Конечно, все предметы разложены на столе с таким расчетом, чтобы можно было легко и сразу определить, к чему я прикасался. А возможно, что Гюберт наблюдает за мной откуда-нибудь.

Я сидел не двигаясь минут восемь — десять, стараясь запечатлеть в своей памяти все, что надо было, о шести предателях-агентах. Потом я сделал себе условные пометки на листке бумаги.

Вернулся Гюберт.

— Ну как? — поинтересовался он.

— Кое-что записал, а потом сожгу,— сказал я и вернул ему список.

Гюберт положил листок в сейф, закрыл дверцу, окинул коротким взглядом стол и сел.

В это время в соседней комнате слышались шаги и раздался осторожный стук в дверь.

— Да! — бросил Гюберт.

Вошел Похитун. Он на цыпочках пересек комнату по

диагонали, приблизился к столу и осторожно положил перед Гюбертом бланк телеграммы.

Я уже давно заметил, что, являясь перед «грозные очи» гауптмана, Похитун становится как бы меньше ростом. Так было и сейчас.

Гюберт пробежал телеграмму глазами и, взглянув на Похитуна, строго спросил:

— Ну, кто оказался прав?

— Вы, господин гауптман,— подобострастно ответил Похитун и спросил: — Можно идти?

— Нет. Вы мне нужны. Садитесь.

Похитун сел на самый дальний стул, в углу комнаты, у окна, и смиренно сложил руки на коленях. Он всегда старался держаться подальше от гауптмана.

Гюберт посмотрел на него, потянул носом воздух и сказал:

— Сколько раз предупреждать вас: когда являетесь ко мне, не начинайте себя чесноком!

Похитун встал.

— Что вы молчите? — спросил Гюберт.

— Виноват...— произнес Похитун и хотел было сказать еще что-то в свое оправдание.

Но Гюберт вдруг набросился на него и распушил на чем свет стоит. Бледный, с трясущимися ногами, Похитун сел.

Гюберт взял лист бумаги, карандаш, написал несколько строк и подал мне.

— Зашифруйте,— предложил он.— Посмотрим, как получится.

Я без труда в течение нескольких минут зашифровал предложенный текст и вернул его Гюберту.

— Расшифруйте,— сказал он Похитуну.

Тот взглянул на текст, поморщил лоб и, даже не прибегая к карандашу, слово в слово доложил Гюберту то, что было мною зашифровано.

— Можете идти! — бросил Гюберт Похитуну.— Телеграммы «шестого» докладывают вне всякой очереди.

— Слушаюсь,— пробормотал Похитун и исчез. Он не любил задерживаться в кабинете Гюберта.

Когда дверь закрылась, Гюберт взял телеграмму, принесенную Похитуном, и сказал:

— Ваш радист заработал.

Я нахмурился и сказал, что не понимаю, о ком идет речь.

Гюберт пояснил, что речь идет о том самом радисте, о котором говорил полковник Габиш и через которого я буду поддерживать связь.

Он не назвал фамилии радиста, но я понял, что речь идет о Куркове. Гюберт предупредил, что завтра повезет меня на аэродром.

Новость очень встревожила меня. Видимо, несмотря на мою радиограмму, Курков не обнаружен, не схвачен и продолжает работать на фашистскую разведку. Это мне не нравилось. Я начинал побаиваться этого Куркова.

Он всегда мог по требованию Гюберта навести справки обо мне, Саврасове, Брызгалове, и тогда дело будет плохо...

Перед самым обедом ко мне ввалился Похитун.

— Башка трещит! — заявил он.

Похитун был уже в некотором подпитии и явно намекал на новую порцию. Я ума не мог приложить, где и как он доставал спиртное.

Мне казалось, что единственным и постоянным поставщиком его являюсь я, но уже часто выпадали дни, когда я не имел водки, а Похитун все-таки напивался.

Открыл мне глаза Фома Филимонович. Оказывается, кроме меня, у Похитуна были еще ученики, жившие в городе: им, так же как и мне, выдавали водку, и Похитун, очевидно, не брезговал и их угощением.

— Хорошо было бы перед обедом, — мечтательно сказал Похитун.

Я достал из тумбочки бутылку и едва сдержал улыбку: третья часть ее была уже отпита.

Похитун отвернулся и сказал:

— Пошли ко мне!

Когда он принял новую порцию и закусил выпитое долькой чеснока, я решил его уколоть:

— Здорово вам попало сегодня за этот чеснок.

— А ну его! — махнул рукой Похитун. — Не знаю, какая муха укусила его сегодня! Видно, не с той ноги встал.

— Но вы все-таки признали себя виновным.

— А что бы вы хотели? Вы когда-нибудь пробовали ему противоречить?

— Нужды не было.

— Ваше счастье. Вы бы живо убедились, что такому человеку возражать нельзя. Ему всегда надо отвечать: виноват!

— Бросьте вы этот чеснок,— посоветовал я.— Дался он вам.

— Не могу. Не мо-гу...— ответил Похитун и выпил вторую порцию.— Отказаться от водки и чеснока — никогда! Я привык к ним с детства. Да, да. Вы не улыбайтесь. Это единственное мое утешение...

А вообще я обделен судьбой и природой. Я жалкий и несчастный человек. Моя голова могла бы принадлежать более счастливому человеку. А тут еще Сталинград! Господи! Вы слышали, что там творится? Настоящая окрошка, месиво, какое-то, мясорубка... Я слушаю, и у меня мозги трястись начинают. Где же правда, я вас спрашиваю? Я уже ни в кого и ни во что не верю. Пусть идут они к черту, все эти гудерианы, паулюсы, кейтели, листы, браухичи и прочие. Тоже мне вояки! Еще Москву обещали!

Меня не трогали эти душевные излияния, я знал, что они наиграны.

— Вы, я вижу, паникер. Не годится. Ничего страшного еще не случилось. И насчет Москвы вы не правы. В Москве мы еще побываем...

— Хо-хо-хо! — рассмеялся Похитун.— Скорее на Марс попадем или на Луну...

Я нахмурился и сердито заметил:

— Ничего смешного!

— Я побился бы с вами об заклад, да жаль, что ваша миссия окончилась,— сказал Похитун.

— Да, сейчас моему отъезду ничто не препятствует. Курков-то заработал!

— А? — И Похитун икнул.— А как вы узнали?

— Сказал гауптман.

— Верно! — подтвердил Похитун.— Совершенно верно. Заработал, сукин сын! А сколько переживаний он мне доставил, когда умолк! Пройдоха-парень. Я, каюсь, уже и надеяться перестал. У него, оказывается, перегорела лампа в передатчике, а запасные пропали. Но он выкрутился. Нашел взамен какую-то... Пройдоха,

пройдоха... С таким радистом вы не пропадете. А шифр знает не хуже меня.

Похитун был уже во власти винных паров, глаза его осоловели, язык заплетался.

Но жажде его не было предела. Он решил покончить с водкой и решительно выпил оставшуюся.

Потом встал, положил руку мне на плечо и доверительно сказал:

— А родственнички ваши живы и здоровы. Не волнуйтесь...

Я смотрел на него и молчал, чувствуя, что у меня холодеет внутри.

— Поняли? — спросил Похитун.

Я машинально кивнул головой.

Как понимать его слова? О каких родственниках идет речь?

— Теперь обедать, — заявил Похитун. — Я готов сожрать целого быка.

Он обнял меня и потащил в коридор. Я высвободился из его объятий. Я не страдал особой брезгливостью — мне приходилось спать с незнакомыми людьми в одной постели, есть из одной тарелки. Но вот «ласку» Похитуна я не мог вынести. И не потому только, что он был чудовищно неопрятен, но главным образом потому, что у него была грязная душа.

В коридоре нам попался Фома Филимонович. Он нес дрова в мою комнату. Мы отошли в сторонку и уступили ему дорогу.

Когда Фома Филимонович скрылся за дверью моей комнаты, Похитун сказал:

— Старая кляча!

— Он, видимо, наступил вам на хвост? — заметил я.

— Чтоб его черт проглотил и не выплюнул! Колочий тип!..

Мне не хотелось показаться во дворе в компании с пьяным Похитуном. И я отпустил его одного, сославшись на то, что надо зайти в свою комнату. Он пошел по коридору неуверенной походкой, странно ныряя и выписывая ногами кренделя.

— Эк его мотает! — проговорил Кольчугин в приоткрытую дверь. — Загубила его эта брыкаловка окончательно. Через нее предателем стал...

Покачив головой, старик замолчал и пошел к выходу.

Я остался один в своей комнате. Сообщение Похитуна дало повод для новой тревоги, для новых мучительных раздумий.

«А родственники ваши живы и здоровы. Не волнуйтесь» — так сказал Похитун. И мне показалось, что в его тоне проскользнула какая-то злорадная нотка.

Гюберту, Габишу, Похитуну и, кажется, даже Доктору я сказал и написал, что мои жена и дочь живут в Москве, и, уж конечно, под фамилией Хомяковы. Это моя ошибка. Серьезная ошибка, вытекающая из недооценки врага. Курков не мог сообщить о том, что живы и здоровы заведомо несуществующие люди.

Что можно обо всем этом думать?

Или это новая, очередная провокация со стороны Гюберта? Невозможность разгадать смысл сообщения Похитуна буквально бесила меня. Неужели я разоблачен? Значит, дни мои сочтены, и если меня пока еще не трогают, то, вероятно, потому, что продолжают проверять через того же Куркова.

Но тогда зачем Гюберт сообщил мне фамилии шести своих агентов, укрывающихся на нашей стороне? Или это тоже трюк? Да, трюк, рассчитанный на то, чтобы не спугнуть меня, не вызвать во мне подозрений. Ведь Гюберт мог дать мне заведомо вымышленные фамилии и адреса.

Но почему не сам Гюберт сказал мне о родственниках, а Похитун? За каким дьяволом Гюберт поручил это Похитуну? Возможно, что Похитун проявил собственную инициативу, что бывало с ним не раз. Да, да, может быть, и так. Но если и так, все равно ничего от этого не меняется.

Я с трудом заставил себя проглотить обед. Заснул очень поздно. Тупая боль в затылке мешала сну.

27. ТРЕНИРОВКИ

Все эти дни я предавался горьким мыслям. Чем бы я ни занимался, о чем бы ни думал, я вновь и вновь возвращался к одному и тому же: я разоблачен. Правда, пока все шло гладко, отношение ко мне не изменилось.

но я с минуты на минуту ожидал трагического финала. При каждом вызове к Гюберту кровь прилиwała к голове и сердце начинало стучать. Каждый раз я ждал, что он посадит меня против себя и со свойственным ему холодным спокойствием предложит объяснить биографические несоответствия.

Как ни странно, я почти не думал о собственной судьбе, меня волновало и бесило, что проваливается дело, что по моей вине сорвана важная операция, сорвана глупо, по легкомыслию. Угнетало чувство стыда перед товарищами.

Я часто встречался с Гюбертом. Три раза он возил меня в своей машине на аэродром. На его глазах я совершал «пробные» прыжки и «осваивал» парашютный спорт. Убедить Гюберта в том, что я никогда до этого не имел дела с парашютом, не составило никакого труда. Я относился к учебе так, как относился бы к ней человек, еще не совершивший ни одного прыжка. Притворяться не приходилось. Имея за плечами добрую дюжину прыжков, выпавших на мою долю и так не похожих друг на друга, я считал и считаю по сей день, что каждый новый прыжок — это шаг во что-то новое и что привыкнуть к прыжкам, как, допустим, можно привыкнуть к метанию гранаты, или вождению машины, или верховой езде, очень трудно, почти невозможно. Парашют — это особый вид спорта, и каждый новый прыжок, по-моему, правильно считать первым прыжком.

Я прыгнул четыре раза: два днем и два ночью. Первый раз прыгнул «пустым», то есть без груза, второй — с радиостанцией и солидной пачкой бумаги, заменявшей деньги.

После четвертого прыжка Гюберт сказал:

— Теперь я за вас спокоен. В наши годы не все идет на прыжки так уверенно.

Но я-то не был спокоен. У меня из головы не выходил Курков. Мне казалось, что Гюберт играет со мной, как кошка с мышью. По вечерам одолевала тоска. Я не знал, что думать, старался уйти от тревожных мыслей и держать себя в руках, но это было нелегко.

Однажды в полдень Гюберт вызвал меня к себе. И опять я шел к нему в страшном напряжении, бегло

перебирая в голове десятки подготовленных вариантов. Но когда начался разговор, я едва сдержал вздох облегчения.

— Прыгать вам придется,— объявил он,— на отрезке Орел — Тула, недалеко от станции Горбачево. Вот здесь.— И он показал место на разложенной перед ним карте.— Смело выходите на станцию. Там вас встретит Курков.

«Опять Курков»,— мелькнула тревожная мысль.

Гюберт объяснил, что подлетать ближе к Москве, по его мнению, было бы рискованно. Чем ближе к столице, тем сильнее зенитный огонь и больше шансов оказаться подбитым.

— А как Доктор? — поинтересовался я.— Он придет?

— Доктора ждать не будем,— ответил Гюберт.— Лечение его затягивается.

— Когда я полечу?

Гюберт ответил неопределенно:

— На этих днях.— И тут же добавил: — Завтра Кольчугин везет меня на охоту.

На этом мы расстались.

Настроение мое, хоть внешне все шло гладко, не улучшилось.

Я прошел к себе и стал раздумывать над текстом телеграммы на Большую землю. Я знал, что Фома Филимонович найдет повод заглянуть ко мне.

Телеграмма Решетову и Фирсанову должна быть предельно короткой и ясной. Надо предложить им оставить Криворученко и радиста здесь, в тылу, и доукомплектовать группу двумя товарищами из местных подпольщиков. Об этом был уже разговор и с Криворученко и с Кольчугиным. Я считал, что не следует выпускать из поля зрения осиное гнездо. Группа должна держать связь с Фомой Филимоновичем, а он, по мере сил и возможности, будет обеспечивать ее необходимой информацией.

Я составил телеграмму, закодировал ее и, свернув трубочкой листок бумаги, спрятал в стенную щель.

После обеда ко мне зашел сияющий Фома Филимонович. В руках у него была длинноствольная, центрального боя, двустволка.

— Ну-ка, смотрите, господин хороший,— обратился он ко мне, подавая ружье.— Маракуете в этих делах? В этой комнате старик неизменно обращался ко мне на «вы».

Я взял ружье. Это был курковый, вполне исправный «франкот» двенадцатого калибра. Я попробовал затвор, курки, прикинул ружье несколько раз к плечу и сказал:

— Стоящая штука...

Старик рассказал, что по распоряжению Гюберта комендант Шнабель дал ему на выбор пять ружей: «чеко», «зауэр», «питтер», «браунинг» и «франкот». Фома Филимонович остановился на последнем. Он уже успел пристрелять ружье с различных дистанций по разным мишеням и остался доволен.

— Кучно кладет,— хвастался дед, любовно поглаживая ружье.— Видать, убойное... С таким подранков не будет.

Я вынул телеграмму и отдал ему. Он зажал ее в кулак и подмигнул мне. В коридоре он тихо сказал:

— Опять ты что-то сумной. Вызнал что-нибудь новое?

Я отрицательно покачал головой.

— Все будет хорошо. Поверь мне. У меня сердце — вешун.

Я заглянул в глаза Фомы Филимоновича: его мучила та же тревога, которую я не мог скрыть от него. И он же успокаивал меня...

С рассветом состоялся торжественный выезд Гюберта на охоту. Как всегда в таких случаях, все обитатели станции были на ногах. Шли сборы. Фома Филимонович бегал по двору и хлопотал. Ему предстояло держать экзамен, значение и последствия которого в то время не могли предвидеть ни я, ни тем более он.

Я волновался за Фому Филимоновича, пожалуй, не меньше, чем он сам.

Охотничий задор молодил старика, он бегал вприпрыжку от склада к кухне, от кухни в свой закуток, от туда — в дежурную комнату.

Около восьми утра все высыпали во двор. К крыльцу дома Гюберта Кольчугин подвел под уздцы лошадь,

впряженную в широкие просторные сани с плетеной кошевкой.

— Дичь-то будет? — окликнул я старика.

— Цыплят по осени считают, господин хороший, — отозвался он.

За спиной у Фомы Филимоновича висело ружье. Опытной, привычной рукой он подтянул супонь на хомуте, поправил чересседельник.

Из дома вышел Гюберт в охотничьем костюме. Коменданг подал ему лыжи. Он тотчас встал на них и принялся пробовать крепления, пританцовывая на месте.

На лыжи встали и солдаты, сопровождавшие гауптмана, с автоматами, обвешанные гранатами.

В сани укладывали мешки, охотничьи сумки, ружья в твердых футлярах, продукты, термосы с горячей пищей и кофе, кружки.

Лошадь ярко-рыжей масти, с белой проточиной на лбу и большой седловиной на спине не внушала мне особого доверия. Я критически оглядывал ее. Костлявый зад, тощие, с выпирающими ребрами бока и понурый вид как бы говорили о том, что это жалкое существо только случайно забыто смертью.

Фома Филимонович как бы угадал мои мысли и бодро заявил, похлопав лошадь по крупу:

— Стоящая коняга! Такая не подведет!

— Дурень старик, из ума выжил! — промолвил Похитун и, подойдя к Фоме Филимоновичу, сказал ему что-то на ухо.

— Хорошо считать зубы в чужом рту, господин хороший! — огрызнулся дед. — А ты посчитай в своем!

Похитун прокашлялся и ничего не ответил. Ему подали огромный овчинный тулуп, позаимствованный в караульном помещении, и он натянул его поверх шинели.

— Трогаты! — скомандовал Гюберт.

Часовой распахнул ворота. Похитун неуклюже плюхнулся в сани, и под его тяжестью в мешке что-то хрустнуло.

— Пьяный, что ли? — спросил Гюберт.

Похитун промолчал и поднял воротник.

— Он и трезвый-то недотепа, прости господи! — в сердцах бросил Фома Филимонович, уселся на передок, взялся за вожжи, круто повернул коня и тронул.

За саними на лыжах пошли Гюберт и автоматчики. Весь гарнизон повалил со двора, провожая охотничью процессию.

— Ни пуха ни пера! — крикнул я вдогонку.

Мне никто не ответил. Узкая, малонаезженная дорога врезалась в завьюженный лес, и сани уже скрывались за деревьями.

28. ПОХИТУН НЕДОВОЛЕН СОПЕРНИКОМ

Ровно через сутки охотники неожиданно вернулись. Обычно Гюберт задерживался на двое-трое суток. Я с опаской подумал, что Фома Филимонович не выдержал экзамена и сорвал охоту. Я тотчас же вышел во двор. И первый, кто мне попался на глаза, был Гюберт. Уставший, с опавшими, но зарумянившимися щеками, он стоял на крылечке своего дома и тоненькой хвостинкой тщательно выбивал снег из своих меховых сапог. Двор был пуст, сани стояли уже под навесом.

Я подошел к Гюберту и приветствовал его.

Он довольным тоном сказал:

— Ну и каналья дед!..

— Подвел? — спросил я, чувствуя хорошее настроение гауптмана.

— Нисколько! Я получил колоссальное удовольствие. Не напрасно покойный Эденберг кормил его своим хлебом.

Мои опасения рассеялись. Но я шутливо заметил:

— Результаты охоты определяются не охотничьими рассказами, а наличными трофеями.

— Только так! — подтвердил Гюберт. — И результаты прекрасные. На два ружья приходится четырнадцать тетеревов, три глухаря, пять рябчиков и два зайца. Как?

— Замечательно! — воскликнул я.

— И стрелок он отличный! — продолжал Гюберт. — Перестрелял меня. Бьет с любого положения... Но не



За санями на лыжах пошли Гюберт и автоматчики.

в этом главное. Я впервые узнал, что тетеревов можно стрелять, не слезая с саней. Они подпускают к себе на десять — пятнадцать шагов. Как в сказках барона Мюнхгаузена! Сидят на березах, будто чучела, и только шеями крутят.

— Видно, на место хорошее попали? — допытывался я.

— Редкое место! И недалеко. Молодец дед!

Гюберт был необычно словоохотлив, и мне опять припомнились слова Доктора о том, что ради охоты гауптман способен на все. Гюберт долго рассказывал, как они подкараулили глухарей, как напали на след зайцев, как рябчики водили за нос Похитуну.

Когда Гюберт ушел к себе, я попытался разыскать Фому Филимоновича, но его точно ветром сдуло. Я заглянул на кухню, где уже ощипывали и потрошили дичь, в баню, в закуток старика, в дежурную комнату — его нигде не было.

На вечер у меня была намечена встреча с Криворученко. Третья, и последняя встреча. Я должен был сегодня переговорить окончательно и со стариком и с Семеном.

В поисках Кольчугина я заглянул к Похитуну и застал его за переодеванием. Он неуклюже и смешно прыгал на одной ноге, запутавшись другой в штанине.

— С успехом можно поздравить? — сказал я вместо приветствия.

Похитун повернулся ко мне, наступил на штанину и упал на пол. Штанина треснула. Похитун с остервенением плюнул и разразился площадной бранью. Я молча наблюдал за ним, сдерживая смех. Он сидел на полу, разглядывал брюки, отыскивая разорванное место. Потом выругался еще раз и наконец натянул их на себя.

— Что вы сказали? — спросил он, уставившись на меня тусклыми глазками.

Он явно не хотел вымещать на мне свое раздражение. Он отлично знал, что вчера, после их отъезда на охоту, мне должны были выдать водку.

— Пришел поздравить вас с успехом.

— А ну их!.. — бросил Похитун, засовывая ногу в сапог.

— Кого их?

— Успехи, успехи эти самые! Я промок до костей. Это не охота, а сумасбродство. Так можно за милую душу схватить воспаление легких.

— Зато удача!

— Ничего удивительного. Кольчугин — человек местный и лес знает.

— И охотник отличный, — вставил я.

— А человек препротивный! — сказал Похитун.

— Гауптман придерживается иного мнения. Я с ним только что беседовал.

— «Гауптман, гауптман»! — с нескрываемой досадой передразнил меня Похитун. — Что — гауптман? Ему нужна дичь, а там хоть камни вались с неба... А я измучился как собака и ни разу не выстрелил.

— При чем же здесь Кольчугин? — удивился я.

— При том... — неохотно буркнул Похитун. Он уже надел сапоги и теперь влезал в мундир.

— То есть?

— При том, что он грубиян и подлиза, этот ваш Кольчугин.

— Почему мой? — рассмеялся я.

— Потому что вы его подсунули гауптману. Сам гауптман говорит.

— Так и говорит, что подсунул?

— Ну не так, а вроде того... Покурить есть?

Я угостил его сигаретой и сел за стол. Сегодня я был особенно заинтересован в беседе.

Мне хотелось вызвать Похитуна на откровенность и выудить у него подробности о Куркове и о моей таинственной «семье».

— Вы напрасно обижаетесь на старика, — сказал я. — Не так уж он плох, как вы думаете.

Похитун молчал, рассматривая свои черные ногти.

— Он был о вас очень хорошего мнения, — фантазировал я, — до той поры, пока вы не начали задирать его, не стали подсмеиваться над ним. К людям надо относиться терпимее. У каждого из нас есть свои недостатки, есть они и у Кольчугина. Он ведь тоже выпить не дурак, но побаивается — у него другое положение...

Похитун хмыкнул и спросил:

— Он, значит, тоже?

— А вы думали? И добрый по натуре, хлебосол.

Похитун недоверчиво покрутил головой и промолвил:

— Этого я не знал.

Мне не хотелось продолжать этот разговор, чтобы не навлечь подозрений, и я сказал:

— Скоро окончится наша дружба...

— Да, жалы! — заметил Похитун. — И водочка окончится.

В коридоре слышались шаги. Мы умолкли.

В комнату вошел Раух и сказал Похитуну по-немецки:

— Гауптман приказал вам подготовиться к поездке в авиадесантный полк. После обеда за вами придет машина. Подготовьте интересующие командование полка сведения и захватите карту.

— А где карта? — поморщившись, спросил Похитун.

— У гауптмана, — ответил Раух.

Похитун кивнул. Раух вышел.

— Вот, видали? — обратился ко мне с усмешкой Похитун.

— Что такое?

— Ехать надо.

— Куда?

— К чертям на кулички, к десанникам. Это добрых полтораста километров.

— А когда?

— После обеда... — Он выдержал паузу. — Черт знает что! Это не мое дело. Я шифровальщик. Я должен сидеть на месте. Всегда ездил помощник гауптмана, покойный Бунк, а теперь меня впрягли.

— Печально, — заметил я. — Чего доброго, мы больше не увидимся. Знаете что?

— А?

— Давайте разопьем бутылочку. Комендант предупредил меня, что это последняя. Уж он-то, видимо, знает, что говорит.

— Давайте, давайте! Все возможно.

Я принес из своей комнаты бутылку водки. Похитун выложил на стол головку чеснока, твердые как камень галеты и пожелтевший кусочек сала.

Мы выпили за нашу «дружбу». Я пригубил, а Похитун хватил половину граненого стакана. Он закусил чесноком и салом, а я — галетой, напоминающей по вкусу фанеру. Потом пил один Похитун. Пил за скорое расставание, за одаренного ученика, каковым считал меня, за благополучный исход моей переброски, за мои будущие заработки.

Убедившись в том, что Похитун уже «под градусом», я пустил пробный шар:

— Гауптман объявил, что на той стороне меня будет встречать Курков.

— Правильно,— подтвердил Похитун.— Я знал об этом раньше гауптмана.

— Я, между прочим, думал, что Курков в Москве...

— Чего ему там делать,— сказал Похитун.— В Москве он показался один раз всего, и то ради того, чтобы узнать о самочувствии ваших родных.

По спине у меня поползли мурашки. Я потерял всякое желание продолжать разговор и даже ощутил сухость во рту. Значит, меня разыгрывают и дурачат. Никаких родственников в Москве у меня нет, и отыскивать их там Курков не мог. Значит, меня провоцируют. И будут провоцировать до конца.

Я выждал, пока Похитун прикончил всю бутылку, и посоветовал ему отдохнуть.

Но Похитун напился не до такой степени, чтобы забыть о своих обязанностях.

— Отдыхать некогда,— сказал он и посмотрел на часы.— Надо подготовить кое-что, взять карту у гауптмана и обедать.

Я посмотрел на часы, попрощался и отправился к себе.

Я ничего не понимал. Почему Гюберт медлит? На это могли быть два ответа. Либо Курков вообще не был в Москве, и Гюберт хотел только показать мне, что моя версия проверяется по его приказанию. Либо Курков побывал в Москве, и тогда... Но тогда он должен был сообщить Гюберту, что никаких Хомяковых по указанному адресу нет и никогда не было. Тогда — катастрофа, провал. Но зачем эта странная игра в кошки-мышки? Ведь я в любой день могу уйти в город и не вернуться.

Нет, тут что-то не то. Правда, возможен еще и третий вариант: Курков побоялся пробраться в Москву и послал Гюберту ложное сообщение. Такое тоже бывало.

Во всяком случае, надо срочно послать Фирсанову телеграмму с просьбой немедленно создать в Москве фиктивную семью Хомяковых. Дурацкий просчет! Зачем нужно было давать Гюберту ложный адрес? Ведь я с успехом мог заявить, что моя семья в эвакуации. В сотый раз я мысленно казнил себя за легкомыслие. Конечно, я старался не выдать себя, ел спокойно, болтал с соседями по столу, но меня одолевало беспокойство и нетерпение. Я спешил повидаться с Криворученко.

29. ГРУППА «К»

Выходя из ворот Опытной станции, я увидел грузовик. В кабине сидел Похитун.

— Куда, Хомяков? — окликнул он.

— В город.

— Деньги есть?

— Есть.— Я похлопал себя по карману, где лежала пачка накопленных для Фомы Филимоновича марок.

— Садитесь со мной,— предложил Похитун.— И на секунду заглянем в казино. Только на секунду.

Я втиснулся третьим в кабину, и через десять минут машина остановилась возле казино. Шофер попросил Похитуну не задерживаться: дорога предстояла долгая, и ему хотелось добраться до полка засветло.

К моей радости, Похитун отказался сесть за стол и лишь попросил меня купить ему бутылку водки на дорогу. Я купил две и вдобавок кое-что из закуски. Он рассыпался в благодарности. Мы распрощались, не ведая о том, что увидимся не скоро.

Похитун с машиной подвернулся очень кстати: я выиграл время и избавился от возможной слежки.

Быстро добравшись до «хором» Фомы Филимоновича, я увидел возле покосившегося забора, облепленного пышными пластами снега, Таню. Она расчищала дорожку деревянной лопатой. На всякий случай я огля-

нулся, хотя в этом и не было нужды: Таня уже подала условный знак, что все в порядке. Мгновенно я протиснулся сквозь щель и побежал по тропинке ко входу в подвал. Надо было немедленно увидеть Криворученко, сунуть ему шифровку с просьбой «создать» мою семью в Москве и сейчас же откомандировать его обратно в лес. Может быть, не поздно, может быть, радиogramма спасет меня.

Я скатился по ступенькам в подвал, шагнул в открытую дверь и попал в мощные объятия Криворученко.

Как и в первый раз, горела лампа, но стол был уже накрыт, и за ним восседал причесанный, в чистой рубахе Фома Филимонович. Пахло чем-то вкусным.

Я высвободился из богатырских лапищ Криворученко и спросил:

— Сколько времени тебе надо, чтобы вернуться в лес?

— А что случилось? — в свою очередь спросил он, бледнея.

— Надо немедленно передать радиogramму. Когда очередной сеанс?

— В двадцать три тридцать, — ответил он. — Но мы можем вызвать наших и раньше. А что такое?

— Напишу — прочтешь, — коротко ответил я и сел за стол, чтобы составить шифровку.

Таня и Фома Филимонович растерянно смотрели на меня, предчувствуя что-то необычное.

— А вы раньше посмотрите, что вам сообщают, — спохватился Семен и полез в карман.

— Давай! — бросил я.

Криворученко подал свернутую бумажку размером со спичечную наклейку, густо исписанную бисерным, но очень разборчивым почерком радиста. Я прочел:

1. Оставление группы «К» и ее доукомплектование санкционируем.

2. Известный вам Константин полностью реабилитирован, представлен правительственной наградой, находится отпуску на родине.

3. Вас проверяют, но вы не беспокойтесь. Радист Курков явился повинной, во всем признался. Его имени дана радиogramма благополучии вашей семьи.

Я не мог вымолвить ни слова. Черт возьми, как я не

догадался? Ведь это так просто! Вот и разгадка «семьи».

Не знаю, каким было мое лицо, но, очевидно, необычным, так как друзья не на шутку перепугались. Столбняк, сковавший меня, длился недолго — всего несколько секунд. Я быстро пришел в себя, вскочил, расцеловал Семена, за компанию Таню и Фому Филимоновича и крикнул:

— К черту телеграмму! Никакой телеграммы!

— Я же говорил тебе, душа моя,— важно напомнил Фома Филимонович,— что все обойдется. Вот и обошлось. Нет, сердце у меня — вешун. Ну-ка, внучка, спроворь закуску.

Таня вытащила из-за топчана большой противень с двумя зажаренными тетеревами.

— Вот они где, голубчики! — воскликнул я. — То-то я принохиваюсь, принохиваюсь... Как же они залетели сюда?

— Дедушка приманил,— сказала Таня.

Милым движением она перекинула русую тугую косу за плечо, подошла к Фоме Филимоновичу и, смущенно улыбнувшись, прижала его голову к себе.

Старик обнял внучку, гладил ее руки. Видно, крепко любил он ее, любил с особой, трогательной нежностью.

Фома Филимонович отпустил внучку и рассмеялся. Смех у него был рассыпчатый, добрый.

— Приманил не приманил, а маленько сплутывал,— сказал он. — Гауптман чуть-чуть просчитался. Уложили-то не четырнадцать, а шестнадцать штук. Вот я двух и приволок домой. Грех небольшой...

— Правильно,— одобрил я. — А куда ты так рано исчез?

— А меня гауптман отпустил. Сказал: «Иди отдыхай, дед! Ты это заслужил». И руку мне подал. Подал и добавил: «Ты оправдал себя и теперь будешь у меня егерем».

— Вот это здорово! — обрадовался я.

— И очень важно для нашего дела,— вставил Семен. — Я уже говорил об этом Фоме Филимоновичу.

— А вы знаете, Кондратий Филиппович, как у нас тут хозяйничал Сеня? — спросила Таня.

Я взглянул на Семена.

— Ладно уж! — махнул рукой Криворученко.

— Почему же ладно? — запротестовала Таня и сказала, что Семен обеспечил их дровами, как-то притащил двух зайцев, а самое главное — принес соль. А на соль можно выменять что угодно. И Таня уже достала керосину, сахару и даже сапоги.

Криворученко, краснея, пробасил, что, мол, его дело маленькое, что, дескать, лесник Трофим Степанович, через которого Семен поддерживает связь с партизанами, прислал подарок Фоме Филимоновичу.

Таня расставила на столе стеклянные банки с чем-то густым и темным. Начали рассаживаться. Дед и внучка принадлежали к числу тех редких людей, которые весело переносят нужду и умеют будни превращать в праздник.

Мужчины выпили по маленькой, и все приступили к еде.

— Самодельный коньячок... пять звездочек, — пошутил Криворученко. — Это тоже лесник презентовал. Мы хотели распить за помин души Наклейкина, да Танюша не согласилась.

— Решили, лучше за твои провода, — добавил старик.

— А чем ты насолил Похитуну? — спросил я его. — Зол он на тебя как черт.

— А и пусть. Продажная шкура этот Похитун. Холоуй заправский. Для того он и сотворен. На другое не способен.

— Ты от него не отмахивайся!

— Что как?

— А вот так... Он нам еще понадобится. Он враг, но мы должны использовать его слабости. Портить с ним отношения не следует.

Умный старик не стал спорить.

— Значит, люб не люб, а дружбу завязывай!

— Выходит, так.

— Задача мудреная, — покачал головой Фома Филимонович. — Душу с него воротит. Да и зашибает он здорово.

— Это как раз и хорошо. Ты должен его задобрить. Ты приучи его есть из твоих рук. Худо ли, хорошо ли, но он считает тебя за своего, а это — главное.

— Что да, то да,— согласился Фома Филимонович.— «Ворон ворону глаз не выклюет»...

Тетеревов мы заели клюквенным киселем. Кисель был кислый и очень густой, но после наскучившего немецкого пайка я съел его за милую душу, хотя от кислоты сводило скулы.

Потом занялись делом. Я инструктировал Криворученку, а он делал одному ему понятные заметки в записной книжке. Криворученко должен был принять в свою группу еще двух товарищей и, поддерживая связь с Фомой Филимоновичем, держать под наблюдением осиное гнездо.

Если Гюберт перебазировывает свою резиденцию, надо было следовать за ним, сохраняя по-прежнему необходимую дистанцию.

Обо всех изменениях в личном составе Опытной станции, о выявленных агентах надо регулярно информировать штаб.

И Фоме Филимоновичу я поставил задачи: закрепиться на станции, по возможности наладить «дружбу» с Похитуном, добиться расположения Гюберта с таким расчетом, чтобы, меняя место дислокации, Гюберт не отпустил от себя старика как нужного ему человека.

Листок записной книжки Семена был уже тесно заполнен непонятными словами.

— Ну как, друзья? — спросил я в заключение.

— Сделаем, Кондрат! — заверил Фома Филимонович.

— Сделаем все возможное и невозможное,— добавил Семен.

Таня сидела в сторонке, теребя косу, и слушала нас, полукоткрыв губы.

— И поскорей давай людей Семену, Фома Филимонович,— напомнил я.

— За этим дело не станет,— проговорил старик.

— Только одного,— сказал Семен.— Второго пришлет командир отряда. Есть у него парень надежный, хорошо знающий округу, по фамилии Логачев.

— Толковый парень,— заметил Фома Филимонович.

— Все мы его знаем,— вмешалась в разговор Таня.— Логачев до войны был первым физкультурником в городе, бегун, прыгун, работал в техническом конт-

роле на заводе. Жена его, медсестра, эвакуировалась с больницей, а он остался для работы в тылу. Комсомолец...

— Да что говорить, лучшего не сыскать,— подтвердил Фома Филимонович.— Орел-парень! Что тебе рост, что силенка... И мозговитый. Ну, а второго дам тебе я. Обижаться не будешь.

— Кого, дедка?

— А Мишутку Березкина. Наш, городской. В подполье с первых дней. Его немцы не трогают. Одна нога короче другой, малость прихрамывает... А парень — сорвиголова! На любое дело пойдет и глазом не моргнет. Только прикажи. Если бы не ты, Кондрат, он бы Наклейкина обработал. Вот такой...

— Ладно. Ты сведи его с Семеном, и они поговорят. Ну, мне пора,— сказал я и встал.— Кажется, обсудили все...

Я стал прощаться.

— Будь удачлив, Кондрат! — напутствовал меня старик.

— Берегите друг друга,— предупредил я.

— Все будет хорошо,— заверил Криворученко.

Таня вышла на разведку, а через минуту двинулся и я, чтобы уже никогда более не возвратиться ни в «хоромы» Кольчугина, ни в этот засыпанный снегом двор, ни в этот город. Во всяком случае — до конца войны...

На дворе уже стемнело. В лицо дул колющий, обжигающий ветер. Небо было задернуто тучами.

Я поднял воротник, застегнул наглухо пальто, сунул руки поглубже в рукава и зашагал к себе.

30. ПРЫЖОК

На третий день после моего прощания с друзьями, перед обедом, Гюберт вызвал меня к себе и объявил:

— Подготовьтесь. Вечером поедете на аэродром.

Я ответил, что у меня все готово. Под словом «все» имелись в виду радиостанция, предназначенная для Брызгалова, выданная мне довольно крупная сумма денег в советских знаках, документы.

Только сейчас я сообразил, почему Гюберт тянул с моей выброской: он ждал непогоды. Сегодня непогода пришла. Еще с ночи посыпал мелкий снег, ветер усилился, и под его порывами тонко и жалобно заскрипели сосны в лесу.

Эти дни Фома Филимонович, по договоренности со мной, задерживался на Опытной станции допоздна. А в его «хоромах» дежурил Криворученко, чтобы вовремя радировать нашему штабу о времени моей выброски.

Фома Филимонович проявлял отменное усердие, повсюду отыскивая для себя работу, чем вызвал похвалу коменданта. А работы старик не боялся: он знал шорное и плотничье ремесло, мог класть печи, чинил обувь, понимал в слесарном и кузнечном деле.

После вызова к Гюберту я улучил момент и заглянул в закуток старика. Фома Филимонович сидел на низенькой скамеечке с доской на коленях и резал самосад.

— Сегодня ночью, — сказал я.

Старик отложил работу, встал, разогнул спину:

— Сейчас отпрошусь в город.

— Удобно? — спросил я.

— Нужны нитки для дратвы. Комендант сам наказывал, а у моего знакомого они есть.

Я кивнул. Фома Филимонович знал, что делал, и предупреждать об осторожности его, подпольщика, было излишне.

Я хотел уже выйти, но старик подошел ко мне вплотную, неловко обнял, ткнулся бородой в мою щеку.

— Будь удачлив! — сказал он. — Не забывай нас, грешных, а уж мы тебя не забудем...

Через полчаса он покинул Опытную станцию.

Я еще раз проверил свой вещевой мешок, где лежали деньги и рация, и положил его на кровать. Моя миссия закончилась. Я выполнил, кажется, все, что от меня требовалось. За Криворученко я не волновался, старик тоже обосновался надежно, и для тревоги за них оснований пока не было. Все теперь зависело от правильности поведения.

Перед обедом ко мне зашел инструктор Раух и предложил зашифровать срочную радиограмму. Он пояснил, что Похитун застрял где-то в дороге из-за неисправности машины и позвонил, что будет добираться на попутных.

Радиограмма предназначалась «моему» радисту, Куркову, извещала его о моей выброске. Я в душе усмехнулся: мне даже не требовалось уведомлять Большую землю — это сделал сам Гюберт.

Я зашифровал текст. Раух, как всегда сухо и вежливо, поблагодарил меня и вышел. Вот с кем я не мог установить никакого контакта, хотя Раух и занимался со мной в два раза больше, чем Похитун.

Внешне Раух держался непроницаемо. В его вежливости и корректности трудно было уловить какую-нибудь фальшь. На поверхностный взгляд он даже мог быть симпатичен. Похитун говорил о Раухе весьма почитательно и кое-что выболтал. Так я узнал, что летом, незадолго до моего появления на Опытной станции, Раух расправился с девушкой, из которой он готовил радистку. Она жила на станции, а перед концом учебы самовольно ушла в город, для того якобы, чтобы побывать в кино. Но в кино ее не видели. Возникли подозрения, и назавтра Раух с отменной вежливостью предложил ей после занятий прогуляться по лесу и там застрелил. Вообще он охотно выполнял такие поручения, «отбивая хлеб» у коменданта.

Глядя на Рауха, опрятного, предупредительного, с чистым и спокойным взглядом голубых глаз, никак нельзя было подумать, что этот джентльмен — палач по призванию.

После обеда на Опытной станции появился полковник Габиш. Меня тотчас же вызвали к нему, в кабинет Гюберта. Он стоял перед зеркальным шкафом и сосредоточенно исследовал свой нос. На меня он не обратил никакого внимания, хотя и разрешил мне войти. Я кашлянул.

Габиш продолжал созерцать свой нос, массируя его пальцем, то приближая свое обрюзгшее лицо вплотную к зеркалу, то отодвигаясь. Вошел Гюберт.

— Садитесь, Хомяков. Что вы стоите? — спросил он.

Тогда повернулся и невозмутимый Габиш, поздоровался со мной, грузно опустился на диван.

— Ви готов, господин Хомякоф? — спросил он.

— Да, вполне.

— Вопросы есть?

— Нет, мне все ясно.

Габиш помолчал. С брезгливой миной, выпятив губы, он усердно счищал ногтем мизинца со своих брюк какое-то пятнышко. Покончив с ним и погладив колени, он продолжал:

— Ви свой люди помнит?

Я кивнул утвердительно.

— Пожалуйста, рассказывайт о них,— предложил Габиш.

Я перечислил шестерых агентов по имени, отчеству и фамилии, назвал адреса и пароли, сказал, где и кем каждый из них работает.

— Оччень карашо,— одобрил Габиш.— Что есть тут,— он постучал себя пальцем по лбу,— никто не может знать. Это есть фундаментально, а всякий записка бывайт плохой конец.

Гюберт подошел к начальнику и подал ему листок бумаги. Габиш отдалил его от себя на вытянутую руку, как это делают дальнотзорные люди, прочел и, задержав на мне дольше обычного свои бесцветные глаза, проговорил:

— Ми теперь знайт и говорит вам, что ваш жена и дочь жив и здоров. Ви уехал, долго гуляйт, и они немножко волнуются. Ви должны быть рад это слышать?

Я ответил, что меня, конечно, радует это сообщение, как и всякого, имеющего семью, и что я рад буду поддержать их существование в эти тяжелые времена выданными мне деньгами.

— Отблагодарите Куркова,— заметил Гюберт.— Это он проявил заботу.

Я заверил, что непременно сделаю это.

— Курков вас будет встретить,— сказал Габиш.

— Хомяков сам его уведомил телеграммой,— пояснил Гюберт.

Габиш наклонил голову, подумал и обратился к Гюберту по немецки:

— А как они узнают друг друга?

Гюберт ответил, что скажет мне об этом на аэродроме и сообщит пароль.

— Это можно сделать и сейчас,— разрешил Габиш. Гюберт сказал:

— Курков ниже вас на голову. Молод, ему всего двадцать лет. Блондин, узкое, длинное лицо. Почти безбровый. Ходит немного вразвалку. На нем будет черная шапка и шинель моряка. Левая рука в лубке и на повязке. Он сам должен найти вас. Он назовет пароль: «Куда держите путь, гражданин?» Вы ответите: «Пробираюсь до хаты, домой». Ясно?

— Да. «Пробираюсь до хаты, домой». Ясно.

— Раций Брызгалоф везти не надо,— предупредил Габиш.— Вызывайте Саврасоф и вручайте ему.

— А если Саврасов не найдет возможности выехать? — спросил я.

— Найдет! — твердо сказал Гюберт.— Напишите ему, что вы привезли для него деньги, и он явится без задержки.

Габиш рассмеялся.

— Это есть умно! — воскликнул он.

В кабинет без стука вошел комендант Шнабель и поставил на стол металлический поднос. На нем были три рюмки, бутылка итальянского вермута и несколько мандаринов, обернутых в тонкую бумагу. Когда Шнабель вышел, Габиш сказал:

— Надо оччень карашо думать, как ви будет встречайт Виталий Лазаревич.

Поскольку ни Габиш, ни Гюберт до этого не называли при мне Доктора ни по фамилии, ни по имени (я узнал это от Похитуна), я сделал удивленное лицо и с наигранным недоумением спросил:

— Простите, господин оберст, кого я буду встречать?

— То есть как? — удивился Габиш и взглянул на Гюберта.— Вы не знают, как звать Доктор?

Трудно было сказать, была ли это новая неожиданная проверка или простая забывчивость со стороны моего шефа.

— Ах, так это Доктор,— сказал я.— Тогда мне все понятно.

Гюберт тем временем подошел к столу, наполнил рюмки и одну из них поднес Габишу.

— Берите,— пригласил меня Габиш.— Будем пить за ваши удач.

Я взял рюмку. Гюберт поднял свою.

— Вином я вас не встречал, зато вином провожаю,— торжественно проговорил он.— Прозит!

Все выпили, и опять разговор вернулся к Доктору. Чувствовалось, что оба они тревожились за судьбу Доктора. Гюберт предупредил, что Доктор будет прыгать только на сигналы, то есть наверняка. Место для приземления должен буду подготовить я после получения телеграммы от Гюберта о готовности Доктора к вылету. А о подыскании ему места для жилья и, на всякий случай, работы мне надлежало побеспокоиться заблаговременно.

Попивая глоточками вермут, Гюберт давал мне последние инструкции относительно связи. Пока, до прибытия Доктора, меня будут слушать один раз в десять дней по расписанию, которое имеется у Куркова. Я должен буду информировать Гюберта о встречах со своими людьми, о приобретении новой агентуры. А Доктор привезет уже новое расписание.

Под конец беседы Габиш обратился ко мне с вопросом:

— Вам нужен оружий?

Я пожал плечами.

— Пожалуй, в нем нет нужды,— сказал я, вспомнив про историю с заброской Константина. Пусть до конца будут уверены во мне.

Габиш и Гюберт переглянулись.

Гауптман спросил:

— А почему вы отказываетесь?

— Зачем оно мне? Ведь для того чтобы его носить, необходимо разрешение. Прыгать же с оружием глупо и опасно. На той стороне, если понадобится, раздобуду. Теперь, во время войны, это нетрудно. А вот капсулку с ядом на всякий случай я попросил бы.

— Оччень верно! — одобрил Габиш.— Тогда есть всё.— Он встал с дивана, неестественно выпрямился, выставив вперед живот, подал мне руку и немного торжественно сказал: — Ваш дел, господин Хомякоф, будет узнайт фюрер! Ви должен понимает! Хайль Гитлер!

Мы расстались, а через три часа Гюберт вез меня на своей машине на аэродром.

Погода была самая подходящая: бушевала снежная сумятица, ветер поднимал снег, бросал его в машину, срывая с гребней сугробов. По сторонам дымились верхушки снежных барханов.

На территорию аэродрома мы проехать не смогли. Еле-еле, с частыми пробуксовками, машина дотащилась до проволоочной ограды; тут она зачихала и захлебнулась, зарывшись в снег.

Гюберт предложил идти пешком — другого выхода не было. Мы вышли из машины.

Небо было затянуто мглой. В стороне едва угадывались очертания села Поточного; там маячил робкий одинокий огонек. Нудно и тоскливо, точно голодный пес, завывал ветер. Поземка крутила, шипела, завертывала петли, перевивала снег, собирая его в гривы. Сухие, колючие снежинки жалили лицо, как огнем.

Мы шагали, наклонившись вперед, по цельному снегу, утопая по колено. Густой пар валил из рта. Наконец мы добрались до аэродромных построек.

Теперь тут всё спрятали в землю. Наша авиация работала здесь добросовестно. На аэродроме ночевало не больше трех-четырех самолетов. За проволокой чернела груда искореженного огнем металла — остатки грузовых машин.

Мы вошли в одну из землянок, разбросанных по территории аэродрома. Солдаты, сидевшие у стола, тотчас вскочили со своих мест и поспешно выбрались наружу.

— Устали? — спросил Гюберт, вытирая платком мокрое лицо.

Я признался, что устал. Мы закурили, сняли головные уборы. Гюберт извлек из кармана плитку настоящего шоколада, дал половину мне и сказал, что сам проводит меня на выброску. Явился унтер-офицер, весь облепленный снегом, козырнул Гюберту и доложил, что самолет ждет нас на старте.

Мы вышли в сопровождении унтер-офицера и вновь побрели по снегу к самолету. Приземистая, похожая на притаившегося перед прыжком хищного зверя машина готова была к разбегу по дорожке, которую все время

разгребали солдаты аэродромной команды. Глухо рокотали два мотора на неполных оборотах. На белом камуфлированном фюзеляже и на высоком стабилизаторе зловеще вырисовывались черные кресты. Экипаж был на местах.

Нам подали руки и помогли забраться внутрь. Тут было тесно и неудобно, как во всякой боевой машине.

— Все идет нормально,— произнес Гюберт и обратился к механику: — А где капитан Рихтер?

Механик не успел ответить. Рихтер, обучавший меня прыжкам, явился сам. На меня надели парашют, проверили лямки.

— Всё? — спросил по-немецки Рихтер.

Гюберт кивнул. Рихтер подал сигнал пилоту. Взревели моторы. Вокруг машины забесновалась белесая мгла. Все задрожало, самолет рванулся вперед. Я не успел заметить, как он оторвался от земли, и определил, что мы в воздухе только по ровному и монотонному рокоту моторов.

Все сидели молча.

Непередаваемое чувство овладело мной. Как понять это человеку, не пережившему нечто подобное тому, что пережил я? Я возвращался на Родину из самого логова врага. Я не только остался жив, но выполнил порученное задание, внес, пусть небольшой, вклад в дело борьбы своего народа против злейшего врага...

На большой высоте самолет перевалил через линию фронта. Его встретил слабый зенитный огонь, который быстро прекратился.

«Если бы знали там, на земле, кто летит, так, наверное, и вовсе бы не стреляли»,— совсем по-детски подумал я.

Рихтер подсел ко мне с картой и пальцем показал линию фронта. Я кивнул.

Высота стала падать. Внизу вдаль замерцали слабые огоньки. Самолет сделал плавный поворот, выровнялся и как бы притих.

Над моей головой замигала яркая белая лампочка. Это для меня. Пора!

Рихтер отвинтил и отбросил крышку люка. Холодный воздух ворвался и за клубился в кабине.

Гюберт встал. Он крикнул мне что-то на ухо, но я увидел только, как шевельнулись его губы. Я ничего не услышал, да и не хотел слышать. Что мне теперь до всех разговоров! Я смеялся в душе.

Слустившись в люк, я повис на локтях. Рихтер поправил на мне парашют. Сердце на мгновение замерло. Затем я сдвинул локти и провалился в снежный круговорот. В лицо ударило что-то плотное и непроницаемое.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

К О Н Е Ц О С И Н О Г О Г Н Е З Д А

31. ГОРЕ

С той ночи, как я возвратился на Большую землю, прошло почти четыре месяца.

Зима круто повернула на весну. На смену морозам пришли оттепели. По широким просторам, степям и лесам нашей великой страны бродил бодрый весенний ветерок. Реки готовились взломать ледяной покров. Нестойкие морозцы держались лишь ночью, и по утрам

только местами стекленели лужицы, затянутые тоненькой, непрочной коркой льда. Снег, изглоданный и источенный, точно короедом, теплыми ветрами, тяжелел, оседал, становился ноздреватым и похожим на слежавшуюся соль. Его поедало солнце, подтачивали туманы. Он еще держался в оврагах, на откосах дорог, в теневых местах. А под снежной коркой звонко журчали потоки талой воды и пенистыми ручейками текли своим извечным путем. Обнажились пашни, чернели дороги, а кое-где на припеке щетинилась и ласкала глаз молодая травка.

Мой домик стоял в глубине соснового бора, у самого обрыва, на берегу тихой речушки, в пятидесяти минутах езды от Москвы.

Я вспомнил ту снежную ночь, когда, подхваченный потоками ледяного воздуха, я падал сквозь непроглядную муть к белой земле. В памяти еще свежи были подробности.

Я помнил, как перехватило дыхание, когда рывком раскрылся парашют, а потом я свалился в мягкий снег и заскользил по снежному склону на дно оврага. Это было между шоссе и станцией Горбачево.

Передохнув немного и оглядевшись, я с трудом скатал парашют, взвалил его на плечо и выбрался из оврага.

Кругом была ночь, снег. Так же как и на той стороне, на вражеском аэродроме, здесь тоскливо выл ветер. Ни жилья, ни звездочки, ни огонька... Но теперь все — и ночь, и пурга, и ветер — не казалось таким злобным. Все это пустяки. Ведь я был на своей, на родной земле!

Я пытался сориентироваться, но никак не мог определить, по какую сторону шоссе оказался и где находится станция, на которой меня ждали.

Я бродил по степи добрый час, устал и взмок. Наконец ветер донес надрывные и тяжелые звуки работающего мотора. Я прислушался. Звуки то усиливались и казались совсем близкими, то замирали. Я пошел на них и минут через десять — пятнадцать выбрался на шоссе.

Первое, что я увидел, был гусеничный трактор-тягач. Он натруженно тарахтел, поднимаясь на взгорок,

волоча за собой огромные сани с цистерной. Я подошел к трактору и, уцепившись за поручни, спросил водителя, куда он едет. Выяснилось, что на станцию Горбачево и что до нее километров семь.

Трактор, несмотря на оглушительный треск мотора, полз очень медленно, и, добираясь на нем, я мог бы замерзнуть. Я решил идти пешком и зашагал, оставив трактор позади. Мимо проносились автомашины с потушенными фарами. Шоферы лихо вели их в потемках на большой скорости и очень ловко разъезжались при встречах.

Но вот встречный грузовик внезапно мигнул фарами, ослепил меня и остановился.

— Эй, товарищ, одну минутку! — раздался голос.

Из кабины вылез приземистый человек в черном полушубке и, подсвечивая карманным фонариком, направился ко мне. Подойдя вплотную и осветив меня с ног до головы вместе со скомканным парашютом за спиной, он спросил:

— Кто вы такой?

— Человек...

— Да вы бросьте шутить! Вы не майор Стожаров?

— Ну да, черт возьми!

— Где же вы пропадали?

— Как это понять? — усмехнулся я.

— Давно приземлились?

— Пожалуй, больше часа. Еле выбрался на дорогу.

— Фу ты черт! А мы с ног сбились. Скорее в машину! — И он подхватил мой парашют. — Сторожили вас на станции, кругом все облазили. Замерзли?

— Наоборот. Весь мокрый. Вот в машине, наверное, замерзну.

— Не успеете. Лезьте в кузов. Я бы вас в кабину посадил, да мне надо дорогу показывать.

Сколько человек было в закрытом брезентовом кузове, я в темноте определить не мог. По голосам можно было предположить — не меньше четырех. Я оперся спиной о кабину, а ногами о что-то твердое.

Некоторое время мы ехали по шоссе, затем кузов накренился набок, машина перевалила через кювет и запрыгала на ухабах. Я был в каком-то блаженном состоянии.

Вскоре наша машина остановилась и слышалась команда:

— Вылезайте, товарищи!

Спрыгнув на землю, я увидел среди степи одинокий самолет, почти слившийся с белым снегом.

— Быстрее в самолет! — раздался тот же голос. — А то погода час от часу все хуже.

Я поднял голову — с неба опять начала сыпаться мелкая пороша.

Через несколько минут я снова был в воздухе. В самолете было светло, тепло, уютно. Мягкие кресла покрыты парусиновыми чехлами. Меня угостили бутербродами с ветчиной, горячим чаем из термоса, преотличным «Беломорканалом».

Как быстро все изменилось! Какой-нибудь час назад я сидел во вражеском самолете, бок о бок с оккупантами, с гитлеровцами Гюбертом и Рихтером. Час назад мне жал руку матерый диверсант, фашистский волк Гюберт. А сейчас я обменивался рукопожатиями с товарищами, советскими разведчиками. Всегда — и в детстве, и в зрелые годы — я увлекался приключенческими книгами, зачитывался романами Жюль Верна, Майн Рида, Луи Буссенара, Фенимора Купера. Я тайно и явно завидовал подвигам смелых патриотов-героев, борцов за справедливость и свободу, мечтал о путешествиях и приключениях, но разве мог я думать, что длинная жизнь бросит меня в такой водоворот борьбы, опасностей, приключений! Разве мог я думать, что стану участником таких необычайных событий!

С самолета я вновь попал в машину, из машины — в горячую ванну, а из ванны — за накрытый стол. Московская ночь была уже на исходе.

Распоряжался за столом майор Петрунин, тот, кто подобрал меня на шоссе, — широкобровый, скуластый и очень энергичный. Помогал ему маленький лейтенант с пушком на верхней губе, которого все звали Костей. Они были радушны, оказывали мне самое сердечное внимание, проявляли трогательную заботу.

За столом я почувствовал, что меня начинает пробирать мелкий озноб. Этого только не хватало! Неужели простудился или подхватил грипп? Я высказал свои опасения товарищам. Тотчас же Костя сбегал к квар-

тирной хозяйке и возвратился с тремя таблетками кальцекса.

— Эту утром,— поучал он меня, выкладывая таблетки на стол,— эту в обед, а эту перед сном. И как рукой все снимет, товарищ майор!

Действительно, все как рукой сняло. По-видимому, озноб был вызван сильной нервной реакцией. Я встал здоровым.

В полдень меня принял полковник Решетов. Я увидел то же хмурое, суровое лицо, те же внимательные и как будто сердитые глаза. Он по-прежнему то и дело массировал свою поврежденную левую руку.

Встретил он меня приветливо: вышел из-за стола, обнял, довел до кресла и усадил.

Беседа затянулась часа на три.

Полковника интересовало буквально все, что происходило на Опытной станции. Я восстановил в памяти все события и изложил их последовательно, день за днем, перечислил всех обитателей станции, дал им характеристику, а затем отвечал на бесчисленные вопросы полковника.

— Вы уверены, что Габиш полковник? — спросил он.

— Конечно. Я видел его в форме полковника, и обращаются к нему все как к полковнику.

— Значит, русским языком он владеет сносно?

— Вразумительно. Может обходиться без переводчика.

— А Гюберт?

— Хорошо. Так же, как и своим, только с акцентом.

Полковник Решетов вставал, прохаживался по кабинету, вертел карандаш между пальцами, вглядывался в карту, висевшую на стене, и снова усаживался против меня в кресле. Он все время был в движении, в мыслях и ставил всё новые вопросы.

— Значит, гауптман Гюберт — заядлый охотник? — спросил он.

Я подтвердил.

— Это интересно. Очень интересно! А кто из них — Габиш или Гюберт — посоветовал вам заинтересовать Саврасова деньгами?

Я ответил, что Гюберт.

— А как отнесся к этому Габиш?

— Он рассмеялся и сказал, что «это есть умно»!

— А какую цель преследовали вы, давая указание Кольчугину закрепиться на Опытной станции?

Я пояснил: Фома Филимонович, став необходимым спутником гауптмана в охоте, сможет упрочить свое положение и информировать Криворученку обо всем, что происходит на Опытной станции.

— Разве я поступил не так? — спросил я.

— Вы поступили совершенно правильно! — успокоил меня полковник. — Кольчугин, говорите, человек вполне надежный?

— Да. За него я могу поручиться.

— Ну хорошо, — сказал Решетов. — На сегодня довольно. Я полагаю, что пора послать гауптману Гюберту такую телеграмму... Пишите. — Он подал мне блокнот и карандаш. — «Саврасов месяц назад арестован присвоение крупных денежных сумм и подделку отчетных документов осужден десять лет». Как вы находите?

— Пилюля для них неожиданная и горькая...

— Что поделать, — усмехнулся Решетов. — Все равно придется глотать. Раз он так любит деньги... Не меньше, чем вы. (Мы рассмеялись.) Вы не кладите карандаш, пишите дальше: «Брызгалов из больницы выписался, веду розыски. Сообщите, как поступить радиостанцией». Вот так. Теперь всё.

— Когда отправить эту телеграмму?

— Дней через десять — двенадцать после того, как вы уведомите Гюберта, что прибыли благополучно.

— Понимаю.

Полковник взял из моих рук блокнот, перечитал телеграмму вслух и заметил:

— Пожалуй, так будет правильно. Вы дали Саврасову телеграмму, а вам ответили, что его нет. Вы выехали или вылетели на место и разузнали все подробности. Времени вполне достаточно. Все коротко и предельно ясно. Для порядка порадуйте их кое-какой информацией. Ну, а этих ваших новых «друзей», шестерых железнодорожников, мы постараемся сегодня же устроить... О них можно будет сообщить дополнительно и по-разному. Все это мы обсудим. Кстати, вы хорошо запомнили фамилии, имена, пароли, не перепутали?

— Надеюсь, что нет... А Константина вы видели?

— А как же! Он сидел в этом же кресле, в котором сидите вы.

— Интересно, какое впечатление произвел он на вас?

— Как вам сказать...— Решетов на мгновение задумался.— Во всяком случае, человек решительный и преданный. Ведь он очень много перенес, много выстрадал и не согнулся. Ну и дал же он вам аттестацию!..

— Я думаю...

— Когда я назвал Константину имена Отто Бунка, Гюберта, Похитуна и прочих гадов из этого гнезда и сообщил, что пилот, который его вез, уцелел, парень задумался.

— То есть? — поинтересовался я.

— Задумался и сказал: «Вот оно что... Значит, кто-то вас информировал? Понятно! Вопросов я вам, товарищ полковник, задавать не буду, так как знаю, что вы мне на них не ответите, но теперь мне кое-что ясно. Придется произвести переоценку некоторых фигур». С уверенностью он, конечно, ничего сказать не может...

Мы помолчали. Полковник искоса поглядывал то на меня, то на свою руку, затем встал и спросил:

— Вы хотели бы повидаться с женой?

Ну что я мог ответить? Конечно, хотел бы, но, пока идет война, это, вероятно, невозможно. Я так и сказал.

— Невозможного ничего нет,— объявил Решетов.— Так вот... Завтра возьмите мою машину и съездите в Люберцы, на аэродром. И встретите жену. Самолет должен прилететь к шестнадцати часам...

Кажется, я изменился в лице.

— Завтра? — растерянно, глупо улыбаясь, переспросил я.

— Да, да. Ее по нашему вызову отпустили на пять суток. Ведь она работает в госпитале. Мы подумали с Фирсановым и решили, что, чем вам ехать туда, лучше ее сюда вызвать. Тем более, что вы с самого начала войны не виделись. Да и вообще ей надо немного...— Что «немного», полковник не договорил, а сделал неопределенный жест рукой.— Идите отдыхайте!

Я скатился с седьмого этажа, не чувствуя ступенек, и пришел в себя лишь на морозном воздухе.

Значит, Маша работает в госпитале? А как же до-

чурка, как Танечка? Возьмет ее Маша с собой? А почему бы и нет? Таньке сейчас... Я подсчитал... Да, ей сейчас уже четыре года и восемь месяцев. Конечно, они прилетят вместе.

Но прилетела одна Маша.

Я сразу заметил ее среди пассажиров, вышедших из самолета, и бросился навстречу. Она была меньше всех, в своей старенькой беличьей шубке, с маленьким чемоданом в руке. Она стояла и искала меня глазами, а увидев, пошла быстро, ровными, мелкими шажками, такой знакомой и родной походкой. Но, не дойдя до меня шага два, она остановилась, прижала руку к груди и как-то странно посмотрела на меня. Я подумал, что ей стало плохо, только не мог догадаться отчего. Потом она улыбнулась. Улыбнулась тихой улыбкой, как улыбаются лишь тяжело больные или чем-то потрясенные люди.

Я схватил ее, обнял, прижал к груди, заглянул в глаза. Она опять улыбалась, а из глаз ее градом катились слезы.

— Машенька! Что с тобой? — Я расцеловал ее в теплые щеки, в глаза, в губы. — Я же тут, с тобой!.. Успокойся.

Но она все плакала и только через минуту, тяжело вздохнув, проговорила:

— Нет у нас больше Таньки, Кондрат!..

У меня сжало горло. Я почувствовал смертельную усталость и слабость во всем теле. Все вокруг стало чужим и безразличным. Потом, боясь, что мужество совсем покинет меня, я взял Машу под руку и повел сам не зная куда.

Мы медленно шли по расчищенной от снега асфальтированной дорожке, и Маша тихо, как бы опасаясь, что кто-то услышит про наше горе, рассказывала, как все случилось.

Это произошло еще в августе сорок первого года, когда эшелоны с эвакуированными пробивались в глубь страны, на восток. В ночь на 26 августа на поезд налетели фашистские бомбардировщики... Осколок убил девочку мгновенно, она даже не проснулась. В Машу угодило два осколка. Она выжила. Ее увезли в один из уральских военных госпиталей, а когда встала на ноги,

осталась там работать. Меня убивать страшной вестью не хотела. Она знала, что я занят. Оказывается, Фирсанов переписывался с нею. И как знать, плохо или хорошо она поступила, утаив от меня смерть дочери...

Маша умолкла и молчала до самой квартиры. И я молчал. И думал. Много горя выпало на долю Маши. На шестой день войны погиб ее старший брат — командир артиллерийского полка. Месяцем позднее разбился второй брат, летчик-испытатель. А теперь Таня...

Я знал, что у каждого человека бывает своя невозвратимая утрата. У Маши уж слишком много!

Итак, произошло это в ночь на 26 августа сорок первого года. Эту дату я не забуду. И врагам ее припомню. Сделаю все, что в моих силах!..

Когда пять суток спустя я провожал Машу в обратный путь, она сказала:

— Кондрат... В степи, недалеко от станции Выго-
ничи, есть маленький холмик. Я обложила его камнем...
Четырнадцать шагов от выходной стрелки железнодоро-
жного пути, став спиной к водокачке строго вправо.
Семь шагов от березы-двойняшки. Она одна растет там...
Я все вымерила своими шагами... Там лежит Таня.
Если тебе придется...

— Хорошо, хорошо!.. — тихо сказал я.

Шесть дней спустя, в ночь на воскресенье, меня разбудил телефонный звонок.

Рассвирепев, я вскочил, схватил трубку и крикнул:

— Какого дьявола вам надо?!

— Вас, майор, именно вас! Впрочем, кто у телефона?

— Майор Стожаров.

— Порядок! Говорит Петрунин. Неужели вы так крепко спите? Я барабаню с полчаса. Скажите, вы правительственные награды имеете?

— Не заработал еще. Что за пустяшные вопросы среди ночи?

— Считайте, что имеете. Михаил Иванович Калинин подписал указ о награждении вас орденом Красного Знамени, Криворученко и радиста Ветрова — орденами Красной Звезды, а Кольчугина — медалью «За боевые заслуги». Публиковаться указ не будет. Ясно?

Я ничего не ответил — не нашелся. И принял это сообщение довольно равнодушно. Еще слишком сильна была боль, от которой я не мог оправиться. Все думал о Тане. Не хотел думать, глушил в себе мысли, но... ничего не получалось. А тут...

— Вот и всё,— подвел итог майор Петрунин.— И прошу учесть, что я первый вас поздравил.

— Учту,— угрюмо бросил я.

Через несколько дней мне приказали вылететь к подполковнику Фирсанову. Я быстро, с радостью, собрался. Горестные мысли и щемящая печаль уступят место удесятеренной ненависти к врагу. Скорее к новым делам, к беспощадной борьбе!

Теперь все эти дни в прошлом. Теперь это воспоминания. Они приходят непрошено, и от них никуда не уйдешь.

32. ДОКТОР НАНОСИТ ВИЗИТ

День был на исходе. Я, майор Петрунин, лейтенант Воронков и еще два офицера из отдела полковника Решетова ехали «встречать» Доктора.

В два часа ночи он должен был выброситься на нашу территорию.

Этому предшествовал оживленный обмен радиogramмами между мной и Гюбертом: уточнялись даты, место приземления.

Машина плавно катилась по чистому и ровному шоссе. Я сидел в кабине, откинувшись на спинку сиденья, и дремал: долгая езда укачала меня.

В пути мы дважды попадали под дождь, и я серьезно опасался, сможет ли машина добраться до отдаленного от шоссе и жилых мест пункта встречи, к которому вел длинный отрезок обычной грунтовой дороги.

Перед развилкой Петрунин забарабанил по крыше кабины и крикнул:

— Сворачивай направо!

Шофер остановил машину, сошел на землю и, оглядев дорогу, проворчал:

— Гиблые места!

— Не паникуй, Петя! — сказал Петрунин.

Петя почесал в затылке и полез обратно в кабину. Машина съехала с шоссе на большак и сразу завилела из стороны в сторону. Мы поехали по жидкой грязи медленно, на второй скорости. Спасало то, что под верхним оттаявшим слоем земли лежал еще мерзлый слой.

— Жми, жми, Петя! — подбадривал Петрунин.

— «Жми, жми»! — ворчал тот. — Начнешь жать — обязательно заночуешь в кювете!

Он ловко выруливал машину, а машина так и норвила сползти с горбатого большака в кювет. А тут еще клонящееся к закату солнце играло своими лучами в лобовом стекле и слепило глаза.

Кое-как, перегрев мотор, мы преодолели этот несчастный участок, но перед самой деревенькой основательно завязли. Задние колеса затянуло в канаву, и машина прочно села на дифер. Мы выбрались из кузова.

Шофер повздыхал, выругался и отправился в деревню. Вслед за ним ушел и Петрунин.

Вернулись они с двумя бревнами. Мы стали «вываживать» машину и кое-как вытянули ее из канавы.

В деревню попали затемно. Остановились в доме председателя колхоза и остаток вечера прокоротали за чаем и разговорами. В половине первого я и майор Петрунин покинули дом, предварительно еще раз проинструктировав остающихся. Мы взяли с собой мешок с сухой паклей, банку с машинным маслом, бутылку с бензином, ракеты и ракетницу.

Ночь стояла тихая, полная какого-то значительного спокойствия. Все небо было усеяно звездами. Луна уходила за горизонт и, прячась за тучку, как бы подмигивала нам.

Подмораживало. Лужицы, затянутые тонким матовым ледком, похрустывали под ногами.

— Погодка на нас работает, — заметил Петрунин. — Обратно по морозцу быстро выберемся.

Мы вышли из деревни, миновали кладбище, обогнули небольшую березовую рощу, наполненную бодрящим весенним ароматом, перебрались по мостику через крошечную речонку и зашагали по открытому полю. Пройдя два километра, увидели белый шест — метку, доставленную нами заранее. Мы вынули из мешка

паклю и выложили из нее на земле круг трех метров в диаметре. Паклю полили машинным маслом.

Петрунин зарядил ракетницу, я приготовил карманный фонарик. Мы закурили и стали ждать.

Минут за пятнадцать до назначенного времени с запада послышался стонущий рокот мотора. По звуку мы без труда определили, что идет немецкий самолет.

— Смотри, еще спутает,— заметил Петрунин.— Возьмет да и пройдет стороной.

— Не должен,— сказал я.— На всякий случай надо посигналить.

Я поднял в небо сильный фонарик и просигналил условленным шифром.

Кажется, Петрунин оказался прав — самолет явно отклонялся в сторону и удалялся. Шум его мотора становился глуше. Тогда я плеснул из бутылки бензина на паклю, чиркнул спичку, и пакля, мгновенно вспыхнув, загорелась круговым пламенем. Звуки мотора стали вновь нарастать и приближаться. Наш сигнал заметили. Самолет снизился и проплыл над головами.

Я отошел в сторону и снова начал сигналить фонариком.

Самолет трижды подмигнул нам зеленым огоньком.

— Все идет как по нотам,— проговорил Петрунин и начал подливать в огонь масло.

Самолет развернулся и снова пошел на нас. Под его крылом на мгновение зажегся красный фонарик.

— Прыгнул,— сказал я.— Гаси костер.

Красный огонек подтверждал прыжок. Петрунин начал затапывать костер. Я напряженно всматривался в звездное небо и наконец заметил в нем купол парашюта и болтающуюся на стропах человеческую фигуру.

Доктор не мог похвастаться точностью приземления. Его сносило к деревне, и я побежал.

Он опустился шагах в четырехстах от огня, упал животом на землю и остался лежать неподвижно. Я подходил, мигая фонариком, но он не поднимался. Я решил было, что Доктор ушибся или потерял сознание, но тут же услышал, как шелкнул затвор пистолета. Доктор готов был ко всяким случайностям.

— Кто? — повелительно крикнул он, когда я остановился от него в двух шагах.

— Хомяков,— ответил я.— Вы не ушиблись?

— Как будто нет.

— Ну вот и великолепно! А помните, как вы боялись прыгать?

— Было, было... — И Доктор упругим движением вскочил на ноги.

Я осветил его лучом фонарика. На нем была армейская шапка-ушанка с вдавленной вместо звезды, стеганый ватный костюм и солдатские кирзовые сапоги.

— Выключите фонарь,— сказал он мне и протянул руку.— Здравствуйте, Хомяков! Жребий брошен! Точь-в-точь как в американском кинобоевике...

Я почувствовал, что рука Доктора по-прежнему была в тонкой перчатке. Доктор сунул пистолет в карман.

Я спросил:

— Кто вас провожал?

— Гауптман... А кто там вытанцовывал над огнем?

— Один из тех шести,— ответил я.— Он достал машину. Сам — за шофера. Он сейчас подойдет.

Доктор угостил меня сигаретой, осветил зажженной спичкой мое лицо и спросил:

— Куда мы сейчас?

— В Москву. Куда же еще? Я ведь сообщил, что все подготовил.

— Понимаю, понимаю.— И он, пыхтя дымом, поглядел по сторонам.

Подошел майор Петрунин.

— Познакомьтесь,— предложил я.

Доктор протянул руку, не называя себя, и лишь промолвил:

— Очень приятно.

— Звонарев,— отрекомендовался Петрунин.

— А как с парашютом? — спросил Доктор.

Я сказал, что оставлять здесь парашют нельзя и что его придется захватить с собой, а по дороге где-нибудь припрятать. Доктор согласился. Петрунин скатал парашют, затащил его в мешок из-под пакли и взвалил на плечо. Мы тронулись к деревне.

— Значит, прямо в Москву? — спросил Доктор.

— Сначала зайдем в деревню,— ответил я.

— А зачем? — поинтересовался Доктор.

— Машина наша стоит у отца Звонарева.

— А как там?

— Это что-то на вас не похоже, Доктор,— усмехнулся я.— Деревушка глухая, в девятнадцать дворов. Остались одни бабы да деды...

— Оно конечно,— бодро ответил Доктор, но тут же спросил: — А нас по дороге в Москву не прихлопнут на контрольных пунктах?

— Мы ночью не поедем, а днем не проверяют.

— А где же мы будем торчать до утра?

— У отца Звонарева.

— Удобно?

— Удобнее и быть не может,— вмешался в разговор Петрунин.— Старику моему уже за восемьдесят стукнуло, и он глух, как доска.

Немного помолчали, потом я спросил:

— Что нового на станции? Все живы?

— Там всё по-старому, вот у вас тут дела неважные...

— Именно?

— А Саврасов? Завалился?

— Тут уж я ни при чем. Без меня это стряслось.

— Идиотина! — сказал Доктор.— Денег ему не хватало!.. А Брызгалова не отыскиали?

— Нет.

— Ну этого-то я найду,— уверенно заявил Доктор. «Едва ли»,— подумал я.

Подходя к деревне, Доктор осведомился:

— Радист Курков далеко?

— А что?

— Надо же отстучать Гюберту.

— Всё сделаем. К обеду господин Похитун доложит гауптману телеграмму.

Когда вошли в деревню, Доктор заметил:

— Действительно, медвежий уголок. Тут можно целый десант высадить, и никто не почешется. Сказано, Русь-матушка...

У дома председателя колхоза я предупредительно пропустил Доктора вперед и сказал:

— Сюда... вот сюда...

Доктор толкнул дверь, вошел в освещенную комнату и тут же, без команды, поднял руки: на него в упор смотрели три пистолетных ствола.

К моменту прибытия Доктора люди полковника Решетова проделали большую работу. Помимо Саврасова и Брызгалова, были выловлены и разоблачены еще шесть вражеских агентов, переданных Гюбертом под мое начало. Многие сообщил Курков, явившийся с повинной и не пожелавший работать на врага.

Доктор не стал заперяться. Умный, умудренный многолетним опытом, искушенный в делах разведки, он понял сразу, что попался крепко. Он избрал правильный путь, решил признаться во всех своих преступлениях и хотя бы частично искупить этим вину. И он признался. Он вывернул себя наизнанку. Прежде всего он собственноручно написал, по выражению Решетова, свой «послужной список», а потом принялся за Габиша, Гюберта и остальных.

Он не пытался смягчить свои преступления, дал себе убийственную характеристику, но не пожалел красок и для своих шефов. Они предстали перед нами во всей своей красе.

То, что удалось разведать мне за время пребывания в осинном гнезде, составило лишь крохотную долю того, что сообщил Доктор. Он выдал серьезную шпионскую группу Бурьянова, о которой я не мог даже подозревать. Он сообщил о том, что станция Габиша проводила широкую вербовочную работу среди предателей и пособников оккупантов и сейчас подготавливает из них три группы шпионов и диверсантов для подрывной работы на нашей территории.

Доктор назвал их имена и фамилии, а также известных ему агентов, в разное время переброшенных за линию фронта.

Он вернулся к прошлому, к довоенным годам, выложил историю с Робушем и сказал, что на нашей территории должна существовать еще одна небольшая, но строго законспирированная шпионская группа, созданная самим Гюбертом при первом его визите в Советский Союз.

Полковник Габиш высказывал намерение передать эту группу также под руководство Доктора, но потом почему-то передумал.

Доктор располагал своим шифром и кодом, специальными позывными и волнами для радиста, и, если бы он не стал сразу на путь признания, мы попали бы в затруднительное положение. Разоблачив себя, Доктор не считал нужным утаивать что-либо и великолепно понял, что именно от него требуется. Он «доложил» Гюберту о благополучном прибытии. С помощью Доктора полковник Решетов продолжал искусно водить за нос капитана Гюберта, время от времени передавая ему выгодную нашему командованию лжеинформацию.

Комбинация с Доктором натолкнула Решетова на совершенно новую, смелую мысль. Он задался целью совершить налет на осиное гнездо и захватить все документы и материалы, там хранящиеся.

Операция эта предварительно была продумана, оставалось разработать детали. Руководство одобрило этот план. В Москву вызвали подполковника Фирсанова и начальника разведки штаба майора Коваленко.

Мне предложили засесть за телеграммы, поступившие за это время от Криворученко, и составить по ним обзор о положении дел в его группе и на станции.

Я пересмотрел кипу телеграмм и выбрал из коротеньких сообщений все, что только было возможно.

Складывалась такая картина. В конце зимы Гюберт перенес свою резиденцию на новое место. Он перебазировался на восемьдесят километров западнее прежней стоянки и разместился в бывшем доме отдыха. Осиное гнездо по-прежнему прикрывается вывеской «Лесной опытной станции», стоит в лесу между городом и большим селом, районным центром. От города до него восемьдесят километров, а от села — всего четыре.

Похитун объясняет это перемещение тем, что близость города могла привести к полной расшифровке станции, и Гюберт решил предвосхитить события.

Изменений в личном составе Опытной станции никаких не произошло, только на вакантную должность помощника Гюберта прибыл некий майор Штейн.

Гюберту присвоено звание майора. Он награжден Железным крестом. Штейн владеет русским языком и отличается более крутым, нежели покойный Отто Бунк, характером. Он завел на Опытной станции овчарок.

В своих показаниях Доктор дал аналогичные сведе-

ния и лишь добавил, что Штейн, по его мнению, является преемником Гюберта, так как были разговоры о переводе Гюберта на новую должность.

В группе Криворученко теперь не двое, а пятеро: сам Криворученко, радист Ветров, Логачев, пришедший из партизанского отряда, Березкин — из городского подполья и Таня Кольчугина. Она попала в группу после какой-то удачно проведенной комбинации, но какой именно — мне было непонятно. Можно предположить лишь, что уход Тани в лес был связан с отъездом из города Фомы Филимоновича.

Да, старик покинул свои «хоромы». Он выполнил мое задание. Он сумел войти в такое доверие к Гюберту, что тот захватил его с собой на новое место. Старик и в самом деле заделался егерем. Мог ли я предполагать, что его разговор с Гюбертом об охоте приведет к таким результатам?

Фома Филимонович выполнил и второе мое задание: ему удалось наладить отношения с Похитуном; он поступился своим характером и стал неразлучным «другом» грязного шифровальщика.

Фома Филимонович ездит на охоту с Гюбертом, и весенний сезон, по словам Криворученко, прошел у них на славу. Но Гюберт стал более осторожен. Если раньше он ездил в сопровождении двух автоматчиков, то сейчас берет с собой пятерых солдат.

Группа Криворученко стоит лагерем в лесу, в девятнадцати километрах от Опытной станции. Лагерь именуется «Полюсом недоступности». Встречи с Фомой Филимоновичем проводятся в лесу, между осиным гнездом и «Полюсом недоступности», но иногда и в селе. В лесу с ним встречаются поочередно Криворученко, Логачев и Березкин, а в райцентре — только Березкин.

Старик свободно пользуется лошадью Опытной станции, часто ездит в лес на охотничьи разведки. Пользуясь этим, Фома Филимонович даже приезжал на «Полюс недоступности».

В марте группе Криворученко выбросили на парашюте мешок с грузом. В мешке были батареи для радиостанции, медикаменты, боеприпасы и продукты первой необходимости.

Так выглядели дела на той стороне...

...Вскоре полковник Решетов вызвал Фирсанова, Коваленко, Петрунина и меня, чтобы посовещаться о плане налета на Опытную станцию. Единодушно было решено снова выбросить меня в тыл врага, возглавить группу Криворученко и уже там, на месте, разработать до мелочей два-три варианта операции, которые мы здесь наметили в общих чертах.

— Сколько вам надо времени на подготовку? — обратился ко мне Решетов.

Я ответил, что недели три.

— Мало, не успеете. Месяц! — заключил Решетов и на этом отпустил нас.

34. С НОВА В ДОРОГУ

Быстро бежало время. Ушла весна с запоздалыми снегопадами и теплыми ветрами. Отгромыхал первыми грозами, омыл землю прямыми крупными дождями веселый, прозрачный май. Пришло лето.

Электричка мчала меня в Подмоскowie. Я сидел у окна.

Зеленый ковер сменялся сосновыми борами, березовыми рошицами, мелькали дачные места. В пруду с шумом и гамом плескались ребяташки.

Подготовка моя закончилась. Сегодня ночью я должен был выехать поездом на прифронтовой аэродром, а там... там опять прыжок. Я шел на новое задание с большим подъемом. Несомненно, сказывались опыт и связанная с ним уверенность в своих силах.

Электропоезд на полминуты остановился на маленькой станции. Из вагонов хлынул поток озабоченных пассажиров. Я сошел с платформы и по дорожке, так похожей на партизанскую тропу, направился лесом к домику, в котором жил все это время.

Да, пришло лето. С осин летели пуховые «гусеницы», отцвела черемуха, доцветала сирень, елки выбросили молодые побеги салатного цвета. Воздух — сочный, густой, настоянный на зелени, — пьянил. Солнце узкими полосами пробивалось через пушистые кроны деревьев и вносило яркую пестроту в лесной полумрак.

Вот и мой домик. Он уже стар, почернел от времени,

покосился немного и, кажется, грозитя заглянуть в овраг, в речушку. На лужайке перед домом лето выткало чудесный зеленый ковер. Такой чудесный и нежный, что мне жаль топтать его ногами! Я его обхожу.

Дом обнесен ветхим частоколом, маленькие окна полускрыты кустами сирени. По углам крыши на длинных шестах закреплены две скворечни. Из них доносится писк. Старый скворец, нахохлившись, сидит на скворечне и греется на солнышке.

Я уже привык к своему временному жилью, и мысль о том, что через несколько часов я его покину, навевает какую-то безотчетную грусть.

Войдя в комнату, я увидел майора Петрунина. Он сидел, странно выпрямив корпус. Его всегда беспокойные руки сейчас неподвижно покоились на коленях. У майора были недюжинные организаторские способности. Я невольно заражался его энергией. Все привыкли видеть его в постоянном движении, за каким-нибудь делом. И я удивился, застав его на этот раз в необычной для него позе.

— Распрощались? — спросил он и тут же встал.

— Да. А вы о чем призадумались?

Майор сделал круговой жест рукой. На диване, на стульях, на столе, на кровати, на полу и подоконниках — везде, где только можно, — лежали пистолеты, гранаты, боепатроны, автоматы, подсумки, компасы. На вешалке болтался заплочный мешок, а на спинке стула — парашютный. У порога лежал ручной пулемет.

— Соображаю, что еще надо взять, — озабоченно сказал майор.

Сначала мы составили список, а потом отобрали и отложили в сторону два автомата, два пистолета, боеприпасы к ним, пятнадцать противотанковых гранат, полдюжины бутылок с самовоспламеняющейся жидкостью «КС», ракетницу, набор ракет трех цветов, два компаса, аптечку, нательное белье, спирт в металлических флягах, сахар, консервы, концентраты, сухари, табак, спички — словом, все то, что попросил в последней телеграмме Криворученко и что добавил я сам. Все это надо было уложить в один мешок, который сбросят на грузовом парашюте перед моим прыжком.

— Боюсь, не влезет в мешок, — засомневался я.

— Это уж мое дело,— сказал Петрунин и приступил к укладке.

Все отлично улеглось.

В сумерки укладка была закончена. На полу лежал здоровенный, пухлый, туго перетянутый ремнями мешок.

А минут через десять на машине подкатил Костя Воронков, и мы поехали в Москву.

35. ОДИН В ЛЕСУ

Все слышали такие странные клички, как «тихоход», «огородник», «этажерка», «примус», «утенок», «король воздуха». В этих словечках заложены любовь и юмор, теплота и дружеская фронтовая шутка. Так окрестили в годы войны замечательный нехитрый самолетик «У-2», завоевавший славу смелого соколенка и приумноживший заслуги нашей боевой авиации.

Это он во мраке ночи незаметно, тихо появлялся над тщательно замаскированными вражескими объектами и подвешивал огненные «люстры» — ориентиры и своеобразные светофоры для своих старших братьев-бомбардировщиков. Это он в погоду и непогоду, зимой и летом, весной и осенью скрытно подкрадывался к переднему краю противника и добросовестно обрабатывал его гранатами, сам оставаясь неуязвимым. Это он подвозил к передовой, в дивизионные санбаты, драгоценную человеческую кровь, возвращавшую жизнь тысячам бойцов, и доставлял в безопасный тыл тяжелораненых, которым требовалась немедленная и сложная операция. Это он развозил по всему необъятному фронту, от Черного моря до Ледовитого океана, офицеров связи с приказами и планами, которые нельзя было доверить ни коду, ни шифру, ни телеграфу, ни телефону, ни радио, — сокровенные замыслы и предназначения советского командования. Это он первым опустил на Малую землю, к народным мстителям — доблестным партизанам, и связал их с Большой землей.

«Рус фанер» — с презрением и издевкой отзывались о нем в первые дни войны гитлеровцы. Но когда они познакомились с ним вплотную, когда он стал отбивать

у них аппетит и превращать спасительную ночь в яркий и беспощадный день,— они начали называть его не иначе, как «стоячая смерть».

Я питал большую любовь к этой маленькой и удобной, нетребовательной и выносливой, безотказной и маневренной машине. Она оказала мне при полетах в тылы врага много неоценимых услуг. Я предпочитал ее любой другой машине. Но признаюсь честно, когда в эту ночь повис в ней над линией фронта, то особого удовольствия не испытывал.

Подо мной внизу кипел тяжелый бой, разгоревшийся с вечера. Басовито ухали дальнобойные пушки, и разрывы снарядов угадывались по взметавшимся вверх языкам пламени, взлетали ракеты, освещая все вокруг мертвенным светом, огненный пунктир трассирующих пуль чертил воздух, что-то горело, и огонь метался из стороны в сторону.

Попав под многослойный зенитный огонь, «утенок» жалко вздрагивал всем своим хрупким телом. На нижних плоскостях появились пробойны. Но он, словно пренебрежительный презрения к смерти, упорно полз через линию фронта.

Нас спасало лишь то, что немцы били наугад, так как после первого выстрела летчик почти совсем сбросил газ, и мы плыли бесшумно. Но зато мы теряли высоту и снижались.

Я вздохнул облегченно не тогда, когда огонь, преследовавший нас, остался позади, а когда снова услышал мотор, заработавший на полных оборотах. Значит, все обошлось и на этот раз. И на этот раз «утенок» оправдал себя.

Потянулась территория, захваченная противником. Летчик внес поправку в курс, взял правее, и спустя некоторое время я увидел внизу сигналы Криворученко. Пять костров, выложенных в форме конверта, показались мне маленькими светящимися точками. Самолет шел на них, сделал разворот, и мне подали сигнал.

Я удачно сбросил мешок с грузом, а сам немножко замешкался. Я зацепился лямками за что-то в кабине и прыгнул на несколько секунд позднее, чем следовало. И эти несколько секунд обошлись мне очень дорого.

Выбираясь на плоскость, я подумал, что и этот оче-

редной прыжок дается мне как первый в жизни, потом ступил в пустоту и провалился.

Когда я опускался, сигнальные огни появлялись то позади, то впереди меня и, как казалось, разгорались все ярче и ярче. Я следил за ними, но с каждой секундой убеждался, что меня относит в сторону. И вдруг я обнаружил, что спускаюсь не на землю, а на воду. Было это озеро, болото или пруд — я не успел определить. Зеркальная водная поверхность отчетливо рисовалась на густо-черном фоне леса, в воде мерцали отраженные звезды. В моем распоряжении оставались считанные секунды. Раздумывать и гадать было некогда. Ясно, что, если я опущусь на воду, не освободившись от парашюта, меня накроет, я запутаюсь в стропах и, конечно, не выплыву. Когда до воды оставалось несколько метров, я отстегнул лямки и камнем полетел вниз.

Я нырнул удачно и довольно глубоко, но дна не достал. На поверхность выбрался с трудом: движения связывал вещевой мешок. От сапог я освободился так же решительно, как от парашюта. Затем, не сбросив заплечного мешка, я стал медленно подгребать к берегу. Вскоре ноги мои коснулись дна, я попробовал встать, но тотчас погрузился до колен в липкую и густую жижу. Меня охватил естественный в таких случаях страх. Я решил, что попал в одну из зыбких трясин, из которых спастись можно лишь чудом. Кое-как высвободив ноги, я поплыл как можно быстрее и наконец ощутил под ногами более или менее твердую почву. Передохнул. От напряжения меня мучило, в висках стучали молотки. Сердце колотилось часто и гулко.

До берега оставалось еще шагов восемь — десять.

С исколотыми об осоку и изрезанными в кровь бо-
сыми ногами я наконец на четвереньках выбрался на
кочковатый, сырой берег и растянулся пластом.

Мокрый, не чувствуя от усталости холода, я пролежал неподвижно минут пятнадцать. Затем встал, прислушался, осмотрелся. Где-то далеко-далеко ворчала артиллерийская канонада, а здесь вокруг меня стояла глухая тишина. Лишь болото, из которого я выбрался, тяжело вздыхало, булькало, чмокало, как огромное чудовище, — это вода заливала мои глубокие следы в илистом дне.

Только теперь я почувствовал, что начинаю коченеть: зубы лихорадочно застучали, озноб охватил все тело. Я хотел сразу бежать в лес, чтобы согреться, но вспомнил о парашюте: нельзя бросить его на болоте, надо спрятать. Ночью этого не сделаешь, придется ждать утра...

Да и куда бежать? Прыгнув с опозданием, я перед приземлением не мог засечь сигнала, а в болоте окончательно потерял ориентировку. В каком направлении надо идти, где искать Криворученко и его ребят? До рассвета оставалось часа два — срок небольшой, но у меня зуб на зуб не попадал, всего трясло. И все-таки надо что-то предпринимать.

Прежде всего я выбрался на сухое место, снял с себя одежду, белье, выжал то и другое и снова натянул на себя. Теплее не стало. Озноб усиливался. Я отхлебнул из фляги, закрепленной на поясе, и это ненадолго согрело меня.

Можно бы развести огонь, обсушиться и обогреться, благо, зажигалка моя работала, но нет, нельзя: неизвестно, где я находился, неизвестно, кого мог бы привлечь мой костер.

Я прыгал на месте, делал коротенькие пробежки, приседал, согревался на короткое время и вновь мерз.

Потом я забрался в густой молодой ельник. Мне казалось, что в нем, укрытый от промозглого дыхания болота, я согреюсь. Из ельника меня выжила мошкара. Она гудела, насадала, липла к лицу, рукам, мокрой одежде и жалила беспощадно. Я опять выбрался на чистое место и принялся плясать. Тьма постепенно редела. Никогда розовеющее на востоке небо не приносило мне такой радости. Я прыгал, бегал, ждал, считал секунды. Я видел, как меркли звезды, но мне казалось, что они гаснут слишком медленно и слишком уж долго и ярко горят на западе.

Я успокоил себя мыслью, что ребята, конечно, ищут меня, возможно, что бродят где-нибудь вблизи и не решаются окликнуть.

Я хотел было подать голос, но не рискнул. В тылу врага опасность подстерегает на каждом шагу. Могло быть и так, что недалеке проходит дорога, что появление самолета замечено врагом и меня уже ищут.

Небо бледнело. Я различил на руке циферблат часов с замершими стрелками, грядущего леса, очертания болота и наконец увидел свой парашют. Он белел посередине болота, окруженный чащеобразными цветами кукурузы.

Когда солнце показалось над вершинами осин, я решил: снял с себя влажную одежду и бросился в темно-зеленую воду. Сразу стало теплее.

Парашют дался мне с большим трудом. Я долго барахтался в болоте, пока наконец не выволок его на сушу.

Я спрятал парашют под трухлявый пенек, уселся на солнышке и принялся развязывать вещевой мешок. Вытряхнув на землю его содержимое, я грустно покачал головой: все пропало! Сахар, соль, шоколад, табак, сухари — все превратилось в месиво, облепившее белье. Единственное, что было годно к употреблению, — это две банки рыбных консервов и десяток папирос, хранившихся в металлической коробочке.

Я решил поесть. Но перочинный нож, уже второй за войну, подаренный мне Костей Воронковым, видимо, выпал из кармана при прыжке. Я пустил в ход все, что можно: поясную пряжку, пряжки от парашютных лямок, острые сучки и кое-как, изодрав в кровь пальцы, исковеркав банку, добрался до консервов.

Солнце пригревало все сильнее. Я не стал дожидаться, пока моя одежда высохнет, и оделся. Я был уверен, что на мне она просохнет быстрее.

Спрятав в заплечный мешок оставшуюся единственную банку консервов, флягу со спиртом и пару белья, я решил, не углубляясь в лес, обойти вокруг болота. Мне казалось, что где-то на этом маршруте я натолкнусь на друзей, а если и не на них, то на следы костров, которые они жгли. По моим расчетам, сигнальные костры отстояли от болота недалеко, я лишь не знал, в какой стороне. А что друзья, разыскивая меня, так или иначе возвратятся к месту, где раскладывали костры, я ни на минуту не сомневался.

Я закурил, двинулся в путь и, ощутив во рту неприятную горечь, бросил папиросу. Это был верный, знакомый признак: при малейшем повышении температуры я не мог курить.

Пройдя немного, я почувствовал, что во рту пересохло, руки стали влажными, а на лбу выступила испарина. Обеспокоенный, я прибавил шаг.

Осиновый лес, окружавший болото, был угрюм и мрачен. Лишь кое-где проглядывали атласно-белые стволы берез. Воздух здесь был сырой, полный испарений, затхлый.

Я обошел часть болота, вдававшуюся острым клином в лес, и ощутил неимоверную усталость. Все тело горело, суставы ныли, в ушах стоял звон.

Поляны, где ночью горели костры, я не обнаружил, а поэтому решил отдалиться от болота и немного углубиться в лес. Осины отступали. На смену им пошли ели, березы, дубки; лес стал веселее и приветливее.

Пройдя с километр, я вышел наконец на небольшую, поросшую сочной травой и папоротником полянку. Меня мучило и покачивало от усталости. Надо было передохнуть. Положив на траву свернутый вещевой мешок, я прилег, и перед глазами поплыли круги — белые, желтые, синие.

Мне казалось, что стоит только закрыть глаза, уснуть, и я больше не поднимусь. Чудилось, что я уже утратил ясность сознания и воспринимаю окружающее сквозь какой-то горячечный туман. Я решил проверить себя, приподнялся, сел и посмотрел на стену леса. Нет, сознание мое еще не помутилось: я отличил березу от ели, ель от сосны, сосну от жидкой осины.

Над моей головой промчалось что-то, со свистом рассекая воздух. Я быстро повернулся и увидел стаю уток, удалявшуюся «уголком».

Я прислушался к лесным звукам: что-то трещит. Конечно, это коростель, а вот — перестук дятла. Я различил «позывные» кукушки, квохтанье дрозда, залихватый голос иволги, теньканье синицы.

Но жар усиливался. Для того чтобы в этом убедиться, мне не надо было градусника.

Я прилег, уставившись глазами в безмятежно спокойное и чистое небо, какое бывает в эту пору лета.

Вокруг меня недружно, вразнобой и монотонно стрекотали кузнечики, над головой неприятно гудел мохнатый шмель. Когда я прищуривал глаза, шмель превращался в самолет, круживший надо мной низко-низко.



Все тело горело, суставы ныли, в ушах стоял звон.

«Надо уснуть. Усни! — подсказывал мне внутренний голос. — Ведь ты не спал ни в прошлую, ни в позапрошлую ночь. Усни, и тебе сразу станет легче».

Я внял этому голосу, закрыл глаза, и на меня сразу навалились какие-то огромные мягкие глыбы. Одна, другая, третья... Стало трудно дышать. Но нет, сдаваться нельзя! Если болезнь меня одолеет, свалит с ног здесь, в лесу, — я, конечно, погибну. И кто знает, отыщут ли даже мое тело.

Я встал и, шатаясь, побрел обратно к болоту. Может, там ищет меня Криворученко?

Я брел, словно опоенный ядом, неровной, шаткой походкой.

Вдруг передо мной открылась новая поляна. Где же болото? Я остановился пораженный — значит, заблудился, шел не в ту сторону... Меня охватило отчаяние, я хотел крикнуть, и, если память мне не изменяет, кажется, крикнул, но звука своего голоса не услышал.

Вдруг перед моим горячным взором возникла дряхлая-предряхлая избенка. Я впился в нее глазами. Завешанная прозрачной дымкой тумана, она стояла на самом конце поляны, точно выхваченная из сказки, похожая на театральную декорацию.

Качаясь, я двинулся к избушке. Но не дошел до нее, упал.

А сознание твердило: «Нет, нет... Только не здесь... Вставай! Иди!»

До избушки оставалось каких-нибудь полсотни шагов. Собственно, это была не избушка, а полусгнивший, покосившийся сруб, с провалившейся кровлей, обросший мхом, точно плющом.

Я полз, тяжело дыша, по поросшей голубикой поляне и видел только сруб — и ничего больше. Дверей в нем не было, вместо них зияла черная квадратная дыра. Возле сруба заметил маленький островок широкопёрой ржи-падалицы, бог весть кем и когда занесенной сюда.

Я перелез через трухлявый порог и вытянулся на неровном, устланном горбылем полу. Так ничком, не шелохнувшись, я пролежал несколько минут. Потом перевернулся на спину и уставился глазами в черный, прокопченный потолок. Бугристый, весь в трещинах и

дырах, он угрожающе нависал надо мной. Я смотрел, не мигая, боясь сомкнуть веки; слезы бежали из глаз, катились по щекам, и я не смахивал их. Все стало безразлично. Слух автоматически уловил кваканье лягушек, и я подумал, что где-то близко вода, возможно — болото. Это была последняя мысль. Сознание оборвалось.

36. «ПОЛЮС НЕДОСТУПНОСТИ»

Я очнулся в полдень, на открытом воздухе. Я лежал на земле, между березами, осыпанный солнечными брызгами. Наверху с легким шелестом трепетали листья.

Где я? Куда попал?

Опустив глаза, я увидел большое болото и опушку леса за ним. Лежал я на ворохе душистой хвои, застланной сверху сухим сеном. Подо мной и на мне были серые немецкие шинели. Один вид их заставил меня вздрогнуть и вызвал вереницу страшных догадок.

Тело уже не болело. Я ощущал, если можно так сказать, приятную слабость. Я приподнялся на локте, чуть повернул голову вправо и едва сдержал крик радости: почти у моего изголовья, свернувшись клубочком, спала Таня Кольчугина. На ней была темная юбка, армейская гимнастерка и легкие, из опойки, сапожки. Тугую темно-русую косу, перекинутую на грудь, Таня держала в руке.

Я облегченно вздохнул и снова лег. Я и не старался понять, как очутился здесь, среди своих. И вообще, кажется, в тот момент у меня не было никаких мыслей. Отдавшись ощущению покоя, я бездумно лежал с открытыми глазами. Я очнулся в каком-то новом, праздничном мире. Мне было очень хорошо. Сквозь ветви небо казалось необыкновенно чистым и голубым. На болоте что-то промышляли длинноногие кулики, бродившие по берегу с писком и пересвистыванием. Золотокрылый дятел, усевшийся на суку, спугнул синюю сойку. Я ощущал аромат земли, леса и трав, нагретых солнцем. Слышал тихое дыхание. Тани, жужжание насекомых, крики уже оперившихся, но еще не поднявшихся на крыло молодых уток.

Я заснул, опять проснулся, снова заснул. Проснувшись не знаю уж в который раз, я увидел возле себя высокого, крепкого парня. Он стоял ко мне вполоборота и исследовал в бинокль небо. Там, в облаках, гудел, точно комар, самолет. По звуку я сразу определил, что это «мессершмитт».

Я не знал в лицо троих из группы Криворученко: Ветрова, Березкина и Логачева. Кто же этот парень? Сильная грудь физкультурника распирает гимнастерку, фигура ладная, силищей так и дышит. Наверное, это Логачев, о котором я был наслышан от Тани и Фомы Филимоновича. На парне была летняя армейская форма, новая, вероятно, из мешка, сброшенного на грузовом парашюте.

«Конечно, это Логачев»,— окончательно решил я и окликнул парня:

— Товарищ Логачев!

Нет, он не вздрогнул от неожиданности, хотя мгновенно обернулся в мою сторону. Я увидел белозубую улыбку на крупном, открытом и приветливом лице.

Шагнув ко мне и наклонившись, он проговорил:

— Правильно, товарищ майор, я — Логачев. Наконец-то вы пришли в себя!

Я попытался опереться на локоть, но он мягко, но настойчиво потребовал:

— Лежите! Лежите спокойно!

— А вы разве доктор? — усмехнулся я.

— Не доктор, но в отряде кое-чему научился, всяких больных повидал.

— Вот как?.. И сколько же мне лежать?

— Хотя бы сегодня. Ведь вы только очнулись. Нельзя же так, сразу.

— Хорошо,— согласился я.— А где остальные?

— Криворученко и Березкин в разведке, а Таня и Сергей здесь. Я сейчас позову их. Только вы, пожалуйста, не вставайте, а то мне нагорит.

Логачев сделал несколько шагов, и мне показалось, будто он провалился сквозь землю. Он непостижимо исчез из моих глаз. Не успел я удивиться, как все объяснилось. Послышались голоса. И на том месте, где исчез Логачев, на уровне земли появилась сначала голова Тани, затем ее плечи и, наконец, вся Таня. За нею

из-под земли выбрался небольшого роста паренек, видимо радист Ветров, и наконец Логачев. Оказывается, впереди был обрыв, и, лежа, я не мог видеть его.

Первой подбежала Таня:

— Кондратий Филиппович! Ожили! — Она опустилась возле меня, поцеловала в заросшую многодневной щетиной щеку, смутилась, начала поправлять постель, на которой я лежал.

— Тише, ты, тише... — наставительно и серьезно проговорил подошедший хлопец, в котором я без труда признал радиста Сергея Ветрова. — Здравствуйте, товарищ майор! — Он подал руку и назвал себя.

Голос у него был басовитый, а может быть, он нарочно старался так говорить. Хотя на нем было все, что положено разведчику в тылу врага: на шее автомат, на пояском ремне пистолет в кобуре, компас, финский нож, обоймы к автомату в парусиновых чехлах и через плечо на тоненьком ремешке кожаная потертая планшетка, — ничего героического его вид не являл. Ростом он был на самом деле с винтовку. Большие глаза, тонкая девичья шея. Из-под короткого ежика выступал мальчишеский выпуклый лоб, курносое лицо густо усыпано веснушками.

«Какой же ты малец!» — чуть не рассмеялся я, глядя на него.

Держал себя Ветров с подчеркнутой важностью: он хмурился, на переносице собирались от сосредоточенности морщинки, светлые глаза посматривали с напускной суровостью.

Логачев и Таня расположились на траве, по обе стороны от меня, а Ветров опустился на корточки в ногах.

Оказывается, ребята отыскивали меня лишь на третий сутки после прыжка, но не в избушке, а на поляне, рядом с вещевым мешком.

— Мы трое суток сряду, не смыкая глаз, искали вас днем и ночью, — рассказывал Логачев. — И что только не передумали...

— Я нашел ваш вещевой мешок с банкой консервов и флягой в первый же день, вечером, на поляне, — вставил Сережа Ветров.

— Верно, — подтвердила Таня. — И мы ршили не

брать мешок, а установить возле него дежурство. Семен был уверен, что вы придете к мешку, и он оказался прав. Пока все искали вас, Березкин и Ветров дежурили поочередно возле мешка. А на третьи сутки, рано утром, в дежурство Сережи Ветрова вы и сами заявили. — Таня озорно улыбнулась и добавила: — Ветров здорово испугался вас...

Сережа возмущенно тряхнул головой.

— Ничего удивительного! — сказал он. — Тут кто хочешь испугается. Вид у вас был такой!.. Вы шли, падали, поднимались, кричали что-то в бреду, а когда я связал вас и уложил, городили такое, что у меня волосы дыбом поднимались.

— А у тебя и волос-то нет, — деловито поправил Логачев. — Ты стриженный.

Все рассмеялись. Сережа шмыгнул носом, нахмурился. Он сидел, обхватив руками колени, и покачивался из стороны в сторону.

— Что же со мной стряслось? — поинтересовался я.

Отвечал Логачев:

— По всей видимости, горячка.

— Сколько времени прошло с той ночи?

— Семь суток, — сказала Таня.

Я ахнул. Шутка сказать: семь суток, и я ничего не помню! Абсолютно ничего! Потом друзья рассказали мне все подробно.

До лагеря ребята несли меня на руках, пять километров... Клади мне на голову и сердце холодные компрессы, пичкали разными снадобьями из неприкосновенного запаса, ночью держали в землянке, а на день выносили на воздух.

— А если бы Сережа не нашел ваш мешок, — сказал Логачев, — было бы плохо. Ведь мы искали вас совсем в другой стороне.

Мы проболтали до самого вечера. Собственно, говорили ребята, а я больше слушал. Уже в сумерки в лагерь вернулись Криворученко и Березкин.

Встреча с Семеном была бурной и радостной. Он расцеловал меня и тут же предложил побрить. Я не возражал.

Познакомился я и с пятым участником группы — Березкиным. Он мне пришелся по душе. Небольшого

роста, худощавый, подвижной, в кепке с заливчатски заломленным козырьком, с темным лицом и наголо стриженной головой, он походил на цыгана. Чувствовалось, что он подвижен как ртуть, очень энергичен и не может сидеть без дела. Пока шли бритье и беседа, в которой мы вновь и вновь возвращались к недавним событиям, Березкин нашел себе работу. Остро отточенным перочинным ножом он искусно выстрогал и тщательно отделал две узенькие дощечки, сложил их вместе, обтянул брезентом и, достав из кепки иголку с суровой ниткой, обшил. Получились прекрасные ножны для охотничьего ножа, которые он тут же и вручил Логачеву.

Из рассказов ребят выяснилось, что, если бы Фома Филимоновичу не удалось закрепиться около гауптмана Гюберта в качестве егеря, друзья несомненно потеряли бы осиное гнездо из виду.

Никто, кроме Гюберта и его нового помощника Штейна, не знал, куда будет перебазирована Опытная станция. Не знал даже Похитун. Но старик Кольчугин спас положение. Он отправился со станцией на новое место, обосновался там и немного спустя отпросился на пять дней в отпуск домой. Через Березкина он сообщил Логачеву о новом местонахождении Опытной станции.

Я очень обрадовался, узнав, что через четыре дня Фома Филимонович обещал сам пожаловать на «Полюс недоступности». Обрадовался, а потом встревожился.

— Это не опасно? — спросил я.

— Да нет, — успокоил меня Криворученко. — Мы не злоупотребляем этим. Он придет второй раз, а обычно мы встречаемся в лесу. Гюберт отпускает его по разным охотничьим делам. То он тетеревиные тока отыскивает, то утиные выводки, то скрадки оборудует, шалаши всякие строит. Да и осторожен Фома Филимонович. В лесу его черта с два найдешь, а он любого увидит...

Через два дня я впервые встал и сделал небольшую прогулку. Я очень ослаб, похудел, но ко мне вернулся прежний аппетит, и дело быстро шло на поправку.

За эти дни я лучше узнал Логачева, Березкина и Ветрова. Это были верные, надежные люди, отлично подготовленные. С Сережей Ветровым мы откровенно побеседовали как-то вечером, в его дежурство. Он был очень смешлив, но из всех сил старался не смеяться. Сережа сдерживал себя, когда речь шла о смешном; на его крутой, выпуклый лоб набегали тоненькие, как паутина, морщинки. Видно было, что он из всех сил старался выглядеть солиднее и старше своих семнадцати лет.

Он рассказал о себе. Его отец и старший брат воевали на фронте: отец — комбатом, брат — командиром орудийного расчета. Мать и сестра живут в Москве, обе работают.

Сережа поделился со мной своими жизненными планами. Он стал радистом, потому что с детства увлекался радио и твердо решил посвятить себя этому делу. Он будет изобретать, экспериментировать, и о нем еще услышат. Он не прочь и попутешествовать. Например, он собирается побывать на Южном полюсе и говорит об этом так уверенно, как будто все зависит только от него.

Десятилетку Сережа не окончил — помешала война, но после войны обязательно закончит, а потом собирается учиться на радиофакультете.

Криворученко говорил о Ветрове очень тепло. Он еще в бытность мою на Опытной станции расхваливал радиста, а сейчас души в нем не чаял. Сережа за все время не сорвал ни одного сеанса, не перепутал ни одной радиогаммы, ухитрялся вести прием и передачи даже в походе, когда группа меняла место стоянки.

А Березкин слыл мастером на все руки. Все ребята курили из мундштуков, сделанных Березкиным. Он чинил оружие, правил бритвы, плел корзины для ловли рыбы, ремонтировал зажигалки и карманные фонарики. Взяв в руки какой-нибудь предмет, он сразу начинал соображать и прикидывать, что полезное можно из него сделать. Все, что попадалось ему на глаза, превращалось в строительный материал. В сумке из-под противогаза у Березкина хранились напильники, буравчики, стамеска, шило, металлическая линейка, клещи, плоскогубцы, два ножовочных полотна, оселки, сапожные ножи, иглы.

После купанья в болоте я думал, что навсегда лишился часов. Я уже хотел их выкинуть. Но Березкин не позволил: полдня ковырялся в них и вернул. Часы, к моему удивлению, бодро тикали, отставали лишь на одну минуту в сутки от Серезинового хронометра.

37. ТАНЯ ЕДЕТ ВО ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

Ребята удачно окрестили свой лагерь «Полюсом недоступности». Среди болот, раскинувшихся на сравнительно большой площади, стоял небольшой, метров двести в длину и немного меньше в ширину, сухой островок, заросший смешанным лесом. Тут росли сосны и ели, береза и ольха, орешник и дуб, осина и шиповник. Северная сторона острова, где лес рос особенно густо, была пологой и спускалась в болото, а южная кончалась отвесным десятиметровым обрывом.

В отвесной стене, замаскированной густым кустарником и толстенными, в руку человека, корнями, ребята вырыли и оборудовали под жилье вместительную пещеру. Перед входом устроили нечто вроде балкона. К пещере вели два хода: один сверху — с вершины обрыва, другой — снизу, с едва заметной на болоте тропинки.

— Сюда не всякий рискнет пробраться, — говорил мне Криворученко. — Первые дни мы ходили через болото не иначе, как по двое, а потом освоились. Теперь даже ночью ходим свободно.

За болотами тянулся густой смешанный лес с непроходимыми зарослями орешника, рябины, молодой березы, ольхи.

— Местечко это высмотрел и посоветовал нам Фома Филимонович, — сказал Криворученко. — Не ошибся дед!

Место действительно было очень удобное, поистине недоступное, но, к сожалению, не очень здоровое. Над болотными хлябями подолгу задерживался влажный туман, от них тянуло сыростью даже в жаркие дни. Вода и после кипячения отдавала тиной. Комары и гнус водились здесь тучами. По вечерам и ночам они ватагами толклись в воздухе, и все звенело от их жуж-

жания. Но менять стоянку не имело смысла, тем более что задерживаться здесь надолго я не собирался. Мое задание было ограничено хотя и не совсем точными, но все же недолгими сроками.

В тот день, когда в лагерь должен был прийти Фома Филимонович, я, выражаясь официальным языком, окончательно принял на себя командование группой и провел с ребятами обстоятельную беседу.

Это происходило прохладным, росистым утром.

Мы проверили наличие имущества, оружия, боеприпасов, специальной техники, продуктов и взяли всё на учет. Того, чем располагала группа, и того, что было сброшено в мешке, было вполне достаточно для выполнения поставленной перед нами задачи.

Затем я сказал Семену, что хочу осмотреть «Полюс недоступности» и подступы к нему. Мы обошли остров, а потом отправились через болото в лес.

В болоте гнезилось множество дичи. Кулички и бекасы выпархивали из-под самых ног.

И я невольно сказал:

— Вот бы сюда централочку!

Семен, шагавший рядом, тряхнул своим непокорным чубом, усмехнулся и сказал:

— Нет, мы ведем себя тихо.

— И правильно. А вблизи никто не появляется?

— Вблизи нет,— ответил Семен,— а вот на озере, километрах в семи отсюда, Березкин как-то видел двух крестьян. Рыбу ловили бреденьком. Но это было еще весной.

Дальше он рассказал мне, что группа, помимо наблюдения за резиденцией Гюберта, вела и обычную разведку. Ребята поочередно выходили в отдаленные населенные пункты и, называя себя партизанами, что было удобнее всего, беседовали с жителями и узнавали от них различные новости. Ребята также совершали вылазки на шоссе и наблюдали за прохождением воинских транспортов. Все сведения передавались на Большую землю.

— А партизаны далеко? — поинтересовался я.

— Не особенно,— ответил Семен,— километров двенадцать. Столько же, сколько до шоссе, но в другую сторону. Логачев дважды проводывал их.

Обход занял около трех часов. Я получил полное представление о «Полюсе недоступности».

Возвращались в лагерь проголодавшиеся, уставшие и еще издали заметили царившее там оживление. До нас доносился громкий говор, смех, а когда мы вышли из зарослей орешника, то увидели Фому Филимоновича в окружении Тани и ребят.

Они сидели у пылающего костра, под березой, где я впервые пришел в себя. Над огнем висел закопченный котел, из него валил пар.

Фома Филимонович, увидев меня, поднялся с земли и заторопился навстречу.

Он обнял меня и долго тискал, приговаривая:

— Заждался тебя, душа моя! Заждался! Грешным делом, подумывал, что не свидимся... Какой же ты чахлый!

— Маленько прихворнул,— ответил я, вглядываясь в подсушенное временем и заботами лицо старика.

— Слыхал, слыхал... Ребятки всё рассказали. И угодило же тебя влипнуть в это болото, пропади оно пропадом! — Старик покачал головой и потянул меня к костру.

— Ты надолго? — спросил я.

— Да часика на три... — ответил Кольчугин и обратился к Тане: — А ну-ка, дочка, давай глухаря налаживать.

Таня бегом бросилась в куст орешника и вернулась с ошипанным и выпотрошенным глухарем.

— Ну-ка, Мишутка,— обратился старик к Березкину,— спроворь мне листьев, да покрупнее. Живенько!

Березкин побежал выполнять поручение.

Фома Филимонович поглядел ему вслед, подмигнул мне и спросил:

— Как паря?

— Хорошо!

Кольчугин усмехнулся и заметил:

— Суший цыган... ни дать ни взять. И большой умелец. У него из рук ничего не вывалится!

Фома Филимонович поворошил палкой костер, сгрел в сторонку горящие поленья и золу и, вытащив из-за голенища большой нож, вырыл им в земле вместительную яму. На самое дно ее он насыпал золы. Когда

Березкин принес листья, старик аккуратно обернул в них глухаря, положил в ямку, засыпал ровным слоем золы и земли и передвинул костер на прежнее место.

— Вот так...— проговорил он, вытирая о траву нож.

В котле бурлило какое-то варево, и аппетитный запах шекотал ноздри.

Все расположились вокруг костра, смолистый дымок обкуривал нас и разгонял мошкору. Сквозь зеленые кружева ветвей проглядывало густо-синее безоблачное небо.

Фома Филимонович подвинулся, положил руку на мое колено и сказал:

— Значит, сон в руку выдался. Привиделось мне сегодня в ночь, будто я от тебя письмишко получил. И вручил мне его Похитун. Пришел — а ты уже тут.

— А как Похитун? — спросил я.

— А что Похитун? Он не живет. Прикидывается, что живет. Все мертвую закладывает. Съедает его винный червячок, съедает. Все свои беды и радости вином заливает. Пропащий человек! А мы с ним «душа в душу». Сошлись мы... Ты прав был, Кондратушка: надо... для пользы дела. Тьфу!..

— Ты что же, пешком?

— Зачем пешком, на кобылке! Я ее на заброшенном зимовье оставил. Стреножил и оставил. Пусть пасется. Трава ноне выдалась высокая, жирная. Хорош был бы укос. Э-хе-хе! И погодка стоит подходящая. Я кружным путем до зимовья ехал, а сюда, конечно, пешочком, с ружьишком. Пока шел, глухаря и двух тетерок взял...

Ребята внимательно слушали. Березкин тоже слушал, но, по укоренившейся привычке, был занят делом: накалял в огне тоненький железный прут, видимо обломок шомпола, и выжигал им какой-то замысловатый узор на очищенной от коры тросточке. Делал он это так, будто в этом состоял весь смысл его жизни.

Таня сидела возле деда. Она стала просто неузнаваемой. Жизнь на свежем воздухе, в лесу, преобразила ее. Она загорела, окрепла, возмужала, стала подвижнее. В ее спокойных и когда-то печальных глазах появился задорный, веселый блеск.

Семен Криворученко то и дело поглядывал на Таню. Сегодня, смущаясь и ища нужные слова, он сказал мне,

что Таня — его невеста. Все уже решено и договорено: и друзья знают, и Фома Филимонович одобряет.

Что можно было сказать на это? Я был очень рад за обоих: ведь я так любил Семена, моего верного, близкого, боевого друга-товарища, и я успел полюбить нежную и отважную Танюшу. Хорошо, что они будут вместе. Я поздравил своего друга, пожелал ему большой любви и посоветовал беречь счастье.

Танюшу я не успел еще поздравить. Я надеялся, что подыщу для этого удобный случай, а пока спросил:

— А как же Таня попала на «Полюс недоступности»?

Ответил Фома Филимонович. Когда стало известно, что Опытная станция меняет свое место и Гюберт увозит с собой старика, встал вопрос о Тане. Оставлять ее одну в городе было опасно, брать с собой невозможно. Надо было найти какой-то выход, и, хотя времени было мало, ребята сообща додумались. За несколько дней до перебазирования Опытной станции Фома Филимонович пробрался к Гюберту и заявил, что намерен отправить свою внучку в Германию. Пусть, мол, она поживет в такой великой стране, как Германия, поработает на первых порах, а потом, глядишь, и подучится чему-либо, а то и образование настоящее получит... Гюберт отнесся к просьбе Фомы Филимоновича положительно и заинтересовался, чем он может помочь. Кольчугин объяснил, что хорошо бы получить от Гюберта «бумаженцию», которая дала бы внучке возможность добраться до Германии по-людски, в пассажирском поезде, а не в общем эшелоне. Он добавил, что внучка у него как-никак одна-единственная да и сам он «служит верой и правдой». В тот же день Гюберт вручил Фоме Филимоновичу деньги и документы на проезд в город Франкфурт-на-Майне Кольчугиной Татьяне Фоминичне.

— А дальше? — полюбопытствовал я.

— Дальше пошло все как по маслу, — усмехнулся Логачев.

— До вокзала я довез Таню на машине, — продолжал Кольчугин, — а с машины она попала на подводу к Семену — и прямо в лес.

— И волки сыты, и овцы целы! — заключил Березкин.

— Здрóрово! — одобрил я. — И смело! А Гюберт не интересовался ее судьбой?

— Было дело,— ответил Фома Филимонович.— Как-то он полюбопытствовал и спросил, что пишет внучка, а я почесал затылок и сказал, что молчит... Видать, забыла, дрянная девчонка, старика. Увидела свет, голова вскружилась — и забыла. Гюберт успокоил меня и сказал: «Не унывай, найдется. В Германии все люди на счету!» А я про себя подумал: «Хитрый ты, чертяка, слов нет, однако мы похитрее оказались и обдурили тебя». Потом как-то, по наущению Семена, я сам подошел к Гюберту во дворе и сказал: «Как же быть мне, господин майор? Пропала ведь Танька. Ни слуху ни духу! Уж не приключилась ли с ней беда?.. Ведь времечко-то военное, тревожное». И Гюберт опять успокоил меня: «Не волнуйся, старик, все выяснится, ничего страшного не случится. Объявится, мол, твоя внучка да еще пригласит тебя в гости». На том и окончились все разговоры.

Варево побежало из котла через край, и костер зашипел. Таня спохватилась, сняла с котла деревянную крышку, и клубы горячего пара смешались с дымом.

Я выжидал и берег сюрприз до удобной минуты.

Таня разостлала в сторонке от костра плащ-палатку, положила на нее крышку. Семен Криворученко снял котел обеими руками и водрузил на крышку. Появились деревянные ложки, черные, уже тронутые плесенью сухари.

— Где же моя фляга? — спросил я.

— В порядке, товарищ майор,— ответил Березкин.— В целости и сохранности. Доставить сюда?

Я кивнул, и Березкин побежал в землянку.

Когда он вернулся и мы по капельке спирта разлили в кружки, я объявил, что Указом Президиума Верховного Совета Фома Филимонович Кольчугин, Криворученко и Ветров удостоены правительственных наград.

Вначале все опешили от этого известия, особенно Сережа Ветров. Он покраснел, как бурак, и мне показалось, что глаза его подернулись влагой. Он судорожно глотал воздух и, не в состоянии выговорить ни слова, смотрел в огонь. Фома Филимонович хмурился и пощипывал свою обкуренную бороду.

— Чего же приуныли?! — громко воскликнул Логачев.— Выпьем за первые и не последние!

Все встрепенулись.

— Медали!..— сдержанно проговорил Фома Филимонович и покрутил головой.

Таня обняла деда и крепко расцеловала.

— Начинайте, Фома Филимонович,— обратился к Кольчугину Березкин.— Вы старейший, вам и начинать.— И он подал старику огромную деревянную ложку, могущую сойти за черпак.

— Старейший — это еще не старый,— ухмыльнулся Кольчугин.

Вооружившись ложками, все дружно бросились в решительную атаку на суп, черпая его прямо из котла. Суп из двух тетеревов, заправленный концентратами из пшенной крупы, выдался на славу. Все наперебой хвалили повара — Танюшу.

— Ешь, Кондрат, до отвала, нагуливай жирок! — приговаривал Фома Филимонович.

Сам он ел степенно, не торопясь, держа под ложкой сухарь.

Сережа Ветров подражал ему.

Когда деревянные ложки стали скрести по дну котла, Фома Филимонович сдвинул костер и извлек из ямки глухаря. Он дымился паром и издавал непередаваемо аппетитный запах.

Старик разрезал глухаря на куски и предложил:

— Угощайтесь!

От второго блюда все пришли в еще больший восторг. Когда я расправился с первым куском, Фома Филимонович подсунул мне второй.

Я наотрез отказался:

— Хватит! Так наелся, что шевельнуться не могу. Сам ешь!

Фома Филимонович покачал головой:

— Тоже не могу. Душа больше не принимает.

Выручил Криворученко:

— Ну-ка, переправьте этот ломтик сюда! Моя душа примет...

Обед разморил всех. Не хотелось подниматься, двигаться. Подбросили свежих поленьев в костер, и, заняв поудобнее, ребята начали доставать кисеты и крутить сигарки. Фома Филимонович отказался от табака, предложенного мною, и свернул самокрутку из своего

горлодера. Выхватив из костра горящее полешко, он дал прикурить мне и прикурил сам.

Брезкин запалил свою сигарку солнечным лучом, через увеличительное стекло.

Возобновился прерванный разговор. Я попросил Фому Филимоновича рассказать, что представляет собой новый помощник Гюберта — майор Штейн.

Старик сел поудобнее, подобрал под себя ноги и начал:

— Это такой злыдень, такая выжига, что Гюберта за пояс заткнет! Злой, как цепной пес! Ест всех поедом. Все жилы выматывает. Такому палец в рот не клади! А с полковником Габишем — друг. Тот сам его доставил к нам, на своей машине.

Оказывается, с появлением Штейна на Опытной станции положение Фомы Филимоновича несколько изменилось. Через Похитуна Кольчугин узнал, что Штейн с первых же дней настроился к нему очень враждебно. Ему не понравилось пребывание Фомы Филимоновича на станции. В присутствии Похитуна Штейн как-то сказал Гюберту: «Напрасно вы держите здесь эту старую дрянь. У русских есть очень удачная поговорка: «Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит». Гюберт ответил ему: «Волк волку рознь. Зубы старого волка никого не пугают». Штейн заметил: «Кроме зубов, у него есть глаза и уши». Тогда Гюберт объяснил, что не опасается Кольчугина, что внучка его живет в Германии, что до революции старик несколько лет работал у такого верного их соотечественника, как покойный помещик барон Эденберг. Тот был не настолько глуп, чтобы держать около себя всякую дрянь. Штейн не унимался и утверждал, что нельзя сравнивать нынешние времена с дореволюционными, что тогда люди смотрели на все иначе. Гюберту, видно, надоело пререкаться, и он заявил, что знает, что делает, и попросил своего помощника не касаться больше этой темы. Штейн только пожал плечами.

Однако точка зрения Гюберта не изменила отношения Штейна к Фоме Филимоновичу. Он еще пуще невзлюбил старика, не отвечал на его приветствия и при встречах глядел на него так, что Фоме Филимоновичу становилось не по себе.

Однажды Гюберт, выйдя во двор и увидев Кольчугина, приказал отыскать Штейна. Старик разыскал Штейна на радиостанции за беседой с радистом Раухом и передал приказ. Штейн сразу изменился в лице, затопал ногами, разразился бранью, назвал Кольчугина старым дураком и строго-настрого наказал, чтобы он даже близко не подходил к радиостанции.

— Он по-нашему, по-русски, здорово говорит,— пояснил Фома Филимонович.

— Так, так...— заметил я, слушая старика. Такой оборот дела мне не особенно нравился. В лице Штейна появилась определенная угроза.— Продолжай, отец...

Фома Филимонович рассказал, что Штейн завел на Опытной станции новые порядки. Если раньше она охранялась одним караульным у входа, то теперь установлен еще и внутренний пост, во дворе. Кроме того, Штейн завел овчарок.

— Злые как черти! — говорил Кольчугин.— Признают только проводника своего да повара. Но ко мне мало-помалу приняхались. Не гавкают уже и не кидаются. А первые дни — страсть одна! Так и насакивают. Я их мясцом приманиваю. Их держат полуголодными, а я нет-нет да и подброшу кусок. Поначалу рычали, скалились и мясо не брали. Должно, так приучены. А потом пообвыклись.

— Значит, Штейн — человек опасный? — уточнил я.

Фома Филимонович махнул рукой.

— Какой это человек! У него желчь одна и злоба. Разве может человек обидеть бессловесное существо?— И Фома Филимонович рассказал случай, дополнивший характеристику Штейна.

Как-то Штейн ездил куда-то верхом и вернулся домой на взмыленной лошади. Она хромала на заднюю ногу, и Кольчугин сразу подметил, что у лошади повреждено сухожилие. Когда Штейн надавил на больное место, конь вздрогнул, бросился в сторону и задел копытом ногу Штейна. Тот выругался, вытащил пистолет и выпалил два раза сряду коню в ухо.

— Вот он какой подлец! — заключил старик.— Бессловесную скотину, коня, расстрелял. Бешеный!

— Да-а...— протянул я.— Видно, трудный характер у нового помощника Гюберта. Чем же еще он отличился?

— А он что ни день, то и отличается. Как-то дал зуботычину Похитуну. Повстречал его пьяного в столовой и так запросто сунул ему в зубы. Вот уж проклинал его после Похитун. Боже ты мой!.. Он такую затаил против него злобу, что слопать готов с потрохами. И еще Штейн придумал штуку: два раза в неделю, как по расписанию, солдат и проводник берут самую здоровую овчарку, Спрутом ее звать, и марш в лес... Часа по четыре, по пяти болтаются в лесу и прочесывают всю окрúгу.

— И что-нибудь получается?

— Ничегошеньки. Один раз пожилую бабу задержали с лукошком, в другой — напоролись на подростков. Подростков пороли шомполами.

Рассказал Фома Филимонович и еще одну подробность. В апреле на станции появился молодой парень, белорус, по имени Тарас. Он прожил на станции около месяца. С ним занимались Раух и Похитун. А перед самым маем Гюберт вернулся из города, вызвал к себе Тараса и так исколотил его, что парня на руках вынесли из его кабинета. Этой же ночью Венцель и Раух вывели Тараса в лес и расстреляли.

— Страшные дела творятся, Кондрат! — сказал Фома Филимонович. — Лежишь ночью в своей дыре, а в голову лезет всякая дурь. Выведут так же вот в лес — и будь здоров!

— До этого еще далеко, — заметил я. — Да и мы стараемся не допустить этого. Теперь послушайте, что я вам скажу.

Я изложил друзьям суть задания, с которым прибыл, и задачи на ближайшие дни.

— Ой, беда с тобой, Кондрат! — проговорил Фома Филимонович, когда я окончил. — Помереть спокойно не дашь!.. Всё планы плануешь. Что ж, заварили кашу — придется расхлебывать. Хм... А каша, душа моя, крутенькая получилась. До того крутенькая, что и ложкой не провернешь.

Я предложил Фоме Филимоновичу по-новому приглядеться к Опытной станции, рассмотреть и запомнить все так, чтобы можно было начертить ее подробный план. Старик больше не должен появляться на «Полюсе недоступности». Это не вызывалось необходимостью и в то же время могло повлечь за собой тяжелые последствия. Он

согласился. Мы договорились об очередной встрече и о знаках в лесу на тот случай, если возникнет надобность в срочном свидании.

Я, Криворученко и Логачев проводили Фому Филимоновича до заброшенного зимовья и лишь под вечер вернулись обратно.

38. СЕМЕН, СЕМЕН...

Четыре дня спустя, рано утром, меня разбудил сдержанный разговор. Я прислушался и услышал голос Миши Березкина.

— Вот и пойдем вместе,— говорил он.— Я хочу прогуляться с тобой.

— Ты у меня, как хвост у коня,— ответил Семен Криворученко.— Но сегодня я не вижу надобности в совместной прогулке.

— А я вижу,— настаивал Березкин.

— «Я, я»! — передразнил его Семен.— Сиди уж. Может, ты понадобишься Кондратию Филипповичу.

Оба умолкли. Я сообразил, о чем идет речь. Криворученко собирался в лес, чтобы проверить, нет ли сигналов от Фомы Филимоновича.

Я слышал, как одевался Семен, как шуршал он одеждой, не слезая с нар.

— А вот я могу сделать так, что один ты не пойдешь! — объявил Березкин.

Я приподнял голову и увидел Криворученко. Он сидел, свесив ноги, и застегивал ворот гимнастерки.

— Что же ты сделаешь, хотел бы я знать? — сказал он.

— Посмотри на ноги!

Криворученко вытянул босые ноги, пошевелил пальцами и заметил:

— Ну и что? Ноги как ноги...

— Без сапог?

Семен поглядел по сторонам, заглянул под нары, тряхнул чубом и сказал:

— Мишутка, детка! Дай-ка сюда сапоги. И быстренько! А то я зажарю босиком и схвачу насморк. Сам потом жалеть будешь. Ну! Считаю до десяти. Раз... два... три...

Березкин вздохнул, вытащил из-под головы сапоги и бросил их Семену.

— Вот так лучше,— сказал Криворученко.

Через полчаса он ушел.

Я с утра засел за карту, чтобы по ней хорошенько ознакомиться с расположением осинового гнезда и его окрестностями. Ко мне подсели Логачев, Березкин, Ветров и Таня. Они помогали мне пояснениями, так как хорошо знали местность.

Гюберт выбрал новое место в глухом лесу. В четырех-пяти километрах от него, строго на запад, находился районный центр, а километрах в восьмидесяти на восток — уже знакомый нам город. В пятнадцати километрах юго-восточнее осинового гнезда на карте был обозначен леспромхоз, который, по словам Логачева, с приходом оккупантов разорен и бездействует, людей там уже давно нет.

На востоке от «Полюса недоступности» пролежала железная дорога, за которой базировался партизанский отряд, а на западе — шоссе.

Сам «Полюс недоступности» находился в двадцати километрах южнее осинового гнезда, в заболоченной местности.

В радиусе пятнадцати — двадцати километров от нашего лагеря находились деревни Ловлино, Раковка, Карасево, Ближняя. Между ними были проложены лесные, недоступные для автотранспорта дороги, которыми оккупанты почти не пользовались.

От железнодорожного разъезда — через леспромхоз, деревню Селезневку и осинное гнездо — тянутся большак, местами устланный щебенкой, а в низках, болотистых местах — кругляком.

Пользуясь картой и подсказкой друзей, я принялся составлять рабочую схему и провозился с ней до обеда. После обеда занялся составлением донесения полковнику Решетову, так как в шестнадцать часов Ветров должен был проводить сеанс.

Уже под вечер я спохватился, что Криворученко еще не возвратился. Логачев меня успокоил.

— К ночи вернется.— сказал он.— Мы обычно к ночи возвращаемся из обхода.

Я попросил Логачева показать на карте место сви-

даний с Фомой Филимоновичем. Оно оказалось в районе Ловлино, по прямой — километрах в десяти отсюда.

Но Криворучейко не вернулся и к ночи. Все обеспокоились, хотя вслух и не высказывали опасений. Ужин прошел вяло, в молчании. И сразу после ужина все, кроме дежурившего Ветрова, залезли в землянку.

Погода стояла пасмурная, небо затянули тучи, дул порывистый ветер, тоскливо и неумоно шумел окрестный лес.

Лежа на нарах, не зажигая коптилки, ребята стали высказывать догадки и предположения о причинах задержки Семена.

— Возможно, Фома Филимонович сам пришел, — проговорил Логачев. — Может быть, какие-нибудь новости... Разговорились...

— Один раз было так, — осторожно вставила Таня, — что дед заночевал в лесу, а с ним остался и Семен.

— А помнишь, как Семен оступился и вывихнул ногу? — напомнил Березкин.

— Ну и что? — спросила Таня. — Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что в дороге всякое может случиться, — ответил Березкин, встал и зажег коптилку.

Таня лежала в своем уголке, заложив руки за голову, и, щурясь, смотрела на мигающий огонек. Сережа Ветров заглянул в землянку, обвел всех взглядом и, посмотрев на наручные часы, исчез.

— Он, видно, вот-вот подойдет, — пробормотал Логачев.

Но время шло, а Семена не было. К сердцу подкрадывалась глухая, неосознанная тревога. Березкин встал, натянул на себя гимнастерку, надел сапоги и обратился ко мне:

— Я пойду встречу его, Кондратий Филиппович. Я всегда говорил, что в лес надо ходить вдвоём. Мало ли что может приключиться, а один в поле не воин. Я и сегодня хотел идти с Семеном, да он заупрямился.

— Я тоже пойду, — решительно поднимаясь, сказала Таня.

— Никуда ты не пойдешь! — сердито прикрикнул я. — Лежи и спи! Пойдут Березкин и Логачев. Поднимайтесь, товарищ Логачев!

— Есть!

Через минуту Логачев и Березкин вышли. Я оделся и последовал за ними. К нам подошел Ветров, светя горячей сигаркой.

Несколько мгновений мы стояли молча, осваиваясь с темнотой.

— Мы пойдем разными тропинками, так вернее... — сказал Логачев.

Я одобрил и спросил:

— Сколько это займет времени?

— Днем часа за четыре можно управиться туда и обратно, а сейчас уйдут все шесть, — ответил Березкин.

— Да, не меньше, — подтвердил Логачев.

— Теперь первый час, — заметил я. — Ну что ж, ступайте!

Ребята взяли автоматы и спустились с обрыва вниз. Сделав несколько шагов, они скрылись во мраке. Ветров отошел в сторонку и сел у обрыва, свесив ноги. Я закурил. На душе было смутно.

— Ночь-то какая дрянная! — сказал Ветров.

— Должна когда-нибудь и дрянная быть, — как можно бодрее отозвался я.

Ветров промолчал. Я выкурил сигарку и возвратился в землянку. Таня лежала неподвижно, лицом к стене. Она или спала, или делала вид, что спит. Я закрыл глаза, но, конечно, заснуть не мог. В голову лезли тревожные мысли. Уж не увяз ли Семен в проклятом болоте? В такой темноте это не мудрено, тем более что в нескольких местах тропинка совсем уходит из-под ног и приходится прыгать с кочки на кочку. Я сам убедился в этом, когда мы провожали Фому Филимоновича, и дивился старику, который так спокойно и уверенно — в его годы! — скакал по кочкам, точно кулик.

Я понимал, что для того, чтобы утонуть в топком месте, достаточно нескольких минут и что, если с Семеном произошло такое несчастье, думать о его спасении уже поздно. Но... нельзя бездействовать ни секунды!

— Таня! — позвал я, поднявшись с места.

— Да, Кондратий Филиппович, — отозвалась она.

— Подмени Ветрова, а мы пройдемся с ним по болоту.

— Хорошо.

Таня вышла вместе со мной.

— Ты, Сережа, дорогу по болоту хорошо знаешь? — спросил я.

— А что же тут знать? — ответил Сергей.

— Не заблудимся?

— Ну что вы...

— Пойдем!

— Фонарик взять?

— Возьми.

Оставив Таню, я и Сережа спустились к болоту. Мигая фонариком, мы отыскиали стежку и, осторожно ступая по ней, отправились в сторону леса. Стежка прихотливо извивалась, пробиралась по зыбким трясинам; под нашими ногами колыхались и чавкали болотные хляби. Я освещал фонариком наиболее подозрительные места. Мы часто останавливались, вслушивались в ночные звуки, несколько раз аукали и звали Криворученку, но безуспешно.

Из-под наших ног вспархивали испуганные птицы и, пролетев немного, тут же шлепались на воду. Мы достигли леса, перекурили и вернулись обратно, ничего не обнаружив.

Уснул я не сразу и не скоро. Засыпая, видел неуверенный, зыбкий свет, просачивавшийся в землянку, и зеленоватый туманный сумрак, висевший над болотом. В пещеру пробиралась утренняя сырость. Я накрылся с головой шинелью и забылся.

Проснулся я, когда уже светило солнце. Проснулся от какого-то внутреннего толчка. Таня стояла, прислонившись к стене, и заплетала косу. Я хотел было спросить ее о чем-то, но в это время в дверном проеме показался Березкин. Он дышал тяжело, порывисто и, сделав шаг, сказал:

— Семен погиб!..

— Что ты сказал?! — не своим голосом переспросил я и соскочил с постели.

— Семен погиб! — повторил Березкин и в оцепенении опустился на нары.

За его спиной появились Ветров и Логачев.

— Ой!.. — придушенным голосом вскрикнула Таня и упала.

Все бросились к ней. Мы подхватили ее, положили на нары. Она была без сознания. В землянке стало тихо.

— Говори! — приказал я Березкину.

Он рассказал. К месту встречи с Фомой Филимоновичем вели две тропы: одна — сплошным лесом, через сечи, другая — просеками. Логачев пошел первой, а Березкин — второй. Они условились дойти до зимовья, встретиться там и, в зависимости от результатов, решить, что делать дальше. Но Березкин не дошел до зимовья, где обычно ожидал Фома Филимонович. Метрах в пятистах от зимовья, в том месте, где к просеке вплотную подходит протока, он увидел мертвого Семена. Через несколько минут подоспел и Логачев.

— Он убит вчера днем или даже утром... — сказал Березкин.

Логачев проговорил:

— Скорее, утром. Он уже окоченел.

— А как, кем, что еще вы увидели?

Логачев медленно покачал головой:

— Ничего не видели. И Семена не трогали. Он лежит так, как лежал.

— Мы не хотели трогать, — сказал Березкин. — Надо все осмотреть. Может быть, что-нибудь обнаружим.

— Берите оружие... быстро! — приказал я. — Тут останется Таня.

А Таня не приходила в себя. Я проверил ее пульс, он едва бился под моими пальцами.

Я написал Тане несколько слов и положил бумажку на стол. Другого выхода не было: мертвого Семена мы могли донести лишь вчетвером, поочередно.

— Пошли! — подал я команду. — Березкин, вперед!

Прежде чем выбраться на просеку, мы долго пробирались по едва заметной тропе. Она плела замысловатые узоры, делала неожиданные повороты, врезалась в густые папоротники, карабкалась вверх, терялась и вновь появлялась среди лесных трав.

По просеке идти было уже легче и безопаснее, так как местность просматривалась далеко вперед. Мы могли заметить врага чуть ли не за километр, хотя так же легко могли быть замечены и сами.

Взмокшие от пота, смертельно уставшие, мы вышли наконец к протоку, наполненному черной, неподвижной водой. Березкин остановился и молча показал рукой вперед, на что-то темневшее под кустом орешника.



Мы стояли над мертвым другом, сняв шапки, в глубоком молчании.

Семен лежал лицом вниз. Правая рука его, выброшенная вперед, была сжата в кулак, а левая лежала на затылке. Одна нога была подтянута под живот, будто перед смертью Семен хотел вскочить и броситься вперед.

Глаза его, всегда такие горячие, полные жизни и отваги, теперь были плотно смежены. Чистым, хорошим помыслом и мечтам, которыми была полна его большая душа, не довелось сбыться...

Мы стояли над мертвым другом, сняв шапки, в глубоком молчании.

— Так и было? — спросил я после долгой, томительной паузы.

— Так... — ответил Логачев.

— А где его автомат?

Никто мне не ответил. Все переглянулись в растерянности.

— С чем же он пошел?

— У него была граната и автомат, — сказал Березкин.

— Правильно, — подтвердил Ветров.

Но ни гранаты, ни автомата вблизи не было. Как погиб Семен, при каких обстоятельствах, от чьей руки? На этот вопрос мы должны были найти ответ.

Я принялся за осмотр тела. Руки и шея Семена были покрыты ранами. Некоторые из них по виду ножевые, другие казались рваными. Глубокая рана зияла на затылке. Она-то, видимо, и оказалась смертельной. Брюки были во многих местах изорваны в клочья.

— Смотрите! — сказал Логачев, вытянув из сжатой в кулак руки Семена клочок шерсти.

— Собака! — воскликнул Ветров.

— Овчарка! — проговорил Березкин. — Это шерсть овчарки...

Я еще раз, более внимательно, осмотрел тело и в нескольких местах на одежде обнаружил клочья прилипшей шерсти.

Значит, Семен боролся с овчаркой — в этом не было никаких сомнений. Но было также ясно, что Семен боролся не только с собакой. Рана на затылке и порезы требовали другого объяснения.

Мы наскоро изготовили походные носилки из длинных жердей и ветвей, закрепили их поясами и ремнями от автоматов и положили на них мертвого Семена.

— Давайте тщательно исследуем все вокруг,— предложил я.— А ты, Сережа, покарауль здесь. И гляди в оба.

Ветров кивнул и занял место у носилок.

Тщательно осмотрев тропу, мы пришли к единодушному заключению, что шагов двадцать Семен не шел, а полз. Об этом говорили отпечатки рук и ног на земле и примятая трава. Мы решили проследовать в направлении его движения.

И вдруг Логачев сказал вполголоса:

— Нож...

Он поднял его с земли и подал мне. Это был большой, обоюдоострый нож с тяжелой черной ручкой и лезвием, запачканным кровью вперемешку с шерстью.

— Ничего не понимаю,— проговорил я.— Этим ножом мог быть убит Семен, но им же, видимо, кололи и овчарку.

— Сюда! Сюда! — позвал Березкин.

И мы бросились к нему.

Возле самого протока, на берегу, в траве лежали два мертвых немецких солдата. Тут же валялся автомат Семена и граната.

— Семену пришлось схватиться с двумя!..— прошептал Березкин.

Мы осмотрели убитых. Можно было предположить, что Семен натолкнулся на солдат неожиданно, в густом орешнике. Одного из врагов Семен сразу свалил из автомата, о чем говорили пулевые ранения. Остался еще один. Что-то помешало и Семену и его второму врагу воспользоваться автоматами. По всей видимости, овчарка, бросившаяся на Семена. Защищаясь от ее укусов, Семен, очевидно, уронил и автомат и гранату. А фашист, опасаясь убить овчарку, бросился на Семена с ножом. Он нанес Семену, судя по ранам, два удара, но потом, можно полагать, Семену удалось вырвать у немца нож. Этим ножом Семен убил гитлеровца и ранил собаку.

— Но собаки нет,— сказал Логачев.

— И это очень плохо,— заметил Березкин.

Да, это было плохо. Раненая собака ушла, убедившись, что и человек, с которым она схватилась, и ее хозяева были мертвы. Она постарается добраться до дома и, конечно, приведет сюда людей.

Складывалась скверная обстановка...

Я сказал Логачеву и Ветрову:

— Несите Семена... А мы с Березкиным пройдем до зимовья. Да, кстати, проследим, куда поплелась собака. Потом мы вас догоним и сменим.

Логачев и Ветров подняли тяжелые носилки и отправились в печальный путь. Я и Березкин пошли дальше.

Я уже опасался за судьбу Фомы Филимоновича и за судьбу всего дела: не выследили ли старика и не пришли ли сюда солдаты с собакой по его следу?

— Немцы часто появлялись в этих местах? — спросил я.

— Да нет... — неуверенно ответил Березкин. — Во всяком случае, мы этого не замечали.

Тропинка сошла с просеки и повела нас в сторону, к зимовью.

— Далеко еще?

— Нет, шагов двести, — ответил Березкин и пояснил: — По договоренности с Фомой Филимоновичем мы всегда ожидали друг друга в течение часа. Если за это время один не являлся, то другой уходил. Возможно, что Фома Филимонович был здесь вчера и, не дождавшись Семена, ушел.

— Но Фома Филимонович должен оставить знаки?

— Да. И он всегда оставлял. Мы всегда знали, когда он придет в следующий раз.

— А время?

— Время у нас всегда было одно: полдень. Это удобно и нам и Фоме Филимоновичу: зимовье почти на пути.

— Стоп! — прошептал я.

И мы замерли, выдвинув вперед автоматы, — овчарка...

Да, это была овчарка, но уже неопасная для нас, хотя поза, в которой она лежала, была естественной для отдыхающей собаки.

Живая, даже смертельно раненная овчарка при виде чужих людей ни за что не улежала бы на месте. А эта даже не шелохнулась. Она была мертва, и мы без опаски подошли к ней вплотную.

Овчарка лежала на брюхе, вытянув вперед лапы и уткнув между ними морду.

— И ее доконал Семен,— произнес Березкин.— Один против троих! Недалеко она ушла...

Овчарка была необычайно крупная, с мощной, широкой грудью, крепкой шеей, толстыми и сильными лапами. По ее спине проходила широкая черная полоса.

«Страшный зверь!» — подумал я и невольно поежился: моему взору представилась схватка Семена с этим свирепым псом. Конечно, она ушла последней, когда все люди были мертвы. Иначе она не бросила бы своих проводников. На собаке мы обнаружили несколько глубоких ножевых ран.

Пса надо было спрятать. Березкин отыскал в сторонке огромный муравейник. Мы разворошили его, уложили в него поглубже овчарку и забросали муравейник хвоей.

Через десять минут мы вышли к заброшенному зимовью, от которого уцелели лишь жалкие остатки — несколько врытых в землю и насквозь прогнивших столбов, торчавших из густого бурьяна.

Березкин принялся за осмотр деревьев, окружавших поляну, и через минуту окликнул меня.

— Вот видите? — Он показал мне зарубки на белой коре березы.— Значит, Фома Филимонович был здесь вчера и, не дождавшись Семена, ушел.

Я всмотрелся в зарубки.

— И Фома Филимонович придет сюда послезавтра,— продолжал Березкин.

— Почему именно послезавтра?

— А вот три надреза, видите?

Я кивнул.

Теперь оставалось лишь неясным, когда здесь был Кольчугин — до или после гибели Семена. Но на этот вопрос никто не мог ответить.

На обратном пути мы отволокли трупы гитлеровцев в чащу, тщательно убрали следы крови на тропинке, забрали оружие и поспешили вслед Логачеву и Ветрову.

39. ГЮБЕРТ СОБИРАЕТСЯ НА ОХОТУ

Горе замутило Танины глаза. Потух в них лучистый, чудесный блеск, и на смену ему пришло выражение безмерного горя. В Тане что-то сразу надломилось. И что

меня пугало — она не плакала. Сухими, невидящими глазами она смотрела вдаль и бродила по лагерю, и все мы понимали, как тяжело дается ей это внешнее спокойствие. Никто не пытался утешать ее, так как каждый из нас нуждался в утешении. У Тани не было слов выразить свою боль, не находили слов и мы. Все, начиная с меня, самого старшего по возрасту, и кончая самым молодым — Сережей Ветровым, понимали, что обычные слова утешения здесь не нужны и бесполезны. Говорить пустые, ничего не значащие фразы мы не хотели. Бывают в жизни моменты, когда молчание лучше всего выражает чувство человека.

Почти всю ночь мы рыли могилу на том самом месте, где я не так давно очнулся после недельного беспмятства. У нас не было ни лопаты, ни кирки. Мы рыли могилу топором, ножами, немецким штыком, выгребая влажную землю руками.

Рано утром, с восходом солнца, при общем молчании мы бережно опустили тело Семена, обернутое в плащ-палатку. Потом долго стояли у открытой могилы.

«Прощай, дорогой человек!.. Прощай, боевой друг! — мысленно говорил я. — Я запомню день твоей смерти так же, как день смерти моей Танюшки. И я припомню его врагам».

Там, где положили Семена, вырос холмик. Небольшой свежий холмик, который мы обложили дерном.

А солнце уже поднималось. Оно пробилось сквозь густое сплетение ветвей и уронило на холмик яркий золотистый луч.

С нетерпением и тревогой ожидал я встречи с Фомой Филимоновичем. Одно то, что старик требовал досрочного свидания, уже само по себе вызывало беспокойство. И чего только я не передумал: над Фомой Филимоновичем нависла какая-нибудь угроза; Гюберт и Штейн разведали что-либо о «Полюсе недоступности»; Опытную станцию опять решили передвинуть на новое место...

Я терялся в догадках. Особенно тревожило сообщение Фомы Филимоновича о том, что Штейн приказал регулярно прочесывать лес. Нельзя было не сопоставить этого обстоятельства с гибелью Семена.

Я рассуждал так: Фома Филимонович, вероятно, попал под подозрение и майор Штейн установил за ним слежку. Эта слежка привела солдат с овчаркой к месту свиданий старика с ребятами. Ведь ранее, до этого, никто из участников нашей группы не замечал, чтобы фашисты проникали в глубь леса так далеко. А тот факт, что мы обнаружили свежие зарубки Фомы Филимоновича на заброшенном зимовье, еще ни о чем не говорит. Эти знаки старик мог оставить до того, как произошла схватка Семена с солдатами и овчаркой, и до того, как он был схвачен сам. И возможно, что с овчаркой пришло не двое солдат, а больше — трое, четверо. Один из них занялся Фомой Филимоновичем, схватил его и повел в осиное гнездо, а двое, с которыми столкнулся Семен, остались в засаде.

Но могло быть и так, что Фома Филимонович еще не схвачен, но с него не спускают глаз. Возможно, что немцы обнаружили место его свиданий с кем-то, для них еще неизвестным, и решили пока не трогать старика. Они видели, как Фома Филимонович делал зарубки, выждали, пока он ушел, а через некоторое время столкнулись с Семеном.

Одним словом, я приходил к очень неутешительному выводу, что свидание с Фомой Филимоновичем таит в себе опасность не только для него самого, но и для всего дела. Если старик уже арестован, он может появиться в лесу под дулом автомата как приманка. А если он не арестован, еще не подозревает о своем провале и явится на свидание, все равно по пятам за ним будут идти люди Гюберта. И они, конечно, организуют засаду.

Я поделился своими опасениями с Логачевым и Березкиным. Разумеется, подобные же опасения волновали и их.

— Для меня одно ясно, — сказал Логачев, — Фома Филимонович ничего не знает о гибели Семена.

— Откуда у тебя такая уверенность? — спросил его Березкин.

— Сейчас скажу... Если бы он знал, то, бесспорно, оставил бы на березе сигнал тревоги и опасности. Он знает, как это делать.

— А если ему не дали этой возможности? — спросил Березкин.

— То есть?

— А так, не дали, и всё. Его сцапали,— сказал Березкин.

— Кто же мог сцапать? Солдаты к этому времени уже были покойниками.

— Это в том случае, если их было двое,— возразил Березкин.— А если четверо, пятеро?..

— Ерунда! Если их было больше, то они не оставили бы в лесу убитых.

— Хотел бы я посмотреть,— усмехнулся Березкин,— как двое или трое уцелевших потянули бы на себе двоих убитых. Не так это легко. Мы вчетвером несли Семена и потратили на это одиннадцать часов...

— Ну хорошо, допустим, ты прав. Дальше?

— Дальше? — спросил Березкин.— Я считаю так... За трупами они могут приехать на подводе. Наконец, они, может, умышленно не трогают убитых, чтобы создать видимость того, что никому не известно о происшествии.

— Да...— задумчиво произнес Логачев.— Все это очень сложно и непонятно. Можно предполагать что угодно...

Я внимательно слушал спор Логачева и Березкина, слушал и размышлял по-своему. Я, скорее, склонялся к точке зрения Логачева. Мне, как и ему, думалось или, может быть, только хотелось думать, что Фома Филимонович не знает о гибели Семена.

Мы не могли отказаться от встречи с Фомой Филимоновичем, независимо от того, что таила эта встреча.

К долгожданному дню встречи, от результатов которой зависело почти всё, мы обстоятельно продумали план действий.

Прежде всего на заброшенное зимовье отправились сразу все, кроме Тани. Мы вышли ночью двумя группами, разными тропами, и к рассвету собрались в условленном месте. Мы не пошли сразу на поляну, понимая, что враг мог нас опередить и выставить засады. Мы подобрались к зимовью с четырех сторон, предварительно обшарив лес в радиусе до полутора километров, и убедились, что после нас здесь никто не был: трупы гитлеровцев лежат там, где мы их спрятали, от овчарки остался почти скелет. То, что мы не обнаружили никаких признаков засады, нас, конечно, обрадовало, но не успокоило:

враги могут еще появиться, пойти по следам Фомы Филимоновича.

Чтобы не попасть впросак, я задолго до полудня выдвинул Березкина и Ветрова примерно на километр от зимовья навстречу Фоме Филимоновичу.

Я сказал им:

— Кольчугина пропускайте, себя не обнаруживайте и ждите. Если вслед за ним появятся немцы, исходите из того, сколько их. Если человек пять-шесть, на худой конец — семь-восемь, топайте окружным путем к нам, и мы их здесь сообща встретим, а если их больше, подпустите на приличное расстояние и подавайте сигнал.

Я считал нецелесообразным ввязываться в драку с врагом, намного превышающим нас в численности и вооружении. Я учитывал и то, что нам не удастся застать немцев врасплох. Уж если они лезут сюда, то знают за чем и будут, конечно, наготове.

Мы долго думали, на каком сигнале остановиться. Расстояние не позволяло прибегать к подражанию крику птицы или животного или к свистку — мы не могли не услышать ни того, ни другого. Ракета ненадежна: во-первых, в лесу мы могли ее не заметить и, во-вторых, ракетой можно обнаружить себя так же, как и выстрелом.

Все же пришлось остановиться на выстреле как сигнале отступления. Выстрел давался в том случае, если враг намного превысит нас числом. Предупредив нас выстрелом, Березкин и Ветров должны были уйти на запад, в заболоченные места, а оттуда уже добираться до «Полюса недоступности».

Я и Логачев должны были задержаться, чтобы предупредить Фому Филимоновича и помочь ему оторваться от немцев, если те двинутся по его следам. Я ставил себя на место врагов, как делал всегда в таких случаях, и пришел к заключению, что дистанция между стариком и выслеживающими его солдатами должна быть немаленькая.

Вместе с Фомой Филимоновичем мы должны были уйти в болотистое место, лежавшее в полутора километрах от зимовья. Этот маневр преследовал единственную цель — сбить со следа овчарок, если люди Гюберта ведут их с собой.

Итак, учтя все возможные случайности, я и Логачев

выбрали удобную позицию, с которой хорошо просматривалась поляна, и стали ждать.

Примерно за полчаса до обусловленного времени мы услышали скрип тележных колес. Я и Логачев замерли, почти не дышали... Потом мы услышали, что кто-то поет, и по голосу сразу узнали Фому Филимоновича. Он пел тихо, вполголоса, старую русскую песню: «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит». Слов разобрать было нельзя, но мотив мы улавливали отлично.

Едва я и Логачев успели переглянуться, как на поляну, к руинам зимовья, выехала одноконная телега. На ней восседал Фома Филимонович.

Мы наблюдали за ним и продолжали сидеть не двигаясь. Мы ждали или появления немцев, или сигналов, или, наконец, подхода Березкина и Ветрова. Но пока стояла тишина и, кроме Фомы Филимоновича, никто не показывался.

Я взглянул на часы. Старик явился раньше двенадцати, и обнаруживать себя было еще рискованно. В нашем распоряжении имелось чуть ли не полтора часа. Мы могли ждать и наблюдать.

Фома Филимонович слез с телеги и, продолжая напевать, обошел поляну, всматриваясь в каждое дерево и отыскивая условный знак. Старик прошел в десятке шагов от нас, ничего не заметив. Это меня успокоило — уж если глаза Фомы Филимоновича не смогли нас обнаружить, то немцев можно было не опасаться!

Пробормотав что-то про себя, он подошел к телеге, развязал супонь, снял дугу, вожжи, чересседельник, хомут и пустил лошадь пастись.

Это была ребристая кобыла гнедой масти, очень спокойная на вид.

Фома Филимонович не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Это было важно, однако не давало никаких гарантий, что все в порядке.

Фома Филимонович снова взобрался на телегу, достал кисет и бумагу, скрутил самокрутку и закурил.

А сигнала от ребят все не было, не было и их самих. Прошло полчаса, три четверти, час — положение оставалось прежним. Вдруг Фома Филимонович, сидящий на телеге, насторожился, склонил голову набок и затем стал всматриваться в растущие вблизи деревья.

Я и Логачев застыли. В чем дело? Что произошло? Что заметил или услышал старик?

Фома Филимонович слез с телеги, взял дарственную централку, подошел к отдельно стоящей березке и, взглянув на ее крону, стал постукивать прикладом о ствол. И только тут я заметил малюсенькую пушистую белку, испуганно метавшуюся в ветвях березы. Так вот кого увидел старик.

Я посмотрел на Логачева. Он улыбнулся. Значит, и он заметил белку.

Неопытная, должно быть вышедшая на свою первую самостоятельную прогулку, она, увидев незнакомое двуногое существо, не знала с перепугу, что делать. Береза стояла на отшибе, перепрыгнуть зверьку некуда, и белка, пометавшись, прижалась к стволу и замерла.

— Спускайся, спускайся, дуручка! — ласково звал ее Фома Филимонович. — Ишь какая крохотулька! Ну, спускайся же, а не то я сам доберусь до тебя

Только теперь я убедился, что Фома Филимонович ни о чем не знает и никакая опасность нам пока не грозит. Я взял Логачева за руку, и мы вышли из засады. Старик тотчас же повернулся к нам лицом.

— О! Кондрат, Миколка! Смотрите! — И Фома Филимонович показал на белку. — Словим? Это Таньке. Она страсть как любит всяких зверюшек. Ну-ка, Миколка, ты половчее меня...

Теперь у меня окончательно рассеялись все сомнения. По настроению Фомы Филимоновича было ясно, что в осином гнезде не произошло ничего не предвиденного для нас.

Логачев положил на землю автомат и полез на березу. Видя опасность, белка тоже стала взбираться повыше. Наконец белка достигла самой верхушки. Дальше лезть было некуда. Она дрожала и поглядывала на приближавшегося врага.

— Смотри не сорвись, — предупредил я Логачева.

Но все окончилось благополучно, если не считать двух-трех укусов, которыми наградила белка Николая, когда он ее схватил и сунул за пазуху.

Мы разглядывали зверьку, погладили его шерстку. И по совету старика Логачев опять спрятал ее за пазуху.

— Вот девка-то будет рада! Приручит ее... До войны

она пару выходила, я ей из лесу принес. Забавные были...— проговорил Фома Филимонович и, сразу переменив тему и напустив на себя строгий вид, обратился к нам: — А кому же это зуботычки полагается надавать, а? Кто заставил меня понапрасну трясти кости прошлый раз? Над кем мне расправу учинить? Ты? — кивнул он на Логачева.

Тот покачал головой.

— А кто же: Семенка, Мишутка?

Мы молчали. Я не знал, как сообщить Фоме Филимоновичу о смерти Семена. Держать же старика в неведении было совершенно невозможно.

И я прямо сказал.

— Семена, Фома Филимонович, уже нет... Семен погиб!..

Что-то дрогнуло в лице старика. Он отступил на шаг и, уставившись на меня, спросил:

— Ты... ты что мелешь, Кондрат?..

Руки Фомы Филимоновича повисли точно плети, он побледнел и, словно еще не веря тому, что услышал, сказал неверным голосом:

— Как погиб? Почему ты молчишь?

Я коротко рассказал о случившемся.

Фома Филимонович опустил на землю, схватился за голову и заплакал:

— Как сына родного любил!.. Он был ближе сердцу моему, чем кора дереву... Семенушка, голубчик!.. Закопала Танюшка свое счастье в землю...— бормотал он.

Я взял старика за плечи и заставил подняться:

— Мужайся, крепись, Филимоныч. Не тебе одному тяжело — и Тане, и мне, и всем... Что ж теперь плакать — поздно!

Фома Филимонович затих, глядя на какую-то точку, и после долгого молчания проговорил:

— Все пройдет, Кондрат... Все стерплю! Дай только опомниться! — Он вдруг сильно затряс головой, как бы стараясь от чего-то освободиться, и сказал жалобным голосом: — Нельзя же так враз — и забыть Семенку...

— А мы и не забудем! — твердо произнес Логачев. — Никогда не забудем! И фашистам припомним...

Фома Филимонович грустно покачал головой, думая о чем-то своем.

Чтобы рассеять его немного и отвлечь от мыслей о Семене, я сообщил о наших подозрениях и о том, как мы подготовились к этой встрече.

Фома Филимонович сказал:

— Я никого в тот раз не видел. Я пришел, прождал час и ушел... А теперь мне кое-что ясно.

— Что тебе ясно? — насторожился я.

Оказывается, в день гибели Семена со станции на проческу леса ушли двое солдат, прихватив с собой самого крупного и злющего кобеля, под кличкой Спрут.

— Они вышли раньше тебя?

— Раньше. Их до Ловлино довели на машине.

— А зачем они поехали в Ловлино?

Несколько дней назад из райцентра на Опытную станцию приезжал гестаповец и сказал, что около деревни Ловлино, в лесу, староста обнаружил зарытый в песок парашют, и коль скоро гестапо не располагало собаками-ищейками, он попросил Гюберта обследовать местность. Гюберт отрядил солдата — проводника овчарки, а второго прислало гестапо. Солдаты уехали и не вернулись.

— Ты знал в лицо обоих? — спросил я.

— Одного знал хорошо, второго видел один раз.

Я предложил сходить к кустам, где мы спрятали трупы.

Фома Филимонович без труда узнал в одном проводника собаки и твердо заявил:

— Это Артур. Он самый...

О приезде гестаповца, обнаружении парашюта и посылке солдат в лес Фоме Филимоновичу рассказал Похитун.

Мы вернулись на полянку. Теперь ясна стала причина появления немцев так далеко от осинового гнезда и так близко к «Полюсу недоступности».

— Что же теперь говорят на станции? — поинтересовался Логачев.

— Разное плетут, — ответил Фома Филимонович. — Одни говорят, что солдаты заблудились в лесу, другие — что напали на след, а след их завел далеко. Штейн считает, что они отправились в Раковку и хлещут там самогон. Он обзвонил все окрестные деревни и наказал старостам и полицейским учинить розыск. Да где же теперь искать... — Старик усмехнулся и махнул рукой.

Немного погодя он добавил: — Значит, я был здесь, когда все уже свершилось...

— А что случилось, почему ты досрочно пришел? — спросил я.

— На уток готовимся ехать. Вот оно какое дело!

— Когда?

— С субботы на воскресенье.

— В эту субботу?

— Да нет... В будущую. Через девять дней.

— Решили открыть охотничий сезон пораньше? — усмехнулся Логачев.

Старик кивнул головой и заметил:

— Выходит, так. Утка еще не везде готова, но ему мало дела до этого. Сказал: «Ищи, чтобы наверняка».

— Нашел? — полюбопытствовал я.

— Есть на примете озерцо... За мной дело не станет. Ну, я и заторопился свидеться. Видишь, Кондрат, как оно оборачивается!.. — Фома Филимонович нахмурился (видно, тяжелые мысли опять одолели), помолчал и продолжал: — Тут, однако, можно устроить бал-маскарад. Озерцо-то в самой глухомани, а нас, охотников, будет раз-два — и обчелся! Ты смекаешь, куда я клоню? Одно дело — громить их гнездо. Это — стоящее дело, слов нет! А сцапать майора живьем тоже недурно. А?

Я, как говорят в таких случаях, весь загорелся. Так вот почему Фома Филимонович просил о внеочередной встрече!

— Где это озеро? — спросил я.

— От Селезневки версты четыре будет.

— От Селезневки, говоришь? — переспросил я, быстро достал из планшетки карту и разостлал ее на траве.

Да, озеро было обозначено. В двух километрах к востоку от него пролегла лесная дорога на железнодорожный разъезд.

— Это? — спросил я старика.

— Оно самое, — подтвердил он. — Мы будем добираться до него на подводе.

Тысячи мыслей зароились в моей голове. Неожиданное обстоятельство облегчало наши планы. Жизнь давала нам в руки редкую... редчайшую возможность.

Я не отрывал глаз от карты, вымерил расстояние от озера до «Полюса», до Опытной станции и спросил:

— Значит, точно в субботу?

— Это как водится. Как он велел, так и будет.

— А кто поедет с ним?

— Вот этого не скажу. Весной он брал солдат, на двух подводах ездили, а как решит сейчас — не скажу.

— Ты был уже на озере или только собираешься? — спросил я.

— Собираюсь. Во вторник туда поеду. Гюберт велел, поразведать все досконально, соорудить там шалашик, скрадки...

— Хм... во вторник... Чудесно! В котором часу ты там будешь?

— Как сейчас, в полдень.

— Договорились! Я тоже подойду.

— Правильно. Так-то лучше! — одобрил Фома Филимонович. — На месте виднее будет, а к тому времени я проведу, кто поедет с нами. Однако у меня еще есть что рассказать тебе...

И Фома Филимонович сообщил новость, не очень приятную. Вчера его вызвал к себе Штейн и поинтересовался, куда именно, в какой город выехала его внучка и получает ли Кольчугин от нее какие-либо известия. Старик рассказал, что документы ей дали до Франкфурта-на-Майне, но никаких вестей от нее он не имеет и очень беспокоится. По этому поводу он уже дважды обращался к Гюберту, но тот заверил, что все обойдется хорошо и со временем выяснится.

Штейн ничего не сказал на это и начал расспрашивать о сыновьях Фомы Филимоновича: какого они возраста, кто по профессии, где работали до войны, с кем водили дружбу, служили ли в армии, почему не остались в городе, а эвакуировались, что он знает о них в данное время и так далее. Выслушав ответы Кольчугина, Штейн заговорил о помещике Эденберге, стал спрашивать, как жил Эденберг, какое у него было хозяйство, кто работал у него по найму, как часто Кольчугин бывал с ним на охоте.

Фоме Филимоновичу не составило никакого труда ответить на все вопросы Штейна: со слов брата он знал всю подноготную о помещике, сам подолгу жил у брата. Но самый факт такого допроса насторожил старика.

— Видать, хочет, злыдень, вывести меня на чистую

воду,— заключил Фома Филимонович.— Я уж прикидываю: не пора ли мне сматывать удочки?

Разумеется, для этого были серьезные основания, но уход Кольчугина со станции именно теперь, когда предстояли решающие операции, грозил серьезным осложнением, если не срывом дела. Во всяком случае, пришлось бы решительным образом перестраиваться.

Поэтому я попросил старика:

— Потерпи до субботы!

— А потом?

— Потом ты сможешь плевать на всех, в том числе и на Штейна.

— Что ж, до субботы так до субботы, — согласился Фома Филимонович.— Тебе виднее, Кондрат.

На этом мы закончили беседу, распрощались, и каждый отправился своей дорогой.

40. ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Дождь зарядил с утра в пятницу и лил с небольшими перерывами до половины воскресенья. Это был мелкий, убористый, похожий на осенний, дождь. Сразу похолодало. Как всегда при затяжном дожде, казалось, что теплые, солнечные дни уже никогда не вернуться. Но с полудня в воскресенье подул ветерок, разогнал тучи, и вновь засветило горячее солнце. Мы все приободрились. Одна лишь Таня не видела ничего вокруг. Она окаменела в своем горе, будто заживо умерла.

Я не на шутку тревожился за нее. Мы все горевали о Семене, о нашем замечательном друге и боевом товарище. Но Таню смерть Семена убила. Она отказывалась от еды, почти не спала, похудела, взгляд ее потух. Без радости приняла она подарок деда — белку, но все-таки не расставалась с ней ни на минуту.

Березкин сказал мне по секрету, что, будучи дежурным, он видел, как Таня украдкой ночью покидала землянку, усаживалась у могилы Семена и оставалась около нее почти до рассвета.

Так можно было вконец извести себя. Я понял, что прежде всего надо расшевелить Таню, вдохнуть в нее жизнь какой-либо трудной и важной работой. А потому,

как только позволят обстоятельства, отправить ее с «Полюса недоступности», где все так живо напоминает о Семене.

Кстати, нужно было подыскать посадочную площадку для самолета с Большой земли. Я обратился к карте, но подходящей по размерам поляны в нужном радиусе не обнаружил.

— Неужели нам придется принимать самолет за сотню километров отсюда? — спросил я ребят. — Не может быть, чтобы в этом лесу не было хоть одной большой поляны.

— Есть, Кондратий Филиппович, — спокойно заметил Сережа Ветров.

— Где?

— Правда, я не могу поручиться, что она подойдет... — нерешительно начал он. — Я видел ее только ночью. Не знаю, достаточных ли она размеров.

— Где же она? — торопил я. — Покажи!

Сережа долго водил кончиком карандаша по карте, затем вздохнул и положил карандаш.

— Таня должна хорошо помнить ее. Я был там ночью, а она провела на ней весь день, пока мы перебирались сюда со старого места.

— Зови Таню!

Сережа выбежал из пещеры. Я внимательно проводил взглядом его маленькую фигурку. В последние дни я заметил между светлых бровей Сережи морщинку. Ее раньше не было. Эта морщинка придавала Сережиному лицу новое, взрослое выражение.

Меня удивляло спокойствие Сережи. Он, как мне казалось, легче всех нас, не говоря уже о Тане, перенес утрату Семена, хотя ему довелось больше, чем кому-либо другому, жить с Семеном один на один в лесу в тяжелых условиях с осени прошлого года.

Но вчера я понял, что сильно ошибался. В полдень, улучив момент, когда дождь прекратился на короткое время, я пошел на край острова и на самом берегу болота увидел Сережу. Он лежал и плакал. Плакал горько, безутешно, как может плакать только сильно и несправедливо обиженный ребенок. Он рыдал, вздрагивая всем телом.

А за обедом, час спустя, Сережа сидел, как всегда,

спокойный и уравновешенный. Я подумал было, что кто-то из ребят обидел его, хотя, зная его характер, сомневался в этом. Под вечер я пригласил Сережу на прогулку и привел к тому месту, где он плакал. Мы сели на бережок, закурили, помолчали, а потом, глядя ему в глаза, я сказал:

— Я видел тебя здесь перед обедом. Что с тобой случилось?

Он нахмурился, покраснел и, пересилив себя, ответил дрогнувшим голосом:

— Семен!.. — И, тяжело вздохнув, добавил: — Я не могу представить его мертвым... Только вы не говорите ребятам...

Я обнял его за плечи, молча прижал к себе и сказал:

— Будь солдатом, Сережа! Война... А за Семена мы отомстим так, что ворон костей вражеских не найдет...

И вот Сергей привел Таню.

— Вы меня звали? — тихо, даже робко спросила она.

— Да. Садись... — бодро ответил я. — Ну, Серега, допрашивай!

Таня вопросительно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Сережу.

— Да я вот говорил о поляне, — произнес он.

— О какой поляне?

— А помнишь, та, на который ты сидела весь день и ждала меня?

— Помню.

— Велика она? — спросил я.

— Ну, как сказать... — Таня немного задумалась. — По-моему, очень большая... Да, большая.

— Больше той, на которой я должен был приземлиться?

Таня махнула рукой:

— Что вы! Конечно, больше! На ней десять таких поместится.

— Вот это номер! — поразился я. — А на карте такой поляны нет!

Таня заявила, что она не ошибается.

— Дорогу до нее найдете? Не заплутаетесь? — спросил я.

Таня и Сережа заговорили в один голос и заверили меня, что выведут на поляну без всякого труда.

— Отлично! — сказал я. — Завтра утром мы выступим и больше, пожалуй, сюда не вернемся. Пойдем на поляну, а оттуда на озеро, встретим там Фому Филимоновича. Сейчас займемся сборами. Когда у тебя сеанс, Сережа?

— В двенадцать, — ответил он.

— Так. Передашь, что утром мы оставляем «Полюс недоступности» и пусть нас слушают завтра в это же время.

Сережа кивнул головой, а на лице Тани появилось выражение физической боли.

Я понял ее, но продолжал в том же тоне:

— Засветло надо уложиться и распределить весь груз по мешкам... Ты как себя чувствуешь, Таня? Как здоровье?

— Что? — недоуменно спросила она.

— Можно на тебя рассчитывать? Выдержишь? Не придется нам на руках тебя тащить?

Таня смутилась.

— Что вы... — проговорила она.

— Тогда готовь и себе мешок, — сказал я. — Выносите всё наружу.

И закипела работа. Окончили укладку, когда начало темнеть. Приближалась ночь.

— А теперь спать! — приказал я. — Дежурить буду сам.

Все улеглись. Я не верил в то, что ребята уснули, но, когда заглядывал в землянку, там царил полнейшая тишина.

Чуть свет я поднял всех на ноги. Позавтракали всухомятку. Потом взвалили на себя вещевые мешки. Каждый мешок весил чуть ли не два пуда. В них были гранаты, взрывчатка, самовоспламеняющаяся жидкость, ракеты, патроны, батареи к радиостанции, запальный шнур, детонаторы, другое боевое имущество и кое-что из продуктов.

Перед уходом мы постояли в молчании у могилы, прощаясь с Семеном, и покинули «Полюс недоступности» навсегда.

Здесь, под березами, каждый из нас оставил частицу своей души. Мы шли вперед, и расстояние между нами и Семеном с каждым шагом увеличивалось. Он остался один оберегать наш временный и свой вечный приют..

Мы шли гуськом. Первым шагал Логачев, за ним

Таня, затем Ветров, Березкин, замыкающим — я. Идти было очень трудно: давал о себе знать груз за плечами. Но никто не роптал, не охал, не жаловался. Через четыре часа, сделав пять привалов, мы достигли наконец цели. С первого взгляда на поляну я понял, что о лучшем не стоит и мечтать.

Все устали, всем зверски хотелось есть, отдохнуть, но, когда я предложил сейчас же обойти поляну и тщательно осмотреть ее, все, в том числе и Таня, захотели сопровождать меня.

Мы облюбовали в лесу, у самого края, сухую впадину, вероятно воронку от разрыва большой бомбы, уже густо поросшую мягкой травой, и сложили в нее все наше имущество.

Я сказал:

— Что ж, все хотят идти? Придется жребий бросать, кому остаться.

Выручил Логачев.

— Я останусь,— заявил он.— Ночевать тут будем?

— Тут.

— Хорошо, ступайте, я найду себе работенку.

Я решил пройти поляну от края до края, чтобы убедиться, нет ли на ней пней, опасных неровностей или сырых, заболоченных мест.

И мы зашагали вчетвером. Чем дальше шли, тем больше убеждались, что эта поляна — идеальный естественный аэродром. Она была ровна и тянулась с востока на запад километра на два — два с половиной.

— Эге! — воскликнул Березкин.— Да тут можно сажать тяжелые бомбардировщики!

— Видите, Кондратий Филиппович,— сказала Таня,— я не ошиблась.

Тому, что Таня сама вызвалась пойти с нами, и тому, что она заговорила, я, кажется, был рад не меньше, чем этой находке.

С нас градом катился пот, мы чуть волокли уставшие ноги, но продолжали самым тщательным образом обследовать поляну.

Часа через два обессиленные, но довольные мы вернулись к своему новому лагерю.

Логачев, пока мы ходили, не сидел сложа руки. Над воронкой уже возвышался скелет шалаша из длинных

жердей. Николай накрывал его заготовленной хвоей. В сторонке ярко, бездымно горел костер.

— Ну, Танюша, засучивай рукава! — сказал я. — От еды, я думаю, никто не откажется.

— Я помогу тебе, Таня, — предложил Сережа Ветров. Таня не отказалась от помощи и спросила:

— Только что готовить? У нас есть пшениный и гречневый концентраты, есть рыбные и мясные консервы. Можно наделать лепешек из муки, есть немного сала.

— По-моему, — выразил общее мнение Березкин, — давай то, что побыстрее. Я до того отощал, что готов за поясной ремень приняться.

Таня и Сережа занялись стряпней. Березкин стал помогать Логачеву, а я засел за составление радиогаммы.

Затем я достал свою рабочую схему и нанес на нее и озеро и поляну. Поляна стояла почти на полпути к осиному гнезду и километрах в шести от озера. В километре от поляны пролежала лесная дорога, идущая от Ловлино на юго-восток к железнодорожному разъезду. Дорогой этой, как мы знали, оккупанты не пользовались...

Наевшись до отвала гречневой каши, приправленной кусочками сала, и запив ее горячим чаем, мы, установив порядок дежурства, проспали до трех часов дня.

Я проснулся последним и почувствовал, что от усталости не осталось и следа. В воздухе пахло хвоей и свежей, сочной травой. День был в самом разгаре, и солнце припекало основательно.

Сережа Ветров сидел, опершись спиной о ствол сосны. В его руках я увидел карандаш и походную записную книжку, с которой он никогда не расставался. Но он не писал, а разговаривал с Таней, которая сидела против него на траве и перебирала крупу. Я прислушался. Они спорили. Сережа доказывал, что без радиосвязи работа в тылу неприятеля невозможна. Таня горячо спорила.

— А наше подполье в городе, — говорила она, — работало и продолжает работать, не имея радиосвязи. У многих партизанских отрядов также нет радиации.

— Это не работа, а чепуха! — безапелляционно заявил Сережа.

Таня от возмущения даже крупу рассыпала.

— Как ты смеешь так говорить?! Ведь главное не радио, а люди! Они и без радио знают, что делать.

— Не спорь! Ты просто недооцениваешь технику...

С каждой минутой оба все больше распалялись, говорили, перебивая друг друга. Я слушал и лишь немного спустя сообразил, что Сережа просто «заводит» Таню. Он умышленно порет нелепости, чтобы отвлечь ее и не оставлять наедине с тяжелыми мыслями.

Я в душе поблагодарил хлопца. Еще ни разу со дня смерти Семена я не видел Таню такой оживленной и взбудораженной. Она насакивала на Сергея, упрекала его в политической безграмотности, жестикулировала, и Сережа уже не знал, как выкарабкаться из неудобного положения.

Я нарочито громко зевнул, потянулся и встал. Спор моментально прекратился. Сережа облегченно вздохнул, спрятал карандаш, записную книжку и подошел ко мне.

— А Логачев и Березкин дрова носят, — доложил он.

— Какие дрова? — не понял я.

Сережа усмехнулся:

— Как — какие? Для сигнальных костров. Когда-нибудь все равно надо будет носить.

В двенадцать часов Сережа Ветров передал мою радиogramму. Я сообщал в ней координаты поляны, размеры и грунт ее, ориентиры с воздуха, просил прислать самолет «ЛИ-2» в ночь с субботы на воскресенье, точнее — в воскресенье, в два часа ночи.

Как только стемнело, мы, попив чаю и пожевав сухарей, улеглись спать.

41. ТАНИНА УХА

Сережа Ветров растолкал меня на рассвете и подал расшифрованную радиogramму. В ней было сказано:

Самолет придет два ноль-ноль воскресенье. Выкладывайте шесть костров два ряда коридором. Расстояние между кострами в длину пятьдесят метров. Направление посадки дайте две ракеты — белую и красную.

— Вот это здорово! — обрадовался я и так шлепнул Сережу по спине, что он чуть было не упал. — Давай буди ребят, надо обрадовать всех!

День занимался теплый, прозрачный. Трава, густо

покрытая росой, отливала сединой. В небе уже звонко заливались жаворонки, где-то далеко за поляной четко постукивали перепела.

Ничто вокруг не напоминало о войне: чистое, голубое лазурное небо, торжественно спокойный лес, благодатная тишина, нарушаемая гомоном пробудившихся птиц...

Раздевшись до пояса, мы старательно полоскались у болотца с застоявшейся темно-зеленой водой, отдававшей запахом прели.

После мытья Николай Логачев всем на зависть проделал несколько спортивных номеров. Он сделал стойку «жимом», прошелся на руках вокруг болотца, проделал четыре раза сряду сальто и затем нырнул в болотце еще раз.

Пока Таня умывалась, расчесывала и заплетала косу, белка сидела у нее на плече и, держа в передних лапках крепкую, еще не созревшую шишку, покусывала ее своими острыми зубками. Таня ласково поглядывала на нее.

Позавтракали мы остатками вчерашней каши и занялись сортировкой имущества. Мы решили оставить здесь часть боеприпасов и продуктов, кое-что из снаряжения и одежды, а остальное нести с собой к озеру. Я предупредил друзей, что на поляну мы вернемся только ночью в воскресенье, чтобы встретить самолет.

Итак, в начале десятого мы покинули свой аэродром и, сориентировавшись по карте и компасу, отправились навстречу Фоме Филимоновичу, к озеру, навстречу решающим событиям.

Идти было теперь значительно легче, да и путь был в два раза короче вчерашнего.

Мы не торопились, делали частые короткие привалы. На полпути пересекли лесную дорожку, о которой я уже упоминал, внимательно осмотрели ее. По-видимому, никто по ней не ходил и не ездил за последние недели.

В полдень мы добрались до озера. Оно лежало в низине и мало чем отличалось от болота. Берега покрывал густой и высокий камыш.

— Какая глухомань! — пробормотал Сережа Ветров.

Мы начали обходить озеро и, когда добрались до чистого берега, услышали, как кто-то шумно бултыхнулся в воду.

И тут же раздался голос Фомы Филимоновича:

— Внучка, отворотись! Я вылезать буду!

Таня прыснула и скрылась в кустарнике. Мы увидели Фому Филимоновича, скакавшего на одной ноге. Он натягивал брюки, и вода сбегала с его бороды веселыми струйками. На отмели, в траве, недалеко от воды, трепыхались и поблескивали красноперые окуньки с ладонь величиной и несколько шук.

— Видали? — похвастался Фома Филимонович, кивая на рыбу. — Чем не рыбак?.. Таня, выходи!

Таня подбежала к деду, обняла его, уткнулась лицом в его грудь и заплакала.

— Не надо, Таня, не надо... — приговаривал Фома Филимонович, лаская девушку. — Семенка-то не любил слез... Помнишь, как говаривал он? Не надо, доча, не надо... Все мы люди, и все мы смертны. Война, Танюша! Не у одной тебя горе, оглянись-ка вокруг...

В сторонке, под деревьями, стояла уже знакомая нам одноконная телега, а возле нее — ребристая гнедая кобыла. Она лениво мотала головой и помахивала куцым хвостом, будто нехотя отбиваясь от надоедливых слепней.

Фома Филимонович заправил рубаху в брюки, подошел к телеге, достал из-под вороха сена чугунок и подал его Тане:

— Чисть рыбешку, милая, да закладывай уху. Она как раз ко времени поспеет. В мешке возьми лук и укроп.

Сережа Ветров сейчас же бросился на помощь Тане. Он быстро развел огонь, наполнил чугунок водой и пристроил его над костром. Потом вооружился ножом и стал вместе с Таней чистить рыбу.

— Ну, как дела, Филимоныч? — спросил я.

— А так, помаленьку.

— Как чувствует себя Штейн?

— Зверь-зверем ходит. То к одному привяжется, то к другому. Такая уж у него волчья натура! Похитуна совсем затюкал. Как встретит пьяного, так в зубы. Похитуну хоть в гроб живьем ложись. Теперь он брыкаловку сосет только ночью, под одеялом, а днем ни-ни... Бойтся.

Логачев и Березкин рассмеялись. Я был рад, что Кольчугин снова бодр и весел. Подходили горячие дни, и каждому нужна была большая внутренняя собранность.

— Охота не сорвется? — спросил я.

— Ни в какую! И Похитун поедет. Сам мне вчера говорил. Гюберт солдат прихватит, а сколько — не ведаю. Приказал две подводы готовить, а раз две — значит, не одни поедем.

— Когда вас здесь можно ожидать?

— До захода солнца пожалуйем. Раз едем с ночевкой, то нет смысла терять вечернюю зорьку. А Гюберт любит это дело, вкус понимает. А знатное местечко я подыскал?

Я окинул взглядом озеро и кивнул головой.

— Знатное местечко! — продолжал Фома Филимонович. — Уток здесь видимо-невидимо, тьма-тьмушая. Он меня сегодня загодя командировал. Приказал шалашик разбить, плоток сколотить. Но мне сдается, что незачем зря тратить время. — И старик подмигнул. — Нам будет не до уток. Да и боюсь, что не довезу я своих господ до озера. Как, Кондрат?

— Хорошо было бы, — сдержанно ответил я.

— Что ж... Хлопцы, айда обзор места делать! День-то у меня короткий — короче медвежьего хвоста. Задерживаться не резон. — И старик зашагал прочь от озера.

Логачев, Березкин и я последовали за ним.

Пройдя шагов двести по колее, проложенной телегой Фомы Филимоновича, мы остановились у остатков моста через неширокий проток. Здесь торчали полусгнившие сваи и бревна. Часть их уже давно засосала тина.

— Тут мы всё и совершим, — сказал Фома Филимонович. — Место на редкость подходящее для засады.

Потом мы прошли еще немного и вышли на дорогу.

— Это в Селезневку? — спросил я.

— Ага, прямиком, — ответил старик.

Дорога выглядела неезженной, и это меня успокоило. Мы вернулись к озеру и расположились в холодке.

Фома Филимонович задумался о чем-то, а потом, покачивая головой, заметил:

— Рискованное дело затеяли мы, хлопцы! Уж больно рискованное.

— Без риска нельзя, — проговорил Березкин.

— А ты помолчи, цыган! — прикрикнул старик.

Березкин рассмеялся.

— Спланировали-то мы ладно, а вот как оно обернется... — осторожно продолжал Фома Филимонович.

Хитрый старик решил, видимо, прощупать мое настроение.

Я ответил:

— Все будет зависеть от тебя, Филимоныч. На тебя вся Москва смотрит. А мы уж не оплошаем...

— А я что? Я маленький человек...

— Нечего вам казанской сиротой прикидываться! — выпалил Березкин.

— Помолчи, цыган! — огрызнулся старик.

Теперь уже все рассмеялись.

С полчаса ушло на черчение подробного плана Опытной станции. Фома Филимонович водил прутиком по песку, я задавал вопросы, а Логачев переносил все на листок бумаги. Старик тщательно провел разведку и без запинки перечислил весь личный состав Опытной станции, показал, где и кто размещен.

— Да, запоматывал, — спохватился он. — Завтра Штейн уезжает. Если верить Похитуну, то в город, а из города в ту деревню, где было имение Эденберга.

— Хм... Интересно. Это зачем же? — поинтересовался Березкин.

— Бог его знает.

— Это мне не нравится, — сказал я. — Уж лучше бы он остался в своем осином гнезде.

— Вот такие дела... — покачал головой Фома Филимонович и спросил Таню: — Как уха, стряпуха?

— Еще минут пять, деда, — откликнулась Таня и присела возле старика. — У тебя дела плохие? — спросила она, стараясь заглянуть ему в глаза.

— Кто это тебе в уши надул? У меня дела преотличные! — И Фома Филимонович неожиданно и громко рассмеялся.

У костра что-то зашипело.

— Уха бежит! Спасайте! — взметнулась с места Таня, а вместе с ней и Березкин.

Чугунок окутало облаком пара вперемешку с дымом, но Березкин ловко выхватил его и поставил в сторонку.

— Видать, весь жирок убежал, — с сожалением проговорил Фома Филимонович и почесал затылок.

Все достали из-за голенищ деревянные ложки.

— Да здравствует уха и ее творец — Таня! — провозгласил Сережа Ветров.

Все расселись вокруг чугунка. Ели с завидным аппетитом, и через короткое время чугунок опустел. Старик облизал свою ложку, спрятал ее и пошел закладывать лошадь.

— Чугунок оставляю вам,— бросил он на ходу.— Авось пригодится.

Пока Кольчугин запрягал лошадь, я рассказал ему кое-какие подробности предстоящих операций, посоветовался с ним.

— Ты гляди, Кондрат, чтобы хлопцы в субботу в меня не стреляли. Вот будет тогда потеха!

Я проводил старика до лесной дороги. Перед прощанием Фома Филимонович предупредил меня:

— Ночью огня не разводите. Боже упаси! Хоть и тихо кругом, а все же...

— Знаю, знаю, Филимоныч,— успокоил я его.

— И близко к станции не суйтесь. Ну и за внучкой приглядывай, Кондрат.

Я заверил Фому Филимоновича, что все будет в порядке, пожал его шершавую, покрытую мозолями руку и пожелал счастливого пути.

42. РЕКОГНОСЦИРОВКА

В среду утром, пока Таня варила кашу, мы выкупались в озере, поплавали и распугали всех уток. Когда перевалило за полдень, Логачев, Березкин и я отправились в разведку, которая на языке военных называется рекогносцировкой. Таня и Сережа остались в лагере.

Было бы неправдой сказать, что в предвидении близких событий я оставался спокоен. Конечно, я очень тревожился, но старался ничем не выдать своего беспокойства. Налет на осиное гнездо — сложная операция, которая может закончиться и не так, как мы бы хотели. И в то же время я твердо верил в успех дела. Тревожился, но верил. Ни на одно специальное задание в тылу противника я не шел с такой твердой верой в успех, как на это. Значительно неувереннее чувствовал я себя и в дни пребывания в осином гнезде, и при выполнении предыдущих заданий.

Можно объяснить это тем, что раньше в большинстве

случаев я действовал один, только дважды — с Криворученко, а сейчас меня окружали верные друзья. Пусть нас было немного, это неважно. Но наш маленький отряд был спаян чувством боевого содружества, каждый чувствовал рядом крепкое и надежное плечо товарища. Как много это значит!

Собственно, своих друзей, исключая Фому Филимоновича, я знал очень мало. Но главное я уже ясно видел: их, таких не похожих друг на друга, с такими разными характерами, привычками, возрастом, роднили драгоценные качества, присущие миллионам советских людей, — честные убеждения, чистые помыслы и стремления, любовь к Родине.

Ради этой любви они готовы были идти на все испытания и жертвы. Разведчиками в неприятельском тылу они стали по велению сердца. Они гордились своим участием в разведывательной группе, и в их стойкости и надежности я не сомневался.

Это были простые, трудящиеся советские люди. Никто из них нисколько не походил на загадочных и таинственных разведчиков-сверхчеловеков из некоторых приключенческих книжек: ни Логачев, работавший до войны инспектором техконтроля на фабрике, ни Березкин, перевозивший на тракторе-тягаче кругляк с места порубки на лесной склад, ни Ветров и Таня — вчерашние обыкновенные школьники, ни, наконец, старик Кольчугин, бывший столяр городского коммунхоза. Никто из них не думал и не помышлял стать разведчиком. Но пришли грозные дни народной, священной войны — и они просто и естественно встали в ряды бойцов советской разведки.

Повторяю, я знал друзей очень мало, но уже любил каждого из них. Любил Таню — девушку с нежной и ясной душой, разделявшую опасную жизнь своего деда и отдавшую сердце моему покойному другу Семену; любил горячего парня, мастера на все руки, «цыгана» Мишу Березкина; любил уравновешенного, полного силы и здоровья, немногословного Николая Логачева: любил Фому Филимоновича — старика с плутоватыми глазами и чудесным сердцем; любил мечтателя и умницу Сережу Ветрова.

Любил их и верил им. Это придавало мне силы и вселяло веру в успех дела.

...План налета на осиное гнездо был в общих чертах намечен еще в первые дни моего пребывания на «Полюсе недоступности». Гибель Семена и то новое в обстановке резиденции Гюберта, о чем сообщил Фома Филимонович, внесли серьезные поправки в план. Точное время и дату операции установил, как ни странно, сам Гюберт, которому приспичило предпринять в субботу вылазку на охоту. Не ведая того, он заставил события разворачиваться с гораздо большей быстротой, чем это предполагалось.

Сегодня наша рекогносцировка преследовала единственную цель — разведать путь, которым мы будем подбираться к осиному гнезду, и подходы к нему.

Нам предстояло пройти туда и обратно более двадцати километров. Мы шли налегке, захватив с собой лишь оружие, бинокль и по нескольку сухарей. Наш маршрут проходил лесом, по бездорожью, по прямой линии, от озера до осиного гнезда.

Селезневка осталась вправо. Прежде чем пересечь большак, идущий от Ловлино на Селезневку, мы просидели перед большаком в засаде три часа.

Наши спины жарило послеполуденное солнце, а мы лежали и наблюдали за движением по большаку. Собственно, то, что мы увидели, нельзя было назвать движением. За все время в обе стороны проследовали четыре телеги и одна грузовая машина. Подводы были местные, крестьянские, а машина военная. Ее кузов был доверху завален набитыми мешками, на которых восседали четыре гитлеровских солдата.

Мы пересекли большак и, уклонившись немного от основного маршрута, выбрались к дороге между Опытной станцией и Селезневкой. Дорога эта была мертва — никаких следов движения! — хотя, судя по всему, поддерживалась в надлежащем порядке.

Березкин высказал догадку:

— А что, если проезд закрыт?

Я послал его проверить дорогу. Он сторонкой, лесом, направился на разведку, а через полчаса вернулся и доложил:

— Так и есть. Написано: «Внимание! Мины! Проезд закрыт».

Затем мы предприняли вылазку на большак, ведущий из районного центра в осиное гнездо. И здесь проезд

был закрыт. Наконец мы решились на самый опасный шаг — подобраться поближе к осиному гнезду. Затея чрезвычайно рискованная, но риск был оправдан. Предстоящая операция требовала ясного представления о месте, где нам придется действовать.

Соблюдая величайшую осторожность, мы подбирались к осиному гнезду густым лесом. Идти было трудно, но такой лес нас вполне устраивал. Только на самых подступах к бывшему дому отдыха, где Гюберт разместил свою Опытную станцию, лес стал редеть.

Дальше мы не пошли. Я выбрал сосну, возвышавшуюся над остальными деревьями, и взобрался на нее. С высоты станция была видна как на ладони. По моим подсчетам, до нее оставалось не менее километра, но меня выручил девятикратный бинокль. Я выбрал сук попрочнее, уселся на него верхом, раздвинул ветви и стал наблюдать.

Мое представление (со слов Фомы Филимоновича) о станции полностью совпало с тем, что я увидел. Это имело огромное значение. Следовательно, все детали нашего плана надежны и точны.

Я отчетливо увидел каждое строение, радиоантенну, колодец посреди двора, гараж, баню, склад. По двору сновали люди.

На этом наша рекогносцировка на местности окончилась.

К озеру мы вернулись, когда солнце уже закатилось. С воды поднялась стая уток, со свистом промчалась над головами, покружилась и снова шлепнулась на воду. Понеслось недружное приглушенное криканье...

Перед сном я спросил Логачева.

— Сколько времени тебе понадобится, чтобы добаться до партизан?

— Сутки, — не задумываясь, ответил он.

— Не дури! — сказал я. — За сутки не обернешься. Километров пятьдесят будет, не меньше.

— Обернусь, если надо.

— Спешка не нужна. Ты должен вернуться в субботу утром. Не позднее. Утром в субботу, а сегодня среда. Понял?

Логачев кивнул головой.

— Пойдешь с рассветом.

— Хорошо.

При свете карманного фонарика я сочинил письмо командиру партизанского отряда, свернул в трубочку, вставил в винтовочную гильзу, заткнул пулей и вручил Логачеву.

43. ПАРТИЗАНЫ

Ночью с пятницы на субботу прошел дождь, густой, стремительный, короткий, и промочил нас до нитки. Мы забились под елку, но и елка не спасла. Волей-неволей, чтобы обогреться и просушить одежду, мы вынуждены были развести огонь.

Правда, это было уже под утро, когда небо побледнело и на востоке погасли звезды. Костер нам дался не так легко. Мы исчиркали целый коробок спичек, прежде чем удалось разжечь влажную березовую кору. Потом мы поочередно раздували слабенький огонек. Дули старательно, изо всех сил, до того, что кружилась голова и двоилось в глазах. В конце концов костер разгорелся. Мы обогрелись, высушили одежду, сварили суп, заправленный пшенной крупой.

Сережа провел очередной радиосеанс с Большой землей, сообщил, что все остается без изменений, свернул рацию, стал прятать ее в мешок и вдруг, пригнувшись, испуганно и безмолвно выбросил руку вперед, в сторону озера. Все обернулись: над камышом в воздухе, в туманной дымке мерно плыли человеческие головы. Да, именно головы! Их было два десятка — в кепках, шапках и фуражках. Это походило на мираж. Мы пришли в себя, только когда показался первый всадник.

Тогда мы вскочили на ноги. Все стало ясно: всадников по шею закрывала пелена низко стелющегося тумана.

— Да это же Николай! — воскликнула Таня, узнав в первом всаднике Логачева.

Логачев приветственно поднял руку.

— Партизаны! Ура! — крикнул, не сдержавшись, Сережа и подбросил вверх кепку.

Да, это были партизаны, все на лошадях. Я насчитал восемнадцать человек, кроме Логачева. Они обогнули

край озера и направились к нам. Мы поспешили на встречу. Логачев вырвался вперед, ловко соскочил с седла и, вручая мне записку, доложил как заправский служака:

— Товарищ майор, ваше задание выполнено!

— Молодчина, Николай! — сдержанно ответил я, развернул записку и прочел:

Наслышан краем уха о вас, товарищ майор, и о ваших делах. Рад помочь в общем деле. Вместо пятнадцати ребят посылаю восемнадцать. Надеюсь, что все вернутся в целости и сохранности. За старшего у них Трофим. Ребята подходящие, бывалые, обстрелянные. Принимайте под свою команду. Желаю победы! Надеюсь, что все окончится хорошо.

Подписи не было. «Правильно! — отметил я про себя. — Командир отряда, видно, стреляный воробей». Я смял записку и бросил ее в огонь.

Партизаны поспешно сняли оружие и бросили powder на руки трем коноводам.

— Лошадей в лес и глядеть в оба! — хриловатым басом скомандовал широкоплечий, приземистый человек, лет под пятьдесят, и, окинув нас быстрым взглядом, крупно, вперевалку зашагал ко мне.

Но по пути его перехватил Сережа Ветров. Он бросился к нему, схватил его за руку и воскликнул:

— Трофим Степанович!

— А, и ты здесь? Наш пострел везде поспел! — добродушно сказал партизан, взял Ветрова под руки, легко приподнял и расцеловал в обе щеки.

Я догадался, что этот Трофим, о котором шла речь в записке командира партизанского отряда, и тот Трофим Степанович — лесник, о котором я слышал от Фомы Филимоновича и Криворученко, одно и то же лицо.

Он поставил смущенного Ветрова на землю, взгляделся в него, похлопал по плечу и проговорил:

— Ты, Серега, сдается мне, на вершок прибавился. Выше стал. Ей-богу!

Сережа нахмурил брови, стараясь сохранить серьезный вид, и досадливо повел плечом.

— Хлопцы! — обратился Трофим Степанович к партизанам. — У кого есть рулетка? Надо обмерить парня!

Все дружно захохотали. Сережа еще пуще насупил брови, но не сдержался, прыснул, и всю его важность как рукой сняло.

— Вот так-то лучше! — рассмеялся Трофим Степанович и, подойдя ко мне, подал руку с широкой обветренной ладонью. — Майор Стожаров? — спросил он.

Я улыбнулся в ответ и кивнул.

— Приятное знакомство. А я — Карягин. Трофим Карягин.

Каждому из нас пришлось выдержать восемнадцать рукопожатий. Я окинул взглядом прибывшее пополнение и обратился к Тане:

— А ведь надо накормить товарищей. Что можно...

— Вот это зря, — решительно перебил меня Карягин. — Совсем зря. Такую ораву разве накормишь? Мы прихватили кое-что с собой, а час назад основательно подзаправились. Миколка не даст соврать.

Логачев подтвердил.

— А вот табачком мы не богаты. Угостишь — не откажемся.

Я оглянулся на Таню, и она тотчас извлекла из «неприкосновенного запаса» пачку махорки. Но ее оказалось недостаточно, и пришлось извлечь вторую. Все восемнадцать человек вертели такие сигарки, от одного вида которых могла закружиться голова.

Партизаны быстро освоились, окружили нашу группу, и завязалась веселая фронтовая беседа. Это были и в самом деле ребята на подбор — молодые и средних лет, рослые, крепкие, с продубленной ветрами и солнцем кожей на лицах, спокойные и деловитые.

Я и Карягин подсели к костру и завели разговор.

Вокруг нас зеленели лес и трава, сзади голубела гладь озера. Дул легонький теплый ветерок.

— Как же это вы не уберегли Семена? — сказал Карягин и укоризненно покачал головой. — А какой был парень! Огоны! Как рассказал мне Миколка, у меня сердце зашло. И командир наш горевал. Часто он вспоминал Семена. Да...

Мы помолчали, потом я сказал.

— Мне нужен список ваших людей.

— Сейчас?

— Да, лучше заранее.

Карягин встал, позвал молодого парня и отошел с ним в сторонку. Через несколько минут мне был вручен написанный на обратной стороне фашистской листовки поименный список на всех восемнадцать человек. Я пробежал его и спрятал в карман гимнастерки.

— С народом будешь говорить? — спросил Карягин.

— Обязательно!

— Правильно, — одобрил Карягин. — А ну, хлопцы, давай сюда в кучу! — позвал он партизан.

Я расстелил перед собой рабочую схему действий, план Опытной станции и начал рассказ о предстоящей операции:

— Наша задача складывается из двух частей. Первая — захват живыми тех гостей, которые пожалуют сегодня к этому озеру поохотиться на уток. Вторая — налет на вражеский разведывательный пункт, расположенный неподалеку. Налет преследует цель захватить важные для нас документы, а разведпункт уничтожить вместе с его обитателями. Никто не должен уйти живым.

Партизаны одобрительно закивали.

— Теперь насчет гостей, — продолжал я. — Охотниками займусь я со своими ребятами, а вы возьмите на себя сопровождающих их солдат. О налете на разведпункт надо потолковать поподробнее.

Все наклонились над схемой и над планом Опытной станции. Я постарался коротко и ясно объяснить, что от нас требуется. Я рассказал, каким путем придется добираться до осинового гнезда. Объяснил, что разведывательный пункт находится в лесу, в бывшем доме отдыха. Территория его обнесена глухим трехметровым забором, поверх забора идет колючая проволока. Проникнуть на территорию станции придется обычным путем — через калитку, предварительно убрав часовых: одного снаружи, другого внутри.

Во дворе имеются три жилых дома, столовая с кухней, радиостанция, сарай, в котором стоят три машины — легковые и грузовые. В первом доме четыре комнаты. В двух размещаются девять солдат, три шофера, электромонтер и три радиста. В двух других — радиостанция. Жилые комнаты имеют по два окна, выходящих на одну сторону. Во втором доме шесть комнат, наверху — большой чердак. В доме живут восемь чело-

век — офицеры и лица, к ним приравненные. В доме шесть окон, и выходят они на три стороны. Есть подвал. В последнем, третьем, доме, что в углу двора, имеются четыре комнаты, в них живут начальник разведпункта Гюберт и его помощник Штейн.

— Пулеметы у них есть? — спросил Карягин.

— Есть. Два. Один зенитный, другой обычный. Оба стоят во дворе около часового у грибка.

Вместе с Карягиным мы определили роль каждого участника операции. Выделили людей для охраны подходов и обеспечили их двумя пулеметами, привезенными партизанами; назначили минеров для минирования большого; наметили расстановку людей у каждого окна. Поименно назвали, кому врываться во двор, кому оставаться снаружи. Определили условные сигналы для начала операции и для отбоя.

Березкину поручалось ликвидировать связь — перерезать телефонные провода, а затем подготовить к выезде грузовую машину, если она к тому времени окажется на месте, и уничтожить легковые. В помощь ему назначили партизана, работавшего до войны шофером.

Документы осинового гнезда захватывали я и Логачев. Тут же я распорядился освободить вещевые мешки.

Я предупредил товарищей:

— Успех зависит от быстроты и внезапности действий. На станцию мы должны проникнуть неслышно и скрытно. Все должно занять не более десяти минут. Близость районного центра, где стоит рота эсэсовцев и комендантский взвод, не допускает задержки. Никаких разговоров и вопросов на месте. Каждый должен все выснить здесь. А там — молча действовать по сигналам.

Как и следовало ожидать, посыпались вопросы.

— Овчарки есть?

— Есть, — ответил я. — Ими займется Кольчугин.

— Знаем такого! — раздался голос.

— Кстати сказать, — добавил я. — Товарищ Кольчугин должен приехать сюда с гостями, и он же впустит нас во двор станции.

— Фома не подведет! — заметил Карягин. — В строну вытянется, а не подведет.

— А как насчет трофеев? — задал кто-то вопрос, и тут же раздался смех.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Ну всякое там... Есть же у них оружие, походная рация да и харчишки тоже. Ребята в отряде надеются.

— Правильно! — раздался одобрителный возглас.

Я и Карягин переглянулись.

— Трофеями займусь я, — решил Карягин. — Склад за мной. А поможет мне Терехов. Вот так...

Вопросов было много. Потом начали обмениваться мнениями. Никто не возражал, никто не высказывал опасений, все говорили только о том, как лучше выполнить задание.

Сережа Ветров важно сказал:

— Документы могут быть и на радиоузде, не только в доме Гюберта. Я прошу поручить это дело мне. Прежде чем поджечь радиостанцию, я вынесу оттуда все бумаги.

И тут произошел небольшой конфуз. Я объявил Сереже, что он должен будет оставаться здесь, а документами займется кто-нибудь другой. Но я сразу же перерешил и сказал:

— Ладно! Согласен!

Перерешил потому, что Сережа взглянул на меня таким молящим взглядом, в глазах его было столько смятения и обиды, что я не смог ему отказать.

Почти то же произошло и с Таней. Когда деловая беседа закончилась и Трофим Степанович с помощью Логачева и Березкина стал распределять оружие и боевую технику, она подошла ко мне и, теребя кончик косы, сказала:

— Кондратий Филиппович! Выходит, что я такая... что мне и дела не найдется?

— Хм... Почему ты так решила? — немного смешался я.

— А чего тут решать? — вздохнув, сказала она. — Всех вы назвали по фамилии. Каждому объяснили...

Мне очень не хотелось брать ее и Сережу на операцию, но, видно, ничего не поделаешь. И я лукавил:

— Тебя я не пазвал потому, что ты будешь помогать мне выносить документы. Поняла?

— Да.

— Готовь вещевые мешки. Два-три мешка...

Таня повернулась и убежала.

Ко мне подошли Карягин, Логачев и Березкин.

Трофим Степанович, держа в руке клочок бумаги, сказал:

— Неплохо получается, майор. Совсем неплохо. Смотри: два ручных пулемета, десять автоматов, три винтовки, шесть пистолетов, сорок две гранаты и семь бутылок с зажигательной смесью. Я не считаю мины да три дробовика. Можно лихо штурмовать, а?

44. ГЮБЕРТ НА ВЕРЕВОЧКЕ...

Часам к семи вечера у озера стало пусто и безлюдно. Даже самый придирчивый глаз не смог бы обнаружить вокруг ничего подозрительного. Стояла какая-то особая, выжидательная тишина.

Лошади партизан под надежной охраной кормились на выпасе не менее чем в километре. Мы все сидели в засаде.

Солнце стояло еще высоко, но мы не могли знать точно, в какое время придут «гости», и укрылись заранее.

Я избрал себе позицию метрах в десяти от кладки через проток, в зарослях орешника. Рядом со мной лежали Сережа и Таня, крепко сжимая свои автоматы.

Над кладью мы заранее и основательно поработали, перебрали настил из кругляка и, кажется, достигли того, чего хотели.

Мы ждали настороженно и напряженно, не производя никакого шума, не отрывая глаз от опушки леса, откуда должен был появиться враг. От страшного напряжения временами чудилось, что что-то движется на фоне зелени.

В лесу куковала кукушка. Со стороны озера доносилось довольное кряканье уток. Они шумно полоскались, хлопали крыльями, как всегда перед вечерней зорькой.

Время текло медленно, и я не один раз прикладывал к уху часы, чтобы проверить, не остановились ли они.

Подчас начинало казаться, что все наши приготовления ни к чему, что операция срывается. Ведь в самом деле: все было основано только на сообщении Фомы Филимоновича. Уж не говоря о том, что Гюберт мог передумать или заболеть,— тысяча других дел могла ему мешать: вызов начальства, срочное сообщение, требующее каких-либо мер, да мало ли что еще... Все висело

на ниточке, и меня охватывали отчаяние и злость при мысли, что эта ниточка могла так легко порваться.

Но вот без нескольких минут восемь Таня толкнула меня в бок и шепнула:

— Николай бежит!

Я вздрогнул. Да, Логачев бежал крупными скачками, и не по дороге, а лесом, виляя между стволами деревьев, перепрыгивая через бурелом. В правой руке его поблескивал вороненой сталью автомат. Перемахнув через поток, он упал, но тут же вскочил и подбежал к нам.

Логачев сидел в передовой засаде и пробежал сейчас добрых полкилометра. С лица его градом катился пот, сильная грудь круто вздымалась. Он запыхался, но, сделав глубокий вздох, доложил:

— Едут!.. Своротили сюда... Две подводы... На передней двое... На задней пятеро... Автоматчики...

— А Филимонович?

— На передней.

— Значит, на ней трое.

— Да, да, да. Я не считал Фому Филимоновича.

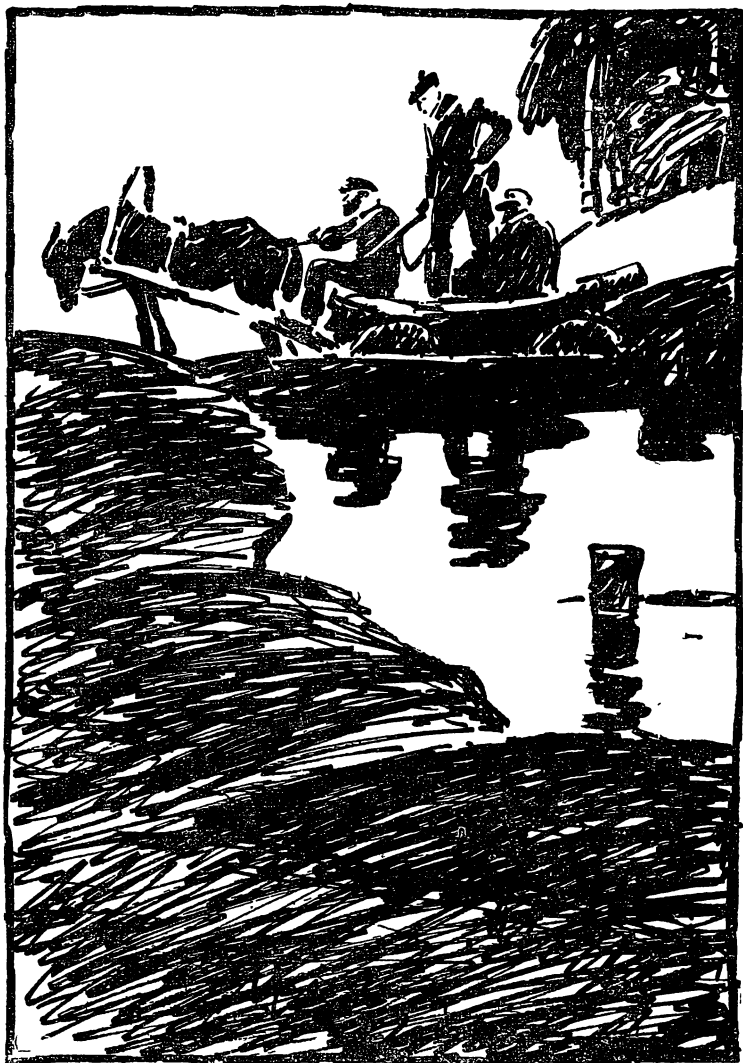
— Так... Приготовимся! — сказал я и дважды свистнул, подражая иволге.

Это — для остальных. Мы так условились. Теперь все знают, что «гости» вот-вот появятся.

Это «вот-вот» растянулось на четверть часа, и наконец наш слух уловил скрип колес, которые Фома Филимонович в этот раз умышленно не смазал.

Поистине Гюберт был настоящим маньяком, если все-таки решился на охотничью вылазку, зная, что где-то в этих лесах бесследно исчезли два его солдата с лучшей собакой.

Мы четверо затаив дыхание стояли в кустах на коленях. Вот среди зелени показалась первая телега. На ней — хорошо знакомые лица: Фома Филимонович, Вильгельм Гюберт и Похитун. Фома Филимонович держал вожжи. Гюберт сидел, свесив ноги, лицом в нашу сторону, с ружьем в руках. Похитун полулежал, опершись на локоть. На нем все тот же запомнившийся мне измятый мундир без погон. Гюберт был в высоких болотных сапогах и короткой охотничьей куртке. На голове коричневый берет. Они совсем не изменились за полгода: ни Похитун, ни главарь осинового гнезда.



Телега вдруг с треском осела и погрузилась вместе с настилом в воду.

Сердце мое колотилось, я жадно вглядывался в лицо Гюберта. Вот она пришла — расплата с врагом...

Показалась вторая телега. На ней, как и доложил Логачев, восседали пять солдат. Все, кроме того, кто правил лошадью, держали автоматы.

Телеги медленно приближались. Нас уже разделяли каких-нибудь пятьдесят шагов...

Ребристая кобыла, неизменный спутник Фома Филимоновича, плелась вяло, лениво перебирая ногами.

Старик пошевелил вожжами и прикрикнул на лошадь:

— Эй, голуба!

Фома Филимонович казался совершенно невозмутимым, будто и не знал, что должно произойти через считанные секунды. Это было поистине образцовое самообладание.

Оккупанты держались безмятежно. Однако малейшая неосторожность с нашей стороны или промедление могли стоить нам дорого. Сейчас особенно ясно понял я, какое удачное место для засады выбрал Фома Филимонович. Прогнившая кладь должна была отвлечь внимание врагов.

Первая телега остановилась шагах в трех от протока. Фома Филимонович сунул вожжи в руки Похитуна и прыгнул на землю. Он подошел к клади, наступил на настил и стал пробовать ногой прочность бревен.

— Не засядем? — спросил Гюберт.

— Никак нет, — спокойно ответил Фома Филимонович. — Я же был здесь во вторник, переезжал, держит хорошо.

Он метнул быстрый, косой взгляд на вторую подводку и вернулся к своей телеге. Взгромоздившись на передок, он взял вожжи и прикрикнул на лошадь:

— Шевелись, голуба! Смелее! Чего чухаешься?

Лошадь тронула, робко, с опаской ступила на настил и потянула за собой телегу. Я наблюдал, сдерживая дыхание. Фома Филимонович неожиданно хлестнул лошадь — она рванула, и телега вдруг с треском осела и погрузилась вместе с настилом в воду по самые ступицы.

— Черт! — выругался Гюберт и поднялся на телеге во весь рост. — Я же спрашивал тебя, псина старая, засядем или нет?

Фома Филимонович покачал головой и промолчал, как бы соображая, что предпринять дальше.

Я выжидал наиболее удобного момента. И он пришел: Гюберт в сердцах бросил ружье на телегу, выбрался на край ее, примерился и прыгнул на берег.

Похитун попытался проделать то же самое, но потерпел аварию. Он не допрыгнул до берега и растянулся на бревнах. Быстро поднявшись, он вскарабкался на четвереньках на берег и, схватившись за ушибленную коленку, присел на корягу.

Кобыла стояла неподвижно, понутив голову, равнодушная ко всему.

Фома Филимонович перелез через лошадь, ступая по оглобле, выбрался на противоположный берег и ухватился за уздечку. Я бросил взгляд на солдат. Двое из них спрыгнули и зашагали в нашу сторону.

Кажется, пришло время действий... Гюберт был без ружья. Опасение внушали лишь солдаты, но я надеялся на Трофима Степановича и его ребят, уже державших врагов на мушке.

— Хальт! Хенде хох! ¹ — крикнул я во всю силу легких и навел автомат на Гюберта.

Как и следовало ожидать, солдаты от неожиданности сначала опешили, потом схватились за оружие, раздалась даже короткая очередь, тотчас же прерванная залпом из кустов. Партизаны выскочили на дорогу и бросились к оккупантам, чтобы проверить, не остался ли кто в живых.

Похитун стоял бледный, с вытаращенными глазами, поднимая руки вверх, насколько это возможно.

Гюберт, обычно надменный, расчетливый и хладнокровный, на мгновение тоже растерялся. Он смотрел на меня и, видимо, не верил собственным глазам.

— Нидер! ¹ — раздался зычный голос Трофима Степановича. Он бежал с автоматом в руке к Гюберту. ² — Хенде хох!

Нет, Гюберт не поднял рук. С искаженным злобой лицом он отпрянул назад и протянул руку к кобуре.

Но его опередил Логачев. Он обрушился на Гюберта,

¹ Стой! Руки вверх!

² Ложись!

точно снаряд. Оба упали, через секунду Логачев вскочил. Он успел стукнуть Гюберта в солнечное сплетение. Удар был точен. Гюберт согнулся, но, видимо, нечеловеческим усилием воли вскочил и вновь попытался вытащить пистолет. Логачев сжал его руку. Гюберт сильно пнул его ногой. Тут подоспели я и Трофим Степанович.

Гюберт был ловок, изворотлив и физически силен. Мы трое едва справились с ним. Он рычал как зверь. Со свирепым отчаянием он наносил нам удары ногами, руками, головой, пытался кусать.

Бесспорно, он отлично понимал, что нужен нам живой, а не мертвый, и это давало ему хорошие козыри.

Наконец мы одолели его. Я скрутил ему руки за спину. Трофим Степанович навалился всем телом на ноги. Логачев держал его плечи.

Подоспевшего Березкина Логачев попросил:

— Мишутка, достань-ка у меня из кармана веревочку. Быстро!

Тот вытащил небольшой моток прочного шнура от парашютных строп. Мы крепко стянули руки и ноги Гюберта. Он дышал тяжело, порывисто, на губах его выступила пена. Мне казалось, что он вот-вот задохнется.

Я вытер мокрое лицо и перевел дух.

— Хомяков, он же майор Стожаров! — отрекомендовался я. — Привет от Виталия Лазаревича!

Гюберт дернулся всем телом, выругался сквозь зубы, сверкнул глазами.

Подошел залепленный грязью Фома Филимонович. На губах его играла плутоватая улыбка. Он держал за руку Таню.

— Вот так, господин хороший, — проговорил он с усмешкой. — Знай край, да не падай! А за внучку спасибо... Вот она, внучка-то! Помогла ваша бумажка. Устроилась девка и жила как у бога за пазухой.

Такой издевки Гюберт не смог перенести. По лицу его пробежала судорога. Подавшись вперед, он плюнул в сторону старика.

— Ишь ты какой бешеный! — с невозмутимым спокойствием проговорил Фома Филимонович. — Жаль, что ты связанный, а то бы я показал тебе, как плевать.

— Кончайте, хамье! — прохрипел Гюберт.

— Эге! — воскликнул старик. — Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Быстрый ты больно, господин хороший. Потерпи малость, мы больше терпели Тебя кто в гости звал к нам в Россию, а?.. — Он опустил-ся на корточки, пощупал шнур и заключил: — Ничего, прочно...

Я распорядился обыскать убитых солдат и взять все их документы, а сам занялся карманами Гюберта и Похитуна.

Похитун вел себя чрезвычайно благоразумно. Он не оказал ни малейшего сопротивления, сидел, обмотанный веревкой, и мелко постукивал зубами, точно в лихорадке. Трясущийся мешок костей...

Фома Филимонович подошел и к нему, сопровождаемый Сережей Ветровым.

— Вот и молодчина! — проговорил старик. — Сразу лапки поджал — и ребра тебе не наломали... Покорную голову и меч не сечет. Говорил тебе сколько раз: сиди дома, соси свою брыкаловку и не суй нос в лес! Не послушал... А что это у тебя в брюхе так урчит?

— Это у него на почве несварения желудка, — серьезно сказал Сережа Ветров.

— Пить... пить... — мертвым голосом попросил Похитун.

— Можно, — отозвался Фома Филимонович. — Ради старой дружбы можно. Ну-ка, внучка, спроворь моему «другу» водицы.

Таня улыбнулась и пошла за котелком.

А кобыла Фомы Филимоновича продолжала стоять все на том же месте. Теперь она не торопясь сосала зеленую воду из протока, потряхивала головой, пофыркивала.

— Умная тварь! — ласково произнес старик и зашагал к лошади.

45. ОГОНЬ И ГРАНАТЫ

Первая часть операции была закончена. Солнце клонилось к закату. Мы готовились к выступлению. Партизаны подвешивали к седлам гранаты, обвертывали тряпками запалы и прятали их кто в карманы, кто в шапку.

Особенно осторожно нужно было обращаться с бутылками самовоспламеняющейся жидкости «КС». Их приходилось нести в руках, так как в мешках они могли разбиться. Минеры, сидя в сторонке, возились с деревянными самодельными коробками, набитыми взрывчаткой.

Я сунул в один карман толовую шашку, а в другой — медный капсюль с кусочком бикфордова шнура.

Таня и Сережа укладывали на телеги пустые мешки и оружие. Трофим Степанович и Логачев давали последние указания двум партизанам, которые должны были вести Гюберта и Похитуна сразу на поляну, на наш аэродром.

— Смотрите, хлопцы, строже, как бы не убежали эти гады! — предупредил Карягин. — Этот господин Гюберт, видать, хитрый как змей.

Ко мне подбежала встревоженная Таня и, кивая на белку, которая была в ее руках, спросила:

— А как же быть с ней, Кондратий Филиппович?

Я усмехнулся. Действительно, проблема!

— Давай мне своего зверя, — сказал один из партизан, который должен был конвоировать пленных, — я его уберегу.

В поход к осиному гнезду выступали двадцать четыре человека.

— Филимоныч! — спохватился я. — Где же твоя приманка?

— Ай, батюшки! — всплеснул он руками. — Чуть не запамятовал... Сей минут! — И старик бросился к своей телеге.

— Миша, — обратился я к Березкину, — дай-ка мне один порошочек от насморка.

Березкин усмехнулся, достал из кармана спичечную коробку, завернутую в бинт, извлек из нее порошок и подал мне.

Фома Филимонович порылся в своем мешочке и достал кусок полувяленой говядины. Я разделил его на две части, сделал в каждой глубокий надрез и осторожно высыпал порошок.

— Получай, — сказал я старику.

— Порядок, — заметил он и осведомился: — А начинка верная?

За меня ответил Березкин:

— Будь здоров! Как глотнет, так и зубы на полку. Мгновенный паралич. И гавкнуть не успеет.

— Добро! — И Фома Филимонович кивнул головой.

Он старательно обернул мясо листьями орешника и положил в карман. Потом достал из-за голенища нож, попробовал лезвие концом большого пальца и заметил:

— Вот наострил, что бритва! Видал?

Подошедший Трофим Степанович доложил:

— Все готово, майор. Можно в путь-дорогу...

— Одну минутку... — проговорил я и крикнул Сереже Ветрову: — Парень, за тобой остановка!

Сережа, возившийся на телеге у радиостанции, ответил:

— Сейчас, Кондратий Филиппович...

Немного спустя он закончил сеанс и подал мне коротенькую радиограмму.

Большая земля сообщала:

Вторично подтверждаю прибытие самолета ночью на воскресенье два ноль-ноль. Обеспечьте шесть сигнальных костров коридором, два ряда, дайте белую и красную ракеты направлении посадки.

Я чиркнул спичкой и сжег бумажку. Ветров отдал рацию партизанам, идущим на аэродром.

— Всё? — осведомился Трофим Степанович.

— Всё!..

— По коням, хлопцы! — скомандовал Карягин. — Дозор вперед! Держаться, как я сказал.

Четверо партизан выехали вперед и вскоре скрылись в лесу.

Логачев и я сели на коней тех двух партизан, которые повели Гюберта и Похитуна на аэродром.

Отряд всадников вытянулся длинной цепочкой. Впереди ехал Трофим Степанович. Замыкали шествие две телеги: на одной сидели Фома Филимонович и Таня, на другой — Березкин и Ветров.

Солнце зашло. Я посмотрел на часы: стрелки показывали без пяти девять. Двигались точно по тому пути, по которому мы уже прошли в среду. Сгущались зеленые сумерки, лес окутывался мраком. Ехали шагом,

в полном молчании, только слышно было, как похрапывали кони да под копытами трещал сухой валежник.

Когда землю и лес накрыла теплая тихая звездная ночь, мы наткнулись на наш передовой дозор.

— Большак,— доложили ребята.— Направо развилка.

— Спешиться! Привязать коней к телегам,— скомандовал Трофим Степанович и спросил дозорных: — Далеко ли до большака?

— Сотня метров, не больше,— ответили ему.

В кружок собрались партизаны, назначенные в охранение, и минеры.

— Сверьте часы,— предложил я.— По моим двадцать два сорок пять. Мины ставить ровно в двадцать три тридцать. Минеры могут отправляться.

— Сбор здесь! — предупредил Трофим Степанович.

Два всадника скрылись в темноте. Перед ними стояла задача заминировать дорогу из осинового гнезда в районный центр.

Спустя несколько минут отъехали еще четверо — боевое охранение: двое к Селезневке и двое в Ловлино. Вооруженные ручными пулеметами, они должны были обеспечить операцию от какой-либо случайной угрозы со стороны и блокировать подъезды к гюбертовскому гнезду. Одного парня оставили сторожить лошадей.

Все остальные — четырнадцать человек, предводительствуемые Фомой Филимоновичем,— зашагали в сторону осинового гнезда. Кольчугин повел нас по узкой, одному ему известной тропке. Пересекли большак и вновь углубились в лес.

Шли тихо, бесшумно, стараясь не шелохнуть листом, не наступить на сухую ветку, не звякнуть оружием.

Прошло около часа, прежде чем Фома Филимонович остановился на краю поляны. Впереди, шагах в полтора-раста, виднелись очертания строения Опытной станции.

— Ближе никак нельзя! — шепнул мне старик.— Собаки учуют.— Он глубоко вздохнул и закончил: — Ну, Кондрат, пойду я!..

— Иди! — сказал я и крепко пожал его руку.

Ночная темнота быстро скрыла его удаляющуюся фигуру. Ко мне подошли Таня и Сережа, стали рядом, молча, недвижимо. В тишине леса чулось что-то обманчивое, враждебное.

Вдруг тишину нарушило грозное ворчание псов, и сразу раздался повелительный окрик, громкое щелканье затвора:

— Хальт!

— Это я, Гейнц... Фома,—раздался в ответ голос Кольчугина. (И я ощутил, как к моей руке прижалась дрожащая всем телом Таня.) — Майор едет... Отворяй ворота!

— О, гут, гут!

Потом взвизгнула калитка на несмазанных петлях, скрипнули и распахнулись ворота — и снова тишина.

Я затаил дыхание и напруг до боли глаза. Чтобы унять нарастающее волнение, стал отсчитывать про себя секунды: пять... семь... десять... двадцать пять... сорок... пятьдесят. Секунды превращались в минуты, волнение нарастало. Сейчас там, за глухим забором, решалась судьба всей операции, и решал ее Фома Филимонович. Прошло пять минут. Я загибал пальцы и уже машинально отсчитывал снова: десять... пятнадцать... тридцать... пятьдесят...

Но вот снова взвизгнула калитка, и немного спустя появился силуэт Фомы Филимоновича. Старик подошел вплотную, шумно вздохнул и брезгливым движением отбросил в сторону нож.

— Как? — спросил я одними губами.

— Уложил обоих! — проговорил старик. — Впервые за всю жизнь, и сразу двоих! — Он опять вздохнул. — Ничего не попишешь... Такое лютое время подоспело — надо либо убивать, либо самому мертвяком делаться!

Я хорошо понимал, как взволнован старик, почему он не ко времени многословен, и не прерывал его.

— А собаки? — тихо спросил Трофим Степанович.

— Готовы, — ответил Фома Филимонович. — Пошли скорее. Двое шоферов не спят... Я подглядел... В карты режутся.

— Вперед, за мной! — тихо произнес я и тронулся вслед за Кольчугиным.

Старик повел не прямо к воротам, а к забору. Затем мы пошли вдоль него. Перед самыми воротами я увидел телефонные провода, выходившие из-за забора пучками и растекавшиеся на три стороны. Я указал на них Березкину.

У самых ворот я наткнулся на труп наружного часового и при помощи Трофима Степановича оттащил его в сторонку.

Из окна дежурной комнаты сквозь маскировочную бумагу узенькой полоской просачивался свет. Я заглянул в окно: двое солдат, сидя за столом, играли в карты, а третий, видимо дежурный, спал на голом топчане.

Я поискал глазами труп второго часового, но не нашел и обратился с вопросом к Фоме Филимоновичу. Он молча показал мне на колодец посередине двора.

Партизаны бесшумно сновали по двору и занимали свои места у окон.

Трофим Степанович остановился у окна дежурной комнаты. Он стал совать запал в противотанковую гранату.

Ко мне подкрался, как кошка, Березкин и тихо шепнул:

— Провода готовы...

Я кивнул головой. Он, а за ним и прикрепленный к нему в помощь партизан скользнули вправо и скрылись под навесом, где вырисовывались контуры грузовой машины.

— Штейна нет! — шепнул мне Фома Филимонович. — И машины легковой нет... А жалковато, что он не успел вернуться. Ох, как жалковато!..

Старик был в сильном возбуждении.

— Иди на свое место, — сказал я. — Сейчас начнем.

Отсутствие Штейна облегчало мою роль. Значит, в доме Гюберта никого не было и я мог сначала помочь ребятам. Хотя, с другой стороны, неплохо было бы захватить или прикончить Штейна.

Я огляделся. По двору уже никто не сновал. Все заняли свои места и ждали моего сигнала. Я подошел к угловому окну, отцепил от пояса гранату, вжался в простенок между домами и приблизил к глазам часы. Да, ребята уже давно должны были заминировать дорогу, можно начинать...

Прошло еще несколько секунд, прежде чем со стеклянным звоном разорвалась первая граната, брошенная мною. И вслед за нею дружно заухали вторая, третья, четвертая, пятая...

Взрывы сотрясали все вокруг, отдаваясь в лесу пере-

катами эха. Вылетали рамы, окна, двери, звенело стекло, корежились и вставали дыбом кровли домов. Красные вспышки мгновенно озаряли темный двор.

И вдруг все стихло. Партизаны бросились внутрь помещений, и около меня выросли Таня и Логачев.

Я услышал команду Трофима Степановича:

— Зотов, Терехов, Рябоконь! За мной!

Дверь в дом Гюберта оказалась запертой. Я навалился на нее, но она не поддавалась. Тогда распаленный Логачев попятился на несколько шагов и с разгона ударил в нее плечом. Дверь упала, а вместе с нею упал и Логачев.

— Осторожно, Николай! — предупредил я его. — Фонарь!

Вспыхнули сразу три фонаря: мой, Логачева и Тани. Мы проскочили в первую, затем во вторую комнату, и, наконец, в третьей я увидел знакомый сейф.

Логачев подбежал к письменному столу.

— Таня, выгребай бумаги! Все до одной! — крикнул он.

Они торопливо запихивали бумаги в принесенные мешки.

Я не без труда сдвинул с места тяжелый сейф и свалил его на пол. Затем я вытащил из кармана толовую шашку, положил ее на замок и вставил капсюль со шнуром.

— Вы долго еще? — спросил я.

— Уже готово, — откликнулся Логачев.

— Вон из комнаты!

Я достал спички. Через несколько минут грохнул еще один взрыв, и мы вдвоем стали выгребать из сейфа и письменного стола папки с делами, сколотые документы, связки бумаг.

Когда мы выскочили из дома, я столкнулся с Ветровым. Сережа волочил по земле объемистую сумку, чем-то доверху набитую.

Я взглянул на часы. Прошло всего двенадцать минут с начала операции, а осиное гнездо уже опустело. Здорово! Таких темпов я не ожидал. Партизаны носились по двору, как одержимые, с какими-то узлами в руках, с мешками и даже ящиками.

— Огонь! — скомандовал я.

И через мгновение в дежурной комнате вспыхнул бурлящий, слепящий глаз огонь от жидкости «КС».

— Все наружу! — крикнул Трофим Степанович. — Бросайте бутылки!

Тут я услышал шум заработавшего мотора. Молодец «цыган»! Он знает свое дело. Из-под навеса рывками выкатилась грузовая машина и остановилась посреди двора. Я схватил за руку подбежавшего Фому Филимоновича и спросил:

— Через Ловлино проскочим?

— В аккурат. Там, кроме двух полицаев, никого нет.

— Темно, перевернет, — слышался чей-то осторожный голос.

— Свет включи! — посоветовал кто-то.

— Верно! Правильно! Пусть знают наших!..

Шофер включил фары, свет лег на дорогу, и машина стала увеличивать скорость.

Оглушенные, взволнованные и взбудораженные успехом, мы мчались по большаку, миновали «заминированное» место, достигли развилки и свернули направо, в Ловлино.

Я оглянулся. Торжествен и грозен был вид пожарища. Над лесом высылся и рвался к небу, как символ возмездия, жаркий огонь.

«И все же мы еще не квиты, господа гитлеровцы!» — подумал я.

На полпути к деревне Ловлино в свете фар метнулись два всадника, и Трофим Степанович свистнул.

— Это наши, из охранения, — объяснил он и застучал по крыше кабины. — Теперь мы распрощаемся... Выгружайтесь, хлопцы!.. Давай руку, товарищ майор! Удачно мы встретились! И вечерняя зорька была хороша, да и ночь тоже...

Партизаны выпрыгивали из машины, выбрасывали свои трофеи и тут же, точно призраки, растворялись в ночи. Из кабины высунулся Фома Филимонович и обратился к Карягину:

— Моих коняшек прихватите с собой. Пригодятся.

— А ты что же, — усмехнулся Трофим Степанович, — думал, что мы их в лесу оставим?

— Да нет, — поправился Кольчугин. — Это я так... на всякий случай. Коняшки-то хорошие.

Трофим Степанович пожал всем руки, а Сережу Ветрова, как и при встрече, расцеловал на прощание и сказал:

— Будь здоров. Расти большой!

— Постараюсь, Трофим Степанович! — весело ответил Сережа.

Пожимая руку Березкину, который сменил теперь за баранкой партизана, Карягин бросил:

— Ты жми, браток! А то как бы нам вместо вас не пришлось встречать самолет. Нам все одно через ту поляну ехать... Да и ребят надо прихватить...

И Трофим Степанович тоже неслышно растаял в темноте. Машина вновь тронулась. Мы приближались к Ловлино.

— А мины у развилки?

— Эх... — отмахнулся Фома Филимонович. — Это для отвода глаз. Я по этим минам каждый день ношусь на кобыле.

Огненная грива уже выбивалась из помещений на ружу. Разъяренный огонь полыхал во всех домах, и сталь оружия отражала его языки. Султаны багрово-синего дыма пробивались сквозь крыши и рвались вверх. Дым клубился в доме Гюберта, в дежурном помещении, в двух других домах и тугими волнами выливался через окна и двери.

— Вещи в машину! И сами все туда! Быстро! — скомандовал я.

— А радиостанция! — крикнул Сережа. — Почему ее не сжечь?

— На! Дуй! — сунул Фома Филимонович Ветрову последнюю бутылку с «КС».

— Погоди-ка. Дай сюда! — сказал я и, схватив бутылку, побежал к радиостанции.

Дверь ее была распахнута настежь. Я вошел внутрь. Чинно и строго выглядела аппаратура. На никелированных частях играли отсветы пламени. Я вышел, стал у порога и метнул бутылку в железную печь. Мгновенно горящие ручки потекли во все стороны, и я отпрянул назад.

Партизаны уже топтались в кузове машины. Во дворе было светло как днем. Осиное гнездо корчилось в испепеляющем пламени.

Я заглянул в кабину. Там сидели Березкин и шофер-партизан.

— Лезь и ты, места хватит,— сказал я Фоме Филимоновичу.— И показывай дорогу... Все сели? — обратился я к сидящим в кузове.

— Все. Я сделал переключку,— ответил Трофим Степанович.

— Трогай! — приказал я и вскарабкался в кузов.

Машина зарычала и толчками покатилась со двора. Видимо, шофер давно уже не держал в руках баранку. Но по дороге машина пошла уже ровнее, увереннее.

Все стояли в кузове, держась друг за друга и качаясь из стороны в сторону.

— Жми, Петро!

— Давай на полную железку! — подбадривали ребята шофера.

В кузове теперь тряслись лишь я, Таня и Логачев. На всякий случай мы приготовили две гранаты и, держа в руках автоматы, всматривались вперед.

Деревня, тянувшаяся в одну улицу, казалась вымершей. Мы не заметили ни единого живого существа, ни намека на огонек.

— Полицейское время, — сказал мне Логачев.

Я усмехнулся и заметил:

— Только полицейских самих не видно...

— Их счастье!

Мы благополучно миновали половину деревни и круто, под острым углом, свернули налево, на лесную дорогу. Машина поубавила ход и поползла по мягкому грунту. Ее швыряло из стороны в сторону, подбрасывало на пнях и корневищах. Мы прыгали в кузове, точно мячи, а когда нас стали безжалостно хлестать ветки, то сели и ухватились друг за друга.

Я надеялся на машине проехать хотя бы до поворота на поляну, но машина вдруг остановилась.

Я вскочил и при свете фар увидел обломки моста через проток — тот самый проток, который выходил из знакомого нам озера. Здесь он был значительно шире, с крутым правым берегом. О переправе нечего было и думать.

— Ишбаш! — сказал Фома Филимонович, вылезая из кабины.

— Слезай! — приказал я и первым выпрыгнул на землю. — Давайте мешки!

Их оказалось четыре, и все набитые доверху.

— Здесь глубоко?.. — спросил я, подходя к краю протока. — Надо спустить туда машину, а сами переберемся по бревнам.

— Дело! — одобрил Фома Филимонович.

Березкин сел за баранку, осадил машину назад, а затем, взяв немного вправо, подогнал ее к самому берегу. Выключив скорость, он вышел. Все пятеро уперлись в машину сзади.

И Фома Филимонович скомандовал:

— Раз, два... взяли! Е-ще р-раз... взяли!

Машина послушно подалась вперед, на секунду повисла передними колесами и, нырнув носом в проток, встала на попа.

— Теперь ее без трактора не выручить, — заметил Логачев.

— Пошли! — сказал я и, чиркнув спичку, взглянул на часы. — В нашем распоряжении час и пять минут. Успеем?

— А тут всего минут сорок хода, — ответил Фома Филимонович. — За мной топайте. Я прямиком выведу.

Он постоял некоторое время, вглядываясь в лес, в небо, и затем уверенно зашагал вправо от лесной дороги.

46. ГЮБЕРТ НЕ ХОЧЕТ В САМОЛЕТ

И кто мог подумать, что шутка Трофима Степановича обернется правдой? А получилось так.

Трофим Степанович подросел со своими лихими хлопцами на поляну буквально за пять минут до прихода самолета. Мы стояли уже у костров, со спичками в руках, вслушиваясь в тишину ночи, поджидая с нетерпением рокота моторов.

Привязав коней и сложив трофеи возле Гюберта и Похитуна, которых охраняли двое бойцов, партизаны во главе с Трофимом Степановичем кучкой устремились на поляну.

И в это время Таня крикнула:

— Летит! Слышите, летит!

Все замерли. Действительно, с востока наплывал гул моторов.

— Пали костры! — во всю глотку крикнул я.

В шести местах взметнулось пламя, такое яркое, что поляна сразу приобрела фантастический вид.

И в этом тоже сказался сметливый ум Миши Березкина. Он еще в то утро, когда мы покидали поляну, припрятал две бутылки с жидкостью «КС» и не сказал об этом никому ни слова. А сегодня, вернее — несколько минут назад, вручил мне их и сказал:

— Не ругайтесь, Кондратий Филиппович... Так будет лучше. Без них мы обошлись, а случись дождь — могли бы запоздать с сигналами.

Костры пылали, высоко выбрасывая белые языки пламени. Я пустил белую, а вслед за ней и красную ракету. Рокот моторов приближался, потом ослаб. Самолет мягко опустился на поляну, побежал по травяному коврику и остановился, урча приглушенными моторами. Все опротивело бросились к нему.

Кто-то выпрыгнул из открывшейся дверцы самолета, не ожидая, пока спустят лесенку. Я подбежал. Это был майор Петрунин.

— Кондратий Филиппович! Старина! — И он обнял меня. — Как дела? Говори скорее!

— Все в порядке!

— Провели?

— Сделали все, что можно было сделать, и немножко больше.

— Даже?

— Честно.

— Гасите костры! — крикнул Петрунин.

Ребята мгновенно забросали костры приготовленной землей, и они погасли. Сразу стало темно. По поляне потек едкий белый дым.

Потом из самолета вылез лейтенант Костя Воронков, и мы обнялись.

— А это что за народ? — спросил меня шепотом Петрунин.

— Партизаны! Они нас крепко выручили!

На землю сошли пилоты, штурман, механик, радист, стрелок и два бойца, вооруженные ручными пулеметами.

Тут же подоспели мои ребята и партизаны. Все знако-

мились, трясли друг другу руки, засыпали друг друга вопросами, шутили, смеялись

— Рассказывайте, Кондратий Филиппович, рассказывайте! — дергал меня за руку Костя.

— Что тебе рассказывать? — усмехнулся я.

— Расправились?

— Полностью.

— А документы?

— Четыре мешка.

— Вот это да! — воскликнул Костя.

— И два живых фашиста в придачу! — подсказал подспевший Сережа Ветров.

Костя присвистнул. Петрунин наклонился и стал всматриваться в лицо Сережи.

— Наш радист, — представил я смущенного, краснеющего хлопца.

— Ветров! — в один голос воскликнули Петрунин и Воронков.

— Он самый! — вынужден был ответить я, так как Сережа молчал. — А это остальные обитатели «Полюса недоступности». Знакомьтесь — Кольчугин, Кольчугина, Логачев, Березкин. Все налицо.

Петрунин и Воронков с искренней теплотой жали руки друзьям, которых до этой минуты знали только по фамилиям.

— А что за фашисты? — спросил Костя.

— Фашисты знатные! — ответил ему Фома Филимонович. — И серьезные...

Окружающие дружно рассмеялись.

— Как это понимать?

И тут Сережа Ветров опять не выдержал, хотя мы и договорились молчать до последней минуты о том, кого мы схватили.

— Майор Гюберт и шифровальщик Похитун, — произнес он и спрятался за чью-то спину.

На короткое мгновение воцарилось молчание. Березкин толкнул в бок «предателя», но было уже поздно.

— Это... это серьезно? — оторопело спросил Петрунин

— Серьезно, друже! Сушая правда, — ответил я.

— А где они?

— Совсем рядом. Упакованы и готовы к отправке, — сказал Логачев.

— Вот оно как...— еще не придя в себя от такой вести, пробормотал Петрунин.— Гюберт и Похитун? Хм... Ну, знаете...

— Сколько пассажиров? — раздался сердитый бас пилота.

— Восемь,— ответил я.

— А груз?

— Четыре вещевых мешка, личные вещи и оружие.

— Дайте-ка мне провожатого,— сказал пилот.— Я погляжу поле.

Сопровождать его вызвался Березкин. Вместе с ним пошли и два партизана.

— Давайте грузиться, товарищи! — потребовал второй пилот.— Через полтора часа начнет светать.

Все отправились за вещами. Гюберт отказался идти. Когда его поставили на ноги, он повалился на землю.

— У моего начальника, видать, заскок приключился! — произнес Фома Филимонович и постукал себя пальцем по лбу.— Это бывает. Придется его волоком тянуть.

— Волоком не волоком, а дотянем...— пробурчал рослый партизан, обросший черной бородой. Он без посторонней помощи схватил Гюберта в охапку, легко подбросил и, взвалив на плечо, зашагал к самолету.

— Вот каков наш Филя! — похвастался Трофим Степанович.— После войны в чемпионы пойдет.

Гюберт извивался, дергал ногами. Филя серьезно и спокойно предупредил его:

— Не ёрзай, не ёрзай, господин, а то уроню.

Похитуну развязали ноги, но он стоял не двигаясь.

— Вам что, господин на тонких ножках, особое приглашение? — обратился к нему Трофим Степанович.— Или тоже на ручки хотите? Марш вперед!

Похитун пустился вприпрыжку и скоро догнал партизана, несшего Гюберта.

Со мной рядом шагал Петрунин, и я обменялся с ним мнением по одному вопросу.

Когда началась погрузка вещей, я распорядился:

— Друзья! Пистолеты, автоматы, гранаты, табак и лишнюю одежду оставить Трофиму Степановичу. Быстро!

Карягин смутился, но остался очень доволен.

— Расщедрился ты, майор! — сказал он.— А не жалко?

— А как бы вы поступили, будучи на нашем месте?— спросил его Петрунин.

— Что ж, спасибо... Больше ничего не скажу,— проговорил Трофим Степанович.

А когда я объявил ему, что оставляем партизанскому отряду радиостанцию с питанием к ней на четыре месяца, он расчувствовался и обнял поочередно меня и Ветрова.

— А уж радиста-то мы отыщем. Есть на примете,— сказал он.

Ветров протянул ему бумажку и наставительно пояснил:

— Берегите ее, как самого себя. Тут всё: позывные, частота, время... Специалист разберется.

— Залезайте, залезайте! Пора!— строго приказал вернувшийся пилот.

Мы бросились к самолету. Взирались по лесенке, подавая друг другу руки. Втащили Гюберта и Похитуна.

Опять прощались с партизанами. И пробыли-то мы вместе менее суток, а прощались как давние знакомые, как закадычные друзья.

Партизаны тотчас побежали к лошадям.

Уже в самолете Сережа Ветров вынул из-за пазухи белку и вручил ее Тане. Зверек вскочил на плечо своей хозяйки и, не обращая никакого внимания на непривычную обстановку, начал деловито отряхиваться и приглаживать свою взъерошенную шубку.

— Скажи пожалуйста!— удивился механик, закрывая дверь.— Впервые на нашем борту такой пассажир!

Гюберт делал вид, что дремлет.

Взревели моторы и вздрогнул самолет. Белка в испуге юркнула и забилась под головной платок Тани. Самолет вырулил к краю поляны, развернулся и стремительно помчался вперед, освещая дорогу фарами.

47. В МОСКВЕ

Когда горизонт осветился солнечными лучами, я увидел раскинувшуюся впереди Москву. Все прикикли к окнам. Из моих друзей еще никто не бывал в столице, кроме коренного москвича Сережи Ветрова.

— Москва? — громко крикнула мне Таня.

— Москва! — ответил я.

И вот самолет уже побежал по гладкой бетонированной дорожке.

— Глядите! — Петрунин тронул меня за плечо. — Машина полковника.

По лётному полю катилась закрытая легковая машина.

Самолет подрулил к площадке, моторы взревели еще раз и заглохли. Открыли дверцу. В лицо ударили слепящие лучи солнца. К самолету катили лесенку.

— Полковник торопится, — сказал Петрунин. — Хотя это ему несвойственно. А с ним...

— С ним полковник Фирсанов, — улыбнулся я.

Да, на плечах Фирсанова я увидел полковничьи погоны. Оба они — и Решетов и Фирсанов — были в летней полевой форме, но при орденах. Они шагали широко, о чем-то горячо говорили. Решетов энергично жестикулировал.

И отъезд и приезд всегда очень будоражили меня то тревожным, то печальным, то радостным волнением. И сейчас я почувствовал это острое ощущение, заставляющее сильнее биться сердце.

— Выходите первым, — сказал мне Петрунин. — А за вами — боевые соратники. Мы потом. А сюрприз придержим...

Со стесненным дыханием я шагнул на первую ступеньку лесенки, а потом прыгнул на землю и, приложив руку к кепке, доложил Решетову:

— Товарищ полковник! Докладывает майор Стожаров... Задание выполнено!

— Здравствуйте, подполковник! — прищурив глаза, четко ответил Решетов и крепко пожал мне руку.

Мне показалось, что я ослышался, но Фирсанов рассеял мои сомнения.

— Привет, подполковник! Привет, Кондратий Филиппович! Очень рад и хочу тебя обнять, — сказал он.

Он так и поступил.

— Здравствуйте, товарищи! — обратился Решетов к моим друзьям.

Я смешался. Хотел было поблагодарить за присвоение нового звания и не нашел слов для этого.

Потом я попытался представить своих друзей, но меня прервал Решетов:

— Зачем? Я и так всех знаю. Это Таня Кольчугина! — И он пожал ей руку. — Это Фома Филимонович! — Потом, взглянув поочередно на Березкина и Логачева, он сказал: — И тут не спутаю. Это товарищ Логачев, а это товарищ Березкин... А теперь вы пожалуйста сюда, товарищ Ветров. — И он протянул руку покрасневшему Сереже.

Фома Филимонович потрянул головой, потискал пятерней свою прокуренную бороду и пробормотал что-то себе под нос.

— А живой груз? — спросил полковник Решетов, пылливо заглядывая мне в глаза.

Сообразив, в чем дело, я сказал:

— Таня, покажи!

Таня вынула из рукава белку.

— Не об этом речь, — проговорил Решетов, сдерживая улыбку.

— Не понимаю, товарищ полковник... — попытался выкрутиться я.

— Эх, вы, а еще разведчик, — покачал головой Решетов. — Так знайте же, что если вы оставляете рацию партизанам, то это не значит, что мы лишились связи. Наши самолеты тоже хорошо оборудованы... Правильно, майор? — спросил он Петрунина.

— Так точно, товарищ полковник! — сказал Петрунин и виновато покосился на меня.

Я развел руками и сказал:

— Не знал я, что за такое короткое время среди моих друзей появится уже второй «предатель».

Решетов и Фирсанов рассмеялись.

Когда вывели Гюберта, он на мгновение сощурился от солнца, постоял на площадке трапа, а потом медленно спустился. Его подвели к Решетову. Рядом с Гюбертом поставили Похитуну. Как они отличались друг от друга! Гюберт стоял выпрямившись, надменно поднимая голову. В лице его не было ни кровинки. Губы плотно сжаты. Приметный шрам четко вырисовывался на лбу. А Похитун походил на побитую собаку. Его тонкие и кривые ноги заметно дрожали в коленях.

— Если я не ошибаюсь, — обратился Решетов

по-немецки к Гюберту,— передо мной стоит майор германской разведывательной службы Вильгельм Гюберт?

— Вы хорошо осведомлены, господин полковник,— с подчеркнутой вежливостью по-русски ответил Гюберт.

— Освободите им руки и отправляйте,— приказал Решетов.— Машина с охраной ждет у подъезда.

Два бойца повели пленных.

— И вы поезжайте,— сказал нам Решетов.— Вас тоже ждет машина. Поехали, товарищ Фирсанов!

Мы взяли из самолета свои вещи, попрощались с экипажем и, сопровождаемые Петруниным и Воронковым, тронулись к выходу.

Все чувствовали себя прекрасно, а когда въехали в Москву с ее широкими проспектами и просторными площадями, по-военному суровую и скромную, залитую ярким светом восходящего солнца, у меня на душе стало так легко и радостно, что захотелось петь. Вместе с Петруниным и Воронковым я едва успевал отвечать на вопросы, которыми засыпали нас Фома Филимонович, Таня, Логачев и Березкин.

Навстречу нам, погромыхая, бежали трамваи, мягко и степенно плыли грузные троллейбусы, мчались стремительные машины. Звонки и гудки разноголосых сирен уже будоражили утро столицы.

Через час бесшумный лифт поднял нас на седьмой этаж гостиницы. Нам приготовили два номера, один против другого. В большом трехкомнатном «люксе» должны были разместиться мужчины, а в маленьком номере — Таня.

Я не буду описывать состояния моих друзей, впервые попавших в столицу. Оно и так понятно. Ведь мы попали в Москву, в столицу, в комфортабельную гостиницу — прямо из леса, из тыла врага, с территории, захваченной фашистскими оккупантами. Всего шесть часов назад мы швыряли в окна вражеского разведывательного пункта гранаты и бутылки с горючей смесью; всего шесть часов назад наши руки разили врага и сами мы подвергались смертельной опасности; всего шесть часов назад мы травили свирепых овчарок, бесшумно снимали часовых, били мебель, взрывали сейфы и набивали вещевые мешки захваченными документами; всего шесть часов назад мы во мраке ночи пробирались нехожеными тропами

по дремучему лесу, думая лишь об одном — как бы не опоздать к приходу самолета!.. Контраст был слишком резок.

Сейчас мы сидели в большой комнате, чинно сложив на коленях руки, и с каким-то недоумением переглядывались. В наших ушах еще раздавался грохот гранат, рокот моторов, перед нашим взором еще стояло грозное пожарище.

Представьте себе наше состояние, и вы поймете нас.

Мы молчали, видимо, так долго, что Петрунин, громко рассмеявшись, обратился к Воронкову:

— Пошли, Костя! Им надо отдохнуть.

И тут все мы, словно по команде, всполошились, засуетились, забегали, стали осматривать комфортабельный номер, заглядывать в стенные шкафы, в окна.

Мы увидели, что на диване чья-то заботливая рука аккуратно разложила комплекты чистого белья, нового обмундирования, поясные ремни, носки, носовые платки и сверкающие белизной, хорошо отглаженные подворотнички. У стены ровной шеренгой стояла дюжина пар хромовых сапог.

— Примеряйте кому какие подойдут, — пояснил Петрунин, — а лишние я потом заберу. — И тут же спросил, кивнув в сторону вещевых мешков, наполненных документами: — А с ними как?

Я считал, что документы не следует оставлять в гостинице.

— Тогда мы их заберем, — сказал Петрунин.

Он и Воронков взяли по два мешка и, распрощавшись с нами, удалились...

Мы долго натирали друг другу спины, блаженствовали в горячей ванне, полоскались под душем и, кажется, намного превысили нормы потребления горячей воды, определенные для нормальных жильцов гостиницы.

Потом подгоняли обмундирование и обувь. Практичный Фома Филимонович перебрал все двенадцать пар сапог, прежде чем выбрал по душе. Он внимательно проверял подошву, щупал рукой подклейку, мял голенища, нажимал большим пальцем на носки, пробовал прочность задника. Натянув на ноги облюбованную пару, он долго прохаживался по номеру, проверяя, как сапоги сидят на ногах.

Вечером, чисто выбритый, подстриженный, во всем новом, я предстал перед полковниками Решетовым и Фирсановым.

На этот раз доклад мой был очень краток. Я не касался подробностей. Задание было выполнено и, можно сказать, перевыполнено. от нас не требовали доставки Гюберта и Похитуна, а мы их доставили. Я подчеркнул, что без помощи партизан мы, безусловно, не справились бы с разгромом осинового гнезда.

— Товарищи заслуживают наград,— сказал Решетов и поглядел на Фирсанова.

Тот кивнул головой и произнес:

— Надо затребовать списки участников по радио.

Я подал Решетову уже готовый список, переписанный начисто.

— Вы предусмотрительны, подполковник! — заметил Решетов.— Похвально!

Фирсанов сказал, что матери Криворученко назначены единовременное пособие и пожизненная пенсия. Мать и сестра Криворученко уже извещены о гибели сына и брата.

— Но вам придется съездить к ним,— добавил Фирсанов.— Возьмите на себя эту тяжелую миссию.

— Есть! — ответил я.

Логачеву, Березкину, Ветрову, Кольчугину и Тане решено было предоставить отпуск и места в подмосковном доме отдыха, а потом уже персонально решать судьбу каждого из них.

— А вас мы никуда не пустим,— произнес Решетов.— Погостите здесь. Ваша Мария Демьяновна чувствует себя хорошо и самое большее через недельку будет в Москве. Да, да... И больше на Урал не вернется. Мы подобрали ей тут работу.

— Не возражаете? — осведомился Фирсанов.

Я только развел руками. Приятные неожиданности и сюрпризы следовали непрерывно.

На третий день, вскоре после завтрака, в наш номер вошел незнакомый подполковник с выправкой кадрового кавалериста. У него было хмурое лицо и папка в руке.

Он громко сказал:

— Здравия желаю!

Мы ответили недружно, вразнобой. Подполковник, примостив на платяном шкафу свою форменную фуражку, подсел к столу, раскрыл папку с бумагами и спокойно проговорил:

— Ну-с, приступим к делу.

По всей видимости, его профессия, приносящая людям радость, позволяла ему действовать не только с невозмутимым спокойствием, но и без всяких предисловий.

Мои друзья недоумевающе переглянулись. Подполковник между тем вынул из папки небольшие бланки, пересал на кресле, усаживаясь удобнее, вооружился автоматической ручкой и объявил:

— Небольшая, так сказать, и не такая уж неприятная формальность. На всех удостоившихся правительственных наград заполняется специальная, единой формы анкета. Я решил это сделать с утра пораньше, не без оснований. Днем вам всем придется быть гостями в Кремле.

Он обвел глазами всех и неожиданно улыбнулся. И от этой улыбки лицо его стало вдруг простым, добродушным и очень симпатичным.

— А я тоже потребуюсь? — осведомился Фома Филимонович, собравшийся до прихода подполковника поехать с Таней в гости к Сереже Ветрову.

— Как ваша фамилия?

— Кольчугин.

Подполковник неторопливо порылся в бумагах, потом взглянул на старика и уточнил:

— Кольчугин Фома Филимонович?

— Точно так.

— Да, и вы потребуетесь. И даже дважды. На вас придется заполнить две анкеты. Вы награждены орденом Красного Знамени. Это вчера. А незадолго до этого — медалью. Вручат вам и то и другое сегодня. И вручать будет сам Михаил Иванович Калинин. Вот так. Вопросы есть?

Вопросов не было.

Я заметил, как дрогнуло лицо Фомы Филимоновича, как сдвинулись и мгновенно разошлись его косматые брови. Он обвел всех нас взглядом, потом прикрыл глаза рукой и, закусив нижнюю губу, отошел в сторонку.

После приема в Кремле, поздно вечером, в гостиницу появился майор Петрунин и командовал одеваться. Две «эмки» бесшумно понесли нас по затемненной улице Горького. На перекрестках, под небольшими кружками глубинного света, стояли регулировщики. В черном, бездонном небе, усыпанном мириадами колющих звезд, неподвижными громадами едва-едва вырисовывались аэростаты воздушного заграждения. Изредка небо из конца в конец рассекали, подобно огненным мечам, лучи поисковых прожекторов. Когда лучи меркли, темнота сгущалась еще более. По тротуарам, мерно печатая шаги, проходили военные патрули. На крышах домов торчали, устремив стволы вверх, автоматические зенитки.

Москва была начеку, во всеоружии, грозная в своем спокойствии, готовая отразить врага, откуда бы он ни появился.

В воздухе не чувствовалось прохлады — нагретый за день асфальт продолжал излучать тепло.

Машины остановились возле темного особняка.

Все вышли и, следуя за Петруниным, поднялись на второй этаж. У дверей нас встретил лейтенант Воронков. Он провел всех в светлую комнату, усадил и сам исчез за дверью, прикрытой тяжелой портьерой.

Дверь он не закрыл, и все мы слышали голос полковника Решетова:

— Где же именинники?

— Все налицо, товарищ полковник.

— Давайте зовите!

Вновь раздвинулась портьера, и появился Воронков.

— Прощу! — сказал он и сделал широкий жест.

Мы прошли в просторную, залитую ярким светом комнату с накрытым столом посередине.

— Рассаживайтесь, товарищи! — пригласил Фирсанов.

Не было никаких церемоний, лишних слов, объяснений. Чувствовалось, что и Решетов и Фирсанов дорожат своим временем, что его у них немного, но тем не менее они считают своим долгом вырвать час-другой и уделить его нам.

Расселись. По обе стороны от меня сели Таня и

Сережа. Фому Филимоновича усадили между полковниками, а Логачев и Березкин расположились напротив.

Решетов встал, поднял бокал и сказал:

— Выпьем за смелых! За тех, кто проник по приказу Родины и партии в логово врага и, рискуя собственной жизнью, преодолевая все преграды, сумел умно и дерзко выполнить сложное и ответственное задание!

Он сказал несколько слов о моральном облике советского разведчика, ставящего интересы дела выше всего и готового не только биться с врагом в жестоком поединке, не только побеждать, но, если потребуется, и жертвовать собой.

Потом выпили за партизан.

Затем вспомнили о тех, кого уже никогда не будет с нами, кто не сядет за убранный стол, кто не разделит с советским народом радость грядущей победы, кто, не щадя своей жизни, выполнил долг советского патриота.

Перед моим взором возник «Полюс недоступности», наш маленький неприступный островок и невысокий холмик, под которым мы оставили истинного сына Родины, нашего замечательного друга...

Через час мы были уже в номере. Я стоял у открытого окна, выходявшего на огромную, сейчас безлюдную площадь, и думал. Все пережитое за последние месяцы вновь проходило перед глазами. Мне было как-то легко и грустно.

Над столицей раскинулась теплая летняя ночь. Сьвозь предутренний сумрак проступали очертания зданий, кремлевские звезды.

Я постоял еще немного, почувствовал усталость и лег. Но спать пришлось недолго. Меня разбудил телефонный звонок.

— Подполковник Стожаров? — раздался в трубке незнакомый голос.

— Так точно.

— Вас ожидает полковник Фирсанов. Быстрее оденьтесь. Внизу ждет машина.

Видимо, случилось что-то важное, если полковник не дал мне отдохнуть. Я быстро оделся, вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Коридор был пуст и безлюден.

Я быстро сбежал по бесконечным ступеням лестницы и вышел на улицу. Над Москвой вставало утро. Воздух был по-утреннему чист и прохладен. На тротуарах появились первые прохожие. По небу скользнул последний, побледневший луч прожектора. Отчетливо виден был снижающийся аэростат воздушного заграждения. Прижавшись к тротуару, против подъезда стояла машина. Я направился к ней.

Да, враг еще не разбит, война продолжается!



Дмитрий Медведев

Это было
под
Ровно



Литературная обработка

М. БЕЛАХОВОЙ



РЕПЕТИЦИЯ

Ранним утром в апреле 1942 года на Тушинском аэродроме собралась группа будущих партизан. Сегодня все должны подняться на самолете и сделать первый пробный прыжок с парашютом. Кроме меня, никто ни разу в жизни с парашютом не прыгал. Я заметил, что многие волновались. Иные заводили веселые разговоры, но беспокойные взгляды на поле аэродрома красноречиво говорили о душевном состоянии «весельчаков».

Я понимал, что это не трусость. Все эти люди добровольно пошли в партизаны и знали, каким опасностям они будут подвергаться там, в тылу врага. Из многих желающих попасть в отряд были отобраны лишь пятьдесят таких, которые наверняка не подведут, не струсят. Сейчас волновались все, но тот, кто впервые прыгал с парашютом, знает, что волнение при этом обязательно и законно.

Я посмотрел на часы — ждать еще целых тридцать минут.

Неподалеку от меня сидел Александр Александрович Лукин. Он был назначен в наш отряд начальником разведки. Лукину тоже, видно, было не по себе: он курил одну папиросу за другой.

— Александр Александрович! — нарочно громко, чтобы все слышали, обратился я к нему. — Что-то вы многовато курите? Неприятно все-таки прыгать с высоты, страшновато?

Лукин сразу понял, что этот разговор, явно интересующий всех, я завел умышленно.

— Да ведь что ж, Дмитрий Николаевич, страшно не страшно, а прыгнуть придется! — ответил он.

Все притихли, прислушиваясь к нашим словам.

Показалось удивительным: как это командир откровенно говорит, что боится прыжка! А я воспользовался установившейся тишиной и начал свой рассказ, рассчитывая на оставшиеся полчаса томительного ожидания:

— Вам всем, конечно, это в новость. Ну, а я старый парашютист. У меня сегодня будет третий прыжок. Первый раз я прыгал давным-давно, в 1907 году, когда о парашютном спорте и слуху не было. Жил я тогда в Белоруссии, в большом рабочем поселке Бежице. В праздничный день Николы мой отец был именинником и позвал к себе гостей. Гости все пожилые люди, ну и, конечно, мне, восьмилетнему мальчишке, было с ними скучно. Я воспользовался суматохой в доме, стащил у отца табачку, взял селедку, отрезал кусок именинного пирога и с этими гостинцами отправился в гости к сторожу пожарной каланчи, которая стояла рядом с нашим домом.

Сторож, старик Гаврилыч, был моим давним приятелем. Я до смерти любил слушать его рассказы о всяких былях и небылицах и частенько коротал с ним время на

пожарной каланче, откуда поселок наш был виден как на ладошке.

Гаврилыч отведал пирога с рыбой, похвалил его, покушал селедочки и, уже свертывая себе козью ножку, начал длинную сказку про ковер-самолет. Так сидели мы с ним вдвоем на каланче час или два. Гаврилыч устал говорить и задремал. От нечего делать я тоже решил закурить, свернул сигарочку и, важно попыхивая ею да задыхаясь с непривычки, стал похаживать по площадке каланчи. Смотрю — внизу отец! Грозится палкой и направляется к вышке. Я понял, что порки мне не избежать. Во-первых, он запретил лазить на каланчу, а во-вторых, увидел, что я курю.

Что делать? Как избежать расправы? Тут мне попался на глаза большой брезентовый зонт. С ним обычно жена Гаврилыча сидела на рынке в солнечные или дождливые дни: она торговала семечками. Как-то я спросил Гаврилыча, зачем он держит на каланче этот зонт. Гаврилыч, хитро подмигивая одним глазом, ответил мне: «Это, брат, важная вещь. Могёт загореться сама каланча. Загорится, скажем, снизу, ну, как я по лестнице сойду? Вот я возьму этот зонт и с ним спрыгну».

Гаврилыч говорил это шутя, но я, как увидел отца, испугался, недолго думая схватил зонт, раскрыл его и... прыгнул с каланчи. Ох и страшно же было!

Зонт, правда, я не выпустил и с ним в руках упал на крышу соседнего дома. Ушибся довольно сильно, но об этом тогда думать не пришлось. Потер разбитые и расцарапанные колени, соскочил с крыши и побежал за угол. Оттуда стал наблюдать...

Отец был уже на вышке каланчи. Вижу, подошел к нему Гаврилыч и, показывая на зонт, который я оставил на крыше, что-то объясняет.

Потом отец скрылся с вышки: видимо, решил найти меня. Я дал ходу — убежал за три улицы от дома. Но вечером пришел домой и как следует был наказан.

Так я прыгал с парашютом первый раз в жизни. Видите, я, стало быть, пионер парашютного спорта.

Рассказывая, я заметил, что слушатели повеселели. Взглянул на часы — осталось еще десять минут. Можно продолжать:

— А во второй раз я прыгал с настоящим парашютом

и с настоящего самолета. Это было недавно, в августе 1941 года, когда только что началась война. Я должен был переправиться с отрядом в тыл врага. Меня спросили, могу ли я прыгнуть с парашютом. Не моргнув глазом, я ответил, что это, мол, мне не впервые, и тут же поехал на аэродром. В пять минут мне объяснили, как раскрывать парашют, подняли в воздух на «У-2», и я спрыгнул. Признаюсь, страшновато было. Потом оказалось, что подготовка эта ни к чему: в тыл врага мы перешли пешком. Ну, а сейчас попробую прыгнуть в третий раз. И скажу вам по совести: опять волнуюсь. Но зато: два прыжка — и мы в тылу у немцев! Сегодня — один, через несколько дней — другой, и за работу. Ну, а сейчас к делу. Вон за нами уже идут.

Мои воспоминания, видимо, развлекли товарищей. Им стало как-то легче: раз волнуется сам командир, значит, ничего в этом позорного нет.

Мы направились к самолетам.

Прыжки прошли удачно, но не без приключений. Я «придеревился» — опустился на огромную березу. Парашют зацепился, пришлось его отстегнуть и по стволу спуститься вниз.

Один товарищ повис между двумя деревьями. Это было неподалеку от аэродрома. К нему подбежали, кричат: — Раскачайся, зацепись за дерево и спустись!

Тот пробует раскачиваться, но у него ничего не выходит. Тогда собравшиеся внизу взяли свободный парашют, растянули его на руках и стали объяснять:

— Отстегивай парашют, прыгай!

Незадачливый парашютист прыгнул, как циркач в сетку.

С аэродрома в Москву мы поехали на грузовике. Был уже полдень, но улицы столицы казались пустыми. Тверской бульвар, Советская площадь, которые в мирное время были заполнены малышами с мячиками, прыгалками, трехколесными велосипедами, теперь были безлюдны. Ребята с матерями и бабушками эвакуированы в безопасные районы. Эвакуированы и многие заводы и учреждения. Столица наполовину опустела. Гитлеровцы в ту пору были отогнаны от Москвы на двести — триста километров, но еще продолжались налеты немецкой авиации.

Подготовка к перелету в тыл врага подходила к кон-

цу. Правда, готовились мы недолго, всего около месяца. В лесу, недалеко от города, разбили лагерь и там проводили занятия по стрельбе и топографии. Провели даже саперные занятия: строили плоты и переправлялись на них через озеро, находившееся вблизи нашего лагеря.

Как командир отряда, я пользовался каждым случаем, чтобы поговорить с людьми о будущей партизанской жизни. Я был опытнее других. С августа сорок первого по февраль сорок второго года я командовал партизанским отрядом в Белоруссии, в Брянских лесах. Я рассказывал товарищам о трудностях, которые нас ожидают. Говорил о риске для жизни, но не запугивал:

— По опыту знаю, что партизаны — хозяева в тылу у немцев. Народ смотрит на них как на представителей Красной Армии, Советской власти. Вот почему партизан во всем и везде должен быть достоин нашей великой социалистической Родины!

В отряде у нас было много бойцов-украинцев. Это не случайно. Местом нашей партизанской работы была намечена Ровенская область Украины. Там, между городами Сарны, Ракитное и Березно, простираются громадные лесные массивы. Сарненские леса должны были стать местом пребывания нашего отряда.

Но перелететь сразу в Сарненские леса оказалось затруднительным. Это было слишком далеко за линией фронта. Над территорией, занятой немцами, самолет может лететь лишь ночью, иначе собьют. А весной ночи короткие, и самолет не успел бы затемно сделать рейс из Москвы в Сарненские леса и обратно. К тому же появление советских самолетов над Сарненскими лесами могло привлечь внимание немцев, и отряд оказался бы в большой опасности. Поэтому решено было сначала переправить отряд поближе — в Мозырские леса, к деревне Мухоеды, которая расположена на границе Ровенской области, а уже оттуда отряд должен был добираться пешком до Сарненских лесов.

БОЕВОЙ ПРЫЖОК

Для переброски в тыл врага отряд был разбит на несколько звеньев. В конце мая мы отправили первое звено из четырнадцати человек. Начальником назначили

Сашу Творогова, отважного, молодого, но уже опытного партизана.

В начале войны воинская часть, в которой сражался Творогов, попала в окружение. Вместе с товарищами он укрылся в лесах Белоруссии и начал партизанить. В октябре сорок первого года группа Творогова присоединилась к моему отряду, с которым я находился тогда в Белоруссии.

В самое короткое время Саша хорошо проявил себя и был назначен начальником разведки всего отряда. Он успешно проводил боевые операции. Позже, в начале сорок второго года, вместе с моим отрядом он возвратился в Москву.

В списках бойцов нового отряда Саша Творогов стоял первым и первым же полетел в тыл врага. Он должен был приземлиться в Мозырских лесах, у деревни Мухоеды, и отыскать место для приема остальных звеньев.

Перед вылетом его предупредили, что, если с ним что-нибудь случится, встреча с отрядом все равно должна состояться в назначенном пункте — у деревни Мухоеды.

Через два дня после вылета Творогов сообщил по радио, что произошла ошибка: вместо Мозырских лесов летчики выбросили его звено южнее Житомира. Это за триста километров от Мозырских лесов! Местность оказалась безлесной, скрываться трудно. Еще через день Саша сообщил, что они направляются к деревне Мухоеды.

Во время передачи этого сообщения связь неожиданно прервалась. Ждали день, два, три — связи все нет и нет.

Что там случилось?

Решили отправить второе звено; во главе его полетел Кочетков. Люди опустились на парашютах в какое-то болото. Насквозь промокли, промокло и все снаряжение, и они еле-еле выкарабкались.

Через некоторое время Кочетков радировал, что они вышли к станции Толстый Лес на железной дороге Чернигов — Овруч, это в тридцати километрах от деревни Мухоеды.

Кочетков там остановился и сообщил, что организует сигналы для приема наших парашютистов.

Настроение поднялось, и, уже как будто на проверен-

ное место, к станции Толстый Лес мы послали третье звено. Пашун, назначенный начальником штаба нашего отряда, полетел во главе этого звена. С ним радиста не было — их у нас не хватало, — но зато в его звене были два партизана, хорошо знавшие и Мозырские леса и даже станцию Толстый Лес.

Мы сообщили Кочеткову, что вылетает еще одно звено и чтобы для сигнала самолету он ночью жег костры.

Самолет, улетевший с новой группой, благополучно возвратился в Москву, и летчик доложил, что парашютисты сброшены на сигналы у станции Толстый Лес.

А на следующий день Кочетков сообщил, что никакого самолета не было, хотя костры горели всю ночь. Что за наваждение! Не туда сбросили людей! Радиста у Пашуна нет — значит, и вестей от него ждать нечего.

Творогов пропал, Пашун неизвестно где... Я стал требовать, чтобы поскорее отправили меня. Надо отыскать наконец пропавших товарищей и организовать прием остальных.

Но меня задержали в Москве, и с очередным звеном полетел Сергей Трофимович Стехов, мой заместитель по политической части, с которым мы формировали отряд. Как ни печально, но и группу Стехова тоже выбросили не на сигналы Кочеткова. Сергей Трофимович сообщил нам по радио, что в течение трех дней не может определить место, где находится. Посылает людей в разведку — те не возвращаются.

Мое волнение дошло до предела, но наконец я получил разрешение на вылет.

Со мной должны были лететь начальник разведки Александр Александрович Лукин, радистка Лида Шерстнева и несколько бойцов-испанцев.

В Москве тогда было много испанских товарищей, которые в свое время боролись за свободную Испанию и потом вынуждены были эмигрировать. Когда началась война с гитлеровцами, испанцы стали просить Советское правительство об отправке их на фронт. Многие, узнав, что формируются партизанские отряды, настаивали, чтобы их включили в эти отряды. Восемнадцать испанцев добровольно вступили в мой отряд. При первой же встрече они заявили, что, участвуя в войне Советского Союза против фашистской Германии, они тем самым

помогают освобождению всех стран, захваченных гитлеровцами.

Вечером 20 июня я со своей группой был на аэродроме.

Родных, жены не было. С ними я попрощался дома: «дальние проводы — лишние слезы».

Провожали меня товарищи по первому отряду.

Прощание было недолгим. В точно назначенное время самолет был готов, мы сели в него, загудели моторы — и... до свиданья, Москва!

Настроение у всех было приподнятое. И, как будто мы совершали прогулку, с первой же минуты товарищи запели песни — русские, потом испанские.

Но вот подлетели к линии фронта. А линия фронта была тогда не так далеко — несколько западнее Тулы. Здесь самолет сразу попал в ослепительные полосы прожекторных лучей. Немцы открыли стрельбу, но мы счастливо миновали опасную зону. Прошел один томительный час, другой, и нам дали команду приготовиться к прыжку.

Я посмотрел в окошко самолета и отчетливо увидел внизу, на земле, условные сигналы костров. Самолет, делая круг, начал чуть-чуть снижаться. Один за другим мы стали у бортовой двери. Сопровождавший нас майор прицепил наши «карабины» за планку, чтобы парашюты сами раскрылись в воздухе.

Вот мы уже готовы. Вдруг стоявшая за мной Лида Шерстнева взволнованно сказала:

— Товарищ командир, а где же ваша веревочка?

Я обернулся. Оказывается, мой «карабин» не прицеплен. Пожалуй, я в воздухе не растерялся бы и вовремя сам раскрыл парашют: для этого надо было только дернуть за кольцо, но хорошо все-таки, что Лида предупредила.

Сердце заколотилось, когда раздалась команда:

— Пошел!

Я прыгнул первым. Малые секунды — и парашют раскрылся.

Огляделся вокруг. Нас выбросили высоко — метров девятьсот от земли. Над головой луна, внизу костры, но они удаляются: ветер относит меня в сторону. Парашюты разбросаны по воздуху — надо мной, справа, слева. Один

пролетел мимо меня, быстро-быстро снижаясь. Успел подумать: «Парашют не полностью раскрылся — может разбиться человек».

Внизу — лес. По правилам приготовился: взялся крест-накрест за лямки. В тот же миг рванула воздушная волна, отнесла меня в сторону, и я стукнулся о землю.

От опушки леса меня отнесло метров на сорок.

Заранее было условлено, что я зажгу костер и на него соберутся все парашютисты. Я так ушибся, что не мог встать на ноги, чтобы набрать сучьев для костра. Тогда я подтянул к себе парашют и зажег его. Потом отполз от костра метров на пятнадцать, лег за кусты и, держа наготове автомат, стал ждать. Как знать, кто сейчас придет на этот костер — свои или враги?..

Вижу, кто-то осторожно подходит. Спрашиваю:

— Пароль?

— Москва!

— Медведь! — говорю ответный и добавляю: — Брось свой парашют на огонь и иди ко мне.

— Есть!

Подошел Лукин, за ним Лида Шерстнева, потом остальные.

Километрах в трех-четырех от нас беспрерывно лаяли собаки, будто их кто-то дразнил. Значит, недалеко деревня.

Собрались все. Я встал, с трудом распрямился и, заглушая боль, как мог весело и бодро сказал:

— Второй прыжок — и мы на месте!

Потом вынул компас и начал определяться. Компас, звездное небо и железная дорога — этого было достаточно, чтобы знать, куда идти. Станция Толстый Лес должна быть совсем недалеко.

Итак, мы в тылу врага, почти за тысячу километров от Москвы и на шестьсот километров за линией фронта.

ВСТРЕЧА

Мы шли по опушке леса в направлении станции Толстый Лес. Уже брезжил рассвет. На траве, обильно покрытой росой, каждый шаг заметно отпечатывался. Поэтому я приказал идти «партизанским шагом» — гуськом

на расстоянии двух-трех метров друг от друга — и ступать точно след в след, так чтобы ноги идущего позади попадали в следы переднего.

Если нас будут выслеживать, трудно будет определить, сколько человек прошло — десять или сто. А осторожность — первое правило партизана.

Стало почти светло. Тихо кругом. Но я прислушивался к каждому шороху, к каждому треску ветки. Хотя опасности пока никакой не было, я, чтобы насторожить товарищей, время от времени условными знаками давал команды «ложись», «маскируйся».

Прошли километров пять. Вдали на дороге показались два человека.

«Ложись!» — команду я и подзываю Лукина:

— Александр Александрович! Вы начальник разведки отряда — будьте и первым разведчиком. Выясните, что за люди. Если свои, расспросите, где Толстый Лес.

Лукин взял с собой испанца Флорежакса и пошел. Я наблюдал за ними. Вижу, Лукин заговорил с прохожими, потом они пожали друг другу руки и разошлись.

Лукин возвратился; он встретил, оказывается, какую-то старушку лет семидесяти с внуком. Старушка всплеснула руками и расплакалась, когда узнала, что разговаривает с партизанами:

— Голубчики мои, вот радость-то! Когда уж прогоните проклятых... Разорили нас совсем!

Старушка сказала, что до станции Толстый Лес всего лишь десять километров, и предупредила, чтобы мы не ходили по ту сторону железной дороги: там в деревне много полицейских.

Лукин дал ей на прощание плитку шоколада и несколько кусков сахара.

Часам к девяти мы были уже недалеко от станции Толстый Лес. Отдал команду отдыхать. Без привычки к долгой ходьбе люди устали, многие натерли ноги.

Я выставил секреты для наблюдения за станцией, переездом и дорогой. Лиде Шерстневой приказал развернуть рацию и передать в Москву, что мы приземлились правильно и ищем звено Кочеткова.

Вдруг бойцы из секрета подводят к нам трех человек. Смотрю — сияющие лица: разведчики Кочеткова.

— Лида, отставить передачу!

Пошли прямо в лагерь Кочеткова.

Радость встречи трудно передать. Наперебой стали рассказывать новости: мы о Москве, они о здешней жизни.

Стехов со своими товарищами уже был здесь, в лагере Кочеткова, но о Саше Творогове и Пашуне по-прежнему никто ничего толком не знал. Как будто в воду ка- нули люди!

Не все гладко прошло и у Кочеткова. Когда его группа выбрасывалась, один — уже пожилой партизан, Калашников, — повис на парашюте между деревьями на довольно большой высоте. Его долго искали, наконец нашли. Калашников, как увидел своих, не стал дожидаться, пока его снимут, взял финку, обрезал у парашюта стропы и упал на землю. Встать он уже не мог — одна нога оказалась сломанной. Теперь он лежал в землянке у железнодорожного сторожа, в полукилометре от станции Толстый Лес, а наш доктор, Цессарский, и партизаны тайком навещали его каждый день.

За какой-нибудь час нам приготовили обед. Меня угостили печенью жеребенка, зажаренной на свиной тушенке. Получилось довольно вкусно.

Нельзя было терять ни минуты. Мы сразу же отправили людей на разведку в разные направления. Следовало узнать, можем ли мы здесь и дальше принимать наши звенья или немцы пронюхали что-нибудь о лагере. Под вечер я и сам пошел проверить, как охраняется лагерь, как расставлены посты. Обошел вокруг, перешел через большую поляну и углубился в лес.

Недаром станцию называли Толстый Лес. Лес вокруг действительно могучий. Вековые дубы, березы, сосны, ели и мелкие деревца меж ними образовали густой, непроходимый массив. Там, где я шел, не было ни единой тропинки. Решил возвращаться. Но минут через десять понял, что иду не туда, куда следует. Повернул левее, прошел еще минут десять, опять чувствую — не туда направился. За это время солнце зашло, и я совсем потерял ориентировку.

«Вот стыд! Подумать только: командир отряда — и в первый же день заблудился!»

Я, признаться, был о себе лучшего мнения. Родился я в Белоруссии, в детстве часто ходил в лес за грибами,

ягодами, срезками. По солнцу, веткам, корням мог определить, где юг, где север. Семь месяцев недавней партизанской жизни тоже, кажется, чему-то научили меня. И вот теперь сплеховал. От падения с парашютом спина еще болела, но я, как когда-то в детстве, быстро вскарабкался на верхушку огромного дуба. Смотрю — лес кругом, и все. Но вот заметил — вьется из лесу тонкой струйкой дымок. Значит, лагерь там. Засек по компасу этот ориентир, слез с дуба и пошел.

Добрался до лагеря в полной темноте. У костра сидели партизаны. Я присел тут же на пенек. Хотелось отдохнуть и послушать товарищей. Разговор шел об испанце Ривасе. Ривас был механик по самолетам, и мы взяли его в свой отряд как специалиста. Он летел со звеном Стехова. Молодой партизан рассказывал:

— Ну, значит, собрались мы на костер. Сделали перекличку — нету Риваса. Пошли искать. Темно, ничего не видно. Мы нет-нет и крикнем: «Ривас!» Ночью искали — не нашли. Рассвело. Опять командир отправил нас на поиски. Целый день бродили по лесу. Нету Риваса! И вот уже к вечеру напал я на болотце в лесу. Посреди болотца стоит только одна осинка, да и та тонкая. Вижу, за ней кто-то прячется. Я сам за куст — наблюдаю. Голова у человека за осинкой, а фигура вся видна. Обмундирование, смотрю, наше. Ну конечно, Ривас! Вышел и кричу: «Ривас! Выходи!» А он в ответ: «Камуфляж! Камуфляж!» Вышел наконец, обрадовался, лопочет по-своему, обнимает меня. А потом вдруг вытаскивает из-за пазухи живого голубя. Откуда он взял его и зачем ему этот голубь понадобился, не знаю.

Партизаны засмеялись, глядя на Риваса. А тот, маленький, тщедушный, с блестящими черными глазами, тоже смеется, понимая, о чем идет речь.

— Ну, а голубя он съел, что ли? — спросил кто-то.

— Да что вы, он и мухи не обидит, не то что голубя! Он для голубя потом пищу искал. Только недолго ему пришлось с ним нянчиться: улетел голубь-то.

Лишь спустя полгода, когда Ривас научился немного говорить по-русски, он рассказал нам про свои страхи, когда очутился один в лесу. Огни светлячков казались ему глазами тигров. А голубя он поймал, чтобы съесть, если не скоро отыщет своих.

Настроение у всех было приподнятое. Новая обстановка как-то увлекала. Тут же нам показали «клумбу», которую партизаны сделали из светящихся гнилушек. Радистка Лида успела уже прицепить крохотную гнилушку к волосам. Она светилась как драгоценный камень.

«Пусть пока порадуются», — думалось мне. Я-то хорошо знал лесную «поэзию» с комарами, сыростью и тлеющим костром.

Через два дня мы приняли еще одно звено парашютистов.

Самолет высоко пронесся над нашими кострами. Костры горели так ярко, что осветили и пролетавший самолет и тучи на небе.

Увидав сигналы, самолет ушел в сторону, развернулся и снова показался уже на высоте трехсот метров. От него стали отделяться ясно различимые в огненных отсветах купола парашютов. Их ветром сносило в сторону.

Неожиданно над самыми кострами, на высоте не более восьмидесяти метров, один за другим раскрылись два парашюта. Один парашютист приземлился прямо около костра. Немного поодаль упала на бревна прилетевшая к нам медицинская сестра Маруся Шаталова. Она сильно ушибла ногу. Никто не мог понять, почему все так произошло. Но когда мы внимательно осмотрели парашюты, оказалось, что «карабины» к ним забыли прицепить. Поэтому автоматически они не раскрылись, а сами парашютисты сумели раскрыть свои парашюты лишь после того, как пролетели затяжным прыжком выше двухсот метров. Молодцы все-таки наши товарищи — не потеряли присутствия духа!

Площадка для приема парашютистов оказалась негодной. Она была близко от станции: тут и рельсы, и мощный булыжник, и лесной склад. На такой площадке можно изуродоваться. Пришлось радировать в Москву, чтобы людей пока не отправляли.

А разведка приносила тревожные сведения. Кругом шли слухи, что каждую ночь прилетают чуть не двадцать—тридцать самолетов и сбрасывают парашютистов, что здесь скопилась уже целая дивизия. Слухи эти дошли, конечно, и до немцев. На дивизию они, пожалуй, пошлют большую карательную экспедицию, а нас было лишь семьдесят человек.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

На рассвете 23 июня мы покинули лагерь. Было ясно, что немцы вот-вот бросят на нас карателей. На месте лагеря оставили «маяк» — пять бойцов, которым поручили наблюдать за станцией. На «маяке» остался и наш доктор Цессарский. Он должен был лечить партизана Калашникова, который по-прежнему лежал в землянке у железнодорожного сторожа. Взять его с собой мы не могли: нога у него была в гипсе.

Я направился с отрядом на север, в большие лесные массивы. Прошли километров десять, когда заметили в лесу дымок. На разведку послал трех партизан.

— Попросите поесть и постарайтесь узнать что-либо о немцах, — поручил я разведчикам.

Они вскоре вернулись и сообщили, что в домике живет лесник. Он дал им лишь десяток сырых картошек и в разговор не вступил: дескать, ничего не знает.

Не успели мы отойти и километра, как тыловое охранение передало, что задержан подозрительный человек. Он галопом скакал на лошади. Увидев нашу колонну, подъехал:

— Где можно видеть начальника полиции?

— А зачем он тебе? — не растерявшись, спросили партизаны.

— Ко мне только что заходили какие-то два молодчика и спрашивали о немцах. Наверное, партизаны. Они ушли вон в ту сторону.

Это был тот самый лесник, у которого мои разведчики взяли картошку. Нашу колонну он принял за отряд полицейских.

При допросе лесник сознался, что ехал в районный центр Хабное, чтобы сообщить немцам о появившихся партизанах. Те за поимку партизан обещали награду. И о себе он рассказал: в свое время был осужден по уголовному делу советским судом.

Все стало ясно: был уголовником, стал предателем. Мы его тут же расстреляли.

Это происшествие насторожило нас еще больше. И хотя все устали, я решил не делать привала. Часа в три дня на ходу съели по куску вареного мяса. Хлеба у нас не было.

Как назло, начался сильный дождь, настоящий ливень. Одежда и обувь пропитались водой — идти стало еще тяжелее. Час, другой — дождь все не прекращался, но мы, не останавливаясь, шли все дальше и дальше от опасных мест. Лишь к ночи, когда все уже выбились из сил, я решил остановиться. Дождь прекратился, но в густом лесу все было мокро, с деревьев падали крупные капли и тучами роились комары. Люди, не привыкшие к длинным переходам, валились и засыпали тут же на земле.

На другой день мы нашли подходящее место для временного лагеря. Это было в лесу, среди огромнейших сосен. Здесь раньше, вероятно, было культурное хозяйство. На каждом дереве были сделаны «стрелы» для стока смолы и прикреплены чашечки. Мы быстро построили шесть палаток из парашютов, чтобы уберечься от комаров и иметь возможность спокойно спать. Недалеко от лагеря выбрали площадку для приема парашютистов. В тот же день укомплектовали подразделения, выделили разведчиков, побеседовали с ними и направили их в разные стороны — узнать, не идут ли следом за нами немцы, познакомиться, как живет население в деревнях и нельзя ли где-либо достать продуктов.

Утром 25 июня охранение лагеря задержало и привело ко мне еще одного субъекта, назвавшегося местным жителем. Недалеко от нашего лагеря он тщательно высматривал местность. При обыске у него нашли справку, что он работает в немецкой полиции. Сомнений быть не могло: немцы нас ищут и, может быть, уже напали на наш след.

В ту же ночь была тревога. Один из часовых услышал в лесу какой-то шорох. В темноте ему не удалось ничего разглядеть. Шепотом он приказал напарнику бежать в лагерь и доложить, что слышал шум.

В лагере объявили тревогу. Через несколько минут отряд был в боевой готовности.

Но вокруг все было тихо, ничто не нарушало лесного покоя. Обшарили кругом всю местность — ничего подозрительного.

Через час дали отбой, но остаток ночи я уже не спал. Дело в том, что тревога обнаружила наши беспорядки: многие товарищи одевались и обувались пятнадцать —

двадцать минут, бойцы поддежурного взвода спали раздетыми, хотя, по правилам, не должны были раздеваться: ночью они заступали на дежурство. Я вызвал к себе командиров подразделений и самих нарушителей дисциплины и строго отчитал их.

Наутро Александр Александрович Лукин пошел в том направлении, где ночью часовой слышал шум. Он шел осторожно, держа наизготовку автомат. Вдруг около него кто-то выскочил из кустов и шарахнулся в сторону. Быстро, еще не поняв, в чем дело, Лукин ударил автоматом, но... это была маленькая дикая козочка. Тут же он услышал, как заблеяла вторая. Лукин поймал их и с этими трофеями явился в лагерь.

— Вот кто ночью был виновником тревоги и напугал часового! — сказал Лукин.

Лида и Маруся подняли визг:

— Ой, какие чудные! Отдайте их нам!

Но ту, которую Лукин ударил, пришлось зарезать. Другую отдали девушкам.

— Только не подымайте тревоги, если она заблеет, — шутили бойцы.

Поздно вечером в лагерь неожиданно явился в полном составе «маяк» со станции Толстый Лес и доктор Цессарский с ним. Оказывается, туда нагрянули гитлеровцы и схватили больного Калашникова вместе с железнодорожным сторожем.

Мы выделили группу разведчиков и дали им задание точно выяснить, где немцы и знают ли они место нашего лагеря.

До рассвета, когда все еще спали, разведчики вышли в путь. Но ушли они недалеко. В трехстах метрах от нас, на другом берегу маленькой речушки, они увидели немцев и открыли огонь. Буквально в две минуты лагерь был на ногах. Со мной в палатке спал Сергей Трофимович Стехов. Он выскочил из палатки раньше меня и, захватив с собой поддежурный взвод, побежал по направлению стрельбы. Я остался в лагере, у палатки с радиостанцией и штабными документами.

Стрельба разгоралась; можно было понять, что там, у реки, идет настоящий бой.

Потом стрельба началась с другой стороны, близко от лагеря. Медлить нельзя было. Вторую группу бойцов во

главе с Кочетковым я отправил к месту боя. Из оставшихся партизан выставил дополнительные посты вокруг лагеря.

В лесу каждый крик, каждый выстрел давал громкое эхо. Уже отчетливо слышались крики «Рус, сдавайся!» и заглушавшее их наше партизанское «Ура, ура, вперед!».

Через полчаса принесли первого раненого. Это был испанец Флорежакс. Доктор Цессарский и Маруся Шаталова уже подготовили санитарную палатку. У Флорежакса было тяжелое ранение разрывной пулей. Цессарский приступил к операции.

Вскоре привели пленных: двух немцев и трех предателей-полицейских, одетых в немецкую форму. Их мы допросили в первую очередь, потому что Цессарский, знавший немецкий язык, был занят на операции.

Пленные показали, что они действительно шли на наш отряд и их головная колонна в составе ста шестидесяти человек с двух сторон напала на лагерь. Уже в ходе боя немецкий командир сообщил по радио в Хабное, чтобы немедленно высылали подкрепление.

Шумы боя утихали, и стрельба удалялась. Было ясно, что наши отгоняют фашистов.

Цессарский продолжал операцию, не обращая ни малейшего внимания на стрельбу. Вслед за Флорежаксом появились еще двое раненых.

Умелыми, уверенными руками Цессарский очищал раны, накладывал повязки и спокойно приговаривал:

— Не волнуйтесь, все будет в порядке. Ничего опасного нет.

С места боя пришел залитый кровью Костя Пастаногов. Рука у него была неестественно вывернута. Ослабевшим голосом он сказал:

— Всыпали гадам! — и тут же повалился на землю.

Цессарский подхватил его, положил на разостланную плащ-палатку и занялся рукой. Кости были перебиты, кожа разорвана, рука держалась на одних сухожилиях.

Два часа длился бой. Наши далеко отогнали гитлеровцев, и мне пришлось посылать связных, чтобы вернуть своих обратно в лагерь.

Первое испытание мы выдержали. Двадцать пять партизан, непосредственно участвовавших в бою, справились со ста шестидесятью гитлеровцами. Немцев было убито

свыше сорока человек, в том числе семь офицеров. Раненых учесть мы не могли — их противник забрал с собой. В бою мы захватили у врага оружие — ручные пулеметы, винтовки, гранаты и пистолеты.

В этом бою и мы понесли тяжелую утрату. Был убит Толя Копчинский, храбрый, веселый, жизнерадостный москвич, комсомолец, рекордсмен СССР по конькам. Копчинский добровольно пришел в наш отряд и за короткий срок стал всеобщим любимцем.

В далеком Мозырском лесу, на поляне, мы вырыли могилу герою-партизану. Опустили тело в землю, молча сняли головные уборы. Лишь несколько слов я сказал у открытой могилы: «Прощай, молодой друг! Мы отомстим за тебя!» И первым бросил горсть земли.

Так же молча прошли у могилы наши бойцы, кидая по горсти земли. Потом зарыли могилу и выросший бугорок любовно обложили зеленым дерном.

Надо было уходить отсюда немедленно. К немцам могло подойти подкрепление, и нашей «дивизии» пришлось бы туго.

Дал сигнал к отходу.

У нас было три повозки; на них положили раненых и тронулись в путь. Но шли не по дороге, а прямо лесом. Позади отряда двигалась группа бойцов и маскировала следы.

Четыре дня немцы гнались за нами на тридцати грузовых машинах. Безуспешно!

Мы шли такими тропинками, где они проехать не могли. Мы шли по ночам, а гитлеровцы больше всего боялись ночной темноты на русской земле.

В ПУТИ

Больше месяца продолжался наш опасный путь по земле, захваченной врагами.

От станции Толстый Лес до Сарненских лесов свыше двухсот километров. Легко проехать поездом такое расстояние. Нетрудно на машине. Да и, пожалуй, не очень трудно пройти пешком, если идти известными дорогами и ночевать в уютных хатах. Но партизанские километры длинные и тяжелые.

Мы шли не дорогами, а пробирались незаметными лесными тропинками и болотистыми просеками. Мы не заходили в деревни, а обходили их стороной, да так, чтобы нас даже собаки не почуяли.

Мы шли по ночам, а днем отдыхали прямо на земле. Мы мокли в болотах и под проливными дождями. Комары не давали покоя. Они забирались под специально сшитые накомарники и впивались своими хоботками в лицо, шею, лезли в уши, нос, глаза.

У нас не было ни хлеба, ни картошки, и сутками мы шли голодные. В хутора и деревни заходили только разведчики, и то с большой осторожностью, чтоб не выдать, что где-то неподалеку движется отряд.

От местных жителей разведчики узнавали, что гитлеровцы гонятся за нами, что под видом пастухов или сборщиков ягод они посылают в лес своих агентов.

Бывало так. Партизан-разведчик, идущий впереди отряда, встретит в лесу подозрительных людей. Тогда отряд залегает в том месте, где его застала тревожная весть, и недвижно лежит час, другой, третий, пока связной не сообщит, что можно двигаться дальше.

Мы шли, преодолевая все препятствия, которые только мыслимы в пути, и двести километров по карте у нас фактически превращались в пятьсот километров, а может, и больше.

Разведчики проходили вдвое, а то и вчетверо больше, чем остальные. Когда отряд отдыхал, они шли вперед по намеченному на следующие сутки маршруту, подыскивали места для новых привалов, возвращались к отряду и вели его уже по изученному пути.

Другие посылались в стороны, чтобы следить, не готовятся ли немцы на нас нападение.

Особенно тяжело было раненым. Лесные тропинки и просеки густо усеяны корневищами деревьев и пнями. Каждый корень, бугорок или пенек, который не удавалось объехать, острой болью отзывался в кровоточащих ранах. В болотистых местах лошади не в силах были тянуть увязавшие по колеса повозки. Приходилось распрягать лошадей и вытаскивать повозки на руках.

К раненым наши товарищи проявляли трогательную заботу. Разведчики доставали для них сливки, сметану, яйца и даже белый хлеб.

Доктор Цессарский и медсестра Маруся ни на шаг не отходили от повозок с ранеными.

Путь был тяжелый и трудный, но никто не унывал. На привалах вполголоса затягивали песни, и даже раненые подпевали. Частенько слышались шутки, смех, а то посмотришь — и пляска начинается. Но плясали счастливицы, конечно. На стоянках многие партизаны шли к Цессарскому для перевязки кровавых мозолей.

Ежедневно мы имели по радио связь с Москвой, получали сводки военных действий. Эти сообщения из Москвы переписывались от руки в нескольких экземплярах и после прочтения партизанам вручались разведчикам, которые заходили в деревни и хутора.

Крестьяне узнавали правду про войну: ведь гитлеровцы говорили, что и Москва и Ленинград уже захвачены ими.

От разведчиков мы узнавали о жизни крестьян. Оккупанты грабили и убивали людей, забирали население на тяжелые работы, молодежь угоняли в Германию, в рабство.

Одна колхозница рассказывала:

— Забрали и мою Анютку. Когда уезжала, я ей говорила: «Пиши, дитятко, осторожно. Будет плохо — нарисуй цветочек». Знаю ведь, писать правду не позволят. Ну вот, наемдни получила письмо. Словами написано, что живет ничего, а на письме-то целых двенадцать цветочков нарисовано...

Отряд направлялся в район деревни Мухоеды.

Мы рассчитывали так: если Саша Творогов и Пашун живы, они должны нас искать в условленном месте.

Уже по дороге наши разведчики услышали от крестьян рассказы о каких-то отважных четырнадцати партизанах. Сначала эти вести доходили до нас как легенда о красных десантниках, победивших большой фашистский отряд. Потом сведения начали проясняться, нашлись очевидцы, и вот что в конце концов мы установили.

Творогов со своим звеном, выброшенный с самолета южнее Житомира, обошел город с запада и направился на север, к Мухоедам. В одной деревне они расположились на отдых. Ночью немцы окружили хату, где были партизаны.

— Рус, сдавайся! — кричали враги.



Ночью немцы окружили хату, где были партизаны.

— Большевики не сдаются! — ответили наши товарищи и открыли огонь из окон хаты.

Бой длился целый день. Свыше пятидесяти гитлеровцев было убито. Из четырнадцати партизан в живых осталось только пятеро.

Когда стемнело, немцы подожгли дом, но партизанам удалось выскочить. Отстреливаясь, они скрылись.

За ночь, раненные и измученные, они прошли километров десять. На рассвете вновь увидели погоню, бежали до деревни и заняли крайнюю хату. И опять немцы их окружили, опять несколько часов длился бой. Наконец стрельба из хаты прекратилась. Когда немцы ворвались в дом, их добычей были лишь тела трех убитых партизан. Двое каким-то чудом бежали. По рассказам крестьян, по описанию одежды можно было догадаться, что в числе убитых был и Саша Творогов.

Ничего больше об этой группе мы не узнали. Лишь после войны меня нашел один товарищ из группы Творогова. Оказывается, ему с партизаном-испанцем удалось вырваться из той хаты. После долгих блужданий они примкнули к одному партизанскому отряду и находились в нем до конца войны. Так закончилась история отважных бойцов группы Творогова.

На одном хуторе, расположенном недалеко от деревни Мухоеды, жители сообщили, что к ним заходили какие-то люди, одетые в комбинезоны и пилотки, покупали картошку, молоко, хлеб. Прощаясь, сказали, что придут еще.

Мы решили устроить засаду. Разведчику Вале Семёнову с несколькими партизанами велено было укрыться в кустах у крайней хаты. Часов шесть прождали они. Наконец на дороге показались три фигуры. Наши приготовили автоматы, но когда те приблизились, Семёнов заорал: «Ребята, да ведь это же Шевчук, а тот Дарбек Абдраимов!» Разведчики выскочили из засады и бросились обнимать товарищей. Это были партизаны из звена Пашуна.

Через несколько часов мы встретились с самим Пашуном и его людьми. Кто имел фотоаппарат, защелкал. Ну как же! Ведь недавно расстались в Москве, а за это время юноши-физкультурники из звена Пашуна превратились в бородатых мужчин.

Они искали нас больше месяца. Их сбросили с самолета где-то на станции Хойники, за сто восемьдесят километров от Толстого Леса. Летчиков ввели в заблуждение костры, которые там были зажжены. Но как выяснилось позже, эти костры жгли местные жители, мобилизованные для работы на железной дороге. Охранники из немецких полицейских, заметив десант, стали стрелять. Хорошо, что ветер гнал парашютистов в сторону от костров. Все же один товарищ еще в воздухе погиб от вражеской пули. Остальные приземлились и собрались на сигнал Пашуна.

Несколько дней они пробирались по болотам, скрываясь от вражеской погони. Потом им удалось дойти до реки Припяти и переправиться через нее на лодках. После нашего ухода они были на станции Толстый Лес и оттуда уже шли по нашим следам.

Итак, теперь весь отряд был в сборе. Восемьдесят пять человек! 21 июля, когда отряд остановился на отдых, Сергей Трофимович Стехов собрал на лесной полянке членов партии и кандидатов. Это было первое партийное собрание в нашем отряде.

Наша партийная организация оказалась немногочисленной — всего пятнадцать членов партии и четыре кандидата. Уже на первом собрании мы обсудили главные вопросы нашей жизни: о передовой роли коммунистов в борьбе с фашистами, о том, что коммунисты должны служить примером в боях и в быту, о дисциплине в отряде и о работе комсомольской организации. С этого дня началась у нас организованная партийная и комсомольская жизнь.

Ежедневно на отдыхе Сергей Трофимович проводил политинформации: рассказывал о положении на фронтах, о жизни в родной стране, о задачах советских людей в тылу врага. Стехов умел проводить беседы интересно, живо, и вокруг него всегда собирались партизаны отряда.

Недалеко от хутора Злуй мы нашли площадку для приема парашютистов. Я сообщил координаты в Москву. В первую же ночь прилетел самолет. Мы приняли еще двенадцать бойцов.

С радостью я встретил Николая Ивановича Кузнецова, которого очень ждал и о котором будет много рассказано в этой книге.

ОТРЯД РАСТЕТ

В селах и хуторах отыскивались бывшие красноармейцы и младшие командиры Красной Армии. Одни из них, попав в окружение, осели здесь под видом местных жителей. Другие бежали из немецких лагерей для военнопленных и тоже скрывались на хуторах.

Все они, как только узнавали, что имеют дело с партизанами, просили взять их в отряд. Каждый день разведчики приводили с собой по несколько человек.

В районе города Овруч мы встретились с лесным сторожем. Он рассказал, что в этих лесах уже есть какие-то партизаны. Мы заинтересовались, но найти этих партизан оказалось не так-то просто. Они боялись нас, не знали, кто мы такие, и тщательно скрывались. Наконец удалось двоих задержать. Узнав, кто мы, они привели и остальных двадцать человек. Это были красноармейцы, бежавшие из фашистского плена.

Но мы не могли просто включить этих людей в свои отряды. Каждого в отдельности расспрашивали, кто он, откуда, в каких частях служил.

Потом у всех новичков произвели тщательный обыск. Двое партизан обыскивали, а мы с Сергеем Трофимовичем стояли и наблюдали.

Вытаскивают у одного из кармана игральные карты. Сергей Трофимович бережно берет их себе и благодарит недоумевающего новичка:

— Спасибо, спасибо! В сырую погоду этими картами хорошо разжигать костер!

У другого находят пол-литра водки:

— И за это спасибо. У нас сейчас своего запаса нет, а бывает, что и такая вещь потребуется.

Когда опрос и осмотр закончились, Стехов выстроил всю группу и познакомил вновь принимаемых с нашими порядками:

— Мы примем вас в свой отряд, но знайте, что дисциплина у нас строгая. Приказ командира — нерушимый закон. За проступок — наказание. Пить водку категорически запрещается. Игра в карты запрещена. Брать что-либо у населения и присваивать себе категорически запрещается. За грабеж будем расстреливать. Конфискованные у противника вещи сдаются в хозяйственный

взвод и распределяются по усмотрению командования. Даже табак присваивать нельзя...

А под конец Стехов добавил:

— У некоторых из вас нет оружия. Мы не собираемся подносить его вам. Потеряли свое — добудьте новое в бою. Биться с врагами будем крепко и часто. Все понятно?

Вечером у костра мы слышали от вновь принятых в отряд печальные рассказы о муках и испытаниях, перенесенных ими в немецких лагерях...

Как сейчас, слышу слова одного пожилого красноармейца-сибиряка:

— Сидим мы, значит, день, другой, третий. Во рту ни крошки не держали, да и глотка воды не дают. Кое-кто уже не выдерживает, бредит... Тут смотрим — немецкий охранник кран открыл водопроводный. Бросились наши к свежей воде, а он, гад, стал из пулемета строчить...

Связь нашего отряда с Большой землей не прекращалась ни на минуту. От нее зависели и судьба и направление работы отряда. Поэтому радиосвязи мы придавали большое значение и радистов берегли как зеницу ока.

Во время перехода каждому радисту для личной охраны было придано по два автоматчика. Они же помогали нести аппаратуру.

Кстати скажу, аппаратура радистов, хотя и считалась портативной, была не легкая. Состояла она из чемоданчика, в который были вмонтированы приемник-передатчик с ключом и «питание» — сухие анодные и катодные батареи. Кроме того, приходилось нести с собой запасное «питание»: уже частично отработанные батареи, которые использовались для слушания передач из Москвы.

Ежедневно в определенный час мы связывались с Москвой. Если отряд находился на марше и останавливать его не было смысла, мы оставляли радиста с охраной человек в тридцать в том месте, где заставал нас радиочас. Отряд шел дальше, а радист связывался с Москвой. Закончив работу, он догонял отряд и вручал радиограмму из Москвы.

Приближался август, а мы все еще были в пути. Вот уже перешли железную дорогу Ковель — Киев, до места оставалось километров сорок.

На стоянке близ разъезда Будки-Сновидовичи местные жители предупредили наших разведчиков, что немцы заметили нас при переходе через железную дорогу и собираются напасть на рассвете следующего дня. Но мы не стали их дожидаться. Тут же выделили пятьдесят партизан во главе с Пашуном и послали их на разгром карателей.

Ночью партизаны подошли к разъезду Будки-Сновидовичи. Разведка установила, что гитлеровцы находятся в эшелоне, который стоит на запасном пути.

Наши подошли к железнодорожным вагонам и залегли. Не успел Пашун осмотреться, как пришлось действовать. Какая-то собачонка у немцев, видимо, услышала шорох, подняла лай и всполошила охрану. Часовой окликнул — никто ему не ответил; тогда он дал два сигнальных выстрела. Ждать было нельзя, и Пашун скомандовал: «Огонь!» В вагоны с гитлеровскими солдатами посыпались гранаты. В дело пошли автоматы и пулеметы. От разрывной пули загорелась стоявшая у эшелона бочка с бензином. Бочка взорвалась, и огонь перекинулся на вагоны; вспыхнул пожар.

К рассвету каратели, посланные оккупантами, чтобы нас разгромить, сами оказались разбитыми. Не многим из них удалось бежать.

Были взяты большие трофеи: много всякого оружия, винтовок, гранат, патронов, всякий хозяйственный инвентарь, например фонари, и очень нужные нам продукты питания, в особенности сахар и сахарин.

При этой операции погиб партизан испанец Антонио Бланко. Ему было двадцать два года, но за свою короткую жизнь он прошел славный боевой путь. В 1936 году, когда Антонио было всего шестнадцать лет, он боролся с фашистами в рядах испанской народной милиции. Потом жил в Советском Союзе. В наш отряд пошел добровольно.

Антонио Бланко погиб смертью героя. Он первым пробежал к вагону и бросил внутрь его гранату.

Через два дня после боя на станции Будки-Сновидовичи мы пришли в Сарненские леса.

Наше местожительство оказалось обширным и удобным. Сарненские леса раскинулись на сотни километров. Но это не был сплошной лесной массив. Леса, поля и хутора чередовались довольно равномерно. Через каждые шесть — восемь километров можно было встретить отдельные хутора и деревни. Значит, и укрыться отряду можно было, и население неподалеку, а это для нас было очень важно.

В Москве командование поставило перед нашим отрядом главную задачу: заниматься разведкой в городах и на узловых железнодорожных станциях Западной Украины. Надо было узнавать и передавать в Москву сведения о враге: какие у него силы, где военные заводы и склады, где находятся штабы, куда и сколько направляется войск и вооружения, узнавать все военные секреты немцев; одновременно всюду, где это можно, наносить им ущерб.

Мы остановились в лесу неподалеку от деревни Рудня-Бобровская, километрах в ста двадцати от Ровно. Это было в августе, стояла теплая погода; землянок рыть мы не стали, а натянули плащ-палатки. Те, у кого их не было, делали шалаши из веток. Лучшим материалом для шалашей оказались еловые ветви. Уложенные густо, они сохраняли внутри шалаша тепло, а капли дождя стекали с их иголок на землю, не проникая внутрь. «Лапки» елок были и хорошей подстилкой: они пружинили, словно матрац; чтобы иглы не кололи, их застилали сверху листьями или мхом.

Планировка лагеря была такая. В центре, вокруг костра, были симметрично растянуты плащ-палатки штаба отряда. В нескольких метрах от штаба с трех сторон располагались палатки санитарной службы, радиосвязи и штабной кухни. Немного поодаль — подразделения разведки. Затем, по краям занятого квартала, были строевые подразделения.

Весь наш «поселок» был выстроен в один день. На другой день я уже разослал во всех направлениях бойцов — познакомиться с населением, узнать о немцах, искать верных нам людей, добывать продукты.

В первую очередь пошли товарищи, знающие украин-

ский язык, а у нас таких было немало. Но не всех можно было посылать в разведку. У многих за длительный переход совершенно истрепалась обувь. Складов обмундирования у нас не было, а на немецкие склады в первый же день не пойдешь.

Оставшиеся в лагере «босоногие» понурились головами занялись «домашним хозяйством» — наводили порядок в палатках.

Боец Королев, уроженец Рязанской области, никак не мог примириться с такой участью:

— Баба я, что ли, дома сидеть-то!

— А ты поди в Мосторг и купи себе шевровые штиблеты, — острили товарищи.

Королев пошел в хозяйственный взвод и попросил топора. Потом явился к командиру отделения Сарапулову:

— Товарищ командир, разрешите отлучиться на тридцать минут?

— Зачем и куда?

— В лес пойду, липу обдирать.

— Да зачем тебе?

— Я себе лапти из липовой коры сплету.

Сарапулов подумал минутку:

— Хорошо, товарищ Королев, идите, только не опаздывайте.

— Есть не опаздывать!

Через полчаса Королев вернулся, сел неподалеку от палатки на пенек и начал работать. Из липовой коры надрал лыка, сделал из дерева колодку и заплел лапоть.

Тут же явились шутники:

— Сапоги шьешь, товарищ Королев? В таких, брат, сапогах тебя за английского лорда примут!

Королев отмалчивался и продолжал свое дело.

Через час он уже примерял готовый лапоть. В это время подошел к нему Сарапулов:

— Ну-ка, дай посмотреть.

Взял, повертел лапоть в руках и, не говоря ни слова, унес с собой. Королев, не понимая, что бы это значило, остался сидеть на пеньке.

«Наверно, выбросит. Пропала моя работа!» — сокрушался он.

Но Сарапулов скоро вернулся назад.

— Товарищ Королев, я сейчас твой лапоть в штабе

показывал. Замполит Стехов передал приказание: пару лаптей сплести ему. Потом приказал всем командирам взводов выделить по два человека и направить к тебе на обучение.

Через несколько минут начали подходить «ученики».

— Здесь товарищ Королев?

— Я самый.

— Нас послали к тебе учиться лапти плести.

Собралось восемь учеников. Королев видел, что не все охотно берутся за работу, и начал с «агитации»:

— Вы, ребята, не сердчайте, это дело хорошее. Лапоть—старинная русская обувь. Мы сейчас с вами трудностей переживаем. Что же нам, мародерничать, что ли? С своего брата крестьянина сапоги снимать негоже, а до фашистов пока не добрались. А я так скажу: лапоть для партизана лучше даже сапог. К примеру, в лаптях при ходьбе нет стука. Надо к врагу потихоньку подойти—ежели в лаптях, то и не слышно. А если ночное дело, и собаки гвалт не подымут. Ну, и мозоли не набиваются. А теперича делайте так, как я. Вот, берите лыко...

На первом же уроке по одному, хотя и некрасивому, лаптю бойцы сплели, а дня через два многие ходили в новеньких лаптях. Так на первое время разрешена была проблема обуви.

Много нужд оказалось у нас в лесу, но из всякого положения в конце концов находился выход. У людей обнаруживались таланты, способности, и как раз в тех делах, в которых отряд нуждался. Так произошло и с испанцем Ривасом. В первое время он растерялся. Та злосчастная ночь, когда он просидел один в лесу с пойманным голубем, видно, вывела его из душевного равновесия.

Ривас был назначен бойцом во взвод, но физически он был слабым человеком, и ему трудно было наравне с другими нести строевую службу. При переходах он так уставал, что его часто приходилось сажать на повозку вместе с ранеными. По-русски не знал ни слова. Дел по его специальности авиационного механика пока никаких не было. Впервые в жизни ему пришлось нести у нас караульную службу. Усталый, растерянный, он стоял на посту и всегда строгал перочинным ножом палочки, нарушая тем самым устав караульной службы. А однажды его забыли сменить, и он совсем пал духом. Мы посоветовались, как

быть, и предложили ему с первым же самолетом, который к нам придет, отправиться обратно в Москву. Ривас согласился, но неожиданный случай все перевернул.

Как-то Ривас увидел, что один партизан возится с испорченным автоматом. Он подошел, посмотрел и, покачивая головой, сказал:

— Чу, чу! Ремонтир?

— Вот тебе и «чу-чу», ни черта не выходит! — с досадой огрызнулся партизан.

— Э! Проба ремонтир! — сказал Ривас и занялся автоматом.

Оказалось, что в диске лопнула пружинка. Ривас нашел сломанный патефон — трофей боя на разъезде Будки-Сновидовичи, вытащил из него пружину и пристроил ее к автомату. Оружие стало исправным.

С этого началась новая жизнь человека. Бойцы потянулись к Ривасу. Разведчики достали для него тиски, молотки, напильники, и вот не узнать нашего испанца: целыми днями пилит, сверлит, режет. Из ржавого болта одним напильником сделал превосходный боек для пулемета — не отличишь от заводского.

Теперь Ривас повеселел, заулыбался и даже начал полнеть. С рассветом выходил со своим чемоданчиком с инструментами и начинал чинить оружие. Когда было много «заказчиков», он работал и ночью, при свете костра. Потом соорудил себе подобие лампы, которую по-испански называл «марипоса». Заправлялась «марипоса» не керосином, а конским или коровьим жиром. Много оружия, которое было бы брошено, Ривас починил и «вернул в строй».

— Вот человек, золотые руки! — говорили о нем партизаны.

Он действительно все умел исправить.

— Ривас, часы что-то стали!

— Э, плохо! Проба ремонтир.

— Ривас, зажигалка испортилась!

— Проба ремонтир!

Когда потом пришел самолет и мы спросили Риваса, полетит ли он в Москву, он даже испугался и, замахав обеими руками, сказал:

— Ни, ни, я полезна, ремонтир!

Так был найден для отряда ружейный мастер.

Походных кухонь у нас с собой не было. Не было, конечно, и настоящих поваров. Да что там говорить, в первое время и продовольствия никакого не было. Было только то, что крестьяне добровольно нам давали.

Порядок распределения продуктов был очень строгий. Все, что разведчики приносили, все до последней крупинки сдавалось в хозяйственную часть, а там уже шло по подразделениям. Ни один боец не имел права воспользоваться чем-нибудь лично для себя.

В каждом подразделении была своя кухня и одна кухня для санчасти, штаба, радистов и разведчиков.

Поваром на штабную кухню был назначен казах Дарбек Абдраимов. Повар ввел свое «меню» — болтушку. Делалась она так: мясо варилось в воде, затем вынималось, а в бульон засыпалась мука. Получалась густая, клейкая масса, которую мы шутя называли «болтушка по-казахски». Ели болтушку вприкуску с... мясом: хлеба у нас не было.

Когда не было муки — а это случалось часто, — вместо болтушки ели толчонку: в бульоне варили картошку и толкли ее.

Если не было муки и картошки, находили пшеницу или рожь в зернах и варили. Всю ночь, бывало, стоит зерно на костре и кипит, но все-таки не разваривается.

Когда появилась мука, у нас стали печь вместо хлеба лепешки. Дарбек это делал мастерски. Он клал тесто на одну сковородку, прикрывал другой и закапывал в угли. Получались пышные «лепешки по-казахски».

Большим подспорьем служил «подножный корм». В лесу было много грибов, земляники, малины, черники. В подразделениях наладили сбор ягод и грибов. От черники у партизан чернели зубы, губы и руки. Иногда чернику «томили» в котелках на углях костров. Томленая, она была похожа на джем. А если к томленой чернике добавляли трофейный сахарин, то получалось лакомое блюдо — варенье к чаю. Кстати сказать, чаю у нас тоже не было. Кипяток заваривали листьями и цветами.

Лагерь наш был недолговременным. На дым костров, запах пищи и отбросы слетались вороны, они могли нас выдать. К тому же в колодце вода оказалась недоброка-

чественной, и доктор Цессарский потребовал смены места лагеря. Перешли километров за двадцать и там раскинули новый лагерь. Потом, по разным причинам, мы часто меняли стоянку и привыкли к переездам на новые «квартиры».

Много хлопот по лагерю выпадало на долю Цессарского. Он устраивал санитарные палатки, лечил раненых, следил за гигиеной, принимал больных в деревнях и успевал всегда и во всем.

В самый короткий срок он завоевал среди партизан авторитет. В него как врача верили все. Он умел подойти к каждому раненому, больному.

Флорежаксу, который не понимал по-русски ни слова, Цессарский мимикой и жестами объяснил состояние его раны, внушил веру в выздоровление и доказал, что тот будет жить и еще повоюет.

Руку Кости Пастаногова Цессарский положил в лубок, сделанный из выструганных по его указанию дощечек. Рука начала срастаться, и Пастаногов мог уже пользоваться наганом-самовзводом.

— Потом займемся врачебной гимнастикой руки,— успокаивал Костю доктор.

Когда говорят об умелом, опытном враче, то обычно представляют себе пожилого человека с бородкой клинышком, смотрящего на пациента поверх очков. Такой портрет совсем не подходит к Цессарскому.

Альберту Вениаминовичу Цессарскому был двадцать один год. Он окончил медицинский институт в Москве за месяц до войны. Будучи студентом, получил хирургическую практику в институте имени Склифосовского. Как только началась война, Цессарский подал заявление в Московский комитет комсомола с просьбой послать его на фронт. В июле его направили в одну из частей Московского гарнизона.

Когда мы формировали отряд, к нам попали товарищи Цессарского. От них Альберт Вениаминович узнал мой телефон и позвонил. В назначенное время он явился ко мне. Я увидел высокого, молодого, красивого брюнета.

— Товарищ Медведев, прошу зачислить меня в вашу партизанскую группу и отозвать из тыловой части.

— А что вы умеете делать?

— Я знаком с полевой хирургией. Знаю немецкий.

— Нам нужен хирург, врач по всем болезням и храбрый солдат.

— Себя хвалить трудно. Спросите обо мне Базанова, Шмуйловского, которые зачислены к вам в отряд.

Я попросил Цессарского тут же написать рапорт. С этим рапортом побывал у генерал-полковника, в ведении которого находилась дивизия, где числился Цессарский.

Генерал-полковник написал на рапорте: «Откомандировать в распоряжение полковника Медведева».

Цессарский радостно схватил рапорт с резолюцией генерал-полковника и полетел в свою дивизию.

В немногие дни, оставшиеся до перелета в тыл врага, Цессарский не терял ни минуты. Он доставал препараты, медикаменты и хирургические инструменты, которые ему могли потребоваться. Ходил на хирургическую практику, советовался с опытными хирургами, читал медицинские книги и успевал проходить подготовку наравне с другими бойцами.

Он должен был лететь со мной вместе, но, когда мы узнали, что там, у Толстого Леса, разбился Калашников и что ему нужна немедленная медицинская помощь, я вызвал Цессарского:

— Сегодня можете вылететь?

Это было уже под вечер.

— В любую минуту,— ответил Цессарский.

— Через два часа вы вылетаете.

— Есть!

Цессарский незадолго до этого женился. Он побежал домой попрощаться с женой, но она куда-то ушла. Так и пришлось ему улететь, не попрощавшись.

Цессарский был неутомим: всегда занят, всегда хлопот, всегда куда-то спешит.

Ежедневно, независимо от погоды, он по очереди устраивал все взводы. Выстроит людей, прикажет всем снять рубашки и начинает осмотр. У кого грязные руки, уши — пристыдит, отругает, заставит умыться. Если найдет хоть одну вошь, все подразделение отправляется в санитарную обработку. Когда было тепло, мылись в речке или у колодца; когда стало холодно, «баня» устраивалась прямо у костра, мылись нагретой водой.

Партизаны не ворчали: раз сказал Цессарский — бас-

та! Но зато в отряде не было эпидемий дизентерии и сыпняка, а кругом в деревнях эти болезни свирепствовали.

В газете нашего отряда «Мы победим», которая стала выходить еще на марше, Цессарский был постоянным корреспондентом. Газета писалась от руки на обычной ученической рисовальной тетради. Страницы три этой газеты всегда посвящались «медицинскому вопросу», и здесь Цессарский «воевал» за гигиену.

«Объявим войну эпидемиям,— писал наш доктор.— Оружие в этой войне одно — чистота. Нечистоплотность в наших рядах — это предательство». Помню, в одном номере газеты был такой шуточный рисунок: во всю страницу было изображено, как из болота пьют воду поросенок и партизан. Под рисунком такие стихи:

Боец, похожий на свинью,
Нас подвергает всех заразе.
В сырой воде всегда полно
Бацилл, бактерий, вони, грязи.

Автор стихов не поставил под ними своей подписи, но, думаю, стихи сочинил сам Цессарский. Он любил писать стихи, но подпись свою в газете ставил обычно под стихами «серьезными».

Цессарский часто выезжал в села.

— Партизаны прислали доктора! — разносилось по хатам, и больные толпой шли на прием.

При немцах население не получало медицинской помощи, а больных было много. Голод и эпидемии косили людей. К Цессарскому обращались с различными болезнями.

Самое тяжелое впечатление производили дети. Из-за плохого питания они подвергались всевозможным заболеваниям. Родители на руках приносили ребят, завернутых в грязное тряпье.

Если Цессарский долго не появлялся, деревенские жители просили разведчиков прислать его поскорее, и Цессарский немедленно отправлялся, останавливался в какой-нибудь хате, надевал белый халат и начинал прием.

В товарищеских беседах Цессарский часто говорил, что его интересуют искусство, литература и в особенности театр.

В конце августа, точно по намеченному плану, в Ровно и ближайших районах была произведена «ликвидация» еврейского населения. Большими группами гитлеровцы выводили евреев за город, заставляли их копать себе могилы, потом расстреливали: не разбирая, кто мертв, а кто еще жив, сталкивали в ямы и закапывали.

Никого не щадили людоеды: ни стариков, ни младенцев.

Лишь очень немногим удавалось бежать. Да и это еще не было спасением. Под страхом расстрела немцы запрещали населению оказывать евреям помощь. Были вывешены объявления о наградах предателям: один килограмм соли за каждого выданного еврея.

Это тоже было фашистским «новым порядком».

Население ненавидело гитлеровцев. Избавления ждали только от Красной Армии. Поэтому, когда мы, партизаны, посланцы народа и Советской власти, приходили в хутора и села, нас встречали радостно. Но за связь с партизанами тоже грозила смерть. Даже не за связь, а за то, что знал о партизане и не выдал его. В ту пору оккупанты и не думали, что придет час возмездия за их злодейства.

Когда я смотрел в кино «Суд народов» — суд над главными немецкими военными преступниками, где показаны зверства фашистов, я не увидел ничего нового и больше того, что видел в сорок втором году в Кацетпольском, Людвипольском, Ракитнянском, Сарненском и в других районах, местечках и городах Западной Украины.

А враги на орошенной кровью, страдающей земле с комфортом устраивали свою жизнь. Немецкие чиновники и администраторы привезли сюда своих жен, всяких родичей и зажили в лучших домах городов и селений. Многие получили в свое пользование целые имения. Землю для них обрабатывали наши крестьяне.

«Новый порядок» держался на фашистских штыках, автоматах, виселицах. Но были и предатели советского народа, которые поддерживали «новый порядок» и помогали гитлеровцам в их черных делах.

Еще до войны немцы тайно перебросили на нашу землю своих агентов из украинских националистов. Эти шпионы и изменники собирали банды из бывших кулаков и уголовных преступников. Когда началась война, они

стали грабить колхозное имущество, убивать коммунистов, комсомольцев и колхозных активистов. Среди народа они вели агитацию за «ясновельможного пана Гитлера», против России, против Советской власти.

После захвата немцами Западной Украины часть этих предателей пошла на службу в гитлеровскую полицию, другие так и остались в бандах. Немцы их вооружили и приказали вести борьбу с партизанами.

Однажды в густом лесу, по дороге в Сарненские леса, мы неожиданно натолкнулись на целый табор: в землянках и шалашах ютились жители большой деревни. Бывший председатель колхоза этой деревни, старик лет шестидесяти, рассказал нам о горькой участи своего колхоза. Все у них разграбили, многих убили, многих отправили в Германию. Чтобы сохранить жизнь оставшимся, он увел своих колхозников в лес.

Рассказывая об этом, старик часто упоминал «гайдамаковцев».

— Что за гайдамаковцы, кто такие? — спросили мы.

— Хиба ж вы не знаете? — удивился председатель. — Це ж предатели, головорезы. Ох, люты, собаки! Да вот подывытесь, их газеты. Вони сами пишут, як продали душу Гитлеру.

И старик принес несколько номеров газеты, под названием «Гайдамак». Я взял в руки номер газеты. В глаза бросилась такая фраза:

«Може, охота погуляти,— когось ограбити, сдобути собі якусь особісту користь?.. Не перечимо...»

Бандиты-гайдамаковцы усердно выслуживались перед немецко-фашистскими захватчиками. В награду за «верную службу» им разрешалось грабить. Настало раздолье бандитам!

Вот кто поддерживал фашистский «новый порядок»!

Но, храбрые в набегах на мирных жителей, бандиты трусливо озирались при одном слове «партизаны».

Еще после боя на разъезде Будки-Сновидовичи распространился слух, что в районе появилось до тысячи партизан. Потом, когда мы ежедневно рассылали во все стороны свои группы, слухи стали еще более грозными. Говорили, что в лесах скрывается целая партизанская армия.

Время от времени самолеты сбрасывали нам оружие,

боеприпасы, продовольствие. Появление самолетов не могло быть незамеченным, и слухи о громадной армии партизан прочно утвердились во всей округе.

Немцы всполошились. В Ровно полетели депеши с просьбой слать карателей и вооружение. В ожидании этой помощи предатели на время попрятались.

А мы начали разворачивать свою работу.

Слухи о появившейся армии партизан, пожалуй, не были ложными. Нас было не сто человек, не двести — нас было куда больше. Партизанами, по сути дела, были все местные жители. Если у советского человека была хоть малейшая возможность помогать нам или самостоятельно вредить немцам, он это делал. Ненависть к гитлеровцам стала смертельной, и в этом была наша сила.

Мы не смогли бы ничего сделать и быстро попали бы в фашистские лапы, если бы решили партизанить только силами своего отряда. В том-то и дело, что нашим верным помощником и защитником было само население. Оно было нашей прочной опорой в тылу врага.

В крупных селах стояли наши «маяки» по десять — пятнадцать партизан. Жители называли партизанские «маяки» советскими комендатурами и сюда доставляли собранные для нас продукты.

Крестьяне помогали нам в разведке. Под видом торговцев зеленью или курами они шли в районные центры, на ближайшие станции, высматривали, выпрашивали и обо всем рассказывали нам. Особенно отличались в этом деле девушки, старушки и подростки, которых трудно было в чем-либо заподозрить. Местные жители знали дороги, людей. Они приносили нашему отряду неоценимую помощь.

Жизнь потребовала нашего вмешательства в «новый порядок», установленный гитлеровцами. Нельзя было ограничить свою работу только разведкой.

Защиту своего народа от гитлеровских карателей мы начали с небольшого дела — с разгрома фольварка «Алябин» в Клесовском районе. Фольварк этот принадлежал начальнику гестапо города Сарны майору Рихтеру. Крестьяне жаловались нам на управляющего этим именем.

Штаб отряда снарядил группу из двадцати пяти бойцов. Командиром пошел Пашун. Сами крестьяне прово-

дили партизан до фольварка, подробно рассказали, какие там порядки и где что находится.

Налет был произведен ночью. Охранников фольварка разоружили с ходу, те даже и не пытались вступить в бой, а под утро в лагерь пришел целый обоз. На лошадях, взятых там же, ребята привезли массу продуктов — хлеб, масло, крупу, сахар, мед, яйца и породистых свиней. Позади обоза шло целое стадо коров. Лучших молочных коров мы отдали крестьянам и поделились с ними остальными продуктами.

Эта операция была нашей первой крупной продовольственной заготовкой. Но не в этом только заключался успех.

Пашун доставил в лагерь двух пленных. Первый был управляющий имением Рихтера, на которого так жаловались крестьяне. А второй, по фамилии Немович, оказался крупным предателем. По национальности украинец, Немович еще до войны стал немецким шпионом. Он обучался шпионажу в гестаповской школе. Когда пришли фашисты, Немович под видом учителя разъезжал по деревням и местечкам, выведывал, где живут советские активисты, и предавал их. Немович знал гитлеровских агентов, которые учились с ним в гестаповской школе и были засланы к нам в страну.

Было решено отправить Немовича в Москву. Но где держать его, пока придет самолет? Тогда мы сшили из брезента глухой мешок и в нем держали шпиона. Из мешка торчала лишь его голова в серой шляпе.

Наши налеты на немецкие хозяйства участились. Мы разгромили в ближайших районах несколько имений и все молочные заводы, где немцы перерабатывали молоко на масло.

Рихтера мы потом, как говорится, допекли: разгромили второй его фольварк, захватили две его автомашины и уже добирались до него самого. Он так перетрусил, что потребовал из Ровно карательную экспедицию для охраны своей персоны.

При первых же вылазках в деревни и хутора Ровенской области наши партизаны начали сталкиваться с «храбрым войском» бандитов-националистов, и последнее, как правило, терпели позорное поражение.

Дело доходило до курьезов.

Наш секретарь комсомольской организации Валя Семенов проделал замечательный номер. С несколькими разведчиками под видом «своих» он явился в штаб одной банды. Там сидели девять гайдамаковцев. Валя сказал, что он связной от их «собратьев». В разговоре один бандит заметил, что у Семенова хороший автомат.

— Автомат замечательный, я его забрал у красного офицера,— похвастался Валя.

Кто-то стал хвалиться своим автоматом. Семенов посмотрел и сказал:

— Ерунда! Мой лучше. Смотри, как он хорошо работает!

Поднял автомат и одной очередью уложил всех, потом забрал и привел в лагерь двух часовых.

Семенов имел от роду только девятнадцать лет и с виду был похож на озорного мальчишку. На деле это был неутомимый, серьезный разведчик, ловкий и смелый. До войны Валя был студентом института физической культуры. Партизаном он стал как бы по наследству: его отец в гражданскую войну тоже партизанил на Украине.

Из разведки Семенов всегда возвращался с трофеями. Однажды он привел пленных.

— Бандитов забрал,— доложил он мне.

— Как это произошло? — спросил я.

— Да они как увидели нас, так сразу «сделали трезуб».

— Как так?

— Да ведь их «герб» из трех зубьев состоит, вроде как вилы, и называется «трезуб».

— Ну, я это знаю. Так при чем тут трезуб?

— Очень просто. Как увидели партизан, сразу подняли руки вверх, и получился трезуб — две руки, посредине голова.

С тех пор, когда бандиты сдавались в плен, партизаны говорили: «Сделали трезуб».



Отряд наш рос не по дням, а по часам. Колхозники стали отправлять к нам своих сыновей. Снаряжали молодежь в партизаны торжественно: вытаскивали для них запрятанную от немцев лучшую одежду и обувь, благословляли в путь. От многих сел у нас было по десять —

пятнадцать человек. А такие села, как Виры, Большие и Малые Селища, были целиком партизанские: от каждой семьи кто-нибудь в партизанах.

Ежедневные сводки с фронтов Отечественной войны, которые мы получали по радио и размножали среди населения, воодушевляли народ, укрепляли веру в победу.

Новые партизаны стали проходить у нас военное обучение по программе, рассчитанной на двадцать дней. Как в самых заправских военных школах, они учились походной жизни, солдатскому шагу, тактике лесного боя, обращению с оружием. Потом комиссия принимала зачеты, и большинство получали «хорошо» и «отлично».

Крестьяне тех хуторов, где бывали партизаны, перестали платить немцам налог, сдавать продукты. Раньше с помощью гайдамаков немцам легко удавалось брать налог. Теперь, если полицейские заходили в хутора, их встречали огнем.

Так народ с помощью партизан оказывал сопротивление страшному «порядку», который установили фашисты.

Гитлеровцы не в состоянии были расправиться с партизанами. Мы умели вовремя нападать и вовремя уклоняться от невыгодного боя. Нас не оказывалось там, куда приходили каратели, и, наоборот, мы появлялись там, где немцы и не подозревали нашего присутствия.

На этот счет у нас даже выработались свои партизанские пословицы. Будь осторожен: враг ищет тебя. Будь смел: враг боится смелых. Появляйся неожиданно там, где тебя не ждут. Будь хитер: направляй врага по ложному следу. Чем дальше в лес, тем меньше немцев!

ОТЕЦ И ДОЧЬ

На железнодорожном узле Сарны и на станции Клесово стояли крупные гитлеровские гарнизоны. Разведкой на этих станциях занялась целая группа наших партизан во главе с Виктором Васильевичем Кочетковым.

Виктор Васильевич связывался с людьми, знавшими эти населенные пункты. Они, в свою очередь, находили в Сарнах и Клесове родственников и знакомых, на которых можно было положиться. Скоро у Кочеткова появилось много помощников.

В октябре сорок второго года Виктору Васильевичу передали, что с ним хочет повидаться один человек, который работает в Клесовском лесничестве. Виктор Васильевич согласился встретиться.

— Довгер Константин Ефимович,— отрекомендовался пожилой человек лет шестидесяти.

— Что скажете? — недоверчиво глядя на него, спросил Кочетков.

— Все, что я могу вам сказать, вы уже сами знаете.

— Так в чем же дело?

— Как — в чем дело? Я советский человек и, когда узнал, что тут партизаны, решил, что буду с вами.

— Нет, мы, пожалуй, без вас обойдемся,— отрезал Кочетков.

Он почему-то решил, что этот человек подослан гестаповцами.

Довгер, поняв, в чем дело, страшно побледнел.

— Вы мне не верите? Вы думаете, я вас предам? У меня здесь большая семья — жена, мать, три дочери. Пусть они ответят за меня, если я провинюсь перед вами!

Это было сказано так искренне и вместе с тем так решительно, что Кочетков заколебался.

— Но ведь вы пожилой человек, вам с партизанами будет трудно!

— Ходить с оружием и стрелять мне, конечно, трудновато, да и военным я никогда не был, но кое в чем я могу быть полезен...

Константин Ефимович Довгер еще до революции окончил лесной институт и был назначен старшим лесником Клесовского лесничества Ровенской области. С тех пор он жил здесь и вместе со всем народом перенес тяжелые испытания, которые выпали на долю Западной Украины. В 1920 году эта часть нашей родной земли силой оружия была отторгнута капиталистами от Советской республики. Спустя девятнадцать лет, в 1939 году, Западная Украина воссоединилась с Советским Союзом, и ее народ, теперь уже навечно, вошел в нашу братскую семью. Но вот началась война — и на этой земле появились фашистские полчища.

Как старший лесничий, Константин Ефимович Довгер отлично знал, в каком квартале его лесничества распо-

ложились советские партизаны. Он быстро связался с нами, но мы без проверки не могли давать ему поручения. Вскоре, однако, представился случай проверить Константина Ефимовича Довгера, и мы убедились, что он подлинный советский патриот.

Однажды каратели, которые прибыли для борьбы с партизанами, наряду с другими лесничими вызвали к себе и Довгера.

— У нас партизан совсем не видно,— отвечал он на все расспросы,— а вот в двадцатом квартале они, кажется, есть.

По согласованию с нами Довгер указал те места, где нас уже не было, и каратели попусту тратили время, прочесывая болотистые лесные массивы. Им попадались только полуразрушенные землянки да зола от партизанских костров.

Вскоре Константин Ефимович Довгер выполнил первые поручения Кочеткова. Он рассказал много интересного об оккупантах, добыл ценные сведения по городу Ровно. Мы узнали, где размещены центральные учреждения гитлеровцев — рейхскомиссариат, гестапо — и где находится дворец, в котором проживает рейхскомиссар Украины, палач украинского народа Эрих Кох.

Потом Константин Ефимович не раз бывал по нашим заданиям в Ковеле, Сарнах, Ракитном и Ровно. Умный, проницательный человек, он умело разузнавал то, что не всякому было доступно.

Не всегда было удобно лично связываться с Константином Ефимовичем, поэтому он познакомил Кочеткова со своей старшей дочерью Валей. Вале было семнадцать лет, но выглядела она совсем подростком — маленькая ростом, хрупкого телосложения, с большими темными глазами. Валя работала счетоводом на мельнице в селе Виры. Сперва она выполняла роль связной между отцом и Кочетковым, но скоро включилась и в самостоятельную работу. Она стала бывать в Клесове и Сарнах, где от знакомых и подруг узнавала то, что нас интересовало.

В селе Виры Клесовского района у немцев была механическая мастерская. Здесь ремонтировались паровозы, тягачи, тракторы и автомашины. Была там и электростанция. Из Клесова к мастерской подходила железнодорожная ветка.

Валя сообщила Виктору Васильевичу, что немцы собираются вывезти все оборудование куда-то на запад. Чтобы не допустить этого, Кочетков предложил взорвать мастерскую и железнодорожный мост у станции Клесово.

После детальной разведки, которую провели местные жители, Кочетков узнал о порядках в мастерской, о количестве охраны и направился туда с группой в двадцать человек. С этой группой пошли наши специалисты по подрывному делу — Маликов, Фадеев и испанец Гросс.

Ночью они подошли к месту и разбились на три части. Одна с Гроссом направилась к механической мастерской, другая с Маликовым — к электростанции, и третья с Кочетковым и Фадеевым — к паровозному депо. Везде удалось бесшумно снять охрану объектов и установить мины.

Когда приготовления были окончены, по сигналу Кочеткова мины были взорваны. Раздались оглушительные взрывы. Депо, мастерская и электростанция загорелись. Казалось, все хорошо, но, когда партизаны собрались в условленном месте, Кочетков упавшим голосом заявил:

— Плохи наши дела. В депо было только два паровоза, а третий с пятьюдесятью вагонами стоит на железнодорожной ветке. Неужели оставим его, товарищи?

— Взорвать бы надо!

— Взорвать... Сам знаю, что надо, но у нас осталась только одна мина — для моста...

Выход из создавшегося положения нашел испанец Гросс. Он придумал, как одной миной уничтожить и мост и паровоз с вагонами.

Вот что было сделано. Маликов и Фадеев с частью партизан пошли минировать мост. Другие направились к паровозу. Здесь партизан Нечипорук, который раньше работал помощником машиниста, развел огонь в топке паровоза. Когда мост был заминирован, паровоз уже стоял под парами. Нечипорук пустил его со всеми вагонами на полный ход, а сам прыгнул. Набирая скорость, паровоз дошел до моста и после взрыва с ходу полетел вниз, в реку, а за ним загремели и десятки два вагонов.

Эта диверсия вызвала большой переполох у фашистов. Через несколько дней к месту взрыва приехала специальная комиссия. Она определила, что убытки составляют несколько миллионов марок.

— Ну, отвел я душу! — говорил Кочетков в лагере. — А какой молодец Гросс, здорово придумал!

Кочеткова партизаны любили, но между собой тихонько острили и посмеивались над ним. Дело в том, что Виктор Васильевич не умел разговаривать тихо. Сильный его бас был причиной дружеских шуток.

Обычно партизаны ходили ночью и старались ступать тихо, веточку боялись тронуть, чтобы не производить шума. Но вот Кочетков услышит чей-нибудь шепот.

— Прекратите разговоры! — скажет он, да скажет так, что в соседних хуторах собаки лаять начинают.

Но особенно стали шутить над ним после одной истории. Кочетков с группой в пятнадцать партизан пошел в разведку. Нужно было перейти вброд речку.

Кочетков скомандовал:

— Раздеться!

Дело было ночью, при луне. Партизаны разделись и, ежась от холода, полезли в воду. На противоположном берегу стали все одеваться.

— Отставить! — скомандовал Кочетков. — Двигаться так. Недалеко приток этой речки — зачем одеваться?

Пошли голыми. Идут километр, два — притока все нет. Людям холодно, комары донимают.

— Виктор Васильевич, нет притока.

— Не разговаривать!

Пошли дальше. Так они километров пять шли, пока Кочетков не убедился, что карта, на которой был указан приток, подвела его.

— Привал, можно одеваться! — как ни в чем не бывало скомандовал Кочетков.

После этого случая мы долго шутили над Кочетковым и его «голым переходом». Но наши шутки его не трогали. Он смеялся вместе с нами, как будто речь шла не о нем.

—

В конце сорок второго года Довгер предложил нам связаться с неким Фидаровым.

— Этот человек будет полезен. Он инженер Ковельской железной дороги, перед самой войной работал начальником станции Сарны. В Сарнах и Ковеле у него много знакомых. Фидаров — член партии, сумеет быть надежным подпольщиком.

— А где он сейчас?

— Он долго мытарился при немцах, скрывался. Сейчас устроился диспетчером на мельнице, недалеко от Сарн.

Константин Ефимович умел подбирать людей для нашей работы. Мы уже убедились: он не ошибается.

Кочетков связался с Фидаровым, а месяца через полтора тот уже организовал на сарненском железнодорожном узле крепкую разведывательно-диверсионную группу из рабочих, машинистов, путеобходчиков и служащих.

Фидаров бесперебойно сообщал нам о работе железных дорог Ковель — Коростень и Сарны — Ровно: сколько проходит поездов, куда и какие перевозятся войска, грузы, снаряжение. Не задерживая, мы передавали эти сведения командованию.

Скоро группа Фидарова стала заниматься не только разведкой, но и диверсиями — взрывом эшелонов и мостов. Кочетков держал связь с Фидаровым через Довгера и его дочь Валю.

«ПАУЛЬ ЗИБЕРТ»

По шоссе Ровно — Кастанполь едут три фурманки, и, хоть в запряжке хорошие, сытые лошади, фурманки движутся не спеша.

На первой — немецкий офицер. Он сидит вытянувшись, важно, равнодушно и презрительно поглядывая вокруг. С ним рядом — человек в защитной военной форме, с белой повязкой на рукаве и трезубом на пилотке. Так одеваются предатели, состоящие на службе у гитлеровцев.

На двух других фурманках полно полицейских. Одежды они пестро. На одном — военные брюки и простой деревенский пиджак, на другом — китель, а на голове картуз, на третьем — красноармейская гимнастерка, с которой сняты погоны. Ясно, что вся их одежда содрана с других. Но и у них на рукавах белые повязки с немецкой надписью «шуцполицай». Эти повязки украинские крестьяне называли «опасками». Название меткое: опасайся человека с такой повязкой!

Если на первой фурманке немецкий офицер и поли-

цейский, видимо старший, сидят чинно, то на двух других хлопцы, развалившись, горланят песни и дымят самосадом.

Картина по тем временам обычная: бандиты с офицером-гитлеровцем во главе едут в какое-нибудь село громить жителей за непокорность.

Шоссе прямое и открытое. По сторонам поля и луга, поодаль — леса. Движение на дороге довольно оживленное. Время от времени грузовая или легковая немецкая машина, идущая на большой скорости, проносится мимо фурманок, поэтому они плетутся, прижавшись к самому кювету.

Когда какая-нибудь машина обгоняет фурманки или идет им навстречу, офицер еще больше подтягивается, злобно покрикивает на горланящую братию и приветствует встречных немцев по-гитлеровски — выбрасывая правую руку вперед чуть выше головы с возгласом «Хайль Гитлер!». Ясно, что офицеру-немцу противно тащиться на фурманке со сбродом людей «низшей расы», когда другие его коллеги проносятся мимо в комфортабельных машинах.

Фурманки уже три часа двигаются по шоссе, пугая жителей придорожных хуторов.

При их появлении все скрываются в хаты и испуганно выглядывают из окон.

Но вот впереди на шоссе показалась большая красивая легковая машина. Дорога здесь шла среди поля. Офицер на фурманке привстал, поглядел внимательно вокруг. Кроме этой машины, ни позади, ни впереди никого не видно. Тогда, повернувшись к задним фурманкам, он поднял руку. Песни и гам мгновенно смолкли. Все насторожились.

Машина приближалась. Сидевший рядом с офицером соскочил с фурманки и быстро пошел вперед. Как только легковая машина с ним поравнялась, он спокойно, как на учении, бросил в нее противотанковую гранату. Разрыв гранаты пришелся позади машины. Воздушная взрывная волна с силой толкнула машину, и блестящий «оппель-адмирал» мгновенно опрокинулся в придорожный кювет.

С фурманок все соскочили и с оружием наизготовку кинулись к опрокинутой машине, около которой уже стоял немецкий офицер.

— Молодец, Приходько! — сказал он на чистом русском языке человеку, который бросил гранату. — Хорошо рассчитал: и машину перевернул, и пассажиры, кажется, живы. Давай-ка вытаскивать!

Когда из машины вытащили двух испуганных гитлеровцев, этот же офицер заговорил с ними по-немецки:

— Господа, прошу не беспокоиться. Я лейтенант немецкой армии Пауль Зиберт. С кем имею честь разговаривать?

Рыжеватый полный пожилой немец, охорашиваясь, ответил:

— Я майор немецкой армии граф Гаан, начальник отдела рейхскомиссариата. А со мною, — он указал на другого, — имперский советник связи Райс, приехавший из Берлина.

— Очень, очень приятно! — сказал офицер. — Ваша машина пострадала, прошу пересесть на повозку.

— Объясните, в чем дело? — возмутился граф. — Я ничего не понимаю!

Гаан собирался еще что-то выяснить, но офицер кивнул своим людям. Те схватили гитлеровцев, связали им руки и уложили на фурманки.

На первом же повороте фурманки свернули в сторону от шоссе и через короткое время очутились на нашем партизанском «маяке». Здесь немецкий офицер переоделся в комбинезон и стал тем, кем был на самом деле, — партизаном Николаем Ивановичем Кузнецовым.

Это был тот самый Кузнецов, который спустился к нам на парашюте у хутора Злуй и которого тогда я очень ждал.

Николай Иванович был родом с Урала. Недюжинный ум и волю выражало его серьезное, строгое лицо и в особенности серые стальные глаза.

Высокого роста, стройный, смелый и сильный, он вскоре стал у нас в отряде самым замечательным партизаном-разведчиком.

Кузнецов свободно владел немецким языком. Он научился говорить по-немецки еще мальчишкой. По соседству с деревней, где он рос, жили немецкие колонисты. Общаясь с ними, Кузнецов не только изучил язык, но и узнал быт и характерные черты немцев. Позже, в школе и в институте, он продолжал заниматься немецким



На первом же повороте фурманки свернули в сторону от шоссе.

языком. По своей гражданской профессии Николай Иванович был инженер.

Кузнецов, как выяснилось в отряде, был вообще прирожденным лингвистом. Он, например, раньше совершенно не знал украинского языка, но, как только мы пришли на украинскую землю и Кузнецов стал бывать на хуторах, он быстро начал разговаривать по-украински, пел украинские песни, и крестьяне считали его настоящим украинцем.

Когда мы появились в местах, где живут поляки, Николай Иванович заговорил по-польски. Но этого мало: Кузнецов мог разговаривать по-русски, по-украински или по-польски так, будто он плохо владеет этими языками, изображать немца, говорящего по-русски, или русского, говорящего по-польски. Словом, в этом отношении Николай Иванович был непревзойденным актером.

Еще в Москве Кузнецов сказал нам, что хотел бы проникнуть в среду самих немцев и добывать нужные сведения. Мы на это согласились, но поставили перед ним условие хорошо изучить порядки в гитлеровской армии, изучить какую-нибудь немецкую область, чтобы выдавать себя уроженцем этой области.

Кузнецов решил сделаться истым пруссаком. Он перечитал массу книг о Восточной Пруссии, о ее экономике, природе, жителях. Город Кенигсберг он уже так живо представлял себе, как будто на самом деле там родился и жил. Мы стали давать ему пленных, но не только для допроса, а для того, чтобы, разговаривая с ними, он узнавал порядки в немецко-фашистской армии.

Пленные, которые к нам попадали, не удовлетворяли Кузнецова:

— Это олухи какие-то, заводные манекены! Шаркать ногами только умеют. Какой там с ними разговор, когда они, кроме «хайль Гитлер», ни черта не понимают!

— Откуда же вам профессора достать? — улыбаясь, отвечал я Николаю Ивановичу.

— Да я сам себе достану настоящих «языков». Вы только разрешите.

— Пожалуйста!

И Николай Иванович придумал ту операцию, о которой я рассказал. Эта операция была особенной. Как указывается в военных учебниках, обыкновенная засада

проводится так: притаившись в определенных местах, бойцы ждут появления противника и нападают на него. Ну, а если вам дано открытое шоссе и кругом одни лишь поля, где здесь устроить засаду? Вот почему Николай Иванович решил провести, как он сам сказал, «подвижную засаду» на фурманках.

Чтобы не вызвать ничьих подозрений, он оделся в мундир немецкого офицера, а остальным партизанам придал вид полицейских.

Кузнецов недаром облюбовал красивый «оппель-адмирал». Добыча в этой машине действительно оказалась интересной, «языки» — на самом деле «длинными».

В лагере Кузнецов явился к пленным в форме немецкого лейтенанта. Соблюдая положенный в немецкой армии этикет, он расшаркался перед ними.

— Садитесь, — хмуро предложил галантному лейтенанту майор Гаан, указывая на бревно. Иного сиденья в палатке не было.

— Как вы себя чувствуете? — любезно осведомился Николай Иванович.

Но те были настроены не столь благодушно.

— Скажите, где мы и что все это означает?

— Вы в лагере русских партизан.

— Почему же вы, офицер немецкой армии, оказались в лагере наших врагов?

— Я пришел к выводу, что Гитлер ведет Германию к гибели и все равно войну проиграет, и добровольно перешел к русским. Вам я тоже советую быть откровенными.

Немцы упирались недолго, и у Кузнецова полились с ними частые и длительные беседы. «Собеседники» были квалифицированные, и с ними Николай Иванович мог вполне проверить свое знание немецкого языка. Весьма кстати граф Гаан оказался «земляком» Кузнецова — из Кенигсберга.

При обыске у имперского советника связи Райса была найдена карта грунтовых, шоссеиных и железных дорог всей оккупированной Украины. Карта была снабжена подробными описаниями. Кузнецов, изучая карту и описания, натолкнулся на очень важный секрет немцев. В описании указывалось, где проложена трасса бронированного кабеля, связывающего Берлин со ставкой Гитлера на востоке, находившейся недалеко от Винницы.

Кузнецов решил выяснить все поподробнее. Он спросил Гаана:

— Когда проложен подземный кабель?

— Месяц назад.

— Кто его строил?

— Русские военнопленные.

— Как же это вы доверили русским тайну местонахождения ставки Гитлера?

— Их обезопасили.

— Что вы имеете в виду? Их уничтожили?

Гаан и Райс молчали.

— Сколько работало военнопленных?

— Двенадцать тысяч.

— И все двенадцать тысяч...

— Но это же гестапо,— пытался оправдаться Гаан.

Кузнецов выяснил у пленных все, что было нужно. Попутно он проверил себя: у них не возникло даже сомнений в том, что он не немец.

Гаана и Райса мы повесили. Иного они не заслуживали.

Можно было уже направить Кузнецова для разведывательной работы прямо в Ровно. Но одно обстоятельство меня беспокоило: иногда во сне Николай Иванович разговаривал по-русски. Этим он мог себя выдать.

Пришлось сказать Кузнецову об этом и посоветовать ему как можно меньше говорить по-русски.

— Если уж захочется, идите к Цессарскому и разговаривайте с ним... по-немецки. Думайте тоже по-немецки...

Кузнецов стремился как можно скорее начать, как он говорил, настоящее дело. Он питал смертельную ненависть к гитлеровцам, хотя говорил об этом мало, так как по природе был сдержанным и даже несколько замкнутым человеком. Но большое и доброе сердце этого человека сказывалось во всем.

Однажды мы с Николаем Ивановичем прогуливались в окрестностях лагеря. День был холодный. Выпал первый снег. Вдруг мы заметили в кустах какое-то живое существо. Мы подошли и увидели мальчика лет семи. Но в каком он был виде! Страшно было на него смотреть.

От рубашки и штанишек остались лишь клочья, и было видно все его худое тело: выпуклые, обтянутые синей

кожей ребра, худые ноги. Волосы буквально шевелились от массы вшей. На одной ноге была гноящаяся рана.

Мальчик мутными, почти безжизненными глазами посмотрел на нас и немного съежился.

Я глянул на Николая Ивановича. Он стоял смертельно бледный. Не говоря ни слова, он снял с себя ватную фуфайку, завернул в нее мальчика, бережно взял на руки и быстрыми шагами пошел к лагерю.

Мальчика, как мы потом узнали, звали Пиня. Каким-то чудом он остался жив при расправе, которую учинили фашисты над евреями.

Пиню положили в санитарной палатке. Возвращаясь с разведки, Николай Иванович всегда приходил к мальчику с карманами, полными гостинцев.

— Поправишься — в Москву отошлем, — говорил ему Николай Иванович.

СЕРЕБРЯНЫЙ ТЕСАК

Недалеко от лагеря, у деревни Вороновки, мы подыскали луг, удобный для приема самолетов. Площадка была большая, но ровного места, где мог бы приземлиться самолет, то есть пробежаться и остановиться, было в обрез. От летчика требовалась большая точность, чтобы хорошо посадить самолет.

Из Москвы нам обещали прислать боеприпасы, а в Москву мы хотели отправить добытые нами важные документы и раненых. Мы сообщили в Москву координаты площадки и получили извещение, что самолет придет.

Кочетков был у нас специалистом по аэродромным делам. По всем правилам он распланировал костры на аэродроме: одни из них ограничивали площадку, другие изображали букву «Т» — указывали направление и место посадки. На дорогах, ведущих к аэродрому, на расстоянии трех — пяти километров были расставлены наши секретные сторожевые посты.

Две ночи прождали мы напрасно, и только на третью пришел самолет. Но нас подстерегала беда. За час до появления самолета со стороны небольшой речушки нагнулся густой туман. Низко расстилаясь по земле, он совсем закрыл площадку. Что делать? Как принимать са-

молет? Предупредить летчика, что сажать машину опасно, мы не могли: сигналов для этого не предусмотрели.

— Виктор Васильевич,— сказал я,— разжигайте сильнее костры — может, кострами разгоним туман.

Костры запылали, но туман плотной массой стоял над площадкой.

В это время все мы ясно слышали гул моторов.

— Воздух! Поддай еще! — командовал Кочетков.

Вот где пригодился его зычный голос!

Еле видный из-за тумана, самолет появился над площадкой, пролетел и ушел куда-то в сторону.

— Улетел — понял, что садиться нельзя,— сказал я.

Но вдруг вновь слышались голоса:

— Летит, опять летит!

Кто-то за моей спиной сказал:

— Значит, решил-таки сесть.

Гул моторов нарастал. Мы не видели самолета, но поняли по гулу, что он уже над площадкой. И вот — мгновенная вспышка и страшный треск.

Мы поняли, что летчик не увидел буквы «Т» и приземлился не там, где следовало. Все бросились в ту сторону.

За краем площадки, в нескольких метрах от речушки, уткнувшись носом в землю, стоял самолет. Из него уже выскочили с пистолетами в руках летчики, штурман и радист. Увидев своих, они запрятали пистолеты и беспомощно сели на землю около разбитого самолета. У командира экипажа, с которым я поздоровался, весь лоб был в крови.

— Вы ранены?

— Пустяки, царапина. А вот он,— и капитан указал на самолет,— ранен смертельно.

Вместе с экипажем наш механик Ривас осмотрел самолет и подтвердил, что ничего сделать нельзя: повреждено шасси, пробиты крылья и баки. Нужен не ремонт, а замена частей.

Как ни жаль было, но мы приняли единственно возможное решение: сжечь самолет. Оставлять его врагам в качестве трофея нельзя было.

Партизаны быстро разгрузили машину, сняли с нее пулеметы и все, что могло быть отвинчено и оторвано. Потом подложили под крылья и баки солому, полили бензином и подожгли.

Самолет охватило пламенем, взорвались баки, к небу поднялись клубы дыма. А мы стояли в стороне и молча прощались с ним как с живым посланцем Родины. В какой-то степени и мы и летчики чувствовали себя виноватыми. Но в чем наша вина? Проклятый туман!

Произошло это в дни героической обороны Сталинграда. И в эти дни, когда вся страна напрягала силы в борьбе с фашистскими полчищами, Родина не забыла нас, отряд советских партизан, боровшийся в далеких Сарненских лесах...

Назавтра состоялся митинг партизан нашего отряда. Мы поклялись, что вместо сгоревшего самолета уничтожим десять вражеских и взятые в бою ценности отправим в Москву на постройку новых самолетов. Находясь в тылу врага, мы поддерживали патриотический почин рабочих, колхозников, советской интеллигенции, отдавших свои сбережения на постройку вооружения для нашей армии.

Снова начались поиски более надежной площадки для самолетов. В этих поисках мы встретились с людьми, которые указали нам место, пригодное для посадки самолетов, и принесли нашему отряду большую пользу.

Незадолго до гибели самолета в двух десятках километров от нашего лагеря неизвестные нам люди напали на немецкий обоз с молочными продуктами. Гитлеровцев перебили, а продукты забрали и роздали крестьянам. Когда мне об этом рассказали, я подумал: «Вероятно, кто-нибудь из наших разведчиков». Опросил товарищей — никто ничего не знает. Через несколько дней опять новость: на большаке кем-то была остановлена немецкая машина, в которой шеф жандармерии района с двумя немецкими солдатами везли пятерых арестованных колхозников. Немцев расстреляли, а колхозников отпустили по домам. Об этом уже рассказали нашим партизанам сами освобожденные колхозники.

— Да какие там ребята были? — спросили колхозников.

— Вот такие, как и вы, а точно сказать не можем: со страху не запомнили.

Я наказал всем разведчикам расспросить жителей и узнать, кто здесь еще партизанит. Но прошла неделя, другая — мы ничего не узнали.

На поиски новой площадки для самолета отправился партизан Наполеон Саргсян, молодой, веселый армянин, с тремя бойцами.

Они подошли к незнакомой деревне. Саргсян остановился с товарищами на опушке леса, метрах в трехстах от деревни:

— Вы меня здесь подождите, я пойду один.

Недолго думая Саргсян «замаскировался»: надел пилотку звездочкой назад и отдал свой трофейный автомат товарищу.

У крайней хаты он увидел какого-то мужчину и тут же заметил, что тот дал знак в окно хаты. Оттуда вышел другой. Саргсян решил, что это засада, быстро повернулся и побежал назад. Незнакомцы — за ним. Наблюдавшие из леса товарищи видели все это и залегли, собираясь прикрыть огнем отступление безоружного Саргсяна. Но в это время они услышали довольно мирный голос одного преследователя:

— Эй, хлопец, подожди, поговорим!

Саргсян подбежал к товарищам, схватил свой автомат и стал во всеоружии лицом к врагу.

— Стой! Стрелять будем! — крикнул он.

Но те спокойно шли навстречу. Коренастый голубоглазый парень, подойдя к Саргсяну, сказал:

— Поверни-ка лучше пилотку. Я сам только тогда и успокоился, когда увидел звездочку. Раз звездочка на пилотке — значит, все в порядке, свои.

— Ну и что? — задорно спросил его Саргсян.

— Значит, свои. Меня зовут Николай Струтинский. Передайте вашему командиру, что я хочу к нему явиться. У меня тут небольшая группа есть, тоже партизанам.

Беседа приняла мирный характер. Тут же договорились о новой встрече, и Струтинский подарил Саргсяну в знак дружбы трофейный серебряный тесак, какие обычно носили немецкие коменданты районов.

По возвращении в лагерь Саргсян рассказал мне об этой встрече, но ничего не сказал о том, как он оставил оружие у товарищей и как потом бежал. Не сказал он и о подарке.

На второй день после этого разговора вышел очередной номер нашей газеты «Мы победим». В нем был помещен шарж: Саргсян, в перевернутой назад пилотке,

идет важно, положив руки в карманы, а позади стоит удивленный партизан с автоматом.

Но Саргсян в лагере уже не было, и объяснить с ним мне не удалось. По моему приказанию он отправился за Николаем Струтинским.

Вскоре они пришли.

— Привел? — спрашиваю его.

— Да, товарищ командир.

— Эту картинку видел? — Я показал ему карикатуру.

Парень побледнел.

— Это правда?

— Правда.

— Как же ты позволил себе такое? Как ты мог отдать свое оружие другому?

— Виноват, товарищ командир.

— Чтобы это больше не повторялось! Пойдем.

И мы пошли к тем, кого привел Саргсян.

У крайней палатки лагеря стояло девять человек. Они были вооружены самозаряжающимися винтовками «СВ», немецкими карабинами и пистолетами. Из карманов торчали рукоятки немецких гранат, похожих на толкушки, которыми хозяйки мнут вареную картошку. Тут же стоял принесенный ими пулемет.

— Кто из вас старший? — спросил я, глядя на пожилого усатого человека, полагая, что он и есть старший. Но я ошибся. От группы отделился совсем молодой парень.

— Николай Струтинский! — отрекомендовался он.

— Я вас слушаю.

— Мы хотим вступить в ваш отряд.

— Кто это «мы»?

— Да здесь почти все свои. Вот мой отец. — И Николай Струтинский указал на пожилого усатого человека. — Вот мои младшие братья — Жорж, Ростислав и Владимир. Эти двое — колхозники из нашей деревни, а эти убежали из ровенского лагеря. Вот и все.

Слушая, я внимательно разглядывал отца и братьев Струтинских. Передо мной стояла возрастная лесенка — отец и четыре сына. Между сыновьями разница в годах небольшая — год, полтора. Все они крепкие, здоровые, и все очень похожи друг на друга. У отца Струтинского правильные черты лица, голубые глаза, плотная, корена-

стая фигура. Этими чертами отличались и все его сыновья.

Николай Струтинский рассказал мне, что от их группы совсем недавно ушли к линии фронта одиннадцать человек — на соединение с Красной Армией.

Говорил он медленно, спокойно, обдумывая каждое слово.

Отец в упор смотрел на него и беззвучным движением губ повторял его слова.

— Значит, у вас был целый партизанский отряд и вы — командир.

— Ну, какие мы партизаны! Это нас немцы так называли.

— Ну, а все-таки, что же вы сделали?

— Да что мы могли сделать! Нас мало очень.

— А откуда вы узнали о нас?

— Ну как же! О вас здесь все говорят. Мы вас долго искали, были даже там, где сгорел ваш самолет.

И тут же он сказал, что у села Ленчин есть очень хороший, большой и ровный выгон для скота, на котором самолет свободно может приземлиться.

Я посоветовался с замполитом Стеховым и начальником разведки Лукиным, и мы решили всю группу Струтинских принять в свой отряд.

Через несколько дней я увидел у Саргсяна серебряный тесак.

— Откуда он у тебя?

— Товарищ командир, это подарок.

— От кого?

— Вот этот самый, Струтинский, подарил.

Стоп. Вызываю Николая Струтинского.

— Товарищ Струтинский, откуда у вас серебряный тесак?

— Мы тут как-то отбивали арестованных колхозников, а с ними схал сам шеф жандармерии района. У него я и взял этот тесак.

— Так это вы были? Ну, вот и разгадана загадка! И обоз вы забрали?

— Да, мы.

После этого мы уже подробно узнали замечательную историю семьи Струтинских — семьи советских партизан.

Владимир Степанович Струтинский почти всю свою жизнь проработал каменщиком в Людвипольском районе. Девять детей вырастили и воспитали они вместе с женой Марфой Ильиничной. Когда Западная Украина была воссоединена с Советской Украиной, семья Владимира Струтинского зажила полнокровной жизнью. Владимир Степанович стал помощником лесничего.

Перед самой войной старшие сыновья работали: Николай — шофером в Ровно, Жорж — учеником токаря на судостроительном заводе в Керчи, Ростислав и Владимир помогали отцу в хозяйстве. Остальные дети были еще маленькими.

Началась война, немцы захватили родной край. В первые же дни оккупации двух сыновей Владимира Степановича, Николая и Ростислава, немцы арестовали и хотели отправить в Германию, но они бежали из лагеря в леса. Скоро к ним присоединился и третий брат, Жорж, которому удалось пробраться в свои края.

С разбитого немецкого танка Жорж снял пулемет и приспособил его для стрельбы с руки. Вначале этот пулемет был единственным оружием трех братьев. Первым открыл боевой счет Николай: он убил немецкого жандарма. Оружие убитого врага стало оружием Николая.

Так начали партизанить три брата. Но скоро и отец, Владимир Степанович, пришел в отряд под команду своего сына.

Партизанская семья Струтинских увеличивалась. Поодиночке к ним присоединились местные жители — колхозники и встретившиеся в лесу бойцы, бежавшие из немецкого плена.

В селах начали поговаривать о братьях-партизанах. По указке предателя фашисты ворвались в дом Струтинских, где была с четверьмя младшими детьми Марфа Ильинична Струтинская. Палачи били ее ногами, прикладами, били на ее глазах детей, требуя сказать, где муж и сыновья. Но она ничего не сказала. Тогда ей скрутили руки: «Повесим, если не скажешь!»

Но не повесили. Решили оставить, чтобы выследить сыновей.

Ночью Владимир Степанович пробрался к своей хате

и тихонько постучал в окошко. Марфа Ильинична открыла дверь: она уже ждала этого стука. Младший сынишка, Володя, успел обо всем сообщить отцу.

— Слушай, мать,— сказал Владимир Степанович.— Зараз собирайся; бери меньших хлопцев, бери дочку, и пойдем. Я провожу тебя на хутор к верному человеку. Володю возьму с собой.

Володе было шестнадцать лет.

Марфа Ильинична наскоро собрала самые необходимые вещи, разбудила детишек, и вся семья вышла из хаты. Под покровом короткой летней ночи Струтинские, никем не замеченные, покинули свой родной угол. Через день немцы сожгли их хату, а оставшийся скарб разграбили.

Для нас появление в отряде семьи Струтинских было большой находкой. Они хорошо знали свой край, имели во многих деревнях и городах родственников и знакомых, и главное — им был отлично знаком город Ровно, который нас особенно интересовал.

Николай Струтинский недаром был командиром своего маленького отряда. В нем счастливо сочетались отвага, смелость и хладнокровие. В первые же дни партизаны прозвали его «Спокойный».

На Жоржа Струтинского, который был на год моложе Николая, мы сначала не обратили особого внимания. Коренастый голубоглазый блондин, как и старшие Струтинские, он отличался от них тем, что был пониже ростом и, пожалуй, был еще более спокоен и молчалив, чем Николай. Ходил Жорж медленно, вразвалку.

— Это увалень,— сказал как-то про него Лукин.

Так казалось и мне. Но вскоре мы изменили мнение о Жорже. После первых же боевых операций, в которых Жорж участвовал, о нем стали говорить как о человеке, не знающем страха.

— Жорж действует своим пулеметом, как шахтер отбойным молотком,— сказал мне командир взвода Коля Фадеев.

Жорж стрелял очень метко, а к тому же у пулемета не было глушителя, поэтому стрельба его наводила страшную панику. Потом оказалось, что Жорж владел всеми видами оружия, и как-то само собой получилось, что он начал обучать других прицельной стрельбе, учил, как на-

до разбирать и чистить автоматы, пулеметы и винтовки. Скоро Жорж стал непременным участником наиболее сложных боевых операций. Так же спокойно, как уходил, он возвращался после боя, сидел и молчал, слушая, как другие рассказывают.

Ругать Жоржа не приходилось — не за что, а хвалить старались сдержанно. За глаза бойцы говорили о нем восторженно, но, если кто-нибудь скажет что-либо похвальное о Жорже в его присутствии, он не то что смущался, а просто страдал: густо краснел, ни одна черточка в лице не менялась, но краска ударяла в лицо и лишь постепенно сходила до бледности.

Девятнадцатилетний Ростислав Струтинский был старательным, дисциплинированным бойцом и во всем подражал старшим братьям.

Володе Струтинскому шел семнадцатый год. Мы сначала решили послать его в хозяйственный взвод, потому что он был сильно глуховат, но Володя запротестовал, сказав, что хочет воевать. Как ни уговаривали, ничего не вышло: пришлось дать ему оружие. В боевом взводе попытались было держать его в лагере — боялись, что в бою он не услышит команды. Но и это не удалось. Он так рвался на операции, что в конце концов участвовал почти во всех боях.

Володя любил оружие — все свободное время разбирал, чистил и снова собирал свой карабин. И еще любил он рассказы о боевых делах. От усилия слышать рассказчика у него буквально глаза на лоб вылезали.

Отцу семьи Струтинских, Владимиру Степановичу, было уже пятьдесят пять лет, но он был крепким и здоровым человеком. Значительная просесть была мало заметна в его светлых волосах. Мы назначили Владимира Степановича заместителем командира хозяйственной части отряда. Он был незаменимым заготовителем продовольствия. Зная украинский и польский языки, он умел договариваться с крестьянами. Где появлялся старик Струтинский, там охотно давали нам картофель, овощи, муку, крупу и другие продукты.

В наших «боевых» заготовках, то есть в тех случаях, когда мы нападали на немецкие склады, обозы, Владимир Степанович бывал не менее полезен отряду. Он хорошо стрелял из винтовки и никогда не терялся в бою.

Была одна беда у старика—непомерная доброта. Как «хозяйственник» он ведал у нас спиртом, который мы «брали» на одном немецком спирто-водочном заводе. Расходовался спирт в строгом порядке. Главным образом он шел на нужды госпиталя. Но вот является какой-нибудь любитель выпить к Струтинскому:

— Владимир Степанович! Что-то меня лихорадка трясет. Дайте-ка грамм пятьдесят.

Или:

— Ой, простыл я; наверно, грипп начался.

И старик не мог отказать — давал «лекарство».

Мы крепко ругали и даже наказывали тех, кто ходил и просил спирт, и Струтинскому говорили не раз, но он всегда сконфуженно оправдывался:

— Вы уж простите меня, товарищ командир. Да ведь жалко, больной человек приходит.

— Владимир Степанович! У нас есть врач, и больным следует у него лечиться.

— Да, это уж так, правильно,— покаянно говорил Струтинский.

Но проходил день, другой — и снова та же история. Пришлось все-таки Струтинского от спирта отстранить.

По просьбе Николая Струтинского наши разведчики зашли как-то на хутор, где была укрыта от немцев Марфа Ильинична с младшими детьми, и навестили ее.

Возвратившись, один из разведчиков обратился ко мне:

— Товарищ командир! Тут один хлопчик письмецо передал, велел обязательно вам в руки отдать.

И он подал мне клочок серой бумаги, на котором карандашом было написано:

«Командиру партизанского отряда от Струтинского Василия заявление очень прошу командира могу ли я поступить в партизанский отряд когда я приду я очень благодарю командира. До свиданья Василий Струтинский 26 октября 1942 г. Мои братья партизаны и я хочу».

Грамматические ошибки — дело плохое, но Васе было всего десять лет, и в школу он ходил только один год, когда еще не было немцев. Не успел я подумать, что ответить Васе, как пришел Николай Струтинский.

— Вот тут твой братишка заявление написал,— сказал я ему.

Николай улыбнулся:

— От него нам давно житья нет: все просится в партизаны. Но у меня к вам вот такая просьба, товарищ командир. Ребята рассказывают, что семье там жить опасно: немцы, кажется, о них пронюхали. Разрешите всю семью забрать в лагерь.

Я согласился, и через несколько дней в лагерь пришла Марфа Ильинична Струтинская с тремя детьми и племянницей Ядзей. Пришел и написавший заявление Вася.

И все они — старые и малые Струтинские — нашли свое место в отряде.

Марфа Ильинична, уже пожилая, пятидесяти с лишним лет женщина, ни минуты не хотела сидеть сложа руки. Сама она стеснялась ко мне обратиться и присылала старика ходатайствовать, чтобы я ей поручил какое-нибудь дело. Но я не хотел ее загружать: и без того у нее много хлопот было с детьми. Тогда Марфа Ильинична стала обшивать и своих и чужих, стирала уйму партизанского белья. Целыми днями и ночами она трудилась без отдыха. Я решил, что, пожалуй, ей легче быть поварихой во взводе. Она с радостью взялась за это дело, но штопать и стирать партизанское белье продолжала.

Васю, несмотря на его боевой пыл, мы все же определили в хозяйственную часть — смотреть за лошадьми. Сначала он надулся, обиделся, но потом ему так понравился мой жеребец, по кличке «Диверсант», и другие лошади, что он смирился со своей должностью. Кроме того — внештатно, так сказать, — он состоял адъютантом у своего отца: бегал по лагерю с разными поручениями.

Одиннадцатилетний сын Слава тоже помогал отцу, а племянница Ядзя работала поварихой в одном из подразделений отряда.

Дочь Струтинского, пятнадцатилетнюю Катю, мы устроили в санитарной части. Там она сразу понравилась больным и раненым. В противоположность своим братьям, Катя была необычайно подвижной и быстрой. Сидеть на месте она совершенно не могла. Каждую минуту подсакивала к больным:

— Что тебе надо? А тебе что?

И неслась выполнять просьбы вихрем, так что русые косы ее развевались во все стороны.

Однажды она пришла ко мне. Нельзя сказать «пришла» — влетела в шалаш. Запыхавшись от бега и волнения, сверкая лукавыми голубыми глазами, она быстро застрочила:

— Товарищ командир, раненые недовольны питанием. И хоть они при штабе питаются — все равно. Там очень невкусно готовят, и всегда одно и то же. А у них разные болезни, им чего-нибудь особенного хочется. Вот... для них надо отдельную кухню.

— Отдельную кухню? — улыбаясь, говорю я. — А где же достать «особенного» повара? Кто будет им готовить?

— Хотя бы я. А что ж!

— Ну хорошо!

Мы выделили кухню для санчасти, и Катю назначили главным поваром. Дали ей двух помощников; это были солидные, бородатые партизаны. Ну разве девчонка могла командовать такими дядями! Поэтому она все делала сама. Бывало, тянет огромную ногу кабана, тут же рубит ее топором, варит и успевает к больному подойти. И наши раненые с аппетитом уплетали украинские борщи, свиные отбивные, вареники, похваливая Катю Струтинскую.

КОЛЯ МАЛЕНЬКИЙ

Наш боец Казаков отбилсЯ от своей группы, которая ходила на разведку к станции Клесово. По неопытности и неумению ориентироваться он целые сутки бродил по лесу, не находя дороги к лагерю. Куда ни пойдет, через час-два приходит на старое место.

Ночь он провел в лесу один, даже костер не мог разложить. Плутал и весь следующий день. Под вечер услышал мычание коров. Осторожно, избегая наступать на валежник, чтобы не производить шума, Казаков направился в ту сторону.

Вскоре он вышел на лесную полянку, где паслись коровы и волы. На пеньке сидел мальчуган-пастух. Он усердно выстругивал ножиком палочку.

Озираясь по сторонам, Казаков подошел к мальчику:

— Здравствуй, хлопчик!

Белобрысый худенький пастушонок от испуга вскочил и, выпучив глаза, уставился на Казакова.



— А ты, дяденька, партизан?

— Чего испугался? Ты здешний?

— Здешний,— ответил мальчик. И, увидев за плечами Казакова винтовку, а на поясе — пистолет и гранаты, бойко спросил: — А ты, дяденька, партизан?

— Ишь ты какой хитрый!

— Партизан, сам вижу,— уверенно сказал маленький пастух.

— А ты видел партизан?

— Не видел. Но люди говорят, что возле Рудни-Бобровской их много.

— А в какой стороне Рудня-Бобровская? Мне туда как раз и надо.

— Я туда дорогу знаю. Хочешь, провожу?

— Хочу. Как тебя звать-то?

— Коля.

Коля тут же все рассказал о себе. Сам он из Клесова. Отца фашисты замучили. Мать и старшего брата угнали в Германию. Раньше Коля учился в школе, теперь школа закрыта, и он пошел в пастухи, чтобы как-нибудь прокормиться.

— Вот что, Коля,— перебил его Казаков.— Я почти двое суток не ел. Ты гони скот в деревню и принеси мне чего-нибудь поесть.

Коля защелкал кнутом, засвистел и погнал свой «товар», как он называл стадо. Вернулся он к Казакову вечером; принес крынку молока, лепешки и сало:

— Вот, дяденька, кушайте. Это мне на ужин хозяйка дала.

Казаков с жадностью набросился на еду, а Коля сразу же к нему с вопросом:

— Дяденька, можно я с тобой к партизанам пойду?

— Командир заругает, Коля! Ты ведь маленький.

— Мне уже двенадцать.

— Мал, мал, хлопец!

— Тогда давай, дяденька, сами отряд соберем. В лесу много народу, от немцев убежали.

Казаков улыбнулся:

— А если нас немцы поймают и убьют, что тогда?

— А мы сховаемся!

Когда совсем стемнело, Коля привел Казакова в какой-то двор, и там на сеновале партизан, не спавший две ночи перед тем, заснул богатырским сном. Коля поха-

живал неподалеку от сарая, охранял его, а на рассвете разбудил и пошел провожать.

Утром крестьяне вывели из дворов свой скот, но пастишонок не явился. Его долго искали, окликали по дворах. Коли нигде не было.

— Да куда же вин сховався? — удивлялись жители.

А Коля и Казаков были уже далеко от хутора. Они шли к Рудне-Бобровской.

— Не хочешь, дяденька, взять с собой, а? Ну, тогда я все равно от тебя не отстану... Пойду за тобой, и все.

Недалеко от деревни Карпиловки они остановились. Казаков укрылся за кустом, а Коля пошел один в деревню достать чего-либо съестного.

Через час он вернулся, принес хлеба, сала и стал рассказывать Казакову новости:

— Люди говорят, что в Карпиловском лесничестве много полицейских. По ночам они крепко дрыхнут, и на карауле никого нет. Давай, дяденька, нападём на них, а?

Трудно представить, как они там договаривались, но факт фактом: Казаков поддался на Колины речи. «Здорово будет, если я в отряд принесу трофеи и приведу пленных!» — решил он.

Казаков вооружил мальчика гранатой и пистолетом. Ночью они подкрались к лесничеству. Около дома увидели подводу. Лошадь, оставленная в запряжке, лениво жевала корм. Казаков и Коля вошли в хату, где, развалившись на полу и на столах, храпели полицейские.

— Руки в гору! — крикнул Коля и поднял гранату.

А Казаков наготове держал свою винтовку.

Полицейские вскочили и, ничего со сна не понимая, покорно поднимали руки вверх.

— Выходить на улицу! Оружие складывать на подводу! — приказал Казаков.

Те молча стали обуваться и послушно выносить из хаты винтовки.

Казаков остался в дверях, а Коля с гранатой и пистолетом пошел к подводе.

Смешно и странно, но было действительно так: один партизан и мальчик разоружили большую группу полицейских. Только закончилась вся эта история все-таки смешно.

Погрузив оружие на подводу, Казаков и мальчуган

приказали полицейским выстроиться и повели их из деревни по направлению к лагерю. До нашей стоянки было оттуда не меньше сорока километров, и вечером им пришлось расположиться в хуторе на отдых. Ночью полицейские сбежали, забрав с подводы все свое оружие. Удивительно, как они еще не расправились с нашими «героями»!

Коля так и не отстал от Казакова и вместе с ним пришел в лагерь. Партизаны встретили его так ласково, что не оставить его в отряде было попросту невозможно.

Я с Колей встретился на второй день после его прихода. Вижу — сидит с партизанами белобрысый маленький, шуплый мальчик.

— Как тебя зовут?

— Коля.— И, поднявшись, он стал навтыяжку, как и остальные.

— Хочешь с нами жить?

— Хочу.

— А что же ты тут будешь делать?

— А что прикажете.

— Ну что ж,— серьезно сказал я ему,— будешь у нас пастухом.

— Ни... Пастухом я вже був. Хочу нимаков бить.

— Ну ладно, оставайся... Только вот беда: уж очень много собралось у нас Николаев. Николай Приходько, Николай Струтинский, Николай Гнедюк, Кузнецов Николай Иванович. Все Николаи. Придется тебя назвать Колей Маленьким. Не возражаешь?

Сначала Коля был у нас в хозяйственном взводе — помогал ухаживать за лошадьми, чистил на кухне картошку, таскал дрова. Все делал он охотно и быстро. Но то и дело интересовался: «А когда мне винтовку дадут?»

Вместе с другими новичками Коля пошел в учебную команду и на «отлично» сдал экзамен по строевой подготовке. Всегда аккуратный, подтянутый (мы его, конечно, приодели), Коля при разговоре с командиром отвечал точно, коротко, как полагается в армии. Хотелось иногда с ним попросту поболтать, приласкать,— ведь мальчишка еще,— не тут-то было: отвечает по-военному.

Присмотревшись к хлопцу, мы решили готовить из него разведчика и связного, и Александр Александрович Лукин стал с ним заниматься отдельно.

ПРАЗДНИК

Вечером 6 ноября сорок второго года партизаны собрались в центре лагеря вокруг повозки, на которой был установлен специально добытый к этому дню репродуктор.

Лида Шерстнева суежилась вокруг приемника и все волновалась, что антенна коротка.

Ваня Строков, который был назначен ответственным за организацию радиослушания, волновался не меньше Лиды, но успокаивал ее:

— Да что вы, Лида! Антенна чуть не в километр!

Антенна эта была уже несколько дней предметом всеобщего интереса.

Но вот репродуктор захрипел, послышались какие-то трудно различимые звуки. Ваня Строков что-то еще подкрутил, и мы облегченно вздохнули. Из Москвы передавали концерт. Впервые за пять месяцев мы услышали московскую радиопередачу. До этого у нас была только служебная радиосвязь.

Радисты Лида Шерстнева и Ваня Строков сияли.

Но не концерт хотели мы слушать. Все ждали, все надеялись услышать передачу торжественного заседания, посвященного Октябрьской годовщине.

У повозки за самодельным столиком сидели четыре партизана с заготовленной бумагой и тщательно очиненными карандашами. Писать будут сразу все: если один пропустит хоть слово, другие восполнят.

Около шести часов вечера диктор объявил то, чего ждала вся страна, чего с нетерпением ждали и мы, партизаны, окружившие радиоприемник под морозящим дождем в глухом Сарненском лесу: будет транслироваться торжественное заседание, проводимое в связи с двадцать пятой годовщиной Великого Октября. В лесу воцарилась тишина. Каждый старался тише дышать.

Мы, находившиеся за тысячу километров от столицы, узнали обо всем, что делается в стране, узнали о положении на фронтах Отечественной войны.

Гитлеровцы, отогнанные от Москвы, собрали в летний период все свои резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и вышли в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока.

Но мы, как и весь народ, не сомневались в том, что наша армия разобьет врага в открытом бою и погонит его назад.

У советских людей есть традиция — отмечать праздники трудовыми и боевыми подвигами.

День 7 Ноября мы решили отметить по-своему, по-партизански, отметить так, чтобы гитлеровцы его запомнили.

Задолго до праздника мы готовили две диверсии по взрыву вражеских эшелонов. В ночь на 7 Ноября, сейчас же после того, как был прослушан доклад, две наши партизанские группы — одна под командой Шашкова, другая под командой Маликова — отправились на выполнение задания. В полдень 7 Ноября Шашков вернулся и отпартовал:

— Товарищ командир! Боевое задание в честь двадцать пятой годовщины Великой Октябрьской революции выполнено. На железной дороге подорван следовавший на восток вражеский эшелон с военными грузами и войсками.

А к вечеру вернулся и Маликов. Он тоже сообщил, что в подарок к годовщине Великого Октября взорван вражеский эшелон с техникой противника, следовавший в сторону фронта.

В день праздника в лесу была проведена спартакиада. На лесной поляне, в километре от лагеря, пять взводов соревновались между собой на лучшую боевую подготовку. Они состязались в метании гранаты на дальность и в цель, в лазании на деревья, в беге с препятствиями.

Спартакиада проходила шумно. Больше всего переживали «болельщики». Они уже несколько дней спорили, кто окажется победителем. Самыми горячими болельщиками оказались старик Струтинский, Лукин и Кочетков.

Владимир Степанович Струтинский то подсказывал на месте, то выкрикивал: «Ах, чтоб тебя!», «Вот, дурья голова, промахнулся!» Лукин перебегал с места на место, подзадоривая отстающих. А Кочетков так громко хохотал, что стоять близ него было небезопасно: могли пострадать барабанные перепонки.

Самый большой шум поднялся, когда началось состязание по перетягиванию каната. Кто, какая группа перетянет?

— А ну, поднатужьтесь!

— Слабó вам!

Вот одна группа, обессилев, ослабила канат. Победители, перетянув конец, упали навзничь. Взрыв смеха снова огласил лес.

Праздник закончился концертом партизанской самодеятельности. Началось с хорового пения. «Прощай, любимый город» — эту песню знали все. Запевали несколько голосов — весь наш ансамбль подхватывал. Потом запели «Катюшу». Владимир Степанович Струтинский вдруг поднялся и, дирижируя обеими руками, затянул «Реве та стогне Днипр широкий». Одобрительно улыбаясь, все подхватили эту песню.

Вышли в круг плясуны: нашлись мастера и гопака, и камаринской, и лезгинки, и чечетки. Смена «номеров» шла непрерывная. Вот к костру подошел Мачерет, — до войны он учился на литературном факультете.

— Я прочитаю вам стихи Николая Тихонова «Двадцать восемь гвардейцев».

Уже под конец вечера поднялся Николай Иванович Кузнецов. Он был в приподнятом настроении. Не сказав, что будет читать, он сразу начал:

— «Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море...

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...»

Читал Кузнецов просто и тихо. Но каждое его слово, казалось, доходило до самого сердца. Чувствовалось, что человек читает самое любимое произведение.

Я посмотрел на бойцов. Они сидели серьезные, торжественные и какими-то новыми глазами смотрели на Кузнецова.

Так же не повышая голоса, но еще больше отчеканивая каждое слово, он закончил:

— «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

Сильное впечатление произвело на нас чтение Николаем Ивановичем Кузнецовым «Песни о Соколе» Горького.

Вскоре после праздника, 11 ноября, нам удалось при-

нять самолет из Москвы. Площадка около деревни Ленчин, указанная Колей Струтинским, была действительно хорошая. К тому же мы буквально прощупали каждую травинку, сровняли все бугорки. Пришлось даже спилить тригонометрическую вышку, что стояла километрах в четырех от площадки. Правда, крестьяне были довольны: вышка подгнила, и они боялись несчастного случая.

Накануне той ночи, когда мы собирались принимать самолет, в село Михалино, километрах в девяти от нашей площадки, прибыла на автомашинах большая группа гитлеровцев. Мы выслали на дорогу засаду с твердым наказом: немцев в нашу сторону не пропустить!

Согласно условиям Москвы, мы должны были каждые полчаса выпускать красные и зеленые ракеты, чтоб самолет за сорок — пятьдесят километров мог видеть место посадки. Это еще больше усиливало опасность нападения немцев. Но все прошло благополучно.

В час ночи мы слышали гул мотора. В костры подлили скипидару, и они загорелись ярким пламенем.

Посадка прошла превосходно. Радовались удаче не только партизаны. Не было конца восторгам и жителей села, когда самолет пронесся над крышами их домов и плавно сел на площадку, ярко освещая все вокруг светом своих фар.

Самолет пробыл у нас всего сорок минут. Оставил нам письма и подарки. Мы погрузили раненых, документы и письма родным. На этом самолете улетали в Москву Флорежакс и Пастаногов — им надо было еще долго лечиться — и мальчик Пиня, которого нашли мы с Кузнецовым. Погрузилась в самолет команда потерпевшего аварию самолета. В Москву были отправлены и ценности, отбитые нами у врага. Мы вносили их на постройку самолета взамен разбившегося.

Самолет зашел на старт, плавно поднялся в воздух, сделал два круга над поляной и, дружески покачав крыльями, улетел.

ЛУЧШЕ НАСТОЯЩИХ

В самом центре Западной Украины, утопая в зелени, широко раскинулся город Ровно. Ничем особым этот город не примечателен; дома в нем маленькие, одноэтаж-

ные, и лишь на центральной улице стоят двух- и редко трехэтажные. Тем не менее именно этот город немцы сделали центром оккупированной части Украины.

Город Ровно нас очень интересовал. В нем находился тогда рейхскомиссариат для Украины, во главе которого был наместник Гитлера гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох. Там же расквартировались гестапо, штаб фельджандармерии и штаб генерала фон Ильгена, командующего особыми (карательными) войсками на Украине. И хотя в руках гитлеровцев в ту пору был Киев, центром оставался Ровно. Немцы, вероятно, рассуждали так: подалее от фронта спокойнее.

Город буквально кишел немецкими офицерами, чиновниками и их родственниками, которые приехали сюда за легкой наживой.

Понятно, что в Ровно можно было добыть очень полезные сведения для командования Красной Армии: о перебросках и перегруппировках немецко-фашистских войск на фронте, о строительстве новых линий обороны, о мероприятиях хозяйственного характера и о том, что творится в самой Германии. И мы решили к этому городу подобраться всерьез, не спеша, осторожно, продумывая каждый свой шаг.

В первую очередь было решено направить в Ровно тех, кто знал этот город, имел там родственников и знакомых. Выбор пал прежде других на Колю Приходько. Приходько родился в Здолбуново, Ровенской области. Перед войной работал в Ровно заведующим складом на железнодорожной станции. Эвакуировался он из города в последнюю очередь, когда погрузил на грузовую машину все ценности со склада и когда на улицах уже шла борьба и гремели взрывы.

Коле Приходько шел двадцать второй год. Он был огромного роста — как говорят, косая сажень в плечах, — ладно сложен, с хорошим лицом и добрыми карими глазами. Такими представлялись всегда былинные богатыри. Приходько и в самом деле обладал богатырской выносливостью. Ничто не страшило его; он рвался туда, где опаснее.

Когда наш отряд был еще на пути в Сарненские леса, с Колей Приходько произошел такой случай. Опередив группу разведчиков, он зашел в одно село. Посреди ули-

цы стояла большая толпа; крестьянки плакали, причитали. Приходько подошел к женщинам и спросил:

— Что тут происходит?

— Да вот забирают наших хлопцев и дивчат до неметчины.

В кругу стояли молодые девушки и парни с котомками за плечами. Их охраняло шестеро полицейских.

Расталкивая собравшихся, Приходько подошел к полицейским:

— Вы кто такие?

— Полицай,— ответил один, не подозревая, конечно, с кем разговаривает: на Приходько была полуштатская одежда.

— А зачем молодежь забираете? — крикнул он.

— Приказано — и забираем. Да ты кто такой? — озлившись, сказал старший.

— Сейчас представлюсь!

С этими словами Приходько схватил за шиворот сразу двух полицейских и изо всей силы стукнул их лбами. Они отлетели друг от друга и растянулись на земле.

— Бросай оружие! — скомандовал Приходько остальным, направив на них автомат.

Когда, соблюдая предосторожность, наши разведчики вошли в село, им представилась такая картина: Коля Приходько ведет душевные разговоры с крестьянами, у его ног лежат шесть винтовок, а чуть поодаль на земле сидят обезоруженные и связанные полицейские.

Если разведчикам приходилось ходить вдвое больше остальных, то Приходько ходил больше любого разведчика. Получалось так потому, что он всегда оказывался под руками, когда нужно было выполнить какое-нибудь срочное задание.

Один раз — это тоже было на марше — к нам издали донеслись выстрелы. Я послал Приходько узнать, в чем дело.

Только он ушел, явился Цессарский:

— Дмитрий Николаевич! Приходько нельзя посылать: у него так натерты ноги, что он не может сапог надеть.

— Да что вы говорите! Он подошел ко мне в сапогах, и я ничего не заметил.

Когда Приходько вернулся, я спросил его:

— Что у тебя с ногами?

— Да ничего, пустячный мозоли!

Но он меня обманул. Оказывается, он с трудом надел сапоги, чтоб явиться ко мне по вызову, а на разведку шел босиком.

Итак, решено было первым послать в Ровно Николая Приходько. На вопрос, готов ли он отправиться туда, ответ был категорический:

— Конечно, о чем тут разговаривать! На меня вы можете положиться.

В этом мы не сомневались.

Но как одеть Приходько? Его одежда, которую он носил и в которой спал у костров, страшно обтрепалась. Для Ровно надо было одеть его по-городскому, чтоб он не привлекал излишнего внимания.

Из трофейных вещей у нас ничего не было. Мы стали смотреть, на ком из партизан сохранилась подходящая для Коли одежда. Нашли четырех бойцов.

И вот представьте такую картину: четыре человека сидят у костра в одном белье и не понимают, зачем у них попросили одежду (отправку Приходько в Ровно мы держали в строгом секрете). А в палатке идет примерка костюмов на Колю. Ни один ему не годится.

— Не люди, а какие-то лилипуты! — ворчит он.

Из рукавов пиджака, начиная от локтя, демонстративно торчат его ручки с огромными кулаками. Брюки — как с младшего братишки, по колено. И пока он примеряет, костюмы трещат по швам.

К костру выносят костюмы и с благодарностью возвращают их владельцам.

С большим трудом мы кое-как одели Колю. Найденные штатский пиджак и брюки были все-таки маловаты. Но ботинок на его ногу (сорок четвертый размер!) мы так и не могли найти. Пришлось отправить его в сапогах, брюки навывпуск.

Приходько пошел в Ровно с документом, удостоверяющим, что «податель сего Гриценко является жителем села Ленчин».

Лагерь наш был в ста двадцати километрах от Ровно. Туда и обратно — двести сорок километров. Приходько отправился пешком, и мы рассчитали, что он должен вернуться обратно в лагерь через шесть-семь дней.

Приходько не задержался: вернулся вовремя.

С каким облегчением я вздохнул, когда увидел его! Первая вылазка в Ровно прошла успешно. Это было уже целое событие.

Приходько зашел сначала к своей тетке, которая жила в деревне под Ровно. Та ему сказала, что один из его братьев живет сейчас в Ровно. Коля попросил ее сходить за братом. Это заняло всего несколько часов. И уже вместе с братом Приходько пошел в город.

В Ровно многое удивило Колю. На углах домов появились новые наименования улиц, написанные на немецком языке: «Немецкая улица», «Фридрихштрассе». На зданиях, где раньше были клубы, кинотеатры, столовые, появились надписи: «Только для немцев». Все лучшие дома заняты немецкими учреждениями и квартирами немцев. На улицах слышна немецкая речь.

Приходько навестил семью своего друга. С этими верными людьми Коля договорился о том, что их квартирой будут пользоваться партизаны. Так была устроена наша первая явочная квартира в Ровно.

Успел Коля съездить и на станцию Здолбуново, что в тридцати километрах от Ровно. Там он тоже нашел друзей и договорился о следующей встрече.

Когда Приходько кончил рассказывать, я его спросил:

— Ну, а документ у тебя где-нибудь проверяли?

— Проверяли раза три. Все в порядке.

Это тоже было нашей победой, но в чем она заключалась, я пока Приходько не сказал.

После этого мы послали в Ровно и других товарищей. Задача ставилась простая: подыскать явочные квартиры и установить, где и какие немецкие учреждения находятся в городе.

Снарядили Поликарпа Вознюка. Вознюк присоединился к нам уже в Сарненских лесах, где он партизанил с небольшой группой колхозников. Следом за Вознюком мы отправили в Ровно Бондарчука, тоже местного жителя, который был в отряде Струтинского.

Не дожидаясь возвращения посланных в Ровно, мы направили туда же Колю Струтинского. Снабжен он был документом, выданным будто бы Кастановской городской управой и удостоверяющим, что он учитель и командирится в Ровно за учебниками. Колю мы одели в хо-

роший штатский костюм, и он выглядел в нем так привлекательно, что мы все любовались.

Стехов, Лукин и я провожали Колю далеко за лагерь. На опушке леса мы остановились, выбрали одно дерево и условились, что в случае перехода лагеря на новое место в дупле этого дерева будет оставлена записка для Коли. Потом мы попрощались, расцеловались, и он ушел.

Мне невольно вспомнился кадр из фильма «Детство Горького», когда мальчик уходил «в люди». Коля Струтинский шел лугом, кругом была высокая трава, а мы стояли и смотрели, пока он не скрылся из глаз.

Через два дня после ухода Струтинского из Ровно вернулся Вознюк. Он рассказал об одном происшествии. Нашелся у него знакомый парень, который работал в немецком комиссионном магазине. Парень сообщил Вознюку, что в магазин каждый день приходит агент гестапо. Вознюк подкараулил этого агента, двумя выстрелами уложил около магазина и бросился бежать. Перебегая улицу, он натолкнулся на легковую машину, в которой ехали два немецких офицера, бросил в них гранаты, убежал во двор, перепрыгнул через забор на другую улицу и скрылся.

Рассказав все это, Вознюк улыбнулся, ожидая похвалы. Но Лукин укоризненно посмотрел на Вознюка и внушительно, отделяя слово от слова, сказал ему:

— Кто же это надоумил вас на такое дело? Вас послали, чтобы вы тихо, осторожно прошлись по улицам города, посмотрели, где гестапо, где рейхскомиссариат, и так же тихо вернулись. А вы на шумели! — уже повышая голос, продолжал он. — Ведь там теперь начнутся облавы, к каждому будут придирааться. Ради чего вы это сделали? Из-за паршивого агента могут погибнуть наши люди. Герой тоже нашелся!

Вознюка отстранили от заданий по разведке, а ребята, прослышав про его «геройство», в насмешку спрашивали: «Значит, шумим, браток?» И прозвали его с того дня «Шумный».

Бондарчук вернулся через несколько дней. Он договорился об одной явочной квартире, но ему самому пришлось там туговато. В Ровно он работал до войны и встретил на улицах города многих знакомых, которые интересовались тем, что он сейчас делает.

Наконец возвратился и Коля Струтинский. Он обстоятельно рассказал все, что узнал: какие немецкие учреждения в городе, где они помещаются, где работают его знакомые, где живут родственники, у кого можно устроить явочные квартиры. Он принес несколько образцов документов, которые выдавались гитлеровцами.

— Ну, а как твой документ, в порядке? — спросил я.

— Все в порядке. Немцы проверяли. Да что там, он ведь лучше настоящего!

Теперь я расскажу об этих документах.

Как-то Коля Струтинский сказал нам, что в детстве он занимался резьбой ножом по дереву. Я ему предложил попробовать скопировать немецкий штамп. Коля достал циркуль, наточил перочинный нож, оторвал от каблука сапога резину и сделал такой штамп, что нельзя было отличить от настоящего. Тогда мы дали ему скопировать другие немецкие штампы и печати.

Вначале Коля работал медленно: за два-три дня делал только одну печать или один штамп. Дни стояли осенние, пасмурные, а работа была тонкая и требовала сильного света. Но потом он так набил руку, что за час-два мастерил любую ажурную печать, и все теми же инструментами — циркулем и перочинным ножом. Только резину мы ему стали доставать на стороне, так как он ободрал свои сапоги, сапоги Жоржа и Ростика и добирался уже до штабных работников.

На одном фольварке нам попались пишущие машинки с украинским и немецким шрифтами. На этих машинках Цессарский печатал по образцам любой документ. А Лукин умел мастерски подделывать подпись любого начальника.

Цессарский печатал бумагу, Лукин подписывал, а потом прикладывалась печать, сделанная Струтинским, и получался документ, выданный немцами!

Так были изготовлены документы для Приходько, Струтинского и многих других разведчиков. Мы выдавали документы от городских и районных управ, от частных фирм и даже от гестапо.

И действительно, получались они лучше настоящих.

Однажды произошел интересный казус. Соседний партизанский отряд попросил выдать им какой-либо документ, по которому их разведчик мог бы сходить в Луцк.

Мы им дали «командировочное удостоверение», но не ска-
зали, откуда его достали. С этим удостоверением их раз-
ведчик ходил в Луцк и благополучно вернулся. Они по-
слали другого, тот тоже вернулся. Надо было еще раз
послать, но указанный в «командировке» срок истек.
Тогда они уже сами сделали на этом документе продле-
ние и подделали подпись. Обо всем этом мне и Лукину
рассказал сам командир отряда, когда приехал к нам в
лагерь.

— Такой у меня парень нашелся — подделал подпись,
не отличишь от настоящей!

Лукин состроил гневную гримасу, вскочил и закричал:

— Это ж уголовщина! Как вы смеее подделывать
документы? Я буду привлекать вас к судебной ответствен-
ности! Вы подделали... мою подпись!

Командир сначала опешил, растерялся, а потом наша
землянка огласилась дружным, долгим хохотом.

Мы столько мастерили документов, что гитлеровцы в
конце концов стали догадываться и часто меняли образ-
цы своих бумаг. Но у нас хорошо действовала разведка,
и недели за две до введения новых документов мы имели
их образцы у себя в лагере. Образцы эти доставляли нам
подпольщики прямо из типографии, и мы выдавали новые
документы одновременно с немцами.

СВОИХ НЕ УЗНАЛИ

Николай Иванович Кузнецов обстоятельно и подолгу
разговаривал со всеми, кто возвращался из Ровно. Он
задавал Приходько, Струтинскому, Бондарчуку и Возню-
ку сотни вопросов.

Но я все еще боялся пускать Кузнецова в Ровно.

— Не стану же я там шум поднимать, я ведь не Шум-
ный! — уговаривал он меня. — Пройдусь по городу, по-
смотрю и вернусь. А там уж рассудим, как действовать
дальше.

Наконец мы решили его отправить, но не одного, а со
стариком Струтинским, который должен был познако-
мить Кузнецова со своими родственниками.

Готовили мы Николая Ивановича очень тщательно.
Вместе со Стеховым и Лукиным обсуждали каждую ме-

лочь его костюма. Мы подобрали ему по ноге хорошие сапоги; по его фигуре был подправлен трофейный немецкий мундир, на который мы прикалывали и перекалывали немецкие нашивки и ордена. Все это делалось втайне от всего отряда. Ведь и у нас мог быть подосланный врагами агент. Поэтому, как ни тяжело было соблюдать конспирацию в условиях лагеря, мы завели такой порядок: никто из партизан не должен знать того, что его лично не касается.

В лагере Кузнецов носил обычную свою одежду. Если он уходил на операцию в немецкой форме, то об этом знали только участники операции.

Подготовка длилась трое суток. Неизвестно, когда Николай Иванович и Владимир Степанович спали. Днем они заняты были приготовлениями, а вечерами и даже ночами сосредоточенно беседовали, прохаживаясь в стороне от товарищей или сидя где-нибудь на пенке.

В Ровно Струтинский и Кузнецов поехали на фурманке, Струтинский в качестве возчика, а Кузнецов — как тыловой немецкий офицер, ведающий продовольственными вопросами в районе. Так, по крайней мере, были оформлены их документы.

Километрах в восемнадцати от Ровно они остановились на одном хуторе, у родственника Струтинского, Вацлава Жигадло. Узнав, в чем дело, Жигадло сказал:

— Пожалуйста, мой дом в вашем распоряжении. Когда нужно, останавливайтесь, но делайте все осторожно, а то и себя и меня с семьей погубите.

У Жигадло было десять детей. С приходом немцев его семья лишилась большой помощи, которую получала от Советской власти по многодетности.

Около самого города Струтинский остановился еще у одного родственника. Здесь Владимир Степанович оставил фурманку, а сам с Кузнецовым пошел в город.

По городу они ходили так: Кузнецов по одной стороне улицы, Владимир Степанович — по другой.

Владимир Степанович потом рассказывал:

— Я иду, ноги у меня трясутся, руки трясутся, вот, думаю, сейчас схватят. Как увижу немца или особенно предателя-полицейского, отворачиваюсь. Мне казалось, что все на меня подозрительно смотрят, — ведь, думаю, в Ровно многие меня знают. А Николай-то Иванович,

гляжу, идет на другой стороне как орел, как хозяин. Почитывает себе вывески на учреждениях, останавливается у витрин магазинов и хоть бы что. Встретится ему немец, он поднимает руку и громко говорит: «Хайль Гитлер!» Часа четыре водил меня по городу. Я уже ему делаю знаки, утираю нос платком, как условились: дескать, пора, — а он себе ходит и ходит. Отчаянный человек!

Так впервые побывал Николай Иванович в Ровно. Конечно, никому из встречаемых не могло прийти в голову, что этот немецкий офицер на самом деле русский партизан и что через некоторое время за ним будут гоняться ищейки из гестапо.

В самом Ровно Струтинский познакомил Кузнецова еще с одним родственником, Казимиром Домбровским, который имел небольшую шорную мастерскую: чинил седла и упряжь. Казимир Домбровский согласился помогать партизанам и дал в этом Кузнецову и Струтинскому торжественную клятву. Надо сказать, что клятву эту он сдержал и оказал нам большую помощь.

Позже шести часов ходить по улицам Ровно было запрещено. Кузнецов и Струтинский заблаговременно вышли из города, уселись в фурманку и направились в лагерь.

Первой вылазкой Кузнецов был очень доволен. Его появление в Ровно не вызвало никаких подозрений — значит, он по-настоящему натренировал себя.

Но Николай Иванович сказал, что с костюмом у него не все ладно. На нем был летний мундир, а немецкие офицеры ходили уже в шинелях и осенних плащах. Он был в пилотке, а их носили только фронтовики; большинство офицеров в Ровно были в фуражках.

Когда Кузнецов во второй раз пошел в Ровно, на нем было новое обмундирование. Но теперь мундир сшил для него известный варшавский портной Шнейдер.

Кого-кого не было у нас в лагере! И сапожники (какие теперь лапти!), и пекари, и колбасники, и вот этот портной Шнейдер, еврей по национальности. Шнейдер жил до войны в Варшаве. Когда немцы захватили Варшаву, всех евреев согнали в гетто. А этого портного взял к себе на квартиру немец, генерал. Он поместил Шнейдера в маленькой каморке, под чердаком своего особняка, и заставил его шить обмундирование не только на себя,

но и на других офицеров. Плату за работу немец брал себе. Но однажды пришел и этому конец: немец объявил портному, что отправляет его в гетто. Оттуда путь был один — на расстрел. Ночью портному удалось бежать, и после долгих мытарств он попал к нам в отряд. Первый раз в жизни он с любовью шил немецкий мундир, догадываясь, для чего он нужен Кузнецову.

Теперь Николай Иванович стал частенько бывать в Ровно. Ездил он туда обычно с Колей Струтинским или с Колей Приходько. Ночевать останавливался либо у Казимира Домбровского, либо у брата Приходько.

Николай Иванович стал знакомиться с немцами — в столовой, в магазинах. Мимоходом, а иногда и подолгу он беседовал с ними. В ту пору все разговоры вертелись вокруг Сталинграда. Немцы были обеспокоены сталинградскими событиями. Легендарный город, который столько раз объявлялся немцами уже взятым, героически сражался, и уже тогда среди немцев носились тревожные слухи, что их армии попадают под Сталинградом в окружение.

Одновременно с Кузнецовым в Ровно направлялись и другие наши товарищи, но они, как правило, не знали, кого и когда мы посылаем. Тех, кто ехал в Ровно, мы предупреждали: если увидите своих, не удивляйтесь и не здоровайтесь, проходите мимо.

Однажды мы отправили Николая Ивановича в Ровно с комфортом. Достали прекрасную пару племенных лошадей — серых в яблоках — и шикарную бричку. Я приказал Владимиру Степановичу Струтинскому дать этих лошадей Кузнецову. Чем богаче он будет обставлен, тем безопаснее: никто его не остановит. Но так как на этот раз Кузнецов должен был на несколько дней задержаться в Ровно, я велел ему, как только въедет в город, где-нибудь оставить лошадей.

Владимир Степанович взмолился:

— Да таких-то лошадей бросать!.. Давайте я вон тех, рыженьких, запрягу.

Просил, уговаривал, чуть не плакал, но ничего не вышло. Кузнецов отправился на племенных рысаках. Возницей поехал с ним партизан Гнедюк, которому также приказано было задержаться в Ровно с заданиями по разведке.

Через три дня в лагерь вдруг приезжают на этих рысаках, в той же бричке, наши городские разведчики Мажура и Бушнин; они почти все время проживали в Ровно и в лагерь являлись только по вызову или если возникала срочная необходимость.

Я не на шутку взволновался. Мажура и Бушнин вообще не знали Кузнецова и тем более не знали, что кто-то от нас бывает в Ровно в немецкой форме. Как же они могли встретиться? Кто передал им лошадей и фурманку? Неужели провал? Неужели Николая Ивановича арестовали?

Я бегом пустился к приехавшим, а там Владимир Степанович уже с радостью похлопывает лошадок.

— Что случилось? — взволнованно спрашиваю Мажуру. — Откуда у тебя эти лошади?

— Да целая история, — улыбаясь, говорит он. — У немцев сперли.

— Как так?

Мажура не торопясь отошел со мной в сторону и с той же улыбкой, которая меня в тот момент страшно раздражала, начал рассказывать:

— Мы были на своей явочной квартире. Собирались уже в лагерь. Вдруг видим в окно: подъехал на этих лошадках какой-то немецкий офицер. Офицер слез с брички и ушел куда-то. Извозчик снял уздечки, надел на головы лошадей мешки с кормом, посмотрел по сторонам и тоже ушел. Ну, мы с ребятами и решили: чего ж нам пешком идти в лагерь! Взяли этих лошадей — и айда! А на том хуторе, около Ровно, где всегда останавливаемся, дали лошадям ночью отдохнуть и вот прикатили в лагерь... Правда, хороши лошадки, товарищ командир?

— Да, лошадки замечательные, особенные лошадки! — сказал я ему, облегченно вздохнув.

БЫСТРАЯ РАСПЛАТА

На хуторе, где жил родственник старика Струтинского — Жигаadlo, мы организовали «маяк». Это была удобная база, расположенная на полпути между лагерем и Ровно. От Ровно до лагеря было около ста двадцати километров. Один курьер мог проделать этот путь лишь за

двое суток. Теперь, когда мы организовали «маяк», курьер из Ровно шел только до него, а там уже другой человек на сытых и отдохнувших лошадях вез сведения в лагерь.

В конце декабря сорок второго года нам понадобилось вызвать из Ровно и с «маяка» Жигадло всех разведчиков. В Ровно и на «маяке» находились в то время Кузнецов, Николай и Жорж Струтинские, Приходько, Гнедюк, Шевчук — в общем, человек двадцать. На «маяке» был и Коля Маленький, который не раз уже ходил в разведку вместе с бойцами.

По моим расчетам, люди должны были прибыть в лагерь на рассвете. Но прошло утро, прошел день, а разведчики не являлись. В штабе волновались. Что могло случиться с ними? Напоролись на карателей, попали в засаду?

Предположения одно мрачнее другого возникали у нас.

— Подождем до утра,— сказал я,— и, если не явятся, пошлем по их маршруту большую группу партизан.

В три часа ночи ко мне вдруг подошел дежурный по лагерю:

— Товарищ командир! Разрешите доложить: прибыл Кузнецов.

— А где же остальные? — вырвалось у меня.

Вопрос был бесцельный. Дежурный, как и все партизаны отряда, не знал, кого и откуда мы вызывали. Он даже не понял моего вопроса и был крайне удивлен, что все сидевшие со мной у костра поднялись с места. Дежурный не успел ответить, как к костру подошел Николай Иванович.

— Разрешите доложить, товарищ командир? Разведчики прибыли.

— А где же они?

— Там, за постом, охраняют пленных.

— Каких пленных?

— Мы разгромили отряд карателей.

Я отдал дежурному распоряжение принять пленных и, успокоившись, сказал Кузнецову:

— Ну, рассказывайте, Николай Иванович!

— Да уж не знаю, с чего начинать-то, Дмитрий Николаевич... Странная история! — заговорил Кузнецов. — По вашему распоряжению, все разведчики собрались на

«маяке» у Жигадло и направлялись в лагерь. Но в Ровно в последнюю минуту мне сообщили, что людвипольский гебитскомиссар собирается в отпуск. Через несколько часов на фурманках в сопровождении жандармов повезут из Людвиполя награбленное добро, а сам гебитскомиссар выедет двумя часами позже на машине и в Кастрополе с «трофеями» сядет в поезд.

Ну, вы знаете, что людвипольский гебитскомиссар был у нас на очереди. Мне не хотелось пропустить такой случай. Сообщать вам и просить разрешения было уже поздно: никакой курьер не смог бы обернуться. Я посоветовался с ребятами. Сами понимаете, как встретили это дело Приходько и Струтинский! Коля Маленький — и тот сказал, что надо спешить.

Устроили мы засаду на шоссе Людвиполь — Кастрополь. Место для засады неудобное: кое-где торчат голые кустики и ничего больше. Залегли мы у кусточков, притаились. На шоссе Гросс заложил мину, шнур засыпал землей и протянул его к кусту, где сидел Приходько.

Ждем час, другой, третий — нет ни фурманок, ни гебитскомиссара. А холод пробирает. Мы уже хотели податься домой.

Вдруг километра за три от себя мы увидели клубы черного дыма. Потом кое-где показались языки пламени, слышались пулеметные и автоматные очереди. Через час со стороны горящего села показался обоз, и к нашей засаде стали приближаться десятка два фурманок.

Представьте себе такую картину. На передней фурманке, запряженной парой лошадей, сидят четыре гестаповца — даже издали их можно было различить: черные шинели и фашистские эмблемы на фуражках и рукавах. На остальных фурманках — жандармы. Замыкает колонну сброд из гайдамаковцев. Значит, думаю, они деревню жгли.

Надо было нападать: иного решения не придумаешь. К тому же маскировка наша ненадежная, и медлить — значит дать им карты в руки.

Я жестом подал команду Приходько. Как только первые фурманки приблизились к мине, Приходько дернул за шнур. От взрыва гестаповцы вместе с обломками фурманок попадали на землю. Мы из автоматов и пулеметов резанули по колонне и бросились на карателей.

Нескольким удалось убежать. Тогда Коля Приходько и Шевчук схватили брошенные карателями винтовки и пустили их в дело. И уж кто отличился, так это Жорж. Он из своего пулемета просто косил полицейских. Много жандармов полегло. Двенадцать человек мы взяли живьем. Убитых обыскали, забрали документы. Потом ребята собрали трофеи — винтовки, автоматы, гранаты, и вот мы пришли.

Но погодите, послушайте дальше, история на том не кончилась.

По дороге я допросил пленных и вот что узнал. Каким-то образом гебитскомиссару стало известно, что на него готовят нападение. Он отложил поездку и выслал карателей. Те устроили свою засаду около села Озерцы. А мы сами сидели в засаде, в трех километрах от них. Они ждали нас, а мы — гебитскомиссара. Когда холод стал пробирать карателей, они разложили костры.

Крестьяне села Озерцы почуяли что-то недоброе и окольными путями стали пробираться в лес.

Старший гестаповец решил, что крестьяне идут в лес, чтобы предупредить партизан. Была дана команда, и каратели стали ловить перепуганных жителей, принялись жечь дома. Ни мольбы взрослых, ни слезы детей не помогали. В течение какого-нибудь часа разъяренные палачи хватали подряд жителей, убивали, бросали в горящие хаты... Сами пленные во всем признались. Можете их послушать.

Когда все было кончено, каратели спокойно отправились в Людвиполь на доклад к гебитскомиссару, ну и направились на нашу засаду.

Николай Иванович закончил свой рассказ. Наступила тишина. Все молчали. Молчал и я. Признаться, я хотел сначала пробрать и Кузнецова, и Приходько, и Струтинского за самовольные действия, но теперь не поворачивался язык.

— Да, быстрая расплата! — сказал кто-то.

И Николай Иванович понял, что совершенный им разгром карателей одобрен.

Подавая мне какую-то вещичку, он сказал:

— Дмитрий Николаевич, посмотрите эту штучку: мой личный трофей.

Я взял и принялся рассматривать небольшой жетон

из белого металла на прочной цепочке. На одной стороне по-немецки было написано: «Государственная политическая полиция» и ниже «№ 4885». На обороте был тиснут фашистский орел со свастикой.

— Эта бляха,— пояснил Кузнецов,— была у старшего гестаповца, который сейчас валяется на шоссе. Мне, пожалуй, эта штучка пригодится. У них здесь положено безоговорочно подчиняться тому, кто предъявляет такой гестаповский жетон.

Через несколько дней мы узнали, что из трехсот тридцати хат села Озерцы каратели сожгли триста двенадцать. Четыреста человек они расстреляли. Вернее, расстреливали только взрослых, а детей убивали прикладами и бросали в огонь.

Надо сказать, что партизаны в этой деревне никогда не бывали и жители ее вообще с партизанами связаны не были.

Так немцы расправились с мирными жителями села Озерцы.

ГИРЛЯНДА

При очередной встрече с Довгером и Фидаровым Виктор Васильевич Кочетков узнал, что в городе Сарны немцы освободили большой дом и спешно приступили к его оборудованию.

Комендант города, городская управа и полицейские беспрерывно сновали по городу в поисках мебели: зеркальных шкафов, никелированных кроватей, мягких кресел. Все, что им нравилось, они забирали и свозили в этот дом. «Здесь будут отдыхать наши сталинградские герои»,— говорили они любопытным.

Фидаров заинтересовался этим делом и узнал, что действительно немцы оборудуют дом отдыха для старшего и среднего офицерского состава действующей армии и что в ближайшие дни в Сарны ожидается прибытие первого эшелона.

Надо было устроить достойную встречу «героям».

Большая группа партизан — сорок два человека — во главе с моим заместителем по политчасти Стеховым заняла позиции у полотна железной дороги еще с вечера.

С неба хлопьями падал снег и тут же таял. В полночь

подул сильный, пронизывающий ветер. Всю ночь, дрожа от сырости и холода, пролежали партизаны. Один раз мимо них по полотну прошли немецкие солдаты-путьобходчики с фонарями в руках, но нашей мины они не заметили.

Ночь была уже на исходе, а состав не появлялся.

Обидно было уходить, не выполнив порученного дела, а уходить с рассветом надо было обязательно. Гитлеровцы на триста метров по обе стороны дороги вырубili деревья и кустарники, и днем эта операция могла стоить нам многих жертв.

Но вот сигнальщики, выставленные по сторонам от засады, дали знать, что с востока идет поезд. Уже по стуку вагонов было ясно, что идет порожняк. Через полчаса прошел второй состав, и тоже порожняком. Только перед паровозом было прицеплено несколько платформ, груженных балластом. Стехов понял: если два состава пустили порожняком, значит, скоро пойдет тот самый состав, который ждали.

Наконец услышали, что идет поезд. Наблюдатели просигнализировали. За паровозом уже видны были пассажирские вагоны, из окон которых бледно мерцал синий маскировочный свет.

Стехов дал команду приготовиться. Подрывник Маликов натянул шнуры от мины. Когда паровоз прошел всю линию нашей засады и дошел до Маликова, он дернул шнур; мина взорвалась, паровоз задрожал, вмиг остановился, и на глазах партизан вагоны стали громоздиться друг на друга. Потом наступила тишина, и лишь минуты через две-три из дверей вагонов стали выскакивать фашисты. Вероятно, они думали, что произошел взрыв и теперь им ничто не угрожает. Но вдруг последовал второй взрыв — взорвалась мина в хвосте поезда. За ней — еще две, в середине эшелона. Тут начался обстрел.

Первым заговорил наш крупнокалиберный пулемет, снятый с разбившегося самолета и установленный на специально сделанной двуколке. Сперва обстреляли паровоз и пулями изрешетили котел. Затем дуло пулемета ровной линией прошло по вагонам. Пулеметную стрельбу дополнил огонь из автоматов.

Минут сорок продолжался обстрел эшелона. Партизаны видели, как один офицер с искаженным от ужаса



Из дверей вагона стали выскакивать фашисты.

лицом выскочил из вагона и начал громко смеяться. Помешался от страха!

Было уже совсем светло, когда наши отошли в лес. Через два дня Кочетков доложил о результатах диверсии:

— Эшелон был тот самый. Шел из-под Сталинграда и вез в Сарны на отдых офицеров: летчиков и танкистов. Через час после отхода партизан на место диверсии прибыли немцы. Они оцепили весь район. Убитых и раненых отвозили на автомашинах и автодрезинах в Сарны, Клесово и Ракитное. Сколько убитых, точно неизвестно. Но только в Сарны привезли сорок семь трупов. Из Клесова и Ракитного нескольких убитых отправили в Германию. Видимо, важные персоны.

Произошло это 26 ноября 1942 года.

Из сводок Совинформбюро нам было известно, что 23 ноября советские войска прорвали оборону гитлеровцев под Сталинградом и окружили шестую и четвертую немецкие армии. Поэтому мы были счастливы тем, что внесли хоть крохотный вклад в дело великой битвы. Вырвавшиеся из сталинградского пекла немецкие офицеры попали в партизанскую засаду.

У нас при этой операции совсем не было потерь. Только у бойца Ермолина пуля пробила каблук, но это с Ермолиным было уж неизбежно. Удивительно, до чего пули любили его! В любой стычке, будь хоть один выстрел, пуля обязательно попадает в него, вернее — не в него, а в его одежду: то в шинель, то в фуражку, то, вот как теперь, в каблук. После каждого боя Ермолину обязательно приходилось сидеть и чинить свое обмундирование. Только один раз за все время пуля его ранила, да и то шутя — попала в палец.

Удача этой операции была не случайной. Ею руководил Сергей Трофимович Стехов, мой заместитель по политической части. Стехов любил боевые операции и тщательно к ним готовился, продумывая каждую мелочь. Наши партизаны считали за счастье идти на операцию со Стеховым.

Заслужить общую любовь партизан — дело не такое легкое, а Стехова все любили и уважали. В нем сочетались замечательные качества бесстрашного командира-большевика и хорошего товарища. Маленького роста, стремительный, всегда опрятно одетый, перетянутый

ремнями, с автоматом-маузером и полевой сумкой, он, в прошлом штатский человек, выглядел как на параде. В наших условиях жизни такая подтянутость была необходимым примером для партизан.

Сергей Трофимович всегда был среди бойцов; его обычно видели в подразделениях. Сидит, попыхивает трубочкой, которая служила ему, некурящему, защитой от мошкеры, и о чем-то разговаривает, кого-то выслушивает, кому-то дает совет.

Приближался праздник рождества. Подготовку к празднику гитлеровцы начали с обычного грабежа населения. Валя Довгер прислала нам сообщение, что в село Виры нагрянули враги, забирают последние продукты; на мельнице вытащили всю муку.

Мы решили взять крестьян под защиту. На дороге, неподалеку от села Виры, нам довелось увидеть «предпраздничную» картину.

Впереди группы немецких солдат шествует немецкий офицер в эссовской форме, в белых перчатках. Он не просто идет — он торжественно шагает. Солдаты держат ружья наготове (все-таки о партизанах они не забывают!). Позади идут четыре пары волов, запряженных в телеги. На телегах визжат кабаны, кудахчут куры и гуси. Такова «заготовка» к праздничному столу.

Когда гитлеровцы подошли, Стехов первым дал очередь из автомата. Офицер вскинул руки и упал. За Стеховым мгновенно открыли огонь остальные бойцы, и в течение нескольких минут враги были перебиты. Только двое залегли в кювет и открыли огонь.

Пока возились с ними, из Клесова на машинах к гитлеровцам подъехало подкрепление. Послышалась команда, немцы рассыпались и с ходу начали наступать на партизан. Но это Стехов предусмотрел. Метрах в трехстах от места засады в сторону Клесова он выдвинул несколько бойцов специально на тот случай, если из Клесова придет подкрепление. Поэтому не успели гитлеровцы сделать и нескольких шагов, как эта группа открыла по ним огонь. Бой длился всего минут двадцать. Награбленное фашистами было возвращено крестьянам.

Местные власти были бессильны в борьбе с нами.

Немецкий офицер, комендант местечка Моквин, писал в Берлин:

«Дорогая жена Гертруда! Положение стало очень серьезным. Кругом партизаны. Мы не показываем носа из своего дома. Никогда в жизни у меня не было таких рождественских праздников. Сажу и дрожу за свою жизнь, каждую ночь жду прихода партизан. Прислали мне жандармов — да разве десяток жандармов справится с партизанами, которым помогает все население.

Послал тебе посылочку; не знаю, дошла или нет. Пошлю двести марок и не уверен, что они дойдут до тебя. Получишь — немедленно сообщи».

Комендант сомневался не напрасно.

И посылочку, и двести марок, и это недописанное письмо перехватили партизаны. Попал к нам под самый Новый год и муж Гертруды.

Новый, 1943-й год мы отметили партизанской елкой. Во имя того чтобы в каждой советской семье новогодние елки были всегда счастливые и радостные, наша партизанская должна была быть боевой, беспощадной к врагу. В новогоднем номере газеты было помещено объявление:

«От желающих участвовать в новогодней елке требуются елочные украшения. Мы принимаем: 1. Светящиеся гирлянды из горящих фрицевских поездов. 2. Трофейные автоматы для звукового оформления. 3. Фрицев любого размера. 4. Каждый может проявить свою инициативу. Подарки сдавать до 31 декабря».

Гирлянду из горящего поезда приподнесла на «новогоднюю елку» группа подрывников во главе с Маликовым.

Сарненскими лесами, где мы находились, враги сильно интересовались. Чтобы отвлечь их внимание, мы решили взорвать поезд с западной стороны города Ровно, на железной дороге Ковель — Ровно.

Маликов, инженер по специальности, с двенадцатью бойцами взяли крупные мины и отправились к намеченному месту. Они расположились поблизости от полотна железной дороги и с наступлением темноты подползли к будке стрелочника.

Старик стрелочник охотно рассказал, что поезда здесь ходят часто и сильно груженые: в сторону фронта — с войсками и вооружением, на запад — с ранеными, обмо-

роженными и награбленным имуществом. Поняв, что наши хотят сделать, старик сказал:

— Мне уж ладно, только вот как быть с народом? Ведь их постреляют!

Оказалось, что для охраны железной дороги немцы мобилизовали крестьян из ближайших деревень и предупредили, что, если будет совершена диверсия, их расстреляют. Сторожевые посты из крестьян стояли метрах в пятидесяти друг от друга.

— Мы сами с ними посоветуемся, — сказал Маликов

Разговор с крестьянами сразу пошел по душам. Крестьяне и не подумали отговаривать наших, нет, обсуждали только, как произвести взрыв и уберечь их от беды. Одна пожилая крестьянка предложила:

— А вы нас, ребята, вяжите и делайте свое дело Рты, что ли, заткните, ударьте, что ли, чтоб синячок по заметней был.

— Ну, уж бить-то вас нам не хочется!

— Тогда мы сами малость поколотим друг друга, — ответила та же крестьянка.

И смех и горе! Пока наши закладывали мины, «сторожа» тузили друг друга. Потом партизаны их связали и положили около костра. Скоро появился поезд. Взрыв состава, груженного оружием, боеприпасами и другими военными материалами, был произведен блестяще. Паровоз стал на попа. Шестьдесят вагонов разбились и сгорели!

Это был наш елочный подарок стране!

НАША «СТОЛИЦА»

В январе ударили двадцатиградусные морозы. Наши чумы — так мы называли свои лесные шалаши — оказались совсем не приспособленными для зимы. Часто меняя место лагеря, мы не могли устраивать теплые землянки, а ограничивались постройкой чумов из тонких жердей, обложенных еловыми ветками и засыпанных землей. Вместо дверей навешивали плащ-палатки. В середине крыши чума оставляли большую дыру для выхода дыма. Костер горел в самом чуме, а вокруг него веером укладывались спать партизаны: ноги — к костру, головы — под

своды чума. От костра ногам жарко, а там, где голова,— мороз. Бывало так: проснется человек, хочет встать, а головы поднять не может — волосы примерзли. Ночью то один, то другой вскочит от холода, потопчется у костра, чтобы согреться, и, съезжившись, снова ложится. А тут еще другая беда навалилась. По законам физики, дым из чума должен был выходить в верхнюю дыру, но у нас дым вверх не выходил, а стлался по чуму, выедавая глаза. Вероятно, мы неправильно строили свои шалаши.

Словом, бед было много, и мы приняли решение на время крепких морозов расквартироваться в селе Рудня-Бобровская. Село было надежное. Там уж давно стоял наш «маяк», который из местной молодежи организовал оборону от немцев и полицейских.

19 января отряд снялся с места и направился в Рудню-Бобровскую.

Приняли нас как желанных гостей. Большая толпа крестьян встретила отряд около села и вместе с нашей колонной направилась к центру. Ребятишки забежали вперед и с палками вместо винтовок шагали около меня и Стехова.

На площади нас ожидали жители села. На здании сельсовета были вывешены портреты руководителей партии и правительства. Народ ждал и верил в приход Красной Армии и сберег эти портреты.

Около стола, покрытого красной материей, с подносом в руках стоял пожилой крестьянин. На подносе были хлеб-соль.

Когда колонна подошла и остановилась, крестьянин вышел нам навстречу.

— Хлеб да соль вам, дорогие гости! — сказал он. — Милости просим, располагайтесь у нас как у себя дома. Мы вас накормим и обогреем. Ваш отряд мы хорошо знаем и уважаем. Вы нас не обижаете и в обиду немцам и бандитам не даете. Ну, а ежели теперь придется драться с заклятыми врагами, будем драться вместе.

Крестьянин кончил говорить и передал хлеб-соль Стехову. Стехов взял поднос в руки и сказал ответную речь, простую и короткую.

Я дал команду — строй разошелся. Партизаны вмиг смешались с крестьянами. И такие задушевные начались разговоры, будто встретились старые, давние друзья!

Село Рудню-Бобровскую мы в шутку называли своей «столицей». Здесь был центр нашего отряда, а вокруг нас по крупным селам Сарненского, Ракитянского, Березнянского и Людвипольского районов стояли наши «маяки». По сути дела, мы были во всей этой округе представителями Советской власти.

Под контроль отряда были взяты все молочарни, работавшие на гитлеровцев, и они оттуда ничего уже не могли взять. «Оседлали» Михалинский лесопильный завод, посадили там своего коменданта и лесоматериалы выдавали только нуждающимся крестьянам. Мы громили немецкие фольварки уже на западном берегу рек Случ и Горынь. На нашей стороне они были разгромлены. Многие районы стали полностью нашими, партизанскими.

Из Ровно, из районных центров, с железнодорожных станций — отовсюду к нам, в «столицу», стекались важные сведения и тут же передавались в Москву.

В пятидесяти километрах на юг от Рудни-Бобровской организовали «оперативный маяк» во главе с Фроловым. Там продолжалось формирование местных вооруженных отрядов, которые вместе с нашими группами выполняли боевые задания.

Наша «столица» хорошо охранялась. Вокруг села были расставлены посты. Вместе с нашими бойцами на постах стояли местные жители из молодежи. Они ходили и с патрулями по селу. Это было очень надежно: местные люди сразу же распознавали чужаков.

Прямо у села мы наладили прием самолетов.

Почти каждую ночь Москва, как заботливая мать, посылала нам подарки. В воздухе раскрывались огромные парашюты, и у самых костров падали тюки в мягкой упаковке — с обмундированием, теплой одеждой, питанием, папиросами.

С нашим приходом население воспрянуло. От нас крестьяне узнавали о положении на фронтах.

В Сталинграде в эти дни немецко-фашистские армии были окружены железным кольцом наших войск. Окончательное уничтожение трехсоттысячной армии немцев было только вопросом времени. В январе войска Ленинградского фронта прорвали блокаду Ленинграда. На Северном Кавказе также шло стремительное наступление Красной Армии.

Отношения у партизан с местным населением установились хорошие. Каждый боец в свободное время помогал хозяевам дома, где он жил.

В нашем отряде было твердое правило: не только не доставать самим спиртных напитков, но и не выпивать, если кто-нибудь станет угощать. Бывало так. Придет партизан с задания, хозяйка поставит на стол еду, раздобудет самогон и угощает:

— Закуси и выпей. Прозяб небось?

— Покушать можно, спасибо, а пить — не пьем.

— Что же так? С дороги полезно.

— Нет, пить не буду, не полагается.

Только один партизан нарушил это правило, и последствия были очень тяжелые.

На «маяке» Жигадло часто и подолгу бывал боец Косульников. В наш отряд он вступил с группой, бежавшей из плена. Маликов, который возглавлял «маяк», сообщил, что Косульников систематически нарушает партизанские законы: ежедневно достает самогон и напивается допьяна. Больше того, стал воровать у товарищей продукты и вещи для обмена на самогон. Наконец стало известно, что Косульников связался с подозрительной семьей и выболтал, что он партизан.

Было ясно, что этот негодяй подвергает смертельной опасности не только партизан, которые бывали на хуторе у Жигадло, но и семью самого Жигадло. Штаб принял решение немедленно вызвать с «маяка» и из Ровно всех наших людей, а Косульникова арестовать.

На той самой площади, где нас с хлебом-солью встречали жители, снова построился весь отряд. Вокруг от мала до велика стояли жители Рудни-Бобровской. Когда Косульникова привели на площадь, я обратился с краткой речью к партизанам.

— Однажды, — сказал я, — он уже изменил своей Родине. Нарушая присягу, он сдался в плен врагу. Теперь, когда ему была предоставлена возможность искупить вину, он нарушил наши порядки, опозорил звание советского партизана и дошел до предательства. Он совершил поступок во вред нашей борьбе, на пользу гитлеровцам. Командование отряда приняло решение расстрелять Косульникова.

И Косульников был расстрелян.

К началу 1943 года в наших районах сосредоточилось большое количество партизан. Из партизанского соединения Героя Советского Союза генерала Сабурова прибыли два батальона. Недалеко, в Вороновке, стоял отряд подполковника Прокопюка; здесь же действовало еще несколько разведывательно-диверсионных групп.

Такое скопление партизан беспокоило немцев. Находившийся в Ровно Николай Иванович Кузнецов сообщил, что Эрих Кох, гитлеровский наместник на Украине, приказал «очистить» Сарненские леса от партизан. Выполняя приказ Коха, шеф ровенской полиции Питц собрал в Ровно две тысячи эсэсовцев, прибавил к ним бандитов-националистов и расставил свои гарнизоны по районным центрам вокруг нас.

Мы приняли контрмеры. Через местных жителей распространили слух, что сами собираемся напасть на районные центры. Слухи дошли до гитлеровцев, и, вместо того чтобы наступать, они стали готовиться к обороне. В помещениях, где они расквартировались, двери были обиты толстым железом. На окнах из такого же железа были сделаны ставни с амбразурами для пулеметов. Дома окружили проволочными заграждениями, вырыли траншеи, ходы сообщения. А мы, сковав их хитростью, вели пока свою работу.

В конце января Кузнецов вновь сообщил из Ровно, что гитлеровцы готовят крупную карательную экспедицию. Вызваны войсковые части из Житомира и Киева. Наступление готовится с нескольких сторон.

Тогда с помощью населения мы устроили лесные завалы на всех дорогах вокруг сел, где находились наши «маяки», и вокруг Рудни-Бобровской.

Каратели двинулись к Рудне-Бобровской с четырех сторон, но ждать их мы не стали. Конечно, мы могли нанести им большой ущерб, но нельзя было рисковать людьми и подвергать опасности жителей села.

Из Рудни-Бобровской мы ушли. Ушла вместе с нами и большая часть жителей. Они перенесли свои пожитки в лес, пригнали скот и устроили свой «гражданский» лагерь.

Кольцо вокруг Рудни-Бобровской сжималось, и скоро каратели сомкнули его. Но нас там уже не было. Каратели пошли по нашим следам, пытались окружить нас в

других селах и хуторах, но мы ускользали из этих ловушек. Так началась наша игра с немцами в «кошки-мышки». Каратели натыкались на лесные завалы, обстреливали их ураганным огнем, думали, что мы сидим за этими завалами, врывались в них и натыкались на партизанские мины. По этой стрельбе и взрывам мы точно знали, где немцы, а они шли как с завязанными глазами.

На север, в большие лесные массивы, ушли два батальона сабуровского соединения и отряд Прокопюка, а мы кружили по хуторам, продолжая «игру», не шутки ради, конечно: нас держала здесь работа. В этих районах всюду были наши люди, в селах — «маяки». Из Ровно от Кузнецова то и дело шли связные. Бросать налаженную работу мы, конечно, не могли.

Время от времени наши связные и разведчики сталкивались с карателями и после небольших перестрелок уходили. Но одна крупная стычка все же произошла.

Как-то три дня не было связных от «оперативного маяка» Фролова. Предполагая, что Фролову грозит опасность, я направил ему в помощь шестьдесят пять бойцов. По дороге они неожиданно наткнулись на карателей и открыли огонь. Но в самом начале боя гитлеровцы неожиданно прекратили огонь и поспешно отступили. Наши удивились, но преследовать не стали. Лишь на следующий день мы узнали, почему так произошло. То была не простая колонна карателей. Из Вороновки в Рудню-Бобровскую ехал командир карательной экспедиции, немецкий генерал, в сопровождении сотни телохранителей. Чуть ли не первыми пулями генерал и его адъютант были убиты. Обескураженные таким оборотом дела, немцы прекратили бой и поспешили увезти тело своего командира.

Вдоволь повоевав с лесными завалами, карательная экспедиция ушла по направлению к Житомиру. А в начале февраля мы снова обосновались в лесу, в одном из своих старых лагерей, недалеко от той же Рудни-Бобровской. И в это время по радио мы приняли необычайное сообщение: отборные немецкие армии в Сталинграде полностью разгромлены!

Скоро до нас дошел слух, что немцы объявили траур. По приказу оккупантов, в течение трех дней запрещались всякие зрелища. Немцы должны были на левом

рукаве одежды носить черные повязки, а немки — надевать темную одежду. Темную одежду было приказано также носить и населению. Но немцы не оповестили население, по какому поводу объявлен траур. Начали распространяться слухи, что умер Гитлер.

— Слава тебе господи, что убрал ирода! — говорили крестьяне.

Не знали и мы, по какому поводу объявлен траур, пока не возвратился из Ровно Кузнецов. Оказывается, траур был по случаю разгрома под Сталинградом гитлеровской трехсоттысячной армии.

Николай Иванович рассказал нам много интересного. За последнее время через Ровно и Здолбуново необычайно усилились транспортные перевозки. Железные и шоссейные дороги забиты войсками. Рейхскомиссар Украины Эрих Кох издал приказ о «чрезвычайных мерах» в отношении районов, не платящих натуральный и денежный налоги. Приказано было также «решительно» расправиться с партизанами.

ПОДВИГ

Наши разведчики не появлялись больше на «маяке» Вацлава Жигадло. Мы опасались, что болтливость Косульникова могла навести гитлеровцев на наш след. Самого Жигадло предупредили, что временно к нему никто являться не будет.

Но «маяк» между Ровно и лагерем был необходим, поэтому решено было организовать новый секретный «маяк» на другом хуторе, вблизи лесного массива, чтобы в случае опасности легко было укрыться.

Новый «маяк» находился в тридцати километрах от Ровно. На «маяке» было двадцать пять отборных бойцов и с ними несколько пар хороших лошадей с упряжками. Специально для Кузнецова имелись ковровые сани, на которых он отправлялся в Ровно.

Когда Кузнецов находился в Ровно, связь между ним и «маяком» поддерживал Коля Приходько. На фурманке, велосипеде или пешком он доставлял пакеты от Кузнецова на «маяк», и, пока другой курьер добирался до лагеря и обратно, Приходько отдыхал, а потом уже с

пакетом от меня он вновь отправлялся к Кузнецову. Порой ему приходилось совершать эти рейсы по два раза в день, и все сходило благополучно. Появление его в Ровно ни у кого не вызывало подозрений. Несколько раз вражеские посты проверяли у него документы и оставались ими вполне удовлетворены.

Но мы знали характер Коли Приходько. Он не мог спокойно пройти мимо гитлеровца или полицейского, и, хоть обычно он скрывал свои приключения, кое-что становилось известным.

Однажды Приходько ехал из Ровно на фурманке. При выезде из города он заметил, что позади фурманки идут двое полицейских и, как ему показалось, следят за ним. Вместо того чтобы погнать лошадей и уехать подобра-поздорову, Приходько нарочно поехал шагом. Полицейские шли следом.

Впереди показался мост через реку Горынь. За полкилометра от моста Приходько остановился и стал подтягивать подпругу, хотя упряжь была в полном порядке.

Когда полицейские подошли к повозке, Приходько сказал им:

— Садитесь, подвезу.

Те залезли на повозку, винтовки положили рядом.

— Что, хлопцы, в полициях служите? — спросил он.

— Служим.

— Куда едете?

— Народ собираем в Германию. Тут вот с одного хутора брать будем. Добром не хотят, — объяснил полицай.

— Несознательный народ! — посочувствовал ему Приходько.

В это время повозка уже въехала на мост.

— И правда бестолковый народ. Вот погляжу я на тебя, — обращаясь к Приходько, продолжал полицейский, — хлопец ты здоровый, сильный. Ну, чего тебе тут делать? Иди добровольно. Там, брат, разживешься, баарином домой вернешься. Ты женат?

Фурманка в этот момент доехала до середины моста.

Ответа на свой вопрос полицейский не дождался.

— Руки в гору, гады! — крикнул Приходько, вытаскивая пистолет. От испуга они покорно подняли руки.

— Геть с повозки, продажные твари! — скомандовал Приходько.

Но когда полицейские, пятась с поднятыми руками, сошли с фурманки, последовал новый приказ:

— В воду, гады!

Дело это, надо сказать, происходило глубокой осенью. Река вздулась, вода шла под самым настилом моста.

— Прыгай, говорю вам, иначе постреляю! — не отставал Приходько.

Пришлось обоим полицейским под револьверным дулом прыгнуть вниз.

Уже в воде, желая спастись, они хватались друг за друга, топили один другого, пока оба не пошли ко дну.

Винтовки полицейских остались на фурманке. Ну, а по нашим правилам, трофеи скрыть никак нельзя было, и пришлось Приходько самому рассказать эту историю.

Долго объясняли мы ему в штабе, что так нельзя. Не имеет он права рисковать порученным делом. Сведения, которые он доставляет из Ровно и которые мы передаем в Москву, дороже полицейских.

— Все понимаю, товарищ командир, но вот подвернется подходящий случай — не могу сдержаться, — оправдывался Коля и все же дал честное слово больше так не поступать: — Умру, но не подведу.

— Умирать незачем. Лучше будь поосторожней.

И надо сказать, слово свое Коля Приходько сдержал. Много раз потом он ездил с «маяка» в Ровно и обратно и всегда своевременно доставлял сведения. Связь действовала безотказно. 21 февраля я передал курьеру с «маяка» пакет для Кузнецова:

— Вы повезете важный пакет. Если он попадет к врагу, мы потеряем лучших наших товарищей. И Приходько это передайте.

Утром 22 февраля этот пакет был вручен Приходько, и он направился с ним в Ровно.

Кузнецов ждал весь день, но Приходько не было. Не явился он и утром следующего дня. А к двенадцати часам дня по городу пошли слухи. Одни говорили, что у села Великий Житень какой-то украинец перебил «богато нимаков» и сам был убит. Другие рассказывали, что какой-то партизан из леса всю ночь держал бой с карателями и перебил их видимо-невидимо. И все утверждали, что бой вел один человек.

Кузнецов сразу понял, что молва идет о Приходько.

Именно в это время и в этом месте он должен был прорваться. Да и кто же, как не наш богатырь Приходько, мог в одиночку сразиться с целой сворой немцев!

Николай Иванович хорошо знал Приходько. Они подружились еще в Москве. Вместе прилетели в отряд, вместе участвовали в боевых операциях. Кузнецов ни на минуту не сомневался, что, если Приходько и попадет в руки врагов, он ни под какими пытками не выдаст товарищей. Но вот вопрос: если он погиб, успел ли он перед смертью уничтожить пакет, которого Кузнецов так ждал?

Приняв все меры предосторожности, Николай Иванович послал в село Великий Житень Казимира Домбровского, у которого там были родственники.

Со слов очевидцев Домбровский и рассказал нам подробности гибели Николая Приходько.

Как обычно, Николай ехал на фурманке. У села Великий Житень его остановил пикет — около двадцати жандармов и полицейских.

Приходько остановился и предъявил документ, по которому значилось, что он местный житель. Этот документ не раз проверялся и теперь как будто не вызывал сомнений. Но гитлеровцы решили обыскать фурманку.

Этого Приходько не мог допустить. На фурманке под сеном, как всегда, были запрятаны автомат и несколько противотанковых гранат.

— Да чего тут смотреть-то? — пробовал возразить Николай.

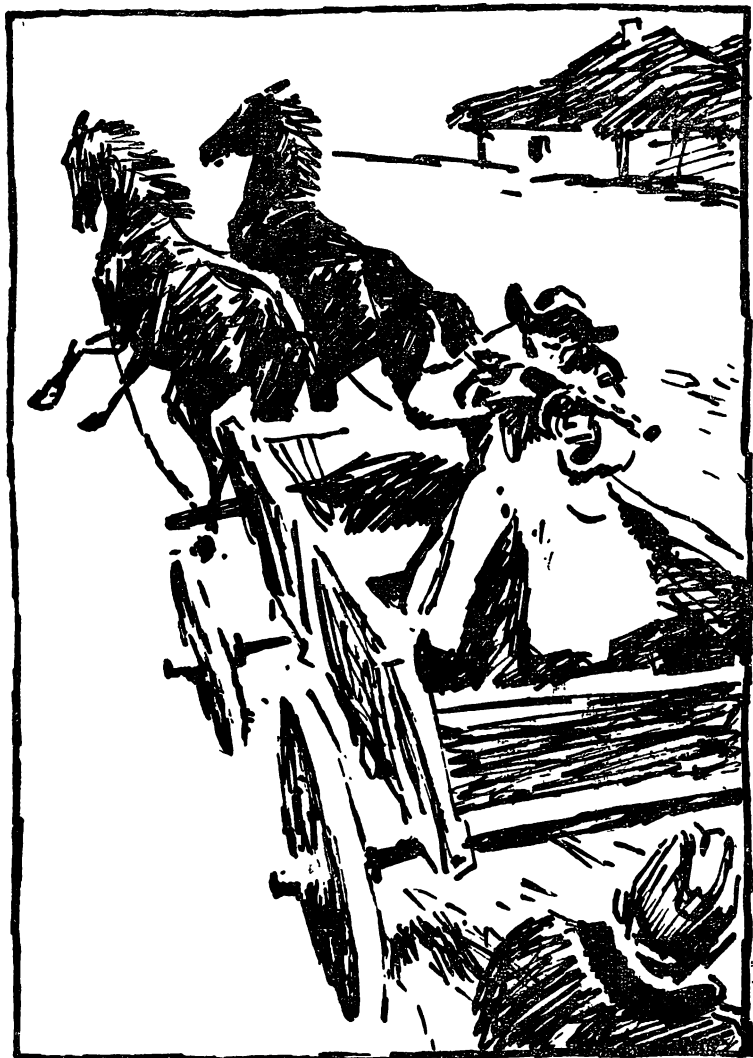
— Не твоё дело. Надо.

Тогда Приходько выхватил из фурманки автомат и дал большую очередь по жандармам. Нескольких уложил на месте, остальные отбежали за угол дома и открыли стрельбу.

Отстреливаясь, он вскочил на фурманку и погнал лошадей. Тут его настигла пуля. Тяжело раненный в грудь, он продолжал путь в сторону Ровно.

Но уже на окраине села он неожиданно наткнулся на грузовую машину с гитлеровцами. Те, видимо, что-то поняли и открыли автоматный и пулеметный огонь. Раненный второй раз, Приходько и не думал сдаваться. Соскочив с фурманки в придорожную канаву, он продолжал стрелять.

Неравный бой длился долго.



Отстреливаясь, он вскочил на фурманку и погнал лошадей.

Приходько еще раз был ранен. Уже истекая кровью, чувствуя, что силы его оставляют, он привязал секретный пакет к гранате и слабеющей рукой метнул ее во врагов.

Когда оставшиеся в живых гитлеровцы окружили Николая, он был уже мертв. Но умер он не от немецкой пули. Выстрел себе в висок был последним выстрелом нашего партизана-богатыря.

Излишне говорить, как встретили у нас весть о гибели Коли Приходько. Ведь еще при жизни он был окружен у нас нежной, братской любовью, и о храбрости его партизаны рассказывали легенды.

Советское правительство высоко оценило патриотический подвиг нашего товарища. Ему посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а подразделение разведки, бойцом которого он был, стало носить имя Героя Советского Союза Николая Тарасовича Приходько.

НА СТАНЦИИ ЗДОЛБУНОВО

Весть о гибели Николая Приходько глубоко взволновала не только партизан нашего отряда. В диверсионной группе на станции Здолбуново были товарищи, знавшие Приходько с детства. Ведь он родился и до войны жил на этой станции. Смерть его для здолбуновцев также была тяжелой утратой.

Еще в первое свое посещение Ровно Приходько побывал на станции Здолбуново, встретил старых знакомых — Дмитрия Михайловича Красноголовца и двух братьев Шмерег. Поговорив с Николаем, они охотно согласились помогать нам. Приходько познакомил Красноголовца с Кузнецовым и Струтинским. Позже наши разведчики Шевчук и Гнедюк стали частенько посещать станцию.

Еще до гибели Приходько, примерно в конце декабря 1942 года, в Здолбуново была сколочена разведывательно-диверсионная организация. Возглавлял ее Дмитрий Михайлович Красноголовец.

Станция Здолбуново — крупный железнодорожный узел. Она связывала Германию с Восточным фронтом. Через Здолбуново шли военные составы из Чехословакии,

Германии и Польши и обратно с фронта. По двум колеям за день проходило огромное количество эшелонов.

Можно себе представить, насколько важна была разведывательная и диверсионная работа на этой станции, и мы принимали все меры к тому, чтобы диверсионная группа Красноголовца была как можно тщательнее законспирирована. К марту — апрелю 1943 года она насчитывала уже до двадцати членов и охватывала важнейшие участки работы железнодорожного узла.

В здолбуновской группе были рабочие станции и депо, стрелочники, кондукторы, машинисты, диспетчеры.

Для связи с нашим отрядом здолбуновцы выделили специальных курьеров. Один из них, бывший учитель Иванов, при немцах стал чернорабочим на станции. Пользуясь своим удостоверением и так называемой «провизионкой», которая давала ему право свободно ездить по железной дороге, Иванов регулярно приезжал к нам в лагерь.

Свою незаметную, но очень важную для нас работу учитель Иванов выполнял с необычайной стойкостью. Расскажу один случай. Как-то в холодный зимний день я заметил, что Иванов, только что прибывший в лагерь, все жмет к костру, дрожа от холода. Я подошел к нему и увидел, что пиджак его был надет на голое тело. Тихий, скромный человек, он не щадил своего здоровья ради выполнения задания. После этого случая мы, конечно, побеспокоились об одежде для нашего здолбуновского связного.

Сведения, которые присылала нам здолбуновская организация, были чрезвычайно важными. Они полностью отражали работу узла: откуда и куда проходили поезда и с каким грузом. Если ехали войска, то сообщалось их количество, род, иногда и наименование части; если техника, то какая и в каком количестве.

По данным здолбуновской группы, мы своевременно узнали, что немецкое командование, обеспокоенное положением на фронте, стало организовывать оборону в районах Белой Церкви и Винницы, где была ставка Гитлера. Именно в эти районы из-под Ленинграда начали прибывать немецкие войсковые части.

Через Здолбуново в район Белой Церкви ежедневно поступало по пятнадцати вагонов цемента, готовые же-

лезобетонные колпаки с амбразурами для пулеметов, вооружение.

Все эти сведения регулярно, каждые пять дней, передавались по радио в Москву.

Помимо разведки, здолбуновская организация занималась и диверсиями. Началось с небольшого: подпольщики развинчивали рельсы, срезали шланги тормозов у вагонов и паровозов. Позже из тола, который мы им посылали, здолбуновцы наловчились делать мины. Возьмут кусок тола и заложат туда взрыватель. Комок тола покроют клеем или дегтем и обваляют в угольной пыли. Получался кусок угля. Этот «уголек» они забрасывали в паровозный тендер с углем. Где-то в пути «уголек» попадал в топку и взрывался, разнося вдребезги паровозный котел.

Через Иванова мы переслали в Здолбуново пятьдесят магнитных мин замедленного действия. Эти портативные мины, которые свободно можно было переносить, прилипают к любой железной вещи. В мины вставлялся взрыватель с часовым механизмом, рассчитанный на три, шесть, двенадцать и более часов.

Магнитные мины использовались с большим эффектом. Установят мину, к примеру, под котлом паровоза и пустят механизм. Поезд отправляется, а в пути, где-то за триста—четыреста километров восточнее Здолбуново, паровоз взрывается. Ищи виновного!

Потом додумались ставить магнитные мины под цистернами с горючим. От взрыва сгорали целые составы.

Огромный ущерб причиняла немцам здолбуновская группа. Учесть убытки гитлеровцев попросту невозможно было. Не просить же немцев вести счет всем крупным и мелким авариям на железнодорожном узле, которые были делом рук наших храбрых подпольщиков-патриотов!

В паровозном депо на станции Здолбуново подпольщики сумели в течение трех месяцев под разными предлогами задержать и не выпустить на линию семьдесят паровозов: одно ремонтировали, другое портили. Это само по себе являлось крупнейшей диверсией. Но самым интересным делом здолбуновской подпольной группы был взрыв большого двухколейного железнодорожного моста через реку Горынь, на дороге Здолбуново—Киев. По этому мосту каждые десять—пятнадцать минут проходи-

ли эшелоны к линии фронта и обратно. Если к станции Здолбуново поезда подходили с четырех сторон, то из Здолбуново на восток они шли только по этому двухколейному мосту. Охрана моста была исключительно сильной. На подходах с обеих сторон стояли часовые; по углам моста были установлены пулеметные гнезда. Все пространство вокруг просматривалось.

Мы знали, что некоторые партизанские группы пытались взорвать этот мост, но дело кончалось провалом и жертвами. Все же штаб нашего отряда решил провести эту диверсию.

С некоторых пор наш разведчик Коля Гнедюк плотно засел в Здолбуново. Он-то и разработал план взрыва моста через Горынь.

После долгих поисков был найден поездной кондуктор, поляк по национальности, который ездил на воинских эшелонах у тормозов. Когда поезд шел с горы, он тормозил, когда поднимался в гору — тормоза отпускал. Его обязанностью было давать сигналы машинисту в случае опасности. Кондуктор пользовался полным доверием немцев. Он был оформлен по документам как «фольксдейч», то есть человек немецкого происхождения.

Для взрыва моста была подготовлена большая чемоданная мина со взрывателем гранаты «Ф-1».

В очередную поездку кондуктор сел на свое место у тормозов с нашим чемоданом. Когда состав въехал на мост, он выдернул чеку из мины и на самой середине моста столкнул чемодан именно на ту колею, по которой шли поезда в сторону фронта. Через несколько секунд раздался взрыв; средняя ферма моста рухнула. В образовавшийся провал полетели вагоны.

Взрыв моста наблюдали наши разведчики из засады, устроенной за километр от моста.

Недели три после этого немцы восстанавливали горьинский мост.

Операция была проделана удачно и умело: ни один из подпольщиков-здолбуновцев немцами разоблачен не был.

Надо сказать, что по мере развертывания нашей деятельности у радистов прибавилось работы. Раньше с Москвой связывался только один радист и только раз в

день. Теперь же у нас было столько сообщений из Ровно, Сарн, Здолбуново и других мест, что приходилось работать с Москвой одновременно двум и трем радистам.

Из лагеря могла действовать одна радиостанция. Другим радистам, чтобы не мешать, приходилось уходить на расстояние не менее пяти километров.

Наши радисты составляли небольшой, но крепко спаянный, дружный коллектив. У них были свои законы: постоянно держать аппаратуру в порядке; быть готовыми в любую минуту свернуть рацию, взять ее на плечи и уйти; свято хранить секретные шифры; повседневно тренироваться в работе на ключе, в приеме на слух.

Случилось так, что в самые напряженные дни, когда радисты передавали сведения здолбуновской группы, Николай Иванович прислал из Ровно тревожное сообщение: гестаповцы направили в район Сарненских лесов три автомашины с пеленгационными установками, а в Березно Сарпы и Ракитное посланы карательные экспедиции.

Теперь немцы могли точно установить местонахождение наших радиостанций и, следовательно, отряда. Цель посылки пеленгаторов и карательных экспедиций в наши районы была ясна: засечь радиостанции, окружить отряд и ликвидировать его.

Сведения Николая Ивановича подтвердились. На следующий день после получения его письма разведчики сообщили, что в село Михалин прибыла какая-то машина под большой охраной немцев. С рассветом машина выезжала за село, и на расстоянии двух километров к ней никого не подпускали. Кроме того, немцы группами ходили по лесным дорогам с аппаратами и наушниками.

Как быть? Связь с Москвой прекращать нельзя, а продолжать работу — значит выдать место лагеря. Выход нашли сами радисты.

— Товарищ командир! — сказала мне Лида Шерстнева. — Мы с ребятами подумали и решили вот что. Сегодня же ночью мы можем уйти от лагеря километров за двадцать — двадцать пять, и все в разных направлениях. Поработаем, свернем рации — и обратно в лагерь. На завтра пойдем работать на новые места. Пусть гитлеровцы нас засекают!

Так и сделали.

Несколько суток подряд радисты, сопровождаемые

группами бойцов, уходили в разные стороны, кочевали с места на место и не только продолжали работу с Москвой по расписанию, но и назначали новые дни и часы для радиосвязи.

«Кочующие» радиcы выручили нас. Немецкие пеленгаторы сбились с ног. Они засекали работу партизанских радиостанций то в одном, то в другом, прямопротивоположном направлении. Каратели окружали и обстреливали уже опустевшие места.

Конец этой хитрости был положен нами самими. Мы устроили засаду на фашистских пеленгаторов. Правда, захватить пеленгационные установки не удалось, но, напуганные партизанами, фашисты прекратили свои облавы на радиостанции.

МАРФА ИЛЬИНИЧНА

Марфа Ильинична Струтинская пришла в штабной чум. Я очень удивился. Что заставило ее преодолеть свою застенчивость и явиться ко мне? До сих пор все ее просьбы передавал Владимир Степанович.

В чуме горел костер; вокруг него лежали бревна — они служили нам сиденьем. Я указал на бревно:

— Садитесь, Марфа Ильинична!

Она степенно уселась и объяснила:

— Я к вам ненадолго, по делу. Хочу просить вас, чтобы меня послали в Луцк.

В это время мы готовили большую группу партизан для посылки в район Луцка. Надо было выяснить обстановку в городе, узнать, какие там немецкие учреждения, какой гарнизон, какие штабы и на случай перехода отряда разведать леса в этом районе. Задача была сложной. Мы стояли от Луцка в двухстах километрах, и путь только в один конец должен был занять не меньше пяти дней. Но дело не только во времени и расстоянии. На каждом шагу можно было нарваться на немцев.

Людей в эту группу мы подбирали очень тщательно. Предпочтение отдавали тем, кто хорошо знал город. Одним из первых вызвались Ядзя, племянница Струтинских, и Ростислав Струтинский. От них-то, видимо, Марфа Ильинична обо всем и узнала.

— Марфа Ильинична,— ответил я,— вам идти в Луцк не следует: сил не хватит. Вы и здесь приносите большую пользу.

— Ну, какая польза от моей работы! Варить и стирать всякий может. А насчет сил моих, пожалуйста, не беспокойтесь: я крепкая и пользу принесу больше молодого. В Луцке у меня есть родственники, знакомые: через них все, что надо, узнаю, с кем хотите договарюсь.

— Ну, а как же маленькие? — Я имел в виду младших детей Марфы Ильиничны — Васю и Славу.

— За ними Катя присмотрит.

— Ведь опасное это дело.

— Бог милостив. Ну кто подумает, что я партизанка!

С чувством большого уважения посмотрел я на Марфу Ильиничну, на ее доброе лицо и невольно подумал: «Сколько силы и благородства в этой советской женщине!»

— Хорошо,— ответил я,— посоветуюсь с товарищами.

Боясь, что будет отказ, она прислала ко мне мужа — Владимира Степановича. Но я все же не решался.

Через несколько дней Цессарский сказал мне, что Марфа Ильинична простудилась и ей сильно нездоровится. Я решил воспользоваться этим и поручил Фролову, который был назначен командиром группы, передать Марфе Ильиничне, что в Луцк ее не пошлем.

Не успел Фролов возвратиться, как со слезами на глазах прибежала сама Марфа Ильинична:

— Да я только малость простыла. Завтра пройдет.

И она принялась так упрашивать, что я в конце концов согласился.

В середине февраля шестьдесят пять наших партизан ушли по направлению к Луцку.

Владимир Степанович вместе с младшими детьми провожал жену далеко за лагерь.

Прошло две недели. За это время мы получили сведения, что группа благополучно прошла в район Луцка и удачно ведет там работу. Расположились они в лесу, в двадцати пяти километрах от Луцка, а разведчиков посылают в самый город.

В те дни гестапо начало большой поход против партизан. Во всех районах появились карательные экспедиции, усиленно вооружались полицейские.

Я забеспокоился и, опасаясь, что все дороги будут перекрыты, передал Фролову приказ: вместе со всеми людьми немедленно возвращаться в лагерь. Фролов вернулся, но вести принес неутешительные.

Неподалеку от переправы через реку Случь, на опушке леса, они натолкнулись на засаду. Лишь несколько минут длился бой. Гитлеровцы, не ожидавшие отпора, как-то сразу рассеялись, оставив в лесу убитых и раненых. Но и в группе Фролова было убито шесть человек.

Расстроил меня Фролов и другим сообщением: оказывается, Марфа Ильинична, Ядзя, Ростислав и еще пять бойцов остались под Луцком.

Марфа Ильинична с Ядзей два раза ходили в город, связались с полезными для нас людьми и познакомили их с Фроловым. Один из них, инженер со станции Луцк, сообщил ценные сведения, в частности о том, что немцы разгрузили на станции несколько вагонов химических снарядов и авиационных бомб и намерены опробовать их на партизанах и мирных жителях. Этот инженер обещал достать подробный план города с указанием всех немецких объектов: штабов, учреждений, складов боеприпасов и химических снарядов. Марфа Ильинична должна была снова пойти в Луцк за этим планом. Но тут как раз был получен мой приказ о возвращении.

Марфа Ильинична ни за что не хотела уходить без этого документа:

— Да как же я брошу такое дело! Небось этот план в Москву отошлют... Вы оставьте мне Ядзю и Ростика, с ними я и вернусь...

Она вновь настояла на своем. Пришлось Фролову оставить ее, Ядзю и еще шестерых бойцов, в том числе и Ростика Струтинского, для охраны на обратном пути.

Как только Фролов закончил свой рассказ, я пошел к старику Струтинскому. Он уже все знал и сидел в землянке расстроенный, хмурый.

— Ну, как дела, Владимир Степанович? — спросил я.

— Ничего дела, — сдавленным голосом ответил он. Потом, помолчав, добавил: — Да чего там, скучаю по своей старухе!

Я попытался его успокоить:

— Владимир Степанович, вернется Марфа Ильинична. Там же остался Ростислав, он не даст мать в обиду.

— Он-то в обиду не даст, но может так получиться, что и его обидят... Ну, ничего не поделаешь, война.

Через несколько дней пришли в лагерь Ядзя, Ростик и два партизана.

Старик перехватил их раньше всех. Он молча выслушал Ядзю и Ростика и, не проронив ни слова, скрылся в своем шалаше.

Ядзя тут же пришла ко мне. Она вытащила из потайного кармана пакет:

— Вот, тетя Марфа велела передать,— и, заливаясь слезами, рассказала мне все, как было.

Они с Марфой Ильиничной пошли в Луцк на условленную встречу, получили от инженера пакет и вернулись в лес, где их ждали партизаны. Документ Марфа Ильинична вшила в воротник своего пальто. Всей группой отправились домой, к своему отряду.

Днем отдыхали в хуторах и селах, ночью шли. В хуторе Вырок хату, где они отдыхали, окружили полицейские — не меньше сорока человек.

Ростик и его товарищи предложили матери и Ядзе бежать через двор в лес, а сами выскочили из хаты.

Марфа Ильинична быстро распоролa воротник своего пальто и достала пакет:

— Возьми, Ядзя. Ты убежишь... молодая. Передашь командиру...

Схватка шла около хаты. Шесть партизан не могли устоять против сорока полицейских. Трое наших были убиты, а Ростик с двумя бойцами, уверенный, что мать и Ядзя уже скрылись, стал отходить к лесу.

— Ростик не видел, как в хату ворвались полицейские,— рыдая, рассказывала Ядзя.— Тетю ранили, а меня схватили за руки... Я уже больше ничего не видела... вырвалась, схватила пистолет, стреляла, выпрыгнула в окно, убежала. Только на другой день я встретила в лесу с Ростиком и двумя нашими ребятами. Ростик не знал, что мать у немцев осталась.

— Ну, а дальше что было?

— Дальше вот что. Мы ходили в этом лесу, недалеко от Вырок. Вечером, смотрим, идет какая-то женщина. Мы ее дождались и спросили. Она сказала, что тетю ужасно били, но она ничего не выдала. Потом гестаповцы ее увели и за деревней расстреляли. Ночью крестья-

янки подобрали ее тело и похоронили в лесу. Эта женщина и повела нас на свежую могилу. Она, оказывается, тоже хоронила тетю и теперь шла в лес, думая кого-нибудь из нас встретить. «Я, говорит, так и знала, что вы где-нибудь тут ходите».

Мы жили на войне. Мы не раз видели смерть, не раз хоронили наших товарищей. Мы беспощадно мстили за них. Казалось, мы уже привыкли к жестокостям борьбы. Но смерть Марфы Ильиничны потрясла нас всех до глубины души. Весть о ее гибели разнеслась по лагерю мгновенно, и как-то необычно тихо было у нас в лесу, когда я шел в чум Владимира Степановича.

С ним говорить было нельзя: его душили спазмы. Я скоро ушел, чувствуя, что в чем-то перед ним виноват.

Сейчас, вспоминая гибель Марфы Ильиничны, я нашел один из номеров нашей партизанской газеты и в нем некролог, написанный партизанами, хорошо знавшими нашу мать-партизанку. Вот этот некролог:

«Печальную весть принесли наши товарищи, возвратившиеся из последней операции: от руки фашистских извергов погибла Марфа Ильинична Струтинская.

Мы хорошо узнали ее за месяцы, что пробыли вместе в отряде. Мать партизанской семьи, семи героев, она и сама была героиней — мужественной патриоткой.

В отряде она была матерью для всех. Неутомимая, умелая, она работала день и ночь. Марфа Ильинична добровольно отправилась на выполнение серьезного оперативного задания. На обратном пути пуля фашистского палача оборвала ее жизнь.

Перестало биться сердце замечательной женщины. Но смерть ее будет отомщена.

За нее есть кому отомстить. Поплатятся фашисты своей черной кровью за дорогую для нас жизнь Марфы Ильиничны Струтинской.

Родина ее не забудет!»

Николая и Жоржа Струтинских не было в лагере, когда мы узнали о гибели их матери. Они находились в Ровно. Тем тяжелее было Владимиру Степановичу. Чтобы как-то рассеять его горе, мы специально придумали для него командировку. Он поехал, вернулся и доложил, что задание выполнено. Я поразился, до чего же старик изменился: за несколько дней постарел, осунулся

— Садитесь, Владимир Степанович.

Он тяжело опустился на пень. Я налил ему чарку вина. Но он отодвинул ее:

— Не могу.

Молчание казалось бесконечным, и я не смог нарушить эту безмолвную исповедь: старик не нуждался в том, чтобы его утешали. Наконец он заговорил — вернее, поделился своей давно выношенной мучительной мыслью:

— Вот если бы с ней был Николай... или Жорж — этот тоже крепкий. Ну, да что уж теперь, не вернешь. Война...

Теперь Владимир Степанович часто справлялся о сыновьях, когда они были в отлучках:

— Что с Жоржем? Когда вернется Николай?

После смерти Марфы Ильиничны наши девушки-партизанки ухаживали за Васей и Славой, но заменить мать они не могли. Да и опасно было у нас, поэтому в апреле мы отправили Васю и Славу на самолете в Москву. С ними улетела и Катя. Отец строго наказал ей заботиться о братьях.

8 Марта, в Международный женский день, я послал около сотни партизан под командованием опытного командира Базанова к селу Богуши. Мы узнали, что там обосновался целый вражеский батальон, часть которого и напала на Фролова.

Около этой деревни, вдоль западного берега реки Случь, когда-то проходила старая линия обороны, построенная еще при панской Польше. Там сохранились траншеи и укрепления — доты. Река в это время разлилась, и все доты были залиты водой.

Базанов умело разведal местность и хорошо рассчитал силы. На рассвете он напал на Богуши. Как перепуганные звери, заспанные гитлеровцы носились по селу, и везде их настигал партизанский огонь. Многие бросались к траншеям и дотам. Но это им не помогло. Преследуемые пулями, они тонули в залитых водой траншеях и в реке.

Базанов вернулся в лагерь с большими трофеями — оружием и боеприпасами.

Это было нашей местью за гибель товарищей, за смерть Марфы Ильиничны Струтинской.

Все переправы через реки по дороге из нашего лагеря в Ровно немцы перекрыли. Теперь, для того чтобы связаться с Ровно, требовались не один-два курьера, а целая группа бойцов в двадцать—тридцать человек. Вооруженные стычки стали обычным явлением. Немцы и бандиты-предатели в этих стычках несли большие потери, но и с нашей стороны увеличились жертвы.

Чтобы спокойно продолжать работу в Ровно, я решил с частью отряда перейти в Цуманские леса, расположенные с западной стороны города. Эти леса и были разведаны нашими товарищами, которые ходили к Луцку во главе с Фроловым.

Я отобрал с собой для работы в новом лагере сто пятнадцать человек. В старом лагере командиром остался Сергей Трофимович Стехов.

Помимо разведчиков, которые уже работали в Ровно, я взял с собой всех партизан, знающих город. Пошел со мной и Александр Александрович Лукин. Незадолго до этого он возвратился из Москвы, куда улетал для доклада о положении в тылу противника. Лукин спустился с самолета на парашюте. С этого же самолета нам сбросили много подарков: письма от родных и знакомых, журналы и газеты, автоматы, патроны, продукты.

На созванном мною совещании работников штаба Лукин передал последние указания командования о направлении работы отряда и о важнейших задачах, которые на нас возлагались.

Вместе с Лукиным прилетели в отряд четыре новичка. Один из них, Гриша Шмуйловский, оказался старым товарищем Цессарского и Мачерета. Шмуйловский учился в Московском литературном институте и долгое время добивался, чтобы его послали в наш отряд.

— Ну, а как институт? — спросил я его.

— Институт? После победы закончу...

Прилетел с Лукиным и Макс Селескириди, студент театрального училища при театре имени Вахтангова. Там он готовился к амплуа комика, а у нас хотел стать подрывником. Меня не раз удивляло: какой же комик из Макса? Ни разу я не видел улыбки на его лице.

Из двух радисток, прилетевших с Лукиным, особое

внимание наше привлекла Марина Ких. Родом она была из села Новоселки-Кардинайские, Львовской области.

В 1932 году Марина вступила в подпольную организацию Коммунистического союза молодежи Западной Украины, а через три года — в Коммунистическую партию Западной Украины. Дважды, в 1936 и 1937 годах, Марина была арестована польскими жандармами за активную революционную деятельность. После освобождения Западной Украины Марина была избрана представителем в Народное собрание Западной Украины. С делегацией Народного собрания она ездила в Москву на Чрезвычайную сессию Верховного Совета, а затем в Киев, чтобы передать Советскому правительству просьбу населения о присоединении Львовской области к Украинской Советской Социалистической Республике и о приеме ее жителей в советское гражданство.

Когда началась война, Марина окончила курсы радистов и была направлена в наш отряд.

Всеми новичками я был доволен и, готовясь к переходу в Цуманские леса, включил их в свою группу.

Переход этот был для нас сложной боевой операцией. Первый бой мы провели с гитлеровцами у села Карачун, неподалеку от переезда через железную дорогу Ровно—Сарны. Немцы, видимо, узнали о нашем продвижении и устроили здесь засаду. После короткой перестрелки я решил отойти в лесок, чтобы выяснить, с какими силами врага мы имеем дело. Только мы отошли к месту засады, подошел поезд с карателями. Возможно, это подкрепление было вызвано по телефону.

Надо было во что бы то ни стало перейти через железную дорогу. Я решил нападать первым.

Едва каратели выгрузились и поезд отошел, раздалось наше партизанское «ура». Такого натиска немцы не ожидали. В военном деле стремительный и неожиданный натиск всегда дает преимущество. Мы уничтожили человек двадцать гитлеровцев и пятерых взяли в плен.

Пленные, допрошенные Кузнецовым, показали, что из Ровно и Кастрополя в район Рудни-Бобровской отправлено большое количество эсэсовцев. Эти же сведения подтверждали и местные жители.

— Не менее двухсот грузовиков с немцами прошло в ту сторону, — говорили крестьяне. — И пушки на прицепе!

Я попытался по радио предупредить Стехова, по радиосвязь не удалась. Тогда я отправил ему радиogramму через Москву, хотя понимал, что это предупреждение уже опаздывает.

В бою при переезде был убит один партизан и двое ранено. Раненым оказался наш инженер-подрывник Маликов: разрывная пуля раздробила ему два пальца на правой руке. Цессарский тут же на месте ампутировал перебитые пальцы и обработал рану.

Вторым раненым был испанец Гросс, наш талантливый минер, большой выдумщик по части партизанских хитростей. Это он подсказал, как одной миной уничтожить железнодорожный мост и целый состав. Так же как в боях у себя на родине, он отличался храбростью и у нас в отряде. Редкая операция на железных дорогах проходила без его участия.

Ранение у Гросса оказалось серьезным. Разрывная пуля попала в лопатку и раздробила ее.

— Не скоро он в строй вернется,— доложил мне Цессарский.— Рана хотя и не опасна, но заживать будет долго.

К вечеру следующего дня — новый бой. Наше передовое охранение, передвигаясь по прямому, как стрела, большаку в направлении села Берестяны, неожиданно было встречено пулеметным и ружейным огнем. Враги стояли лагерем в лесу, метрах в ста от дороги, а у дороги была их засада.

На этот раз бандиты упорно сопротивлялись. Бой длился два с половиной часа. С трудом удалось пробить себе дорогу. Правда, «трезуба» мы все же дождались: кто сдался в плен, кто навсегда остался на дороге.

Помимо трофейного оружия, мы отобрали у бандитов штук двадцать кабанов. Это было кстати. Пять суток наша группа была в пути и не видела горячей пищи. К общему удовольствию, в числе трофеев оказалась и походная армейская кухня.

Наконец-то у нас был приготовлен вкусный, жирный обед!

В этом бою был ранен Коля Фадеев, командир взвода. Пуля раздробила ему кость ниже колена.

Когда мы пришли в новый лагерь, обнаружилось, что у Коли Фадеева началась газовая гангрена.

— Необходима операция,— доложил мне доктор Цессарский,— иначе погибнет Фадеев.

Что же делать?

Наше новое местожительство опять было в лесу. Густой лес, и пока никакого жилья, а ведь всякая операция требует чистого, закрытого помещения, света, настоящих хирургических инструментов. Ничего этого у нас пока не было. Хирургические инструменты, какие были, Цессарский оставил в старом лагере и взял с собой медикаменты и инструменты, необходимые лишь для оказания первой помощи.

— Как же быть? — спрашивал я Цессарского.

— Если разрешите, я ампутую Фадееву ногу обычной поперечной пилой.

— Что вы, Альберт Вениаминович! Да разве это возможно?

— Риск, конечно, большой, но я приму все меры предосторожности. Без ампутации он умрет.

Пришлось дать согласие.

Предстояла на этот раз не боевая, а медицинская операция, и совсем необычная. «Эх,— думалось мне,— недаром Цессарский так приставал к Кузнецову и другим разведчикам, ходившим в Ровно, чтобы они достали ему медицинские инструменты и лекарства!»

Многое я передумал, много нервничал, пока готовилась эта операция. Дело шло о жизни молодого нашего товарища: Коле Фадееву только что минул двадцать один год.

Между тем наш хирург, внешне по крайней мере, казался совсем спокойным. Он позвал к себе моего ездового Петра Петровича. Держа в руках простую поперечную пилу, Цессарский сказал ему:

— Вот, Петр Петрович, эти зубцы сточи начисто. Вместо них нарежь новые, маленькие.

И подробно стал объяснять, какие нужны зубцы и какого размера.

Через два часа пила с маленькими зубцами была готова, и Цессарский стал дезинфицировать ее — протирать спиртом, прожигать и снова протирать. Тем временем по его указанию в санчасти готовили все остальное: построили нечто вроде палатки, вернее, просторную четырехстороннюю загородку из еловых ветвей с открытым

верхом, чтобы было много света, кипятили инструменты, готовили бинты. Минут за двадцать до операции Коля Фадеев позвал меня к себе. Я пришел. Еще недавно сильный и веселый, он лежал сейчас на траве похудевший, с бледно-землистым лицом.

— Товарищ командир, если все сойдет благополучно, прошу вас дать мне рекомендацию для вступления в кандидаты партии.

До слез тронул он меня своей просьбой.

— Конечно, дам. Ты же молодец, Коля. А за операцию не беспокойся. Ведь у нашего доктора все выходит хорошо.

О том, какой пилой ему собираются отнимать ногу, и о всех наших волнениях Фадеев, конечно, не знал. Но он понимал, что операция в таких условиях — дело рискованное.

Кроме Цессарского и его помощника, мы все, в том числе и я, отошли от «операционной».

Через несколько минут мы слышали... громкие ругательства. В нашем отряде ругаться запрещалось строго-настрого. Сами бойцы считали, что сквернословие недостойно советского партизана. Но под наркозом Коля разошелся.

— Вот человек и душу отведет, и наказания ему никакого не будет! — сказал стоявший рядом со мной Лукин, желая шуткой скрыть свое волнение.

Операция продолжалась больше часа.

Хорошо, что у Цессарского было много хлороформа: на открытом воздухе хлороформ быстро улетучивается.

Цессарский пришел ко мне после операции бледный, измученный, на лице — капельки пота.

— Есть, конечно, большая опасность, но надежды на спасение не теряю.

И он не ошибся. На другой же день температура у Фадеева снизилась, и все пошло, как в первоклассном госпитале. Он стал быстро поправляться.

А через несколько дней Коля опять попросил меня зайти:

— Товарищ командир! Неужели правда, что я ругался во время операции? Или, может, ребята наврали?

Я улыбнулся.

— Значит, правда? Вы уж меня извините.

— Ничего, Коля. На этот раз придется извинить.

— Спасибо, товарищ командир... У меня к вам еще один вопрос: что же я теперь без ноги буду делать? Я не хочу отправляться в тыл.

— Погоди, придумаем. Ты еще полезнее других будешь.

— Вот и за это большое спасибо!

По выздоровлении мы назначили Фадеева начальником учебной группы по подготовке подрывников. Ему были доверены охрана и учет всего подрывного имущества.

Он очень хорошо выполнял свои обязанности. И рекомендацию в партию я, конечно, ему дал.

Случай с Колей Фадеевым — не единичный. Самые чистые, лучшие свои чувства партизаны связывали с большевистской партией. Трудно переоценить значение и роль нашей партизанской коммунистической организации. Вначале в отряде было только пятнадцать членов партии. Среди вновь вступивших в отряд членов партии было тоже немного. Но и небольшая количественно партийная организация имела в отряде громадный авторитет. Объясняется это тем, что члены партии и в боях и в быту вели себя безукоризненно. «Достойный большевик», — говорили о коммунистах партизаны.

Жизнь в боях и походах, жизнь в тревогах, постоянные трудности были наилучшей проверкой большевистских качеств человека. Неудивительно поэтому, что почти с самого начала нашего пребывания в тылу врага от многих партизан стали поступать заявления о приеме их в партию. Мы не могли в наших условиях оформлять прием в партию так, как это положено по уставу. Анкет у нас не было, не писали мы и рекомендаций. Все делалось устно, сначала на заседании партийного бюро, потом на партийном собрании. Только секретарь делал у себя необходимые записи, чтобы потом, по возвращении в Москву, оформить вступивших товарищей и установить стаж со дня их утверждения на нашем партийном собрании.

Принимали в кандидаты партии и переводили в члены партии только тех, кто зарекомендовал себя настоящим большевиком. Помню, одними из первых были приняты в партию доктор Цессарский, секретарь комсомоль-

ской организации Валя Семенов и Дарбек Абдраимов. И наша партизанская партийная организация день ото дня росла за счет лучших из лучших товарищей.

ПОМОЩНИКИ

Переход на новую базу в Цуманские леса на некоторое время отвлек наше внимание от Ровно. Теперь мы решили наверстать потерянное. Разведчики выбрали кратчайшие и наиболее спокойные дороги к городу, и в первых числах апреля в Ровно ушли не только те, кто уже раньше там работал, но и еще человек десять, знавших этот город. Николай Струтинский не пошел в Ровно. Его, Жоржа и Ядзю мы отправили в Луцк с заданием организовать там группу разведчиков из людей, с которыми связала нас Марфа Ильинична.

Место нашего нового лагеря оказалось значительно удобнее прежнего. Расстояние до Ровно сократилось почти в половину, и путь к нему был лучше. Раньше разведчикам приходилось по пути к Ровно переходить две реки, а здесь была лишь одна узкая речушка. Речушку эту переходили по небольшим кладкам.

На полпути к Ровно мы вновь организовали «маяк». В отличие от прежних, он находился не на хуторе, а прямо в лесу, в полукилометре от дороги Ровно—Луцк. Поэтому и назвали его «зеленый маяк».

Апрель на Западной Украине хороший месяц. Снега уже нет и в помине. Кое-где зеленеет трава; почки на деревьях набухли и готовы вот-вот распуститься. Но ночи были еще холодные и сырые, особенно в лесу, поэтому на «зеленом маяке» апрель был неласковым. Разведчики по ночам мерзли — им приходилось спать на сырой земле. Согреться негде: костры разводить они не могли, чтобы не обнаружить себя.

Помимо «зеленого маяка», каждому разведчику, уехавшему в Ровно, указывалось отдельное место для «зеленой почты». В разных сторонах неподалеку от «маяка» подыскивались подходящие места в лесу — либо дерево с дуплом, либо пень или большой булыжник. В этих местах разведчик прятал свое донесение и находил для себя почту из лагеря.

Места «зеленых почт» сохранялись в тайне — это были наши центральные узлы связи. Хождение на «маяк», дежурство там, сбор писем и разноска их по «зеленым почтам» поручались самым опытным и осторожным разведчикам. Их возглавлял Валя Семенов.

В это время наравне со взрослыми стал работать Коля Маленький. Мы его назначили курьером связи при Николае Ивановиче Кузнецове.

Когда к нам прилетела Марина Ких, Коля как-то сразу привязался к ней. Марина, видно, тоже полюбила мальчика и взяла над ним шефство: стирала и штопала его одежду, подолгу бывала с ним, рассказывала ему о Москве, о метро, о школе.

Когда Колю Маленького назначили курьером, Марина сшила для него специальные костюмы. Один крестьянский: рубашка и длинные штанишки из домотканого крестьянского полотна; к этому костюму наш мастер по лаптям Королев сплел маленькие лапотки. Другой костюм для Коли Марина сшила городской: рубашка с отложным воротничком, короткие штанишки и к ним ботинки.

В лесу около Ровно Коля переодевался. Если идет в Ровно, надевает свой городской костюм, а деревенский прячет в облюбованном месте. Если идет на «зеленый маяк», надевает лапотки и длинные штанишки.

Валя Семенов с нетерпением ждал Колю, когда тот впервые отправился с «маяка» в Ровно. Коля благополучно вернулся и принес пакет от Кузнецова.

— Ну, рассказывай, как сходил? Останавливали где-нибудь?

— Останавливали. Так я же им говорил, как учили: отца, мать убили, сам собираю милостыню. Только в один приличный день...

— Это когда было? — улыбаясь, спрашивает Семенов.

Коля очень любил говорить «приличный день». Рассказывая о чем-либо, случись оно давно или вчера, Коля всегда говорил, как сейчас: «в один приличный день».

— Вчера утром, когда я от вас ушел. Остановили меня в деревне три полиция и спрашивают: «Куда идешь?» Я сразу стал плакать: «Дяденьки, миленькие, к мамке иду, она в госпитале». Ну ничего, отпустили. Я хоть и заплакал, только по правде ничуть не испугался.

И еще один помощник появился у Кузнецова в Ровно. Это была Валя Довгер.

В начале марта мы потеряли отца Вали, Константина Ефимовича Довгера. По нашему заданию он вместе с другим местным жителем, Петровским, шел на станцию Сарны. В дороге их схватили бандиты и жестоко избили, требуя сведений о партизанах.

Ничего не добившись, предатели скрутили нашим товарищам руки колючей проволокой и повели к реке. Река в те дни еще была покрыта толстым слоем льда. Довгера и Петровского подвели к проруби и живыми стали топить. «Лучше умереть от пули!» — крикнул Петровский и бросился бежать. Бандиты стреляли, но ночь была темная, и ему удалось добраться до лагеря. От него мы и узнали, как погиб Константин Ефимович.

С трудом разыскали мы тело замученного товарища и похоронили его с партизанскими почестями.

После похорон отца Валя пришла к нам в отряд.

— Мы с мамой заменим папу, — сказала она.

Я познакомил Валью с Кузнецовым. После первого же разговора с ней Николай Иванович сказал мне, что Валя во многом может помочь ему, если будет жить в Ровно. Так мы и поступили. Валя отправилась в Ровно и стала подыскивать для себя квартиру. В апреле она там устроилась и сумела даже оформить прописку, что по тем временам было делом нелегким. Разрешение на постоянное жительство в Ровно давало только гестапо. Через свою подругу Валя познакомилась с сотрудником гестапо Лео Метко, который работал личным переводчиком полицмейстера Украины. Лео Метко не только поверил Вале, что отец ее работал с немцами и за это был убит советскими партизанами, но и помог ей достать бумажку, удостоверяющую правдоподобность ее рассказа. С его помощью Валя получила и прописку и работу — продавщицей в магазине.

Теперь у Вали была тихая, удобная комната с отдельным ходом, и она взяла к себе больную мать и младших сестер.

Когда все было устроено, она познакомила Метко со своим «женихом» — немецким офицером Паулем Зибертом. Так под видом немецкого офицера Николай Иванович стал входить в круг новых знакомств. С помощью

Метко он познакомился еще с несколькими сотрудниками рейхскомиссариата и гестапо.

Обер-лейтенант Зиберт всем очень нравился. Веселый, остроумный, щедрый, он не жалел немецких марок на угощение друзей; этих марок у нас было много, целыми транспортами забирали их у немцев. Друзья уже знали, что Пауль — сын помещика из Восточной Пруссии, и после войны собирались посетить его большое и богатое имение.

Кузнецову удалось познакомиться с местным жителем, поляком по национальности, Яном Каминским. Каминский был членом польской подпольной организации и рвался к активному делу. Он охотно согласился работать с Кузнецовым и скрепил свое слово письменной клятвой.

Изо дня в день мы стали получать от Кузнецова сообщения одно интереснее другого. Мы узнавали о различных мероприятиях гитлеровцев на Украине и о планах немецкого командования. Николай Иванович сообщил нам фамилии и адреса советских людей, готовых бороться с гитлеровцами. Ему удалось выяснить фамилии и приметы тайных агентов, которых гестапо забрасывало в советский тыл с заданиями диверсионного и террористического порядка.

Однажды в ресторане Пауль Зиберт познакомился с обер-ефрейтором немецкой армии Шмидтом, который занимался дрессировкой собак для личной охраны рейхскомиссара Коха. Ярко-рыжий, веснушчатый Шмидт был весьма польщен знакомством с блестящим офицером Зибертом.

— Очень, очень приятно! — говорил он, крепко пожимая руку Кузнецову.

— Я тоже рад с вами познакомиться. Я очень люблю собак и интересуюсь их дрессировкой. В имении моего отца целая псарня... Будет время, заходите в гости, господин Шмидт.

И Кузнецов дал ему адрес своей «официальной» квартиры. Шмидт не заставил себя ждать. В назначенное время он пришел к обер-лейтенанту Паулю Зиберту с немецкой овчаркой, которую дрессировал для Коха.

— Это восьмая. Я уже сдал господину гауляйтеру семь овчарок. Но эта лучшая из всех. Она сразу чувст-

вует неарийца; партизана узнает за километр. Я ее отобрал из псарни СС.

— Что вы говорите! Какая умница! — восхищался Кузнецов, бросая собаке кусок колбасы.

— Феноменальная собака! — восхищенно болтал Шмидт, с любовью глядя на свою воспитанницу, которая облизывалась, дружески виляла хвостом и с благодарностью смотрела на Кузнецова.

За короткое время ефрейтор Шмидт оказался полностью под влиянием Кузнецова.

Зиберт дал Шмидту «взаимы» денег, Зиберт угощал в ресторане, Зиберт охотно выслушивал жалобы Шмидта и сочувствовал ему.

— Другие наживут за войну столько, что будут всю жизнь жить припеваючи, — скулил Шмидт. — А я как ничего не имел, так пустым и вернусь после войны.

— Дорогой мой, — утешал его лейтенант, — после войны я вас устрою управляющим в имении отца. Вы будете прекрасно жить. Я теперь же напишу домой о вас, о ваших прекрасных качествах.

Со своей стороны и Зиберт оказывал полное доверие Шмидту. Он познакомил его со своей «невестой» — Валей Довгер.

— Хорошая девушка, — сказал доверительно Зиберт, — но ей не везет в жизни. Отца убили русские партизаны, и документы о ее немецком происхождении попали в руки бандитов. Теперь она никак не может оформиться.

— Ну, боже мой, что вы говорите!.. У меня есть знакомые, через которых я помогу фрейлейн Валентине оформиться.

— Буду вам очень-очень признателен, Шмидт, — с искренней радостью говорил ему Кузнецов. — Если потребуются расходы, не скупитесь. Пожалуйста! — И он вручил Шмидту пятьсот марок.

Через несколько дней Валя получила документ о принадлежности ее к «фольксдейч» и карточки на соответствующий паек.

Кажется, все было устроено, но вдруг Валю вызвали в полицию и объявили, что она должна ехать в Германию. Конечно, мы не допустили бы ее отъезда, в любую минуту взяли бы ее в отряд, но это расстраивало наши

планы. Надо было добиться законного права проживания ее в городе. За это дело опять взялся Шмидт.

— Столь сложный вопрос может разрешить только сам рейхскомиссар господин Кох,— объяснил Шмидт.— Сейчас он находится в Берлине, но в начале мая прибудет в Ровно. Вы, фрейлейн Валентина, напишите заявление, а я передам бумагу адъютанту рейхскомиссара капитану Бабаху. Он доложит гауляйтеру.

Заявление было написано, и Шмидт взял его с собой, получив при этом от Кузнецова тысячу марок «на расходы».

— До разрешения этого вопроса вас никто не тронет, фрейлейн,— обещал Шмидт взволнованной Вале.

Когда он ушел, Николай Иванович облегченно вздохнул:

— Ну, это дело устроится. А другое требует спешного разрешения. Коля Маленький пришел?

— Да, наверное, уже сидит во дворе.

— Зови его.

Коля уже был около дома и пережидал Шмидта.

— Ну как, все благополучно? — спросил Кузнецов, обняв Колю.

— Прошел хорошо,— солидно ответил Коля.

— Что ж, отдохни, покушай, и опять придется бежать на «маяк».

Хотя Коля был выносливым и подвижным, хождение на «маяк» его утомляло. От Ровно до «маяка» было двадцать пять километров. Туда и обратно в один день — пятьдесят. Такие концы не шутка. Пока Коля отдыхал, Кузнецов написал донесение в лагерь. Через час Валя разбудила Колю. Усталость валила его с ног, но, чувствуя ответственность, Коля сразу встал, поправил костюм.

— Будь осторожен. Доверяю тебе важный пакет. Скажешь на «маяке», чтобы срочно отправили командирю. Сам дождешься ответа и быстро доставишь мне.

Коля взял пакет, спрятал его в потайной карман, простился и ушел.

— Господи,— сказала Валя, глядя ему вслед,— ведь совсем ребенок еще! Ему бы дома с мамкой жить.

— Да, Коля маленький, а ведь какие большие дела делает,— задумчиво ответил Николай Иванович

На этот раз путь мальчика на «маяк» прошел не глад-

ко. Километрах в пяти от Ровно он вдруг услышал окрик «Хальт!» и, оглянувшись, увидел позади себя двух гитлеровцев. По дороге он их не видел: очевидно, они сидели где-то в засаде, в стороне. Коля мгновенно сообразил, что делать. Он бросился к лесу. Немцы открыли стрельбу, пули засвистели, но мальчик продолжал бежать, пока не скрылся в спасительном лесу.

Пакет от Николая Ивановича был доставлен на «маяк» и оттуда мне.

ХОЗЯЕВА МНИМЫЕ И ХОЗЯЕВА НАСТОЯЩИЕ

Донесение, которое нес Коля Маленький, было весьма интересным. Кузнецов сообщал, что в Ровно идет подготовка к празднованию дня рождения Гитлера. 20 апреля в честь фюрера гитлеровцы устраивают парад.

«Прошу разрешить «командование» этим парадом», — писал Кузнецов. Несколько позже такие же донесения я получил и от других ровенских разведчиков. «Разрешите на площади совершить акт возмездия над главарями оккупантов», — запрашивал меня Шевчук.

Всем был дан одинаковый ответ: «Категорически запрещаю. Этим мы можем сорвать работу по разведке. Придет время, и мы рассчитаемся с палачами. Разрешаю быть на параде в толпе. В случае, если кто-либо, помимо вас, будет действовать, поддержите оружием».

Подготовка к гитлеровскому празднику проводилась очень своеобразно. Эсэсовцы и фельджандармы разъезжали по селам и отбирали у крестьян продукты и вещи. Награбленное добро сдавалось в специальные конторы фирмы «Пакетаукцион». Всей этой «заготовкой» ведал заместитель Коха — генерал Кнут.

В конторах «Пакетаукциона» из награбленных вещей и продуктов делались «подарки от фюрера», по десять—пятнадцать килограммов каждый. Подарки эти, прочно и красиво упакованные, раздавались немцам в самом Ровно, посылались на фронт и в Германию.

Наши партизаны и в особенности местные жители Ровенской области знали цену этим «подаркам от фюрера». Они знали, как добывались эти «подарки», знали, сколько слез и крови стоили они нашим людям.

В середине апреля прибыл вызванный мною Стехов с сотней партизан и рассказал, как в Сарненском районе немцы делали заготовки для «подарков».

Наши сведения о карателях, которые мы получили когда-то в пути, были верны. 30 марта каратели, как саранча, налетели на деревни и хутора нашего партизанского края и в первую очередь на Рудню-Бобровскую. Партизан каратели, конечно, не нашли. Стехов успел увести отряд. Больше половины жителей тоже скрылись в лесах. Но всех, кто остался в деревнях, постигла тяжелая участь.

Гитлеровцы заходили в села, забирали скот и всякое добро, а потом поджигали дома. Стариков, детей и больных расстреливали, а молодых гнали на сборные пункты для отправки в Германию.

В районах, где мы теперь находились, делалось то же самое. По всем дорогам «победители» конвоировали угоняемых в рабство жителей, обозы с награбленным крестьянским добром и продуктами.

20 апреля, как и было назначено, состоялся парад. Центральная площадь в Ровно была оцеплена. На ней выстроились все части немецкого гарнизона: каратели, войска, несшие охрану штабов, подразделения эсэсовцев и фельджандармов, отряды полиции.

У трибуны на специально отведенных местах расположились «почетные гости»: чиновники рейхскомиссариата, военная и гражданская знать. Среди гостей под руку с молоденькой девушкой стоял лейтенант Пауль Зиберт.

Над трибуной огромный портрет Гитлера.

В назначенный час к площади на комфортабельных машинах подъехали высшие представители власти и командования.

На трибуну поднялся первый заместитель Эриха Коха — правительственный президент Пауль Даргель. Высокий, худой, он шел, не глядя по сторонам, полный чувства собственного величия. Следом за ним появился второй заместитель Коха, глава «Пакетаукциона» — Кнут. Он с трудом нес свой огромный живот. Шеи в его фигуре совсем не было: между головой и туловищем все заплыло жиром. Пыхтя и сопя, Кнут взобрался на трибуну. Потом поднялись главный судья на Украине доктор Функ, командующий особыми, то есть карательными, войска-

ми генерал фон Ильген и еще несколько высокопоставленных персон.

Несмотря на оцепление и строжайшую охрану, несколькими нашим боевикам, в том числе Гнедиюку и Шевчуку, удалось пробраться на площадь. Каждый из них имел при себе по паре пистолетов и по две-три противотанковые гранаты.

С речью выступал Даргель. Он говорил о «заслугах Гитлера», о «непобедимой немецкой армии», о том, что «немецкие власти обязаны здесь, в тылу, организовать все, в чем нуждается армия».

На площади украинского города он нагло заявил:

— Пусть побежденные мрут с голода. Германскую нацию это нисколько не беспокоит. У Германии свои великие идеи и цели. И мы их добьемся любой ценой. Прочь жалость! Жалость — это позор для сильных! Я призываю к беспощадности!

Наши партизаны молча слушали бредовую речь правительственного президента. Хотелось в один миг покончить с фашистской гадиной, но приказ был приказом, и они дали возможность гитлеровцам до конца довести свой удар.

Уходя с площади, Кузнецов громко на немецком языке говорил своей девушке:

— У вас очаровательные маленькие ножки. Немецкий офицер умеет ценить красоту. Разрешите, я вас провожу домой.

Девушка восхищенными глазами смотрела на бравого офицера немецкой армии.

Но когда они выбрались из толпы, Валя тихо сказала Кузнецову:

— Напрасно командир запретил. До чего ж тошно было все это видеть и слышать!

— Ты, Валя, неправа. Нельзя рисковать всей работой. Не горюй! Живыми отсюда они не уйдут. Не они здесь хозяева! — И, мельком посмотрев на другую сторону улицы, Николай Иванович сказал: — Обрати внимание на человека в потертом пиджаке и кепке, который идет по левой стороне. Это один из настоящих хозяев города.

Мы уже давно догадывались, что в Ровно есть своя подпольная организация. Нетрудно было понять, что по-

жары на предприятиях, убийства немецких офицеров — дело рук подпольщиков. Но найти организацию мы долго не могли. Наконец по тоненькой ниточке сведений и намеков наша разведка дошла до директора войлочной фабрики большевика Терентия Федоровича Новака. Он и оказался руководителем подпольной организации в Ровно.

Вскоре после парада Новак побывал в нашем лагере, и мы установили с ним полный контакт в работе.

Эта организация провела в Ровно очень большую работу, но я расскажу, да и то вкратце, лишь о том, что сделано нашим отрядом совместно с подпольщиками Новака.

Мы начали с того, что регулярно снабжали городскую подпольную организацию сводками Совинформбюро. Там их размножали и распространяли среди населения. Время от времени мы пересылали Терентию Федоровичу Новаку «Правду», «Красную звезду» и другие газеты, которые нам сбрасывали с самолетов.

Кузнецов, Шевчук, Гнедюк и Николай Струтинский, так же как и другие наши разведчики, не могли в городе вести агитацию или распространять листовки. Зато организация Новака, пользуясь нашим материалом, широко развернула политическую работу среди населения.

Диверсионные ячейки организации Новака вместе с нами совершили два крупных подрывных акта.

В Ровно на полную мощность работал завод чурок, владельцем которого был приехавший из Германии немец Тангольц. Чурки из дерева шли для газогенераторных автомашин немецкой армии. Завод этот был единственным на всей оккупированной Украине. По совместно разработанному плану, завод чурок был сожжен дотла.

Второй диверсией был взрыв на перроне ровенского вокзала. Гитлеровцы разгрузили там несколько вагонов двухведерных бутылей с азотной кислотой. Подпольщики Новака заложили среди бутылей полученные из отряда две мины замедленного действия. После первого взрыва кислота из разбитых бутылей потекла по деревянному настилу перрона, и он загорелся. Загорелись также плетеные корзины, в которых стояли бутылки. Немцы бросили тушить пожар, но в это время взорвалась вторая мина и одна за другой начали рваться бутылки. Брызги

кислоты и летевшие во все стороны осколки не давали возможности приблизиться к месту пожара. Спустя несколько минут пламя охватило весь перрон. Ликвидировать огонь уже нельзя было, и в течение нескольких часов немецкие полицейские и вызванные воинские части были безучастными зрителями пожара.

Наш отряд получал от организации Новака большую помощь. Особенно благодарны мы были за медикаменты, перевязочные материалы и хирургические инструменты. Во всех медицинских и санитарных учреждениях Ровно работали русские врачи — военнопленные или не успевшие эвакуироваться. Люди из подпольной организации связывались с нами, доставляли нам медикаменты и медицинское оборудование по спискам Цессарского.

Узнав о нашем партизанском отряде, врачи просили и их взять в лагерь. В то время мы остро нуждались в медицинском персонале. Схватки с немцами и бандитами-предателями участились; количество раненых увеличилось. Подпольщики стали договариваться с врачами и фельдшерами и посылать их к нам. Приезжали они обычно в лес не с пустыми руками, а с ценнейшим грузом: вывозили из больниц и госпиталей целые подводы с медицинским оборудованием.

Скоро в нашем лагере собралось тринадцать врачей по различным специальностям и двадцать фельдшеров. Прибыл к нам и зубной врач, притащив с собой целый зубоврачебный кабинет, вплоть до бормашины, которая приводилась в движение ногами. Так во главе с нашим молодым партизанским врачом Цессарским образовался у нас солидный госпиталь. В нем были хирургическое и терапевтическое отделения и зубоврачебный кабинет.

НА ПРИЕМЕ У КОХА

Майским утром обер-ефрейтор Шмидт зашел к Вале и торжественно сообщил: в четыре часа дня ее вызывает рейхскомиссар Украины Эрих Кох.

— Адъютант Бабах передал, чтобы вместе с вами явился и обер-лейтенант Зиберт. Возможно, господин гауляйтер захочет лично убедиться, что за вас ходатайствует немецкий офицер.

Откланявшись, Шмидт ушел. Валя тут же побежала к Николаю Ивановичу.

— Что же теперь делать? А вдруг ловушка?

— Отступать поздно. Я, конечно, поеду... Я никак не предполагал, что вызовут и меня, иначе я бы запросил командира.

— А без его разрешения нельзя? — И Валя многозначительно посмотрела на Кузнецова.

— Решу все на месте, — ответил ей Николай Иванович.

Около четырех часов дня по центральной улице Ровно, названной немцами Фридрихштрассе, ехали в экипаже Валя Довгер, Пауль Зиберт и Шмидт. У ног Шмидта мирно сидела овчарка, та самая овчарка, которая «чуяла партизан за километр».

Николай Иванович был одет в блестящий парадный мундир. На кителе были приколоты и нашиты все знаки отличия: значок члена гитлеровской партии, ленты, которые указывали, что Зиберт дважды ранен в боях, и два ордена Железного креста. Парадные сапоги начищены до блеска. На новеньком поясе, с левой стороны, пистолет в кобуре. В кармане — второй пистолет на боевом взводе. Валя была в темном платье с креповой нашивкой на рукаве — знак траура по убитому отцу. Еще раньше мы снабдили ее справкой от имени фельджандармерии, что «ее отец погиб от рук партизан».

На козлах, натягивая вожжи, сидел кучер. Это был Гнедюк. В кармане у кучера — пистолет, под сиденьем — несколько противотанковых гранат.

Дома вдоль улицы, по которой ехал экипаж, были сплошь заняты немецкими учреждениями и заселены немецкими чиновниками. В конце ее помещался рейхскомиссариат — управление наместника. Рядом с рейхскомиссариатом, в тупике за высоким забором с колючей проволокой, находился особняк — дворец Коха.

Экипаж остановился у дворца.

Вдоль забора прохаживались автоматчики-эсэсовцы.

Шмидт торопясь вышел из экипажа и подошел к караульному помещению.

— Пропуска для господина обер-лейтенанта Пауля Зиберта и фрейлейн Валентины Довгер готовы? — спросил он через окошко у дежурного по охране.

— Так точно,— ответили ему.

Зная лично Шмидта, дежурный подал Кузнецову и Вале пропуска, даже не спросив документов.

Эсэсовец отковырял и пропустил всех троих за ворота.

Дворец Коха находился в огромном саду. Залитые солнцем дубы, липы, клены бросали тень на асфальтированную дорожку. Кусты сирени наполняли ароматом воздух. Садовники возились над цветочными клумбами и у плодовых деревьев.

Помимо большого особняка, на территории дворца было выстроено еще несколько домиков — здесь размещалась охрана и прислуга Коха. Все это и много других мелочей успел заметить опытный глаз Кузнецова.

— Прошу вас пройти прямо к адъютанту, а я пойду сдавать собаку,— сказал Шмидт, указав Зиберту на парадное крыльцо.

— Ты будешь стрелять? — задыхаясь от волнения, спросила Валя.

— Если буду уверен, что убью,— ответил Кузнецов.

Адъютант Бабах любезно встретил посетителей и проводил их на второй этаж, в приемную Коха.

— Садитесь, пожалуйста. Гауляйтер сегодня в хорошем расположении духа,— улыбаясь, предупредил он.— Сейчас доложу о вашем приходе.

И Бабах скрылся за тяжелой дверью.

В приемной в ожидании вызова молча сидели несколько офицеров. Среди них два генерала в полной форме. Не успели Валя и Кузнецов осмотреться, как адъютант вернулся.

— Прошу в кабинет рейхскомиссара,— обратился он к Вале.— А вас, герр обер-лейтенант, попрошу подождать.

У Вали кругом пошла голова. Не выдаст ли она себя? Позовут ли потом Кузнецова? Будет ли он стрелять в Коха? У двери она обернулась и посмотрела на Николая Ивановича. Тот, сидя в мягком кресле, как ни в чем не бывало вполголоса о чем-то говорил с соседом — капитаном.

Адъютант открыл дверь кабинета, пропустил Валу, закрыл дверь и сам остался в приемной.

Валя сделала лишь шаг вперед, как к ней подскочила огромная овчарка. Валя вздрогнула от испуга.

— На место! — раздался громкий окрик на немецком языке.

Собака отошла прочь. Тот же голос предложил Вале:

— Прошу садиться.

Испуганными глазами посмотрела Валя на говорившего. За столом она увидела большого, полного человека с усиками «под Гитлера», с длинными рыжими ресницами и догадалась, что это и есть Кох.

Стол Коха был поставлен в кабинете углом, вплотную к нему примыкал перпендикулярно другой, длинный стол. За этот стол и пригласили ее сесть. Между нею и Кохом с двух сторон сидели охранники, у окна поодаль — еще один. У ног Коха лежала овчарка.

«Боже, какая охрана!» — успела подумать Валя, но тут же услышала вопрос.

— Почему вы не хотите поехать в Германию? — спрашивал Кох, глядя не на Валу, а на лежавшее перед ним заявление. — Вы девушка немецкой крови и были бы очень полезны в фатерланд. Чтоб победить большевиков, надо работать всем.

При последних словах Кох вскинул глаза на девушку и во время всего дальнейшего разговора уже смотрел на нее в упор.

— Моя мама серьезно больна, а сестры малы, — перебивая волнение, стала объяснять Валя. — После гибели моего любимого отца я должна зарабатывать для всей семьи. Прошу вас разрешить мне остаться в Ровно. Я знаю немецкий язык, русский, украинский, могу и здесь принести пользу Германии.

— А где вы познакомились с господином Зибертом?

— Познакомилась случайно, в поезде. Потом он часто заезжал к нам по дороге с фронта. Мы с ним помолвлены, — добавила Валя смущенно.

Кох несколько минут беседовал с Валею. Он поинтересовался, с кем еще из немецких офицеров она знакома. Когда Валя назвала в числе своих знакомых не только сотрудников рейхскомиссариата, но и гестапо, Кох, видимо, был удовлетворен.

— Хорошо, идите, — сказал Кох и, обратившись к охраннику, резким голосом приказал позвать обер-лейтенанта Зиберта.

Ни одним словом Валя не могла перемолвиться с Куз-

нецовым. Они только посмотрели друг на друга: Валя — испуганно и вопросительно, Кузнецов — ободряюще.

— Хайль Гитлер! — переступив порог кабинета и выбрасывая руку вперед, провозгласил Пауль Зиберт.

— Хайль! — ответили за столом.

Овчарка зарычала, но Зиберт и бровью не повел.

Кох жестом показал вошедшему кресло, где перед этим сидела Валя.

— Где вас наградили крестами? — спросил Кох.

— Первым — во Франции, вторым — на ост-фронте, герр гауляйтер, — ответил Кузнецов.

— Что вы делаете сейчас?

— После ранения работаю по снабжению своего участка фронта.

— Какого?

— Курского.

Зиберт полез в нагрудный карман за документом, хотел показать его Коху. Но при этом, казалось бы безобидном, движении гестаповцы насторожились. Собака оказалась у ног Кузнецова.

— Не беспокойтесь. Вы ведь показывали документы моему адъютанту?

— Да, конечно.

— Откуда вы родом?

— Из Восточной Пруссии. В сорока километрах от Кенигсберга у моего отца имение.

— Значит, вы мой земляк.

— Так точно, герр гауляйтер.

— Каково настроение в армии?

— О, все полны решимости!

— Скажите, многих испугали последние события?

— Вы имеете в виду Сталинград? Он укрепил наш дух.

— Да, да. Возвращайтесь к себе в часть. Имейте в виду: фюрер именно на вашем курском участке готовит хороший сюрприз русским, — многозначительно сказал Кох.

— Я не сомневаюсь, герр гауляйтер.

После минутного молчания Кох сказал:

— Я удивлен, что вы, заслуженный офицер германской армии, человек арийской крови, да еще родом из Пруссии, ходатайствуете за какую-то польку.

Все это Кох проговорил с брезгливой миной.

— Герр гауляйтер! Фрейлейн немецкой крови. Я сам видел документы ее отца, которого зверски убили бандиты,— оправдывался Зиберт.

— Если каждый германский офицер будет ходатайствовать за женщин из покоренных нами народов, то некому будет работать в нашей промышленности. Ведь вам известно, что мы все бросили на фронт и что у нас не хватает рабочих рук. Вы старый член национал-социалистской партии и не должны связывать себя с фольксдейчами. Эти люди нужны нам только для того, чтобы временно было на кого опираться в завоеванных государствах.

Будучи убежденным в «чистокровности» Пауля Зиберта и преданности его фюреру, Кох уже без остановки начал его поучать:

— Ни русские, ни украинцы, ни поляки, по сути дела, нам не нужны. Нам нужны плодородные земли. Здесь отныне и навсегда будут немцы.— Голос его брал все более и более высокие ноты.— Местное население мы должны обезвредить...

В продолжение всей беседы, длившейся около сорока минут, Кузнецов чувствовал в правом кармане брюк взведенный «вальтер». Каждую секунду он готов был выхватить револьвер и всадить всю обойму в ненавистную морду своего «земляка», который, захлебываясь от собственного красноречия, решал сейчас сложную проблему: как добиться уничтожения польского и украинского народов.

Но охранники не сводили с Кузнецова глаз, настораживаясь при малейшем его движении. Уперлась в него глазами и овчарка. Видимо, она прошла специальную дрессировку для наблюдения за посетителями.

«И руки не дадут поднять,— думал Кузнецов.— Не допустят выстрела...»

Удовлетворенный своей программной речью, Кох вновь обратился к Кузнецову с вопросом:

— Что вы думаете делать после войны?

— Я хочу остаться в России.

— Вам нравится эта страна?

— Мой долг работать в этой стране так, чтоб она нравилась фюреру.

— Ответ, достойный немецкого офицера. Хорошо, я разрешу оставить здесь вашу возлюбленную. Надо иногда и побежденным оказывать милость. Но вы и не думайте вступать с ней в брак,— закончил Кох и сделал надпись на заявлении Вали.

А Валя в это время, казавшееся ей бесконечным, сидела в приемной, настороженно всматриваясь в тяжелую дверь. «Вот сейчас раздастся выстрел... Вот сейчас...»— думала она. Но говорить приходилось о другом. Рядом сидевший немецкий офицер приставал с игривыми разговорами.

— Да, конечно, есть и подружки хорошенькие,— как в бреду, отвечала Валя.— Могу познакомить...

Но вот из кабинета Коха, улыбаясь, спокойно вышел Кузнецов. В руках он держал подписанное заявление Вали.

— Что вам написал герр гауляйтер? — громко спросил Бабах и, взяв у Кузнецова заявление, прочитал вслух: — «Оставить в Ровно. Предоставить работу в рейхскомиссариате». О, поздравляю вас, фрейлейн, поздравляю вас, герр обер-лейтенант!

Все сидевшие в приемной стали поздравлять Зиберта и Валию, пожимать им руки, а Бабах, в знак особенного расположения, предложил Кузнецову несколько пачек отличных сигарет.

Валя взяла Зиберта под руку. Они вышли.

На квартире она спросила Кузнецова:

— Не решился?

— Это было бы безумием. Три охранника да еще за драпировкой — ты, вероятно, не заметила — стоял кто-то. Проклятая собака у ног. Да если б я только шевельнулся, меня бы схватили... Лишь бы Кох не уехал из Ровно! Его участь решена, он будет уничтожен, но уничтожен без риска для отряда, для тебя, для меня самого. Я теперь «проверенный». Ведь подумать только: уроженец Восточной Пруссии, рейхскомиссар Украины Кох не догадался, что разговаривает с советским партизаном, который и в Германии-то никогда не был! Но все же наша встреча прошла не без пользы. Ведь Кох прямо сказал, что Гитлер готовит наступление на курском участке, а Кох только что из Берлина. Значит, сведения самые свежие. Надо скорее сообщить об этом!

Агент уголовной полиции, по фамилии Марчук, приметил в комиссионке одного спекулянта, который часто там появлялся и скупал всякие вещи. Как-то Марчук подглядел, что спекулянт купил разрозненные хирургические инструменты и хороший костюм, но явно не своего размера. Он даже и не пробовал примерять его. Марчук рассказал о спекулянте своему дружку из уголовной полиции, и они решили поживиться: задержать подозрительного спекулянта, содрать с него взятку, а будет упрямиться, — забрать в полицию. Агенты выждали в магазине спекулянта и как будто невзначай заговорили с ним. Тот немного растерялся, но разговор был затеян безобидный, и спекулянт в конце концов разговорился.

Их беседа закончилась в ресторанчике, куда Марчук предложил зайти и выпить для знакомства.

В ресторане агенты заказали дорогое вино, обильную закуску и намекнули, что спекулянт должен расплатиться. Тот не возражал.

В разгар пиршества агент уголовной полиции Марчук заявляет спекулянту:

— Так что спекулировать надо умеючи, а ты, дружок, и не заметил, как попал к нам в руки.

И он предъявил своему новому знакомому документ уголовной полиции, намекнув при этом, что, если тот поделится прибылью, они, пожалуй, его отпустят. Но пойманный спекулянт продолжал есть, никак не реагируя на угрозы. Наконец, закончив еду, он спокойно встал и тоном начальника сказал агентам:

— Расплатитесь!

— Как так? Ты кто такой?

Тогда спекулянт молча достал из кармана книжечку и предъявил ее оторопевшим агентам. В документе значилось, что «предъявитель сего» Владислав Антонович Янкевич является сотрудником ровенского гестапо.

С этой минуты за ресторанным столом все изменилось. Агенты не только расплатились по счету, но и стали угодливо извиняться: агенты уголовной полиции страшно боялись сотрудников гестапо.

Выйдя из ресторана, они усадили Янкевича в экипаж и вежливо доставили его на квартиру.

Янкевич оказался незлопамятным человеком: он даже пообещал Марчуку побывать у него в гостях.

Эту историю рассказал мне наш партизан Михаил Макарович Шевчук, когда «по служебным делам» отлучился из Ровно и прибыл в лагерь. Он-то и являлся сотрудником гестапо Янкевичем.

Уроженец Западной Украины, Михаил Макарович был старым подпольщиком. В панской Польше он просидел пять лет в тюрьме за революционную работу. Освободила его Красная Армия в 1939 году. Шевчуку было уже больше сорока лет, когда он вступил в партизанский отряд.

В Ровно Шевчук быстро применился к обстановке. Как многие немцы, он занялся мелкой спекуляцией. Спекуляция эта была только для видимости. Большую часть купленных вещей Шевчук направлял в отряд. Удостоверение о том, что он сотрудник гестапо, смастерили мы сами.

После истории в ресторане пополз слух, что Янкевич — сотрудник гестапо. Управдом того дома, где он жил, стал сообщать ему о всех «подозрительных», а Шевчуку тем временем удалось обзавестись не одной, а несколькими надежными квартирами, хозяева которых, наши люди, выполняли поручения разведчиков.

Был у нас в Ровно и другой «спекулянт» — красивый, стройный, «гарны очи», как его звали украинки, Коля Гнедюк. В Ровно он жил по документам на имя поляка Бачинского.

Для отвода глаз Гнедюк тоже занимался спекуляцией: покупал дешево, продавал дороже, а иногда и дешевле. К нему, так же как к Шевчуку, приставали агенты уголовной полиции, но он быстро за взятки поладил с ними.

Коля Гнедюк тоже организовал подпольную группу и имел несколько явочных квартир.

С некоторых пор в Ровно возвратился и Николай Струтинский. В Луцке, куда мы его направляли, он создал несколько разведывательных групп, наладил работу. Николай Струтинский предусмотрительно запасся там документом, удостоверяющим, что он является корреспондентом луцкой газеты «Украинский голос», издававшейся немцами.

Под свое наблюдение Николай взял ровенское гестапо и гебитскомиссариат. Он обзавелся помощниками из служащих этих учреждений. Вместе с ним работал и брат Жорж, который проживал в Ровно под именем Грегора Василевича.

Так, шаг за шагом, мы опутывали своей разведывательной сетью гитлеровские учреждения в Ровно.

Все наши разведчики почти безвыездно проживали в Ровно. В целях большей конспирации они действовали порознь. Каждый имел своего связного, через которого отправлял на «маяк» и в лагерь добытые сведения: Кузнецов — через Колю Маленького, Гнедюк — через связанных здолбуновской группы, Шевчук — через Мажуру, Струтинский — через Жоржа и Ядзю.

Разобщенность разведчиков диктовалась условиями конспирации, но время от времени наши люди связывались между собой, когда кому-нибудь требовалась помощь или нужно было согласовать действия.

Часто наши разведчики не знали, кто из отряда находится в Ровно. «Новички» не знали «стариков», «старики» не знали «новичков». Поэтому возникало много курьезов. Расскажу такой случай.

Николай Гнедюк бывал на квартире подпольщицы Лидии, которая активно нам помогала. Как-то известный уже нам Лео Метко случайно познакомил с ней оберлейтенанта Зиберта. Зиберт стал захаживать к Лидии, надеясь на то, что она сможет стать его помощницей.

Случалось, что Зиберт появлялся на квартире Лидии, когда у нее был Николай Гнедюк, и ей приходилось укрывать партизана от «немецкого офицера».

— Слушайте, — сказала она как-то Гнедюку, — надо убрать этого проклятого Пауля. Чего он сюда ходит? Вообще ненавижу его! Охорашивается постоянно, как индюк. По-русски ни слова не говорит, а по-польски так коверкает слова — слушать тошно!

— Стоит ли? — Гнедюк не знал, о ком идет речь.

— Стоит. Видный фашист.

Когда опять пришел Зиберт, Лидия предложила Гнедюку посмотреть на Пауля. Из соседней комнаты через замочную скважину Гнедюк увидел... Кузнецова. Пришлось раскрыть секрет. «Немецкий офицер», «проклятый Пауль» стал лучшим другом Лидии.

Или вот другой случай.

Однажды из Ровно пришли два наших разведчика. Они сообщили добытые сведения и рассказали, что нащупали одного украинца, сотрудника гестапо, который мешает им работать.

— Чем он вам мешает? — спросил Лукин.

— Он ходит к Ганне, у которой наша явочная квартира.

— Ну, а каков из себя? Что вы вообще о нем знаете?

— Да старый черт! Ходит в очках, появляется на нашей квартире... Да что там говорить, даже управдом знает, что он из гестапо. Пора расправиться с ним.

— Погодите, погодите! — заволновался Лукин. — А спекуляцией он занимается?

— А как же! Конечно.

Словом, выяснилось, что речь идет о Михаиле Макаровице Шевчуке.

Через некоторое время Шевчук устроил «свадьбу» — «женился» на Ганне. На этой «свадьбе» было много приглашенных. Был и агент уголовной полиции Марчук. Теперь Шевчук стал постоянным жителем Ровно, семейным человеком.

Но не все в нашей работе проходило гладко.

Несколько раз по нашим заданиям ходил в Ровно разведчик Карапетян. В городе он обычно останавливался на явочной квартире, где жила жена лейтенанта Красной Армии с двумя детьми.

Однажды Карапетян пришел на эту квартиру пьяный. Там оказались двое незнакомых людей. Пьяному, как говорят, море по колено. Карапетян начал хвастать:

— Вы знаете, кто я? Небось и не догадываетесь. Я опасный для немцев человек!

Хозяйка, став за спинами двух новых людей, стала делать Карапетяну предупредительные знаки: молчи, мол. Куда там!

— Я знаю, ты помалкивай! Вот... меня, брат, голыми руками не возьмешь. Вот, видали! — И он стал показывать револьвер и гранаты. — Что, испугались? Я вас не трону. А кого надо...

Незнакомцы послушали, послушали и, поспешно попрощавшись, ушли.

История эта имела печальные последствия.

Возвратившись в лагерь, Карапетян ничего не сказал о случившемся. Но Николай Струтинский, который пользовался этой же явочной квартирой, сообщил, что и хозяйку и ее детей гестапо арестовало.

Карапетян был допрошен в штабе отряда и во всем признался. Преступление это нельзя было простить. По решению командования отряда Карапетян был расстрелян.

А через несколько дней гестапо арестовало Жоржа Струтинского. Его выследили, когда он шел на явочную квартиру, проваленную Карапетяном.

Схватили Жоржа по дороге на «зеленый маяк». Ему удалось было вырваться. Отстреливаясь, он побежал, но был ранен и все-таки захвачен. Мы не сомневались в стойкости Жоржа: он не выдаст. Но опасались, что гестапо выследило других наших людей.

Поэтому было решено на некоторое время отозвать разведчиков из Ровно. Кузнецов, Шевчук, Гнедюк и Николай Струтинский покинули город и пережидали на станции Здолбуново.

Как выяснилось потом, предосторожность эта была излишней: гестаповцы ничего не узнали о нашей работе в Ровно.

ВСТРЕЧИ С КОВПАКОМ

Еще в феврале 1943 года, когда наш отряд в полном составе находился в Сарненских лесах, мы часто получали сообщения от наших разведчиков из Ровно, Сарн, Клесова и Ракитного, а также от местных жителей, что где-то на севере от нас действует крупное партизанское соединение.

— Ковпак ведет тысяч сто партизан,— говорили местные люди.

«Фельджандармерия и каратели сильно обеспокоены каким-то крупным партизанским отрядом под командованием Ковпака. Немцы и немки с ужасом рассказывают, что Ковпак везде появляется неожиданно, истребляет немецкие гарнизоны, взрывает мосты и эшелоны. Боятся, чтобы он не пришел в Ровно»,— с торжеством писал мне Кузнецов.

Что это за соединение и кто такой Ковпак, мы тогда еще не знали.

Вскоре разведчик Валя Семенов доложил мне, что в Князь-Село прибыли партизаны Ковпака и расквартировываются по соседним селам.

— Ты их видел?

— Самого Ковпака еще не видел, но к нам едут его представители.

И правда, через час я уже познакомился с представителем Ковпака. Я увидел человека среднего роста, коренастого, с большой бородой. Он слез с седла и представился:

— Вершигора, начальник разведки отряда Ковпака.

На петлицах его гимнастерки — три прямоугольника, означавших, что он подполковник. На левой стороне груди — новенький орден Красного Знамени.

Вершигора скупое отвечал на наши расспросы, зато очень подробно интересовался обстановкой: как расположены немецкие гарнизоны, много ли войск в Ровно и области, какие села контролируются партизанами.

— Сидор Артемьевич Ковпак и Семен Васильевич Руднев решили отпраздновать годовщину Красной Армии. Они просили меня передать вам приглашение прибыть к нам в Князь-Село на праздник, — сказал Петр Петрович Вершигора.

На рассвете 23 февраля я в сопровождении Пашуна и небольшой группы партизан выехал в Князь-Село.

Много раз за время партизанской жизни мне приходилось встречаться во вражеском тылу с партизанскими отрядами, разведчиками, с отдельными партизанами, и всегда эти встречи как-то особенно волновали. «Мы не одни здесь. Нас много. Мы везде», — думалось мне. Но встреча с Ковпаком и его людьми запала мне в душу на всю жизнь.

Когда мы проезжали через села Ленчин и Рудню-Ленчинскую, где расположились подразделения Ковпака, я забыл, что нахожусь во вражеском тылу. По улицам ходили бойцы, вооруженные автоматами и ручными пулеметами. На шапках ярко горели красные ленты и красноармейские звезды. Многие ковпаковцы были награждены, и новенькие ордена и медали поблескивали на их гимнастерках. Кое-где у хат стояли станковые пуле-

меты и даже орудия. Партизаны распевали песни и лихо здоровались.

Ковпак в моем представлении был человеком огромного роста, с громовым голосом. Каково же было мое изумление, когда я увидел перед собой худенького человека лет шестидесяти, с тихим голосом. На его груди сверкали Золотая Звезда и орден Ленина.

— Здравствуйте, товарищ Медведев! — сказал Сидор Артемьевич. — Много я слышал о вас и в Брянских лесах, и здесь, на Украине. Добре работаете!

Ковпак стал забрасывать меня вопросами: давно ли мы в этих местах, как ведем работу, долго ли будем сидеть под Ровно. Я подробно рассказал Сидору Артемьевичу обо всем.

— А сидеть будем здесь до тех пор, пока сюда придет Красная Армия.

В это время в комнату вошел высокий, красивый человек с орденами на гимнастерке. Лицо у него было очень утомленное.

— Знакомьтесь: это мой комиссар, — показывая на вошедшего, сказал Ковпак.

Мы тепло поздоровались. Семен Васильевич Руднев включился в разговор.

— Правда, что вы имеете в Ровно своих партизан? — спросил он.

Услышав подтверждение, Семен Васильевич еще больше оживился. Он расспрашивал меня о всех тонкостях дела: как мы добились этого, по каким документам наши люди туда ходят, как удалось установить связь с местной большевистской подпольной организацией, кто такой Новак, как мы совместно организуем операции.

— Вот и нам бы организовать такую работу, Сидор Артемьевич, — сказал Руднев, обращаясь к Ковпаку.

Сидор Артемьевич попросил меня снабдить начальника разведки подходящими документами и добавил:

— Хлопцы для города у нас найдутся, только вот немца у меня нет.

— Какого немца? — спросил Руднев.

— Да у них один партизан в Ровно под немца работает.

— Ишь ты!.. Повидать его можно?

— К сожалению, нет. Он сейчас в Ровно, — ответил я.

— А нельзя ли через вашего немца узнать в Ровно о результатах диверсий, которые мы провели в Ровенской области?

Я обещал, что поручу это Кузнецову.

Близился вечер. В трех комнатах были накрыты праздничные столы. За ними уселись штабные работники, командиры батальонов и рот, всего человек семьдесят.

Первый тост за родную партию поднял Сидор Артемьевич Ковпак. За ним выступил Семен Васильевич Руднев. Нужно было видеть, с какой любовью слушали собравшиеся командира и комиссара!

Затем слово предоставили мне.

Я говорил о своем отряде, о том, какой переполох у гитлеровцев вызвало появление Ковпака и ковпаковцев; не случайно, видимо, каратели, заходя в села и хутора, прежде всего спрашивают: «Ковпака нет?» Рассказал, что немецкие «правители» и их жены в Ровно смертельно боятся, что Ковпак нападет на Ровно.

Праздник закончился веселыми танцами под аккомпанемент баяна. На рассвете мы выехали к себе в лагерь.

А через три дня, когда соединение Ковпака уходило по своему знаменитому маршруту на Карпаты, мы передали комиссару Рудневу подробные сведения, которые его интересовали.

С тех пор прошло четыре месяца. Мы перебрались за это время дальше на запад, за реки Случь и Горынь, обосновались в Цуманских лесах.

Помню жаркий июньский день, когда у моей палатки появился встревоженный связной, посланный секретным постом, выдвинутым к одной из дорог в двух километрах от лагеря.

— Товарищ командир, вдоль дороги со стороны села Журавичи движется немецкая колонна. Впереди — конные, за ними — солдаты на фурманках. Есть и пушки.

Не успел я разобраться в этом донесении, как одновременно, запыхавшись, подбежали двое: боец с одного из постов, охранявших лагерь, и партизан, пасший наш скот на лесной полянке близ лагеря. Оба подтвердили, что своими глазами видели немецких конников.

Сомнений быть не могло: гитлеровцы появились с трех сторон.

Стехову с поддежурным взводом я приказал выдвигаться в сторону противника и наладить там командный пункт. Сам остался на месте, чтобы подготовить остальных и держать связь с другими постами.

Не успел Сергей Трофимович отойти и двухсот метров, как длинная пулеметная очередь прорезала лесную тишину. За ней — плотный автоматный и винтовочный огонь.

Я решил, что стреляют наши, и, опасаясь, что они зря пожгут патроны, которых у нас и так мало, послал связного с приказом стрелять прицельно, беречь боеприпасы.

Связной мигом скрылся за деревьями.

В это время докладывают:

— Товарищ командир! С поста сообщают: немцы на дороге разворачивают пушки.

Приказываю Базанову:

— Взять тридцать пять автоматчиков, захватить пушки!

Базанов мигом скрылся в лесу.

Бой разгорается. Доносятся крики «ура».

«Неужели Стехов повел людей в атаку, не предупредив меня?» — подумал я. Но вернулся посланный мной связной и доложил:

— Ваше приказание передано. Товарищ Стехов сообщил, что стрельба идет со стороны гитлеровцев, а наши стреляют мало. Он удивляется, что со стороны противника непрерывно слышится громкое «ура».

— Передать Стехову: людей в атаку не пускать. Справа от него — пушки, туда выслан Базанов. Пусть с ним свяжется.

Все же обстановка боя была неясной. Почему со стороны противника кричат «ура»? Неужели немцы послали вперед предателей? Ни я, ни оставшийся со мной Лукин ничего понять не могли. Наконец все прояснилось.

Командиром поддежурного взвода, который пошел со Стеховым, был Борис Крутиков. Применяясь к местности, прячась за деревьями и пнями, наши товарищи близко подобрались к противнику. Вдруг совершенно отчетливо Крутиков услышал:

— Ты что же, Борис, в своих стреляешь?

Кричал ему женский голос со стороны наступавших. Крутиков присмотрелся и чуть не обмер. В «против-

нице» он узнал свою соученицу, с которой когда-то в киевской школе сидел за одной партой. Они бросились друг другу в объятия.

А рядом события разворачивались так.

Приблизившись к дороге, где противник готовил к бою артиллерию, Базанов, чтобы нагнать на врага панику, громко скомандовал:

— Батальон! Первая рота — вправо, третья — влево вторая — за мной!

Тут к нему подбегает незнакомый человек:

— Да наш батальон уже развернулся!

— Какой батальон?

— Второй батальон Ковпака!

Стрельба прекратилась, началось «братание»: на нас «наступали» ковпаковцы.

С Сергеем Трофимовичем Стеховым мы пошли к Ковпаку. И если первая наша встреча, в феврале, была очень теплой, очень дружеской, то эту встречу с Сидором Артемьевичем мы в шутку называли «горячей».

Ковпаковцы шли сейчас на Карпаты. Они были крепко вооружены, хорошо одеты и обуты. Неожиданность их появления в наших новых краях объяснялась тем, что двигались они быстро, последний их переход превышал пятьдесят километров. Ни наша разведка, ни тем паче местные жители не могли предупредить нас об их приближении. А за немцев их приняли потому, что почти все конники-ковпаковцы были одеты в трофейное немецкое обмундирование.

Несколько дней простояли ковпаковцы неподалеку от нашего лагеря, и каждый день то Ковпак с Рудневым приходили к нам в гости, то мы ходили к ним.

— Покажите нам вашего немца,— вспомнил о Кузнецове Сидор Артемьевич.

Назавтра Ковпак и Руднев были у нас, и я представил им только что возвратившегося из Ровно нашего немца — Николая Ивановича Кузнецова.

— О це дило! — говорил Ковпак, слушая рассказы Кузнецова о своей работе в самой гуще гитлеровцев.

За столом Сидора Артемьевича удивила колбаса, которой мы угощали гостей. Тут и московская, и краковская, и чайная, тут и сосиски, и окорока.

— Откуда така добра ковбаса?

— Сами делаем, Сидор Артемьевич.

У нас к тому времени действительно наладилось производство колбасы, но не ради роскоши или прихоти мы занялись этим делом. Разведчики уходили из отряда на неделю или две. Несколько человек постоянно дежурили на «маяках». Им надо было питаться, а заходить в села за продуктами не разрешалось. Что можно было им дать с собой, кроме хлеба? Вареное мясо быстро портилось, и люди жили впроголодь. Выручила самодельная колбаса. Нашлись у нас такие специалисты-колбасники, что любая фабрика позавидует. Все это я и рассказал Сидору Артемьевичу.

Часа через два, когда мы еще сидели за столом, появилась целая группа ковпаковцев.

— Товарищ командир Герой Советского Союза!—обратился один из них к Ковпаку.— Разрешите обратиться к полковнику Медведеву?

— Разрешаю,— ответил Ковпак.

— Товарищ полковник, мы прибыли к вам с просьбой обучить нас делать колбасу.

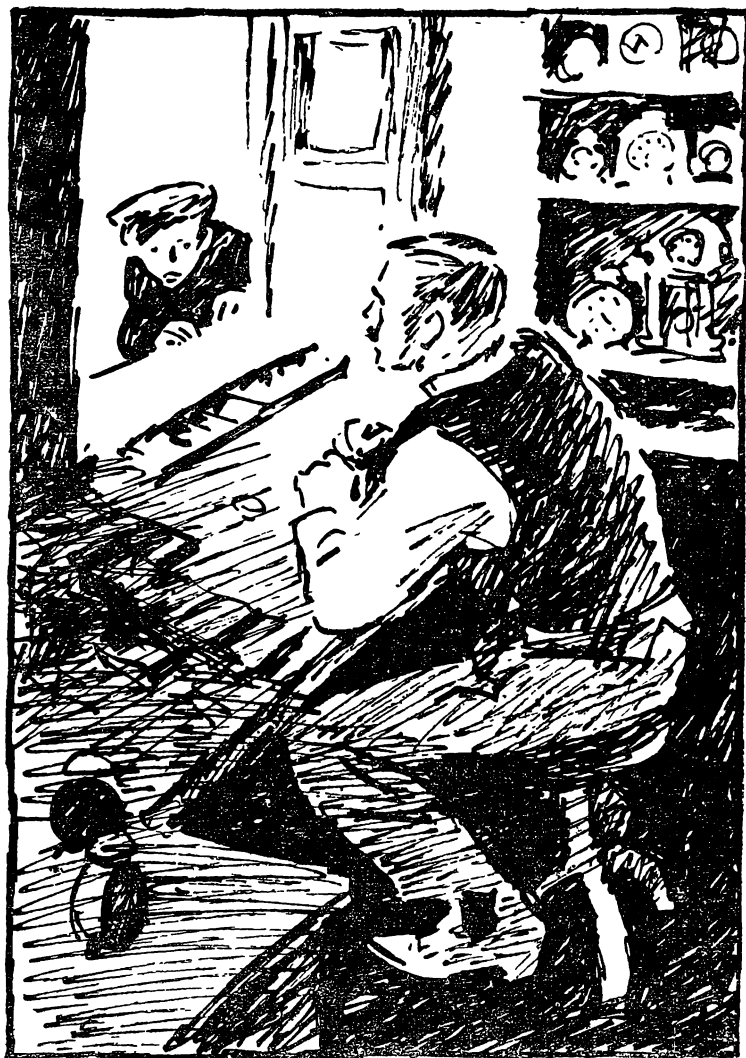
Оказывается, пока мы сидели и закусывали, Сидор Артемьевич послал связного с запиской к своему начальнику хозяйства, чтобы тот выделил людей для обучения их колбасному искусству.

...Соединение Ковпака ушло дальше по своему маршруту. Перед его уходом мы выработали специальный код и условились о расписании для радиосвязи и позывных, чтобы взаимно информировать друг друга о наиболее важном, что могло помочь обоим отрядам.

ВОЛОДЯ

На тихой ровенской улице в маленькой конурке помещалась часовая мастерская. Вывеска «Починка часов всех систем» была больше окошка, около которого работал мастер, по фамилии Дикий. В этой мастерской была наша явка. Пользовались этой явкой Михаил Макарович Шевчук и три других наших партизана.

Однажды Дикий заметил, что мимо окна, внимательно вглядываясь, несколько раз прошел мальчик лет одиннадцати-двенадцати.



— Дяденька! Вы не знаете, где мне найти партизан?

На другой день к Дикому зашел Шевчук. Он подал в окошко свои часы, тихонько что-то сказал и, взяв обратно часы, ушел. Но тут же Дикий на противоположной стороне улицы вновь заметил того же мальчика.

«Тут что-то неладное», — подумал часовщик.

Прошел час, другой. Мальчик вдруг появился у окна и, просунув голову, спросил:

— Дяденька! Вы не знаете, где мне найти партизан?

— Да что ты, угорел, что ли? Каких тебе партизан?

Большие черные чистые глаза мальчика стали сразу испуганными. Но от часовщика он все же не отошел.

— Я думал почему-то, что вы знаете. Может, вы кого-нибудь знаете, кто знает партизан?

— «Знаете... знает»!.. Да откуда мне знать!

— Ну ладно, — сказал мальчик и отошел.

Но Дикий заинтересовался мальчиком. Выйдя из мастерской, он крикнул ему вдогонку:

— Мальчик, а мальчик, вернись-ка!

Тот снова подбежал к окошку.

— Заходи ко мне.

Мальчик вошел в мастерскую.

— Тебе зачем партизаны?

— Этого я не имею права говорить, могу сказать только командиру партизанского отряда Медведеву.

— Вон ты какой! Ну, посиди немного.

Дикий знал, что скоро должен прийти наш разведчик Лисейкин с бумагой от Шевчука. Вскоре Лисейкин действительно появился у окошка и передал донесение.

— Тут вот хлопец у меня. Возьми-ка его с собой и там разберись поосторожней.

На вопрос Лисейкина мальчик объяснил, что его послали в отряд Медведева из партизанского отряда имени Ленина, который находится под Винницей.

— Только больше я ничего не скажу, — решительно заявил посланец.

— Как же тебя зовут?

— Володя.

Лисейкин взял Володю с собой. Дикий только что передал ему распоряжение Шевчука явиться по определенному адресу, откуда пойдет машина к нам в лагерь.

С некоторых пор Кузнецов и Шевчук уже не хотели ходить пешком. Коля Струтинский так умело устроился,

что гараж ровенского гебитскомиссариата по первому требованию предоставлял ему машины. Самому ли Струтинскому, Кузнецову или Шевчуку требовалось выехать — легковая или грузовая машина к их услугам. Было даже несколько случаев, когда сам гебитскомиссар ожидал машину, не догадываясь, что его шофер обслуживает в это время партизан.

То, о чем я сейчас рассказываю, происходило в конце августа.

Я передал Кузнецову и остальным нашим разведчикам в Ровно приказание прибыть в лагерь для инструктажа.

К условленному месту им подали обыкновенную полуторку. Зубенко, шофер гебитскомиссариата, работавший на нас, устроил себе командировку в Луцк. Ему дали пропуск и груз: полмашины фашистских газет и листовок для Луцка.

Лисейкин пришел с Володией к месту отправки.

Николай Иванович — обер-лейтенант Зиберт, — стоя около машины, удивленно спросил:

— Откуда у тебя этот хлопчик?

— Да вот, ищет отряд Медведева, говорит, что послан от другого отряда.

— Забирай его в машину, после разберемся.

Но тут Володя вырвал свою руку из руки Лисейкина и бросился бежать.

Лисейкин в два прыжка догнал его и схватил:

— Ты куда, дьяволенок?

— Дяденька, отпусти, я нарочно сказал про партизан.

— Ах ты гаденыш! Значит, тебя жандармы подослали?

— Сами вы жандармы! — всхлипывая, сказал Володя и злобно посмотрел на Кузнецова.

— Ах, чтоб тебя! — рассмеялся Лисейкин. — Ты его испугался?

Он совсем не подумал о том, какое впечатление произведет на мальчугана Кузнецов в форме немецкого офицера.

Тогда, нагнувшись к Володе, он что-то сказал ему на ухо, и мальчик покорно уселся в машину.

В кузове сидели шесть наших разведчиков. Оружие

свое они прикрыли фашистскими газетами. Кузнецов сел рядом с шофером.

При выезде из Ровно, на заставе, висел огромный плакат, написанный на немецком языке:

«Выезд машин в одиночку не разрешается».

Немцы выпускали машины лишь колоннами, чтобы они могли отбивать нападение партизан.

На заставе Кузнецов объяснил, что ждать, пока соберется колонна, он не станет, так как имеет срочное поручение. Машину пропустили, но впереди оказалось большое препятствие.

Километрах в десяти от Ровно на дорожном столбе висело объявление, что путь впереди испорчен и надо ехать другой дорогой. Значит, следовало возвращаться назад чуть ли не на десять километров. Кузнецов решил ехать напрямик.

Еще издали он увидел, что у моста копошатся немцы. К машине, как только она подъехала, подошел немецкий офицер и, откозыряв «обер-лейтенанту» Кузнецову, сказал:

— Видите, мост сожжен. К тому же, господин обер-лейтенант, здесь в одиночку ехать нельзя: возможны засады партизан.

Кузнецов повысил голос:

— Что значит партизаны! Если партизаны, так, по-вашему, надо в квартирах отсиживаться? Сейчас война! У меня срочное поручение!

— Прошу обратиться к командиру полка,— перетрусив, сказал офицер.— Да вот он сам идет!

Кузнецов вышел из кабины и направился навстречу немецкому майору.

— Хайль Гитлер!

— Хайль!

В кузове машины разведчики уже держали наготове револьверы. Володя, который только что уверовал, что он уже у партизан, при новой опасности забился в угол кузова.

Через две минуты разведчики услышали, как командир полка саперов громко подал команду и солдаты, строившие мост, бросая топоры и лопаты, направилась к машине.

«Ну, начинается!» — подумали разведчики.

В это время Кузнецов спокойно подошел к грузовику.
— Все в порядке. Сейчас саперы перетащат нашу машину,— шепнул он.

— Сойти с машины? — спросил Лисейкин.

— Сидите!

Человек пятьдесят немцев-саперов стали тащить машину через кюветы и грязь в объезд сгоревшего моста.

— Давай, давай! — покрикивали наши из машины.

Эта процедура длилась минут пятнадцать. Как только саперы перетащили машину на другую сторону и поставили на шоссе, Зубенко дал газ и грузовик преспокойно поехал дальше.

В лагерь они прибыли поздно вечером. Услышав о Володе, я велел его уложить спать, чтобы поговорить утром, но мальчик тут же пришел ко мне сам.

— Вы командир Медведев?

— Да.

— У меня есть к вам секретное дело.

— Ну, говори.

— Я только вам одному могу сказать.

Со мной рядом стояли Стехов, Лукин, Кузнецов и Цессарский.

— Что ж,— улыбаясь, сказал я,— вам, товарищи, мы своих секретов не доверяем. Пойдем, Володя, в землянку.

Мальчик снял кепку, распорол подкладку и подал письмо. Я вскрыл конверт и стал читать. Письмо было напечатано на машинке.

Податель сего, сын секретаря парторганизации партизанского отряда имени Ленина Володя Саморуха, послан с заданием разыскать отряд Медведева...

Командир партизанского отряда имени Ленина просил сообщить в Москву о том, что такой отряд существует, действует, но не имеет радиостанции и поэтому не связан с Москвой. Далее командир давал свои координаты, назначал дни и условные сигналы для того, чтобы из Москвы послали самолет и сбросили им груз с радиостанцией. В заключение письма была еще одна просьба: отправить Володю в Москву.

Я посмотрел на мальчика. Он выпарывал из подкладки своих штанишек еще одно письмо.

— Еще письмо? — спросил я.

— Это такое же, как у вас. Если бы я кепку потерял, у меня здесь второе.

И он дал мне второй такой же конверт.

— Как же ты добрался к нам?

Оказывается, Володя шел пешком пятнадцать дней. Прошел он около пятисот километров. Ночевал то в лесу, то в поле, а то в каком-нибудь сарае. Питался тем, что подавали люди. Когда его спрашивали, откуда он, Володя говорил, что родители его убиты и он идет к своей тетке. Эта «тетка» каждый раз меняла свой адрес. В районе Проскурова он говорил, что тетка в Шепетовке, а в Шепетовском районе рассказывал, что тетка живет в Ровно.

В Ровно бродил несколько дней, пока не присмотрелся к часовому мастеру.

— Да почему ты решил, что этот мастер знает партизан?

— Не знаю. Так показалось, что знает. Да если бы он гадом оказался, я все равно успел бы убежать.

— Ой, Володя! Просто тебе повезло!

Володя остался у нас в отряде. Долгое время мы не могли его отправить в Москву. Он и не хотел от нас улетать.

Партизаны полюбили мальчика. Ходил он всегда веселый, улыбающийся, чистенький, как будто его каждый день мыли.

Теперь, когда в лагерь приходил Коля Маленький, он имел боевого товарища. И Володя и Коля были уже опытными партизанами, но у Коли имелось больше интересных историй.

— Я уж пятнадцать раз ходил с «маяка» в Ровно. Ты знаешь, как страшно бывает. Иду я в один приличный день. Полицейских дополна везде. Иду и все кланяюсь: «Здравствуйте! Добрый день!» А одному не сказал «здравствуйте». Он выхватил пистолет и кричит:

«Вернись сюда, становись к стенке!»

Я — плакать:

«Дяденька, не убивайте!»

А сам думаю: пропадут и письмо к Николаю Ивановичу, и деньги, какие у меня в штанах защиты.

А он орет:

«Ты куда идешь?»

«Домой, дяденька. Я к мамке в больницу ходил».

Ну, поверил, отпустил.

А в один приличный день я познакомился на одной нашей квартире в Ровно с Геней Боган, ему только десять лет. Я его спросил: «Хочешь моим адъютантом быть?» Он говорит: «Хочу». Стали мы с ним вместе ходить. Пошлет меня Кузнецов к кому-нибудь из наших, мы идем вместе — и веселей и незаметней. Один раз он ходил со мной и на «маяк». Уморился, еле дошел. В один приличный день мы с ним пошли в магазин купить кой-чего. Я даю продавцу двадцать марок и прошу сдачи, а он говорит:

«Откуда у тебя деньги? Сейчас в полицию отведу!»

Мы бросили деньги и убежали. С этих пор Геня забоялся...

Володя с огромным удовольствием и вниманием слушал рассказы Коли Маленького.

Рассказал он Володе и про историю с мячом, о которой в отряде не знали.

Известна эта история была только Кузнецову и Вале, но они пообещали мальчику о ней не рассказывать. Вот как сам Коля Маленький излагал события:

— Николай Иванович оставлял меня то на одной, то на другой квартире, чтоб я заметный не был. В один приличный день послал он меня к одной тете. Прихожу, спрашиваю: «Нет ли у вас продажного мыла?» Это пароль такой был. «Есть,— говорит.— Заходи». На следующий день вышел я на улицу с ее хлопцем. Гуляю и жду, когда за мной придут. Вдруг вижу — лежит мячик. Хороший черный мячик, каким в лапту играют. Только хотел я его поднять, а хлопец его цап — и в карман. Я ему: «Отдай!», а он не дает. Ну, мы с ним подрались. Мяч я у него отобрал, а он заревел и побежал к мамке. Ох и попало мне тогда от Николая Ивановича! Он забрал у меня мячик и отдал тому хлопцу. Жалко мне было мяча, но я молчал, только просил, чтоб об этом деле никому не рассказывали. И ты, Володя, никому не говори. Засмеют. Скажут: вот партизан, из-за мячика подрался...

Немного даже грустно было слушать эти правдивые детские рассказы наших маленьких помощников-парти-

зан. Им бы в школу ходить, на речке плескаться или зимой на коньках бегать. Война оторвала ребят от привычного, милого детства и бросила в суровую партизанскую борьбу. Но все мы там, в отряде, от всего сердца благодарили наших славных малышей за верную службу народу.

ИЗ КОГТЕЙ

Долго не могли мы узнать, где находится Жорж Струтинский, схваченный фашистами. Старикку Владимиру Степановичу ничего не говорили, вернее, говорили не то, что было на самом деле.

— Владимир Степанович, вы понимаете, работа у нас секретная. Сказать, где Жорж и что он делает, не могу. Но будьте спокойны: вернется ваш Жорж.

И старик, успокоенный, уходил от меня.

Но Николай Струтинский знал, что случилось с Жоржем, и страшно переживал это несчастье.

Разные попытки предпринимал Николай, чтобы узнать о судьбе брата, и наконец напал на след.

Еще летом он познакомился с девушкой, по имени Лариса, которая работала уборщицей в гестапо. Это была худенькая, по внешности незаметная девушка.

Лариса охотно приняла на себя опасные обязанности разведчицы. Чтобы начальство было ею довольным, она работала очень добросовестно, тщательно убирала помещение, охотно выполняла мелкие поручения. И так же тщательно Лариса выносила из помещения гестапо важные для нас секретные документы: топографические карты, книги ордеров на право обыска и ареста, бланки протоколов обыска. Один раз она принесла Николаю Струтинскому печать гестапо, которую взяла из стола начальника. В этом она перестаралась. Коля Струтинский уже давно сделал для отряда такую же печать по попавшему к нам оттиску, и мы часто пользовались ею, делая документы для разведчиков. Кража печати могла вызвать большой шум. Пришлось Ларисе спешно вернуться в кабинет начальника и незаметно положить печать на место.

При уборке Лариса, собирая использованную копировальную бумагу, не бросала ее в мусор, а приносила

Николаю. При помощи зеркала ему удавалось прочитывать копики. Попадались тут списки заложников, фамилии приговоренных к расстрелу, инструкции, как замаскировать трупы расстрелянных.

И вот однажды с помощью зеркала Николай прочитал на копировальной бумаге список арестованных и среди них фамилию: «Василевич Грегор». Это был Жорж.

Стало ясно главное: Жорж жив и на допросе не назвал своего подлинного имени.

Лариса была знакома с некоторыми работниками гестаповской тюрьмы, и через нее Николай связался с ними. Подход был простой — деньги. За взятки делали всякие «одолжения». Тюремщики подтвердили, что Грегор Василевич находится в тюрьме. Еще взятка — и они разрешили передачу арестованному. Николай передал Жоржу обувь, белье и продукты.

Постепенно Николаю стали известны всякие подробности. Рана у Жоржа начала было затягиваться, но на допросах его так избивали, что она вновь открывалась. Потом узнали, что Жоржа почти ежедневно допрашивают: подозревают, что он советский партизан. Жоржу угрожал расстрел или смерть от пыток при допросах.

В отряде у нас был еще один родственник Струтинских — Петро Мамонец, бывший капрал польской армии. Он родной брат Ядзи. Николай Струтинский прибыл в начале сентября в лагерь и попросил разрешения взять с собой Мамонца.

— С ним я попробую освободить Жоржа.

Они отправились в Ровно. Там довольно быстро Николаю удалось устроить Мамонца в охранную полицию. Мамонец оказался очень старательным «полицаем». Все время вертелся на глазах начальства, ругал партизан почему зря и главное — задабривал начальство маслом, салом и нашей партизанской колбасой. Скоро его назначили старшим полицейским по охране арестованных. Мамонец и сам уже повидал Жоржа.

— Его трудно узнать, — рассказывал он Николаю. — Что сделали с парнем! Кости да кожа...

Посылки теперь Жорж получал часто, но и они не могли поддержать здоровье человека, которого чуть не ежедневно избивали.

Мамонец установил дружбу со старшим надзирателем гюрьмы и предложил ему «выгодную сделку». Он сказал, что в одной частной строительной конторе можно здорово заработать на арестованных.

— Дай-ка мне десятка два арестованных и трех-четырех охранников. Я буду гонять их на работу. Заработанное — пополам.

Тот долго не соглашался, но продукты и деньги, будто бы данные авансом строительной конторой, «убедили» старшего надзирателя.

В конце октября Мамонец узнал, что Жорж значится в списке приговоренных к расстрелу. Этого и сам Жорж еще не знал. Ждать было больше невозможно.

3 ноября Мамонец погнал партию арестованных на работу. За особую взятку в числе других послали и Жоржа. Когда арестованных выводили из камеры, Мамонец успел шепнуть Жоржу несколько слов.

Заключенные прошли два квартала, и Жоржу стало «дурно». Как старший полицейский, Мамонец распорядился охранникам вести арестованных.

— А с этой сволочью,— сказал он,— разделаюсь сам.

И потащил «бесчувственного» Жоржа во двор.

Охранники были уверены, что там он его прикончит.

Но как только Мамонец втащил Жоржа во двор, тот встал, вместе они перелезли через забор и следующим двором вышли в переулочек. Там уже второй день дежурила машина, в которой находились Коля Струтинский и Кузнецов.

Радости по поводу спасения Жоржа не было предела. Для старика Струтинского это являлось и радостью и горем вместе. Только теперь, когда Жорж прибыл в лагерь, он узнал, какая опасность грозила сыну. Когда-то краснощекого, вечно улыбающегося Жоржа нельзя было узнать. Он был истощен до последней степени. На все вопросы отвечал односложно.

— Били?

— Били.

— Ну, а ты как?

— Да как же! Ничего.

— Терпел?

— Сначала терпел, молчал, а потом ругаться стал.

— Ну, а они?

— Да что же они! Еще сильнее били.

Мы постарались сделать все возможное в лагерной, лесной обстановке, чтобы здоровье Жоржа поправилось. Молодость взяла свое, и скоро он снова стал работать в разведке.

ВОЗМЕЗДИЕ

Эрих Кох... Пауль Даргель... Герман Кнут... Эти имена были хорошо известны в Западной Украине, временно захваченной гитлеровцами. Главари гитлеровской шайки со своими подручными грабили, душили, уничтожали все живое на украинской земле. Одно упоминание этих имен вызывало содрогание и ненависть. С их именами связаны застенки и виселицы, рвы с заживо погребенными, грабежи и убийства, тысячи и тысячи погибших ни в чем не повинных людей.

Эрих Кох, являясь одновременно рейхскомиссаром Украины и гауляйтером Восточной Пруссии, в Ровно бывал только по несколько дней, наездами, а остальное время проводил в Кенигсберге, где у него были собственные заводы и фабрики.

Пауль Даргель, заместитель Коха по «политическим делам», почти безвыездно находился в Ровно. Лишь время от времени он вылетал в Киев, Николаев, Днепрпетровск или другие города, чтобы на месте направлять «деятельность» своры гитлеровских правителей: Руководство сетью националистических банд исходило тоже от Даргеля.

Николай Иванович Кузнецов уже давно готовился совершить акт возмездия над гитлеровскими главарями на Украине. В начале сентября в течение нескольких дней мы подробно обсуждали план его действий.

Перед уходом из лагеря, прощаясь со мной, Кузнецов передал мне запечатанное в конверте письмо.

— Это на всякий случай. Сберегите,— сказал он и, пожав мне руку, быстро ушел.

Я посмотрел на письмо. На конверте было написано только четыре слова: «Вскрыть после моей смерти».

Валя Довгер к этому времени уже работала в рейхскомиссариате. Она должна была изучить распорядок дня Даргеля: когда он приходит на работу, когда уходит,

все его приметы. Это поручение Валя тщательно выполнила. Она рассказала Кузнецову все подробности, даже провела его по маршруту, где обычно проходил Даргель. При этом сказала, что Даргель ежедневно выходит из рейхскомиссариата в 14 часов 30 минут, и при нем всегда адъютант с кожаной папкой красного цвета. Самого Даргеля Николай Иванович видел только раз на параде, когда тот выступал с речью, и надеялся на свою память.

Это было 20 сентября. Шофер ровенского гебитскомиссариата, военнопленный Калинин, предоставил Николаю Ивановичу новенькую легковую машину «оппель-капитан» — личную машину гебитскомиссара.

На эту машину за шофера сел Струтинский, одетый в форму немецкого солдата, пассажиром — Кузнецов, все тот же лейтенант Пауль Зиберт.

Даргель жил в особняке на одной из главных улиц, которую гитлеровцы называли Шлоссштрассе.

На этой улице жили только высшие немецкие чиновники. Там не разрешалось ходить украинцам и полякам. Только немцы могли здесь появляться.

В полной готовности Кузнецов и Струтинский поехали на машине по маршруту, где ходил Даргель. Время было выбрано такое, когда Даргель должен был идти из рейхскомиссариата в свой особняк. Успех решала минута.

Стоять на улице с машиной и ждать было рискованно. У особняка Даргеля постоянно дежурил один фельд-жандарм; на улице Шлоссштрассе их было несколько. Кроме того, за две минуты до выхода Даргеля из рейхскомиссариата появлялись жандарм в чине фельдфебеля и агент гестапо в штатском. Они шли впереди Даргеля, просматривая, нет ли чего подозрительного.

Кузнецов и Струтинский решили устроить дежурство в переулке, откуда был виден выход из рейхскомиссариата. Точно в 14 часов 30 минут из парадного хода рейхскомиссариата вышел генерал и с ним адъютант в чине майора, с красным портфелем под мышкой.

— Они, — сказал Кузнецов. — Коля, газ!

Машина быстро догнала обоих гитлеровцев. Кузнецов вышел из машины с револьвером в руке, подошел сзади к генералу и его адъютанту. Те, слышав шаги, обернулись. Кузнецов в упор трижды выстрелил в генерала,



Кузнецов в упор трижды выстрелил в генерала, потом в его адъютанта.

потом в его адъютанта, и когда те упали, он еще по разу выстрелил в них.

Кузнецов прыгнул в машину, Струтинский дал полный газ, и она вмиг скрылась из виду. Все это произошло в течение каких-нибудь двух минут.

При выстрелах люди, которые шли по улице, кинулись врассыпную. Произошло это во время обеденного перерыва, и людей было много.

Окна домов захлопнулись, а когда все опомнились, машины и след простыл.

Кузнецов был уже у нас в лагере, когда дня через два после этого разведчики Куликов и Галузо принесли из Ровно немецкие и украинские газеты. Николай Иванович с нетерпением схватил газеты, начал читать и... обомлел. Оказывается, убит был не Даргель, а имперский советник финансов доктор Ганс Гель и его адъютант Винтер. Гель совсем недавно приехал в Ровно, чтобы выкачивать налоги с населения.

— Ай, Николай Иванович, как же это вы опростоволосились! — сказал я Кузнецову.

— Наваждение, определенно наваждение! Я отчетливо помнил лицо Даргеля. Опять же этот адъютант с красным портфелем. Что все это значит? — не переставал удивляться Кузнецов.

Как после выяснилось, Гель действительно был похож на Даргеля, а поскольку Кузнецов только один раз видел его, он мог ошибиться. Но ошибка эта была исправимой...

Через десять дней после убийства Геля Кузнецов и Струтинский снова приехали в Ровно. Кузнецов теперь уже был в чине гауптмана — капитана (обер-лейтенанта в немецкой форме разыскивали).

На «оппеле», перекрашенном в черный цвет, стоял другой номер. Также среди белого дня, в 14 часов 30 минут, на том же самом месте Кузнецов метнул противотанковую гранату в Даргеля и его адъютанта. Оба они упали. Небольшой осколок гранаты попал в левую руку Николая Ивановича, но это не помешало ему быстро сесть в машину.

На этот раз опасность была большая. Недалеко стояла немецкая дежурная машина — Струтинскому пришлось проехать мимо нее. Гестаповцы метнулись к своей

машине, но шофер, видимо, перепугался и никак не мог завести мотор, а когда завел, черный «оппель» уехал уже далеко.

Началась погоня. На окраине города гестаповская машина уже была видна Кузнецову.

— Сворачивай влево! — крикнул он Струтинскому, заметив, что впереди них идет такой же «оппель» черного цвета.

Струтинский свернул в переулок, потом в другой. Погони не было видно.

Гестаповцы продолжали гнаться за «оппелем», но не за тем, где находились наши товарищи.

Уже за городом немцы поймали «преступников». Они нагнали черный «оппель» и открыли по нему стрельбу. Пуля попала в крышу, и «оппель» на полном ходу, резко повернув в сторону, свалился в кювет. Из машины гестаповцы вытащили полумертвого от страха немецкого майора, избили его и увезли в гестапо.

Кузнецов и Струтинский благополучно вернулись на «зеленый маяк», а оттуда в лагерь.

Но, как выяснилось позже, Даргель не был убит. Граната упала в бровку (кромку) тротуара, осколки и взрывная волна ударили главным образом в обратную сторону. Даргель был оглушен и тяжело ранен, и его тут же вывезли в Берлин. Карьера правительственного президента кончилась.

А из Берлина вскоре последовал приказ о снятии начальников ровенского гестапо, фельджандармерии и многих видных сотрудников этих учреждений.

Шум, поднятый в связи с этими актами возмездия, радовал советских людей: и здесь, во вражеском тылу, смелые партизаны расплачивались с гитлеровскими захватчиками!

Гитлеровцы, назначенные на освободившиеся посты, тоже не помогли оккупантам.

А на «зеленом маяке» вновь началась подготовка. Здесь только что перекрасили недавно уведенную из гаража рейхскомиссариата машину «мерседес». Машина еще не высохла, когда Кузнецов и Струтинский уселись в нее, чтобы ехать в Ровно.

— В один приличный день заметят, что краска сже-
лая, вот и попадетесь,— предупреждал Коля Маленький.

— А мы поедем побыстрее, вот краска и просохнет,— отвечал ему Струтинский.

Блестя свежей краской, «мерседес» с Кузнецовым и Струтинским подъехал к Ровно. У заставы их остановили.

— Хальт! Ваши документы.

Кузнецов предъявил документы на себя и на автомашину. Их пропустили. Но проехали квартал — снова застава:

— Хальт! Ваши документы!

Кузнецов возмутился:

— Позвольте, у нас только что проверяли!

Жандарм доверительно пояснил:

— Извините, но сегодня на каждом шагу будет проверка: мы ловим бандитов, одетых в немецкую форму.— И, посмотрев документы Кузнецова, он добавил: — Пожалуйста, проезжайте.

— Коля, сворачивай в ближайший переулок. Этак где-нибудь да нарвешься,— сказал Кузнецов Струтинскому.

Проехав квартал, Струтинский свернул в переулок. На углу Николай Иванович остановил «мерседес» и вышел на мостовую.

— Коля, смотри за главной улицей, а я буду помогать немцам.

Через несколько минут Кузнецов остановил проезжавшую машину:

— Хальт! Ваши документы!

Проверил и пропустил. Потом видит — идет вторая машина. Он поднял руку. Машина остановилась.

— Хальт! Ваши документы!

Ему отвечают:

— Господин капитан, у нас уже три раза проверяли!

— Извините, но сегодня на каждом шагу вас будут проверять: мы ловим бандитов, переодетых в немецкую форму.

Не успела отъехать эта, показалась новая.

— Хальт! Ваши документы! — грозно приказывает Кузнецов.

— Не беспокойтесь, господин капитан,— говорит один из пассажиров, показывая гестаповский жетон,— мы ловим того же бандита.— И, улыбаясь иронически — что ж, мол, дружок, своих не узнаешь,— поехали дальше.

Два часа проверял Кузнецов документы, пока Коля Струтинский не сказал ему, что на других улицах заставы уже сняты. Тогда они сели в свою машину и спокойно поехали.

Когда-то на параде Кузнецов и Валя видели на трибуне необыкновенно толстого человека. Это был генерал Кнут, заместитель рейхскомиссара Украины по общим вопросам и руководитель грабительской конторы «Пакетаукцион».

Грабеж населения был профессией Кнута; все достояние конторы «Пакетаукцион» состояло из награбленного. Сам Кнут наиболее ценное отбирал для себя лично. На этом деле он несказанно разбогател и так разжирел, что ему трудно было ходить. Выглядел он точь-в-точь как большая свиная туша.

Контора «Пакетаукцион» помещалась близ железной дороги, на улице Легионов. На этой улице, недалеко от конторы, Кузнецов, Струтинский и Ян Каминский остановили свою машину. Ждать им пришлось недолго. С немецкой точностью, ровно в шесть часов, Кнут выехал из конторы.

Каминский приподнялся и, когда машина Кнута поворачивалась, бросил в нее противотанковую гранату. Переднюю часть машины разнесло; потеряв управление, она ударилась в противоположный забор. Николай Иванович и Струтинский открыли огонь из автоматов и после этого умчались.

Геля немцы хоронили пышно, с венками, с ораторами. Газеты были заполнены некрологами и статьями. О покушении на Даргеля тоже много шумели. А вот о Кнута нигде не единого слова не было ни сказано, ни написано. Как будто его и не было на свете, как будто ничего не случилось!

Кнут был убит, но немцы решили об этом молчать. В самом деле: они «хозяева», они установили «новый порядок», они «непобедимы», а их главарей среди белого дня на улицах Ровно, в столице оккупированной Украины, убивают партизаны!

К тому же поймать виновников никак не удастся. Лучше уж молчать. И без того создана невыносимая обстановка: на улицу не выйдешь не только ночью, но и днем.

Осенние дожди и холодные ночи сильно докучали партизанам, особенно тем, которые не имели теплой одежды. За лето полушубки, сброшенные нам на парашютах прошлой зимой, поистрепались. Ими пользовались вместо подстилок, когда ложились спать у костров. У новых партизан теплой одежды вообще не было.

Пришлось думать о строительстве зимнего лагеря.

Место для лагеря было выбрано в лесу, между селами Берестяны и Лопатень, недалеко от узкоколейной железной дороги. Вековые сосны прикрывали наше строительство с воздуха, а густые кустарники маскировали лагерь со стороны узкоколейки и большой дороги, идущей параллельно ей.

Размеры строительства были немалые. Требовались большие помещения для четырех рот, для штаба, разведки, санитарной части, радистов, хозяйственной роты; нужны были бани и другие подсобные строения.

Опыт строительства лагеря мы уже имели. Сначала распланировали строительную площадку, определили сроки, потом уже приступили к работе.

Деревьев не только на месте строительства, но и на расстоянии двух километров вокруг мы не срубали, чтобы не оголять место лагеря. Для каждой постройки рыли полутораметровые котлованы; над землей возвышались только покатые крыши.

К строительству санчасти и помещения для радистов приступили в первую очередь. Через три дня радисты уже поселились в новом чуме. Для отопления была сделана печь из металлической бочки от бензина. По обеим сторонам печи стояли нары. У настоящего окна был устроен стол, к которому подвели антенну. За этим столом радисты по расписанию работали с Москвой.

Еще лучше была построена санчасть. В одном помещении — госпиталь на двадцать коек; у каждого раненого свой топчан с матрацем, набитым свежим сеном. При входе — комнатка для дежурного врача и медсестер, комната для приема «амбулаторных больных» и зубо-врачебный кабинет. Помещение светлое, уютное. Чтобы с крыш не сыпалась земля, потолок обтянули парашютным шелком. Второе помещение санчасти — операцион-

ная, светлая, со специальным столом, изготовленным по чертежу и под руководством доктора Цессарского.

Штаб разместился в настоящем доме из семи комнат. Мы его забрали у немецкого старосты одного села и целиком перевезли в лагерь.

Вокруг здания штаба разместились помещения комендантского взвода, разведки, санчасти, радистов. На расстоянии примерно двухсот метров выросли или, вернее, вросли в землю постройки стрелковых рот и хозяйственной роты с ее колбасными, копильнями, складами и хлебопекарней.

Помещения для расквартирования рот были до того удобны и обширны, что их уже называли не чумами, а общежитиями. Они имели не только настоящие, сложенные из кирпича, печи и настоящие окна, но и дощатые полы, а во второй роте из досочек забора выложили пол в виде паркета.

Как только заканчивалось строительство, каждое подразделение устраивало новоселье, с самодеятельностью и танцами.

«Сюрприз», готовившийся Гитлером под Курском, о котором в мае Кох говорил Паулю Зиберту — Кузнецову, кончился полным провалом. Потеряв двадцатитысячную армию, гитлеровцы отступали. Красная Армия в конце сентября подошла к Днепру.

Когда-то самоуверенные и самодовольные, немцы потеряли веру в победу.

— Я у них сейчас, кажется, самый бодрый и самый уверенный офицер! — смеясь, говорил Николай Иванович Кузнецов.

Уже не надеясь удержать плодородную Украину в своих руках, немцы хотели как можно больше выкачать продовольствия, но это им плохо удавалось.

Многочисленные партизанские отряды организовывали советских людей на сопротивление и борьбу с фашистами, громили их склады с продовольствием, взрывали эшелоны и мосты, истребляли немецких заготовителей.

Особенно туго было немцам в тех местах, где базировались партизанские отряды. Население огромной территории — между рекой Горынь с востока, железной доро-

гой Ровно — Луцк с юга и Сарны — Ковель с севера, почти до Луцка с запада — не давало оккупантам ни хлеба, ни скота. На этой территории оперировало несколько партизанских отрядов: отряд Прокопюка, батальон из соединения Федорова под командованием Балицкого, отряды Карасева, Магомета и наш отряд.

Скрывая истинное положение на фронтах, по старинке уверяя в скорой победе над Красной Армией, немцы требовали от населения уплаты налогов и сдачи продовольствия.

Но, как говорится в русской пословице, воробья на мякине не проведешь. И партизаны и крестьяне оказывали оккупантам еще большее сопротивление. Тогда немцы применили чрезвычайные карательные меры. Для борьбы с партизанами и местным населением они выделили специальную авиацию. Ежедневно стали летать целые эскадрильи; они бомбили мирные селения и леса, где базировались партизаны.

Так же как в Сарненских лесах, мы и здесь, в новом районе, развернули борьбу против оккупантов, громили фольварки, проводили диверсии на железных дорогах. С нашим приходом еще один район уходил из рук немцев. Не мудрено, что немцы стали проявлять к нам усиленное «внимание». То в одной, то в другой деревне появлялись их крупные вооруженные отряды. Снабженные оружием и боеприпасами, бандиты-предатели также не упускали случая выслужиться перед своими господами.

В стычках с фашистами и их наемниками был убит мой заместитель по хозяйственной части Иван Яковлевич Соколов — прекрасный товарищ и храбрый партизан. Погиб Гриша Шмуйловский, наш поэт, наш запевала, научивший партизан новым советским песням.

Прилетев из Москвы позже других, Гриша хотел поскорее наверстать потерянное время. Когда предстояло какое-нибудь серьезное дело, он просил, чтобы послали его. Он мечтал о том, что совершит подвиг. Однажды в дружеском разговоре с товарищем Гриша сказал:

— Если мне придется умереть, то хочу умереть в наступлении, лицом на запад!

Лицом на запад! Как хорошо и ярко выражали эти слова стремление советского человека наступать, скорее изгнать оккупантов с родной земли!

В боях и стычках многие партизаны получили ранения. Ранен был разрывной пулей в руку и Сергей Трофимович Стехов.

Без стычек с фашистами не проходило теперь почти ни одного дня. Людей в отряде требовалось значительно больше. Куда раньше ходило пять, десять человек, теперь снаряжали по роте, по две. Одного-двух разведчиков, которые направлялись в Ровно, Луцк, Здолбуново, надо было сопровождать и охранять большим количеством бойцов. А наш отряд раздробился. В Сарненских лесах осталось двести человек; под Ковелем, на выполнении специального задания, было семьдесят. Кроме того, на «зеленых маяках» под Ровно и Луцком постоянно находилось около двадцати лучших бойцов.

Раньше о росте отряда мы не беспокоились, брали в отряд лишь таких людей, которые могли быть нам полезны для разведывательной работы. Если б перед нами стояла вообще задача роста, мы могли бы собрать целую армию — желающих пойти в партизанские отряды было огромное количество, но нам этого не нужно было. Небольшим, но гибким отрядом мы легче выполняли свою разведывательную работу.

Теперь положение было иное: требовалось большее количество бойцов.

Мы дали задание разведчикам и организации Новака в Ровно вести вербовку наиболее надежных людей в наш партизанский отряд, и каждый разведчик, возвращаясь из Ровно, стал приводить с собой по десять — двадцать человек.

Воспользовавшись этой вербовкой, в отряд проникли два предателя — Науменко и Черненко. Около месяца они пробыли у нас и потом скрылись. Значительно позже мы узнали, что Науменко являлся секретным агентом гестапо и был заслан в наш отряд с заданием разведать его численность и вооружение. Уже через несколько дней после бегства Науменко Кузнецов, Струтинский и Шевчук сообщили, что обстановка в Ровно крайне осложнилась. По улицам ходят шпики и агенты гестапо, заглядывают чуть ли не каждому прохожему в лицо, проверяют документы, устраивают облавы. В своем донесении Струтинский писал: «Науменко видели в легковой машине. Он проезжал с гестаповцами по городу».

Хотя Науменко не знал наших явок в Ровно, но ему все же удалось навести гестаповцев на след одной из них. В небольшом двухэтажном доме на углу главной улицы города и небольшого переулка, в квартире одинокой женщины, всегда останавливались Куликов и Галузо. Куликов до войны был сельским учителем, а Галузо — агрономом. Оба они в начале 1943 года присоединились к нашему отряду. Куликов и Галузо много раз ходили в Ровно.

Галузо внешне имел некоторое сходство с Кузнецовым, и гестаповцы, очевидно, были уверены, что выследили именно его. Пауль Зиберт пока не вызывал никаких сомнений.

Однажды ночью немцы окружили дом. Хозяйка первая это заметила и разбудила наших разведчиков. Галузо посмотрел в окно:

— Хозяюшка, ты уходи отсюда. Соври там что-нибудь или скройся, а мы тут останемся.

Хозяйка ушла.

— Рус, партизан, выходи! — слышался с улицы немецкий голос.

Куликов и Галузо тем временем спешно баррикадировались, закрывая двери и окна мебелью.

Немцы стали ломиться. Партизаны из окон открыли огонь. Завязался бой. По домику стреляли из винтовок, автоматов и пулеметов. Когда враги увидели, что это не помогает и меткие выстрелы партизан разят то одного, то другого из них, они вызвали помощь.

Подъехала машина с крупнокалиберным пулеметом. Но из окна дома в эту машину была брошена граната. Машина и пулемет были разбиты. Пришлось гестаповцам вновь вызывать подкрепление.

Свыше шести часов длился этот неравный бой в центре Ровно между двумя советскими патриотами и сотней озверевших фашистских карателей. Куликов и Галузо расстреляли уже все свои патроны, израсходовали гранаты, и только после этого немцы их взяли, но взяли мертвыми.

Поняв безвыходность положения, раненные, истекающие кровью, они покончили жизнь самоубийством.

Но на этом последствия предательства Науменко не кончились.

6 ноября 1943 года радисты с утра не снимали наушников. Ваня Строков регулировал громкоговоритель, а партизаны стояли рядом, надеясь с минуты на минуту услышать передачу из Москвы.

Вечером он наконец поймал волну — диктор читал приказ о взятии нашими войсками Киева. Это было огромной радостью для всей страны. Но можно представить, как радовались мы, услышав сообщение о взятии столицы Украины! Мы сами были на Украине, но еще в тылу врага. Теперь близилась победа и освобождение всей украинской земли.

Как и год тому назад, партизаны вновь слышали по радио трансляцию торжественного заседания Московского Совета, посвященного двадцать шестой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Истекший год — от двадцать пятой до двадцать шестой годовщины Октября — был переломным годом Отечественной войны. Наступление Красной Армии в течение этого года поставило Германию перед катастрофой.

Утром 7 Ноября мы построили в лесу каре из бойцов отряда и зачитали записанный радистами ночью праздничный приказ. Дружное, громкое «ура» разнеслось по лесу.

С полудня к нам стали приезжать гости — командиры соседних отрядов: Балицкий, Карасев, Прокопюк и Магомет. Каждый явился в сопровождении небольшой группы партизан своего отряда.

— Ай да лагерь! Здесь после войны можно будет открыть дом отдыха! — говорили гости, осматривая планировку лагеря и наши строения.

После сытного праздничного обеда начался вечер самодеятельности.

Сцена была устроена очень своеобразно: помост и по четырем углам — костры. Эффект от этого освещения был замечательный.

Неожиданное для всех представление показали Валя Семенов и Базанов. Они выступили с акробатикой — кувыркались и выгибались, как настоящие циркачи. Свет и тени от костров, как театральные прожекторы, скользили по их фигурам.

Среди новых партизан, прибывших к нам из Ровно, оказались актеры ровенских театров. Один из них очень хорошо имитировал Чарли Чаплина. Но не успел этот актер уйти со сцены, как с тем же номером вышел Ривас. Он был похож на Чаплина и, хоть не владел особым искусством, произвел эффект не меньший, чем настоящий актер.

Часов в одиннадцать вечера, когда наши гости уже разъехались по своим отрядам, а концерт все продолжался, ко мне подошел Стехов. Я сидел в первом ряду «партера», устроенного из бревен.

Стехов наклонился ко мне:

— Дмитрий Николаевич, на минуту...

Я вышел.

— Только что прибежали разведчики из Берестян,— взволнованно заговорил Стехов.— Туда прибыла крупная карательная экспедиция с минометами и пушками. Час назад я получил сообщение, что и на станции Киверцы разгружается большой эшелон немцев. Ищут проводников, чтобы с утра идти на нас.

Это не было для нас неожиданностью. Еще недели за две до праздника Кузнецов сообщил, что каратели собираются идти в наши леса и имеют в виду именно наш отряд. Кузнецов писал:

«Мне удалось узнать, что недавно в Ровно прилетел Кох. Он вызывал к себе командующего особыми (карательными) отрядами на Украине генерала фон Ильгена и приказал в самый короткий срок уничтожить партизанский отряд полковника Медведева. В своем кругу генерал Ильген рассказывал, что он затребовал к себе экспедицию под командованием генерала Пипера, которого называют «мастером смерти». Ильген собирается идти на партизан, чтобы «разговаривать с ними в их лагере».

В свою очередь, я постараюсь предоставить генералу Ильгену возможность побеседовать с вами в нашем лагере».

К письму был приложен план действий. План был рассмотрен и утвержден.

История с предателем Науменко заставляла нас думать, что гитлеровцам точно известно место нашего лагеря. Посоветовавшись со Стеховым, мы решили дать бой карателям.

Дождавшись конца очередного номера, я вышел на помост.

— Товарищи! — сказал я бойцам. — Получены сведения, что завтра с утра на нас пойдут каратели. Уходить не будем. Останемся верными своему принципу: сначала разбить врага, а потом уходить!

— Правильно! Ура! — подхватили партизаны.

Я поднял руку, призывая к вниманию:

— Праздник будем продолжать!

Несколько человек запели: «В бой за Родину...» Песню подхватили все.

Праздничный вечер продолжался еще целый час.

Спать улеглись в полной боевой готовности. Кругом лагеря выставили дополнительные посты. В направлении Берестян выслали пеших и конных разведчиков.

На рассвете прискакал из-под Берестян Валя Семенов.

— Из села к нашему лагерю движется большая колонна гитлеровцев! — запыхавшись, выпалил он.

Почти в тот же момент донеслась далекая пулеметно-автоматная стрельба. Стрельба шла километрах в десяти от нас, приблизительно в районе лагеря Балицкого. Я послал конных связных, чтобы узнать, в чем дело, не нужна ли помощь, и сообщить о том, что мы ждем карателей.

В отряде у нас было в этот момент около семисот пятидесяти человек. Делился отряд на четыре строевые роты и два взвода — взвод разведки и комендантский.

Первая рота, под командованием Базанова, вышла навстречу противнику, который шел из Берестян. Вторую роту, под командованием Семенова, я отправил в обход и приказал незаметно нащупать, где находятся артиллерия, минометы и командный пункт гитлеровцев, чтобы ударить по ним с тыла.

Когда вторая рота вышла из лагеря, с постов сообщили, что и с другой стороны на нас идет колонна немцев. Навстречу ей я выставил часть четвертой роты; другая часть этой роты охраняла правый фланг. Третья рота находилась на постах кругом лагеря.

Итак, все наши силы были в расходе. В резерве оставались группа разведчиков и комендантский взвод.

В десять часов утра начался бой. По нашей первой роте гитлеровцы открыли бешеный огонь из пулеметов и автоматов. Плотной колонной они продвигались под при-

крытием минометного и пулеметного огня. Ответный огонь наших станковых и ручных пулеметов лишь на время заставлял их останавливаться и ложиться. Затем снова слышалась немецкая команда, враги поднимались и шли в атаку.

Подпустив врага на расстояние автоматного огня, наши перешли в контратаку. Загремело партизанское «ура».

Вторая колонна немцев тоже пошла в атаку. Там дралась часть нашей четвертой роты.

В лагерь несли и вели раненых.

Мы знали, что длительного боя нам не выдержать: у нас было мало патронов. Поэтому я послал связных в отряды Балицкого и Карасева с просьбой выслать небольшие группы в тыл врага: это хоть частично отвлекло бы силы немцев.

Артиллерия немцев стала пристреливаться по лагерю, но снаряды рвались за лагерем — в двухстах метрах.

Из первой роты дали знать, что патроны на исходе, что станковый пулемет уже остался без патронов. Мы им подбросили группу партизан из комендантского взвода. Через некоторое время снова сообщают: «Патронов почти нет, помогите, иначе не выдержим».

— Бьют, как мух, а они лезут и лезут, — говорил связной. — Психической хотят нас запугать.

Прошло уже четыре часа, как вышла рота Семенова, но она пока ничем себя не проявила. Где они, что делают?

В первую роту мы стали направлять небольшие группы свободных людей из разных подразделений, но это поддерживало ее лишь короткое время.

Казалось, мы проигрываем бой.

Вернулись связные от Балицкого и Карасева. Балицкий ответил, что послать никого не может: его отряд лежит в обороне, ждет нападения, а Карасев писал, что высылает для удара с фланга целый батальон.

Гитлеровцы с обеих сторон все больше нажимали, и стрельба уже приблизилась к самому лагерю. Вышли в бой последние наши резервы — комендант Бурлатенко с группой в пятнадцать человек легко раненных, только что получивших медицинскую помощь.

Мины уже рвутся в самом лагере. Огромные сосны ломаются и с треском падают. Немцы подступают все

ближе. Бой идет уже семь часов. Партизаны Карасева себя не обнаруживают, рота Семенова — тоже.

В шестом часу вечера я отдал приказ: запрягать обоз, грузить тяжелораненых и штабное имущество. Из раненых, способных держать оружие, я с трудом набрал четырнадцать человек. Цессарский и остальные врачи должны были прикрывать тяжелораненых и обоз. Сам я с остатком комендантского взвода направился на центральный участок, с тем чтобы дать приказ об отступлении с боем и прикрыть отход обоза и раненых.

Я отчетливо сознавал, что если нам не удастся продержаться дотемна, мы уйти не сможем: немцы обступали нас кругом.

И вдруг с той стороны, откуда стреляли немецкие пушки и минометы, мы услышали громкое «ура».

Еще не смолкло «ура», как стрельба, будто по мановению волшебной палочки, прекратилась. Через пять минут снова был открыт огонь из вражеских минометов, но... уже по немцам.

Растерянность и паника мигом охватили врагов; они стали бросать оружие, разбегаться. Наши бросились в погоню.

Что за чудо?

Чуда, конечно, никакого не было. Успех боя обеспечила рота Семенова. Она зашла в тыл немцам. Не торопясь, Семенов основательно разведal и установил, где находятся артиллерийская и минометная батареи, узнал, что у карателей три пушки, три батальонных миномета, один десятиствольный миномет и что в двухстах метрах от батареи расположился в палатке их командный пункт.

Семенов разделил свою роту на две группы, и обе одновременно ударили по врагам. Одна группа захватила артиллерию и минометы и повернула стволы на гитлеровцев, другая захватила командный пункт и радиостанцию, через которую шло управление боем. Девятнадцать офицеров штаба и командир карательной экспедиции генерал Пипер, «мастер смерти», были тут же убиты. Это и решило дело.

Надо сказать, что и батальон Карасева успел перед концом вмешаться в бой. Он удачно зашел во фланг врагам и тоже ударил по ним.

Лишь к одиннадцати часам вечера бойцы собрались в лагерь; они преследовали в лесу разрозненные группы немцев. Человек полтораста вражеских солдат укрылись в Берестянах, ожидая нашего нападения, но нам теперь не было смысла с ними связываться.

Я был уверен, что немцы завтра же с новыми силами пойдут на нас и начнут бомбить лагерь с воздуха. Ночью уже стало известно, что со станции Киверцы продвигается другая немецкая колонна. Было принято решение: до рассвета уйти с этого места.

В бою у нас было убито двенадцать человек, ранено тридцать два. Мы похоронили убитых, оказали помощь раненым и начали сборы.

Я послал связных к Балицкому и Карасеву с записками, в которых сообщал, что до рассвета уйду из лагеря и что они могут взять себе часть наших боевых трофеев.

Трофеи были огромные. Мы отбили у карателей весь их обоз, который состоял из ста двадцати повозок, груженных оружием, боеприпасами, снарядами, минами и обмундированием. Были взяты три пушки, три миномега с большим количеством мин и снарядов, автоматы, винтовки и много патронов.

Из штабных документов, захваченных нами, мы узнали, что бой с нами вели карательные экспедиции генерала Пипера и три полицейских батальона СС — всего около двух с половиной тысяч.

Судя по документам, карательной работой генерал Пипер занимался с первых же дней войны. Он со своими эсэсовскими батальонами побывал во всех оккупированных гитлеровцами странах. На Украине он свирепствовал месяцев пять.

На штабной карте генерала Пипера красной точкой был обозначен тот квартал леса, где мы находились. Это, конечно, сделал Науменко, но место он указал не совсем точно, поэтому вражеские мины и снаряды разрывались в стороне от лагеря.

В два часа ночи партизаны впервые за сутки поели, а в три часа мы уже покинули свой лагерь. Жаль было оставлять такое хорошее жилье и снова мерзнуть в палатках и мокнуть под дождем, но делать было нечего.

Мы решили временно отойти к северной границе Ровенской области, чтобы привести в порядок свой отряд

и попытаться самолетом отправить раненых в Москву. Здесь, в Цуманских лесах, я оставил небольшую группу под командованием Черного. Он должен был маневрировать, скрываться от карателей и принимать наших людей, которые будут приходить из Ровно.

Через день после нашего ухода гитлеровцы принялись бомбить с самолетов и обстреливать теперь уже пустой квартал леса. После «мощной артиллерийской подготовки» они беспрепятственно подошли к лагерю. Обратно из лагеря немцы волочили свои «трофеи» — побитых нами в бою немцев. Трупов было немало: мы там уложили не менее шестисот человек.

Мертвое тело генерала Пипера немцы отправили самолетом в Берлин. Фашистские газеты плакали о нем навзрыд, писали, что Пипер был большой опорой оккупационных властей, но уж больше не называли его «майстер тодт» — «мастер смерти».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

На Мельничной улице, у ворот особняка, который занимал командующий особыми войсками на Украине генерал Ильген, всегда стоял часовой. «В один приличный день» около этого особняка назойливо стал вертеться мальчишка в коротких штанах и с губной гармошкой. Несколько раз он попадался на глаза часовому.

— Шо ты тут шукаешь?

— Так, ничего.

— Геть! Це дом генеральский, тикай. Як спиймаю, плохо буде!

Мальчик убежал, но из-за угла он продолжал наблюдать за домом.

Вскоре к особняку подошла Валя с папкой в руках.

— Здравствуйте! Не приезжал господин генерал? — справилась она у часового.

— Нет.

— А кто там? — И Валя взглянула на дом.

— Денщик.

— Я пройду и подожду генерала. Для него срочный пакет из рейхскомиссариата.

Валя приносила Ильгену пакеты, и часовые ее знали.

В особняке ее встретил денщик, который начал работать у Ильгена лишь несколько дней назад.

Валя это хорошо знала, но, сделав удивленное лицо, сказала:

— Я из рейхскомиссариата. А где же старый денщик?

— Та вже у Берлини!

— Зачем он туда поехал?

— Поволок трофеи. Прошу, фрейлейн, до хаты, там обождете.

— Нет, я дожидаться не стану. Мне тут надо отнести еще один срочный пакет. На обратном пути зайду. Генерал скоро будет?

— Должен быть скоро.

Сказав часовому: «Я скоро опять зайду», Валя ушла. За углом она увидела мальчика.

— Беги скорее и скажи, что все в порядке. Пусть немедленно едут!

Коля Маленький стремглав побежал на квартиру, где его с нетерпением ждали Кузнецов, Струтинский, Каминский и Гнедюк.

Через несколько минут они уже были у особняка Ильгена. Кузнецов, в форме гауптмана, первым вышел из машины и направился к особняку.

Часовой, увидев немецкого офицера, отсалютовал:

— Господин гауптман, генерал еще не прибыл.

— Знаю! — бросил ему по-немецки Кузнецов и прошел в особняк.

Следом за Кузнецовым шел Струтинский.

В передней сидел денщик и дремал.

— Я советский партизан, — отчетливо сказал ему Кузнецов. — Хочешь остаться живым, помогай. Не хочешь — пеняй на себя.

Денщик опешил: немецкий гауптман... партизан!.. Дрожа и стуча от испуга зубами, он бормотал:

— Да я з́араз с вами... Мы же мобилизованные, по неволе служим...

— Ну, смотри!

Обескураженный денщик, все еще не веря, что немецкий офицер оказался партизаном, застыл на месте.

— Как твоя фамилия? — спросил Кузнецов.

— Кузько.

— Садись и пиши, — приказал Кузнецов.

Под диктовку Николая Ивановича денщик написал: «Спасибо за кашу. Ухожу к партизанам. Беру с собой генерала. Кузько».

Эту записку положили на видном месте на письменном столе в кабинете генерала Ильгена.

— Ну, теперь займемся делом, пока хозяина нет дома,— сказал Кузнецов Струтинскому.

Николай Иванович и Струтинский произвели в особняке тщательный обыск, забрали документы, оружие, связали все это в узел.

Струтинский остался с денщиком, а Николай Иванович вернулся к часовому. Около того уже стоял Гнедюк. Кузнецов, подходя, услышал:

— Эх, ты! — говорил Гнедюк. — Був Грицем, а став фрицем.

— Тикай, пока живой, — как-то вяло и неуверенно отвечал часовой. — Какой я тебе фриц!

— А не фриц, так помогай партизанам!

— Ну как, договорились? — спросил подошедший сзади Кузнецов.

Часовой резко повернулся к нему.

— Гауптман тоже? — выпучив глаза, спросил он.

— Тоже, тоже! Идем со мной! — скомандовал Кузнецов.

— Господин офицер, мне не положено ходить в дом к генералу.

— Положено или не положено, неважно. Ну-ка, дай твою винтовку. — И Кузнецов разоружил часового.

Тот поплелся за ним в особняк.

На посту за часового остался Коля Гнедюк.

Из машины вышел Каминский и начал прохаживаться около дома.

Все это происходило в сумерках, когда еще было достаточно светло и по улице то и дело проходили люди.

Через пять минут из особняка вышел Струтинский, одетый в форму часового, с винтовкой, и стал на посту. Гнедюк пошел в особняк.

Все было готово, но Ильген не приезжал. Прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Ильгена все не было.

Часовой, который стоял на посту, а сейчас сидел в передней особняка, сказал вдруг Кузнецову:

— Может произойти неприятность. Скоро должна

прийти смена. Давайте я опять стану на пост. Уж коли решил быть с вами, так уж помогу.

— Правда должна быть смена? — спросил Кузнецов денщика.

— Так точно, — ответил тот.

Гнедюк позвал Струтинского. Снова произошло переодевание, часовой пошел на пост и стал там под охраной Каминского, а Струтинский сел в машину.

В это время подъехал Ильген. Он быстро вышел из машины, отпустил шофера и направился в дом.

— Здоров очень, трудно будет с ним справиться. Пойду на помощь, — сказал Струтинский Каминскому, когда увидел генерала Ильгена.

Как только денщик закрыл дверь, в которую вошел Ильген, Николай Иванович, наставив на него пистолет, сказал раздельно:

— Генерал, вы арестованы! Я советский партизан. Если будете вести себя как полагается, останетесь живы.

— Предатель! — заорал во всю глотку Ильген и схватился за кобуру.

Но в это время Кузнецов и подоспевший Струтинский схватили Ильгена за руки:

— Вам ясно сказано, кто мы. Вы искали партизан — вот они, смотрите!

— На помощь!.. — заорал снова Ильген.

Тогда его повалили, связали, заткнули рот платком и потащили. Когда вталкивали в машину, платок из рта выпал, и он снова заорал. Часовой подбежал.

— Смена идет! — крикнул он Кузнецову.

Николай Иванович поправил китель и, кинув на ходу: «Заткните ему глотку», — пошел навстречу подходившим людям. Но это не была смена: шли четыре немецких офицера. Кузнецов подошел к ним, показал свою бляху (пригодился «личный трофей»!) и сказал:

— Мы поймали партизана, одетого в немецкую форму, который хотел убить генерала. Позвольте ваши документы.

Те дали документы. Бляха, взятая когда-то у гестаповца, обязывала офицеров подчиниться. Николай Иванович записал в свою книжку их фамилии и сказал немцам:

— Вы трое можете идти, а вас, господин Гранау, —

обратился он к четвертому,— прошу вместе с нами поехать в гестапо.

По документу Кузнецов увидел, что Гранау был личным шофером рейхскомиссара Эриха Коха. «Пригодится»,— подумал он.

Когда Гранау подошел вместе с Кузнецовым к машине, Каминский и Гнедюк, по знаку Николая Ивановича, быстро втолкнули его в машину и обезоружили.

«Оппелек», который вмещал только пять человек, повез семерых.

Ночью и в особенности утром в городе поднялся страшный шум. Пропал генерал! Немцы сбились с ног в поисках партизан. По улицам ходили патрули, жандармы рыскали по квартирам.

Но в то время, когда немцы высунув язык искали «преступников», а на «зеленом маяке» часовой и денщик рассказывали нашим ребятам о том, как они вчера сначала испугались, а потом помогали связывать Ильгена, Кузнецов, развалившись в кресле, сидел в приемной Функа, заместителя Коха, главного судьи на Украине.

Альфред Функ имел гитлеровское звание «обер-фюрер СС». До назначения на Украину он был главным судьей в оккупированной немцами Чехословакии и безжалостно расправлялся с чешскими патриотами. Прибыв на Украину, Функ продолжал свое кровавое дело. По его приказам поголовно расстреливали заключенных в тюрьмах, в концлагерях, казнили тысячи ни в чем не повинных людей.

Недавно, в связи с убийством Геля, Кнута и ранением Даргеля, Функ издал приказ о расстреле всех заключенных в ровенской тюрьме. Тогда и было решено казнить этого палача. В подготовке участвовали Кузнецов, Струтинский, Каминский и парикмахер, у которого каждое утро брился Функ.

Кузнецов знал, что через пятнадцать минут придет Функ. В приемной была только секретарша, и с ней Николай Иванович завел разговор о погоде. Разговаривая, он то и дело поглядывал через окно на улицу, где прогуливался Ян Каминский.

А Каминский наблюдал за занавеской парикмахерской. Согласно выработанному плану, парикмахер должен был отодвинуть занавеску, когда побреет Функа

и он отправится в помещение главного суда. Каминский, в свою очередь, должен был снять фуражку и почесать себе голову, когда Функ пойдет из парикмахерской в здание суда.

— Я вас буду ждать в шесть часов на углу Фридрихштрассе и Немецкой. Мы славно проведем время. Придете? — спрашивал Кузнецов секретаршу.

— Да, приду.

В этот момент Кузнецов заметил сигнал Каминского.

— Не найдется ли у вас стакана чаю для меня? Безумная жара! — попросил он секретаршу.

— Одну минутку, господин гауптман, я принесу.

Когда секретарша вернулась, в приемной уже никого не было. Она удивленно пожала плечами и села за свой стол. Тотчас же вошел Функ. Буркнув секретарше «гутен морген», он прошел в свой кабинет.

Через минуту там раздались два выстрела. Испуганная секретарша вскочила. Но тут она увидела, что из кабинета вышел гауптман и, не глядя на нее, скрылся на лестнице.

В помещении главного суда было много народу. Выстрелы всполошили всех, но Кузнецов, никем не заподозренный, вышел на улицу. У самого подъезда стояли только что подъехавшие две машины с гестаповцами и фельджандармами. Гестаповцы вышли из машины и с удивлением смотрели на второй этаж здания, где раздались выстрелы.

Кузнецов остановился рядом с ними и тоже удивленно, как и те, посмотрел на окна главного суда. Когда раздались крики «Убили, ловите!» и все бросились к зданию, Кузнецов пошел за угол, потом во двор, прыгнул через один забор, другой и очутился около своей машины, где за рулем сидел Струтинский.

Каминский со своего поста наблюдал, как гестаповцы и жандармы, оцепив дом, лазали по крыше и чердаку в поисках партизана, а затем вывели из помещения суда десятка два людей, в числе которых были и немецкие офицеры, и увезли их в гестапо.

А Кузнецов и Струтинский были уже далеко за городом.

Это событие произошло в то время, когда мы после боя с «мастером смерти» шли на север.

ПЕРЕДЫШКА

Наш отход был не из легких. За полгода пребывания в Цуманских лесах мы не только выросли количественно, но и завели большое хозяйство. У нас были бочки с засоленным мясом, салом, ящики с запасами колбасы; было много мешков с пшеницей, которую мы сами убрали с полей крестьян-поляков, истребленных гитлеровцами; особую повозку занимало оборудование слесарной мастерской Риваса, изобиловавшей теперь огромным количеством всяческих инструментов. Кроме этого, везли инвентарь портняжной и сапожной мастерских и многое другое. Наш обоз состоял из пятидесяти фурманок, запряженных парой лошадей каждая, а после разгрома карательной экспедиции «мастера смерти» прибавились специальные упряжки с трофейными пушками, минометами, снарядами, минами и другими боеприпасами и трофеями.

Дорога от дождей испортилась, передвигаться было трудно. Нам это доставляло много хлопот, а раненым — невыносимые мучения.

Убедившись, что лагерь пуст, каратели пошли за нами. Напасть на наш след не составляло никакого труда, так как по одной дороге, помимо нашего отряда, двигались отряды Прокопюка, Карасева, батальон Балицкого, группа Магомета. Все снялись со старых мест. Следы оставались такие, которые ничем замаскировать было невозможно.

Но догнать каратели нас не могли. Во-первых, они немного опоздали; во-вторых, они тратили массу времени на «прочесывание» лесных массивов, когда наши следы уходили в лес. Сплошными цепями проходили они по лесу, боясь неожиданной встречи.

Когда наш отряд прошел уже сто пятьдесят километров и был в пяти километрах от села Целковичи-Велки, где мы думали расквартироваться, показался огромный огненный шар, который медленно подымался с востока.

— Что это у вас солнце такое чудное? — улыбаясь, спросил я пожилого крестьянина, стоявшего у дороги.

— Надо ждать сегодня снежной метели, раз солнце такое красное, — ответил он.

— Какая, папаша, метель! На небе — ни облачка, да и ветра совсем нет, — возразил ему Лукин.

Но крестьянин оказался прав.

Солнце, поднимаясь над горизонтом, становилось меньше и окрашивалось в какой-то матово-бледный цвет, а следом за ним медленно поднимались тучи.

Еще не успели мы закончить размещение людей по квартирам, как стали падать крупные пушистые хлопья. Приятно было смотреть на яркую белизну этого первого снега. Потом подул сильный ветер. Снег падал все гуще, и через десять минут уже в двух-трех метрах ничего нельзя было увидеть.

Метель бушевала около двух часов; снега намело очень много.

Мы знали, что этот снег продержится не более суток, так как лег на незастывшую землю, и все же были рады ему: он на время замаскировал наши следы. А когда снег растает, каратели все равно не сумеют двигаться на автомашинах: дороги до того раскиснут, что ехать по ним будет невозможно.

В Целковичи-Велки вместе с нами разместился отряд Прокопюка. Отряд Карасева занял деревню Млинок—в двух километрах от нас, на берегу реки Стырь. Батальон Балицкого ушел в свой старый лесной лагерь, в двадцати километрах севернее Целковичи-Велки.

Кроме нас, пришедших сюда из Цуманских лесов, в этих местах находилось соединение Алексея Федоровича Федорова, известного под именем Федорова-Черниговского. Его соединение стояло лагерем в лесах, в тридцати пяти километрах западнее Целковичи-Велки.

Мы не думали задерживаться здесь более десяти—двенадцати дней. Как только карателям надоест гулять по опустевшим Цуманским лесам, мы собирались вернуться обратно. Нам нужно было дальше разворачивать налаженную работу.

Оставленная в Цуманских лесах маневренная группа ни в какой мере не могла заменить нас, да к тому же с нею нам не удавалось установить прямую радиосвязь.

Красная Армия наступала. Гитлеровское командование в надежде закрепить то на одном, то на другом рубеже пересгруппировывало свои войска, перебрасывало их с одного участка фронта на другой. Мы должны

были улавливать эти передвижения и своевременно сообщать о них в Москву.

Еще в последних числах октября от командования последовал приказ: действовать активно, сеять панику среди оккупантов, не давать им возможности ни готовить оборону, ни эвакуироваться с награбленными ценностями. Тогда же мы передали этот приказ в Ровно — Кузнецову, Струтинскому, Шевчуку, Новаку и другим подпольщикам, и в Здолбуново — Красноголовцу.

Кроме того, с дороги мы направили в Ровно несколько групп наших боевиков с заданиями диверсионного и разведывательного характера.

В окрестностях Целковичи-Велки мы выбрали посадочную площадку и сообщили координаты в Москву. Но самолет не приходил. На мой запрос из Москвы последовало распоряжение передать наших раненых и раненых из отряда Карасева и Прокопюка в партизанское соединение Федорова-Черниговского.

С первых дней пребывания во вражеском тылу мы проявляли особую заботу о раненых и больных товарищах. Забота о раненых была законом, который свято соблюдался всеми партизанами. Теперь стоял вопрос о том, чтобы передать наших раненых в другой отряд. Хотя и слышали мы об этом отряде много хорошего, все же решили посмотреть, в каких условиях будут наши товарищи. Карасев, Прокопюк и я в сопровождении двадцати партизан выехали в гости к Федорову-Черниговскому.

Трудно рассказать про встречу, которая была оказана нам в соединении Алексея Федоровича Федорова. Сутки, которые мы провели в их лагере, останутся навсегда в моей памяти.

Алексей Федорович рассказывал, как они шли на запад из Черниговской области через Брянские леса, где я был с отрядом в 1941—1942 годах.

— Вас, товарищ Медведев, там помнят и знают. Встречали мы могилы ваших партизан. Хорошо вы их хоронили! Места для могил выбирали красивые, живописные. Особенно запомнилась мне могила вашего начальника штаба Староверова. Это в лесу, у деревни Батаево. Мои хлопцы все могилы подправили и возложили на них венки, а за Староверова еще раз, и креп-

ко, отплатили гитлеровцам. Мы разгромили в деревне Батаево крупный полицейский отряд.

Госпиталь в отряде Федорова был отличный, и я попросил Алексея Федоровича забрать к себе наших раненых.

— Какие могут быть разговоры! Конечно, давайте их сюда. Врачи у меня хорошие. А как только организуем аэродром, отправим в Москву.

Нашим раненым товарищам я сказал:

— Вас повезут в госпиталь партизанского соединения Героя Советского Союза генерал-майора Федорова. У нас вам было неплохо, но и у Федорова будет не хуже. Соединение это крепкое, боевое, такое, каким оно и должно быть под командованием депутата Верховного Совета. Мы передаем вас туда со спокойной совестью. Об одном прошу: не роняйте престиж нашего отряда, будьте дисциплинированными и во всем достойными звания советского партизана.

Через несколько дней к нам в гости приехал Алексей Федорович. Встреча эта прошла тревожно. В момент товарищеского обеда фашистские самолеты несколько раз пролетали над Целковичи-Велки. Ничего не обнаружив, они начали беспощадно бомбить село в пятнадцать—двадцати километрах от нас. Бомбежка длилась весь день. Над селом взвивались огромные клубы черного дыма, а ночью стояло зарево, освещавшее багровым светом тучи.

Чтобы не подвергать опасности налета радушно принявшее нас население Целковичи-Велки, мы перебрались в лес, где наладили временный лагерь.

О Кузнецове и Струтинском ходили целые легенды. Особенно много говорили о них в партизанских отрядах. То из одного, то из другого отряда приезжали товарищи и приглашали их к себе. Но ходить по гостям они не могли,—ведь и в своем отряде мы их как могли маскировали, боясь, что их приметы станут известны гестапо.

Но к Карасеву я их все же отпустил: очень расположили нас к себе Виктор Александрович Карасев и его комиссар Михаил Иванович Филоненко. Узнав, что Кузнецов — уралец и, можно сказать, почти земляк, они пригласили его в баню, построенную по-сибирски.

— Давно я не получал такого удовольствия! — вер-

нувшись от карасевцев, рассказывал Николай Иванович. — Такой бани я не видал даже в родных местах. На верхней полке от пара дух захватывает, а внизу холодно. Попарился на славу!

— А про нашу баню забыл? Про ту, что завалилась? — спросил кто-то из присутствовавших.

Все засмеялись, вспомнив, как однажды «парился» Кузнецов. Мы построили баню вроде обыкновенного чума. Дыра для выхода дыма была огромная, а на костре стояли большие чаны, в которых грелась вода. Чтобы не ходить далеко за водой, здесь же, в бане, вырыли глубокий колодец. Мыться в этой бане не доставляло большого удовольствия: с одной стороны, от костра так печет, что стоять невозможно, а с другой — собачий холод.

Когда Кузнецов мылся, баня неожиданно обвалилась. Успевший хорошо намылиться Николай Иванович угодил в колодец с холодной водой. Оттуда ему помогли выбраться, но он был весь в грязи. Товарищи котелками носили ему из своих чумов теплую воду, а он стоял на холоде и обмывался. Один котелок выльет на себя и ждет, пока принесут еще, и так «напарился», что еле потом отогрелся.

Однажды дежурный по лагерю доложил, что едут гости. Человек десять верховых медленно подъезжали к нам.

— Бегма, — отрекомендовался подошедший ко мне коренастый человек.

— Милости прошу!

Василий Андреевич Бегма до войны был секретарем Ровенского обкома партии, и теперь он оставался на своем посту: являлся членом подпольного партийного комитета, начальником штаба партизанского движения Ровенской области и командиром партизанского соединения. До этого дня я не был знаком с Василием Андреевичем, но много слышал о нем и давно ждал встречи.

Василий Андреевич прибыл издалека — с северо-востока. После деловых разговоров, за обедом, Бегма стал рассказывать о том, что какой-то партизан, переодетый в форму немецкого офицера, наводит ужас на немцев в городе Ровно: убивает крупных немецких заправил сре-

ди бела дня прямо на улице, украл важного немецкого генерала.

Рассказывая, Василий Андреевич и не подозревал, что этот партизан сидит с ним рядом за обеденным столом. Лукин порывался было перебить рассказчика, но я дал знак ему, чтоб молчал, а Николай Иванович Кузнецов внимательно слушал Бегму.

— Вот это дела! Не то, что мы с вами делаем,— закончил Василий Андреевич.

Здесь же мы ему представили нашего легендарного партизана.

В лагере под Целковичи-Велки мы задержались значительно дольше, чем предполагали. Ожидаемый из Москвы груз с боеприпасами и питанием для рации все не прибывал, да и командование не разрешало нам пока возвращаться на старое место.

— Разрешите мне отправиться к Берестянам,— обратился ко мне Лукин.— Разведчики нервничают, рвутся в Ровно.

Я согласился, и Александр Александрович с ротой бойцов и группой разведчиков направился в Цуманские леса.

Уже через три дня через Москву мы получили радиogramму от Лукина. Он сообщал, что после перехода железной дороги неожиданно столкнулся с вражеской бандой и здорово расчесал ее.

Через неделю было получено разрешение на переход в район Ровно всего отряда. Добрались мы туда вполне благополучно, без единого выстрела.

На одном из привалов в небольшой деревушке, расположенной среди огромного соснового леса, Лида Шерстнева подала мне радиogramму из Москвы. Командование поздравляло нас с успехами и сообщало, что Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и медалями Советского Союза сто пятьдесят партизан нашего отряда. Орденом Ленина были награждены Кузнецов, Николай Струтинский, Стехов, Ян Каминский и я; Шевчук и Жорж Струтинский — орденом Красного Знамени; Гнедюк — орденом Красной Звезды. Цессарский и Валя Семенов получили орден Отечественной войны 1-й степени. Радисты все без исключения

были награждены орденами. Более двухсот партизан наградили партизанскими медалями. Получил партизанскую медаль 1-й степени и Коля Маленький.

Весть об этом молниеносно облетела весь отряд. Начались поздравления.

— Вы, Николай Иванович, больше чем кто-либо заслужили эту награду,— сказал я Кузнецову, поздравляя его.

— Теперь я еще в большем долгу перед Родиной,— ответил он.

П Р О В О Д Ы

Красная Армия гигантскими шагами продвигалась вперед, на запад. Киевская, Днепропетровская и ряд других областей Украины были уже освобождены. Была освобождена и часть Ровенской области. Наша авиация бомбила военные объекты немцев в Сарнах, Ровно, Луцке, бомбила колонны отступающего врага.

В Ровно поднялась страшная паника. Учреждения стали эвакуироваться во Львов. Немцы наспех укладывали и волочили к вокзалу свои чемоданы с награбленными ценностями.

«Улетел фашистский коршун,— писал мне из Ровно Николай Иванович, намекая на Эриха Коха.— События на фронтах и шум, поднятый нами в городе, здорово напугали эту хищную птицу. Он и рождественский вечер, не дождавшись 25 декабря, устроил 22-го, чтобы скорее смотаться отсюда.

Не могу простить себе, что я опоздал на этот вечер. Кажется мне, что он больше уже не вернется сюда, а я так настроился разделаться с ним.

Во время моего отсутствия здесь подвизался гестаповец фон Ортель. Лидия получила от него сведения, о достоверности которых судить не берусь. Фон Ортель рассказывал, что в Германии изобретена какая-то летающая бомба вроде самолета, которая будет с большой быстротой покрывать расстояния до четырехсот километров и производить огромные разрушения. Я хотел лично «поговорить» с ним, а при случае предоставить эту возможность и вам, но оказалось, что Ортель неожиданно исчез».

Эти сведения о самолетах-снарядах, которые гитлеровцы стали применять только месяцев восемь спустя, мы срочно передали своему командованию.

Николай Иванович сообщал еще данные о переброске и передвижении штабов с востока на запад и о минировании фашистами ряда крупных домов в Ровно.

С территории, освобожденной нашей армией, в Ровно сбежалось громадное количество гестаповцев и жандармов. Террор еще больше усилился. На улице Белой, где обыкновенно производились расстрелы задержанных и арестованных, теперь каждую ночь, с вечера до утра, шла непрерывная стрельба. Гестапо расстреливало без разбору. Крытые грузовики всю ночь возили за город трупы.

Был арестован и Казимир Домбровский.

— Видимо, кое-что стало о нас известно гестаповцам,— сказал мне Александр Александрович Лукин, докладывая об этом аресте.

Это предположение скоро подтвердилось.

Терентий Федорович Новак сидел однажды в своем директорском кабинете на войлочной фабрике. В столе лежало несколько противотанковых гранат. В кармане—револьвер. Неожиданно к нему в кабинет вошли трое гестаповцев.

— Где можно видеть директора фабрики? — на ломаном русском языке обратился к Новаку один из них.

— Вам Новака?

— Да, да! Где он?

— Он сейчас на втором этаже. Пойдемте, я покажу.

— Нет, сидите здесь. Мы сами найдем.— И они быстро пошли наверх.

Терентий Федорович сложил в портфель свои гранаты и, держа в кармане револьвер на боевом взводе, поспешно вышел из кабинета. Он направился было к себе на квартиру, но около дома увидел двух молодчиков, одетых в штатское платье.

Через день гестаповцы арестовали отца Новака. Жену Новака и ребенка мы еще за месяц до того предусмотрительно привезли в отряд, а затем передали на попечение Алексея Федоровича Федорова.

Смертельной опасности подвергся Коля Струтинский. Всегда бдительный, тщательно соблюдавший требования

конспирации, он все-таки был выслежен. Струтинский пришел на одну из своих явок. Через пятнадцать минут за окнами послышался гул автомашины, затем громкий стук в дверь.

— Гестапо! — успел сказать Коле хозяин квартиры и вывел его в другую комнату.

Двое гестаповцев, сломав замок, ворвались в дом.

— Где он? — размахивая пистолетами, кричали они.

— Кто?

— Не притворяйся! — И один из них замахнулся, чтобы ударить хозяина револьвером.

Но в это время в комнате появился Струтинский и двумя выстрелами уложил непрощенных гостей. Захватив оружие гестаповцев, Струтинский и хозяин выскочили на лестницу.

С площадки второго этажа они увидели, что на улице стоит грузовик с жандармами.

— Хальт! — крикнул Струтинский и дал несколько выстрелов по жандармам.

Те стали прыгать с машины, сбивая один другого с ног, а тем временем Струтинскому и хозяину квартиры удалось скрыться.

Но несмотря на тяжелую обстановку, создавшуюся в городе, наши боевики-разведчики и не думали уходить оттуда. Надо было устроить оккупантам достойные «проводы».

Было время, когда фашисты верили в «непобедимость» своей армии, в то, что они навеки закрепились на завоеванной земле. Теперь им надо было бежать, бежать как можно скорее. Не меньше немцев торопились удрать от наступающей Красной Армии и предатели-бандиты. Ровенский железнодорожный вокзал был так забит, что туда невозможно было втиснуться. Вся вокзальная площадь кишела перепуганными «победителями».

За машину, на которой можно было выехать на запад, платили бешеные деньги, но достать машину было очень трудно. Струтинский и Новак во многих гаражах имели своих людей и дали задания любыми средствами задерживать грузовые и легковые машины. Шоферы старались как могли: насыпали в горючее и в моторы песок, минировали подступы к гаражам и машинам, обрывали электрооборудование, уносили ключи от машин, а ино-

гда просто жгли их. Немцы бесновались, но ничего сделать не могли. Машины не выходили из гаражей, а если и выходили, то в дороге ломались.

Единственным путем, которым можно было выбраться из Ровно, оставалась железная дорога. Фельджандармы оцепили ровенский вокзал и стали наводить там порядок. Первый класс был предоставлен исключительно старшим офицерам и генералам. Там же, в ожидании поездов, с большими чемоданами сидели «фрейлейн» и «фрау» этих высокопоставленных грабителей. Во втором и третьем классе были сошки помельче, но тоже с большими чемоданами. В вокзал можно было войти только по специальному пропуску, а Шевчук и наш разведчик Будник во что бы то ни стало хотели туда войти с единственным чемоданчиком, небольшим, но тяжелым. Шевчук появился у входа.

— Пропуск! — остановил его жандарм.

— Затерял куда-то пропуск, — сказал Шевчук, роясь в карманчике.

— Отойди! Без пропуска не войдешь.

Будник, наблюдая, стоял в стороне. Шевчук подошел к нему:

— Так ничего не выйдет, еще нарвешься. Сделаем иначе. Ты видишь, сколько офицеров пешком прет на вокзал?

— Вижу, — ответил Будник. — Ну так что?

— Ничего. Пойдем...

Под вечер Шевчук ехал к вокзалу в фаэтоне. Будник сидел за кучера. По вокзальной улице длинной вереницей, обгоняя друг друга, шли к вокзалу немцы и немки, нагруженные барахлом. Фаэтон ехал не спеша. Шевчук внимательно присматривался, подыскивая «попутчика». Наконец он увидел, как, изнемогая под тяжестью двух больших чемоданов, обливаясь потом, тащился на вокзал немецкий подполковник. Вот он поставил свои чемоданы, достал носовой платок и, сняв фуражку, начал вытирать вспотевшее лицо и лысую голову. Шевчук остановил около него фаэтон и с самой невинной улыбкой предложил:

— Пан офицер! Битте!

— Вокзаль ехат? Шпасибо! — обрадовался подполковник.



— Вокзаль ехат? Шпасибо! — обрадовался подполковник.

— Ну ты, помоги! — крикнул Шевчук «извозчику».

«Извозчик» прыгнул, легко поставил офицерские чемоданы на фаязтон, услужливо подсадил самого подполковника, уселся сам и, крикнув на лошадь, поскакал к вокзалу:

— Шпасибо, шпасибо! — бормотал благодарный офицер, облегченно вздыхая и снова вытирая пот с головы.

Как только подъехали к вокзалу, Шевчук и Будник, не дав офицеру опомниться, подхватили его чемоданы, а заодно и свой чемоданчик:

— Не беспокойтесь, пан офицер, мы поможем, — и направились в вокзал.

Офицер бежал за ними. Фельджандарм остановил:

— Пропуск!

— Пропустите, со мной, — сказал подполковник.

Пропустили! Шевчук и Будник вошли в первый класс, набитый немцами. Еле нашли свободное место и поставили чемоданы подполковника. Немного поодаль среди других вещей Шевчук поставил и свой чемодан.

— До свидания, пан офицер! Счастливого пути!

— Шпасибо!

— Не стоит благодарности! И вам спасибо за... все! — улыбаясь, сказал Шевчук.

«Забыв» свой чемоданчик, Шевчук и Будник вышли из вокзала, сели в фаязтон и уехали. Через три-четыре часа они уже были на одной из квартир, откуда был хорошо виден вокзал, и внимательно наблюдали.

В «забытом» чемодане была смонтирована тридцатикилограммовая толовая мина замедленного действия.

Взрыв произошел в два часа ночи. Стена зала первого класса была выбита, потолок провалился и придавил около сотни немецких офицеров вместе с их «фрейлейн», «фрау» и чемоданами.

Но на этом дело не кончилось. В момент взрыва к ровенскому вокзалу подходил воинский эшелон. Поезд остановился, и из вагонов стали выпрыгивать и разбегаться немцы. Они решили, что вокзал бомбит советская авиация. Фельджандармы и гестаповцы, которые были в оцеплении вокзала, заметив бегущих, решили в свою очередь, что это советские диверсанты, и открыли по ним стрельбу. К вокзалу были вызваны новые части, которые и включились в бой с «диверсантами». Минут двадцать

пять шла перестрелка, и, конечно, «обе стороны» понесли потери.

Наутро в Ровно только и было разговоров, что о взрыве вокзала. Немцы пришли в смятение. И вдруг среди дня новый взрыв — в центре города. Взорвана была немецкая ортскомендатура. За сутки два взрыва!

В полуподвальном этаже здания ортскомендатуры помещался склад, куда дежурные коменданты прятали отобранные у задержанных вещи. Рабочим при комендатуре служил подпольщик Козлов, с которым задолго до взрыва познакомился Шевчук. Козлов по заданию Шевчука поставил в склад на верхней полке мину замедленного действия. Мина сработала своевременно.

А пока гестаповцы рыскали по городу в поисках диверсантов, устраивающих взрывы, мы подготавливали вместе с группой Новака новые дела и занимались разведкой.

Зная, что отступление неизбежно, немцы стали минировать мосты, дороги и большие здания в городе. Наши разведчики внимательно наблюдали за этим, сообщали в отряд о заминированных местах, а мы, в свою очередь, — командованию. На аэродромах наши люди наблюдали за прибывающими и уходящими самолетами, выясняли, где гитлеровцы устраивали склады боеприпасов и авиабомб, по каким дорогам движутся колонны отступающих войск.

Наши боевики-разведчики продолжали активно бороться с оккупантами.

Шевчук, видя, что особой подготовки вести уже некогда, ходил по Ровно с противотанковой гранатой, на которую Ривас сделал из гвоздей своеобразную «оборонительную» рубашку. Вокруг гранаты он плотно, один к одному, проволокой прикрепил толстые гвозди, каждый из которых был надрезан в нескольких местах. При взрыве такая граната давала до сотни осколков.

Проходя мимо немецкой столовой, Шевчук заметил, что там много офицеров. Недолго думая он метнул в окно гранату. Семнадцать гитлеровцев были убиты на месте.

Наиболее серьезными из последних наших дел в Ровно были две диверсии, которые довели оккупантов до страшной паники.

Одним из этих дел был взрыв центральной столовой «Казино». Помещалась она на Немецкой улице, № 49, в нижнем этаже лучшей в Ровно гостиницы. В столовой «Казино» работали уборщицами украинки Лиза, Галина и Ирина. Они были связаны с группой Новака и с одним нашим разведчиком. Терентий Федорович Новак подготовил две мины замедленного действия, по шесть-семь килограммов каждая. В ведрах, под тряпками для мытья полов, 5 января утром женщины пронесли мины в столовую и прикрепили их под столами: одну в комнате для генералов, другую в комнате старших офицеров. Потом, как обычно, произвели уборку и явились в условленное место, откуда и были доставлены в наш лагерь.

Взорвались мины как раз во время обеда, когда столовая была полна немцев. Сначала взорвалась мина в генеральской комнате. Рухнул потолок, разрушилась стена и завалила выход из офицерской комнаты; обедавшие там офицеры не могли выйти. А через десять минут взорвалась и другая мина.

Офицеры, которые были в номерах верхних этажей гостиницы, в панике стали выпрыгивать прямо из окон, ломая ноги и руки, разбивая головы. Пока выгаскивали из-под развалин трупы убитых, все прилегающие к месту взрыва улицы и переулки были оцеплены жандармами. Как после было установлено, в генеральской комнате было убито семь человек, из них три генерала, а в офицерской — около семидесяти.

Взрыв столовой произошел в 3 часа дня, а в 8 часов вечера в тот же день был взорван поезд на железной дороге, проходящей по городу Ровно.

Группа Новака установила на рельсах этой дороги тридцатикилограммовую мину. Кабель от мины соединили с рубильником войлочной фабрики. Члены подпольной организации круглосуточно дежурили у рубильника в ожидании особо важного поезда с немецким начальством. В последний момент немцы обнаружили эту мину, но изъять ее не успели. Пассажирский поезд мчался на всех парах. Солдаты, рывшие окопы вдоль железнодорожного полотна, стали давать сигналы, но машинист либо не понял, либо не успел затормозить.

У рубильника в это время оказался сам Новак. Он вовремя включил ток. Паровоз стал как вкопанный, пас-

сажирские вагоны полезли один на другой, убивая и калеча гитлеровских офицеров и солдат, которые направлялись к линии фронта.

Так мы «проводжали» незваных гостей.

НА ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕХОДЕ

В конце декабря мы получили разрешение командования продвигаться к городу Львову. Красная Армия стремительно наступала. Были освобождены Житомир, Белая Церковь, Ракитное, Клесово и Сарны. Артиллерийская стрельба уже отчетливо была слышна в нашем лагере, особенно в ночное время и перед рассветом. Партизаны с радостью вслушивались в эту орудийную музыку.

Медлить было нельзя, мы могли оказаться в «окружении» своей армии, а нам надо было дальше «проводжать» оккупантов. В начале января в лагерь вернулись разведчики из Ровно, Здолбуново и со всех наших «маяков». Лишь некоторым было приказано оставаться на месте до прихода Красной Армии. Новак тоже прибыл в лагерь с частью людей своей организации. Собранный вместе отряд насчитывал уже до тысячи двухсот человек.

Валя Довгер осталась в Ровно. Она как «сотрудница» рейхскомиссариата должна была вместе с немцами эвакуироваться во Львов. Николай Иванович очень тревожился за нее. Последнее время, будучи в Ровно, он почувствовал, что его «добрые знакомые» стали относиться к нему с недоверием.

— Если меня действительно стали подозревать, то, естественно, Вале грозит опасность, а она мне очень дорога, мы так много вместе с ней пережили! — говорил Николай Иванович.

Позже выяснилось, что беспокоился он не напрасно: в ночь перед отъездом во Львов гестапо арестовало Валу.

Наш уход ко Львову задерживался. У нас не было топографических карт нового маршрута, недостаточно было питания для рации и боеприпасов для отечественного оружия.

Чтобы не терять времени, мы решили отправить во Львов маневренную группу. Ей предстояло выбрать в районе Львова место для нашего лагеря и подготовить явочные квартиры в самом городе. В эту группу мы отобрали двадцать человек. Один из них, Пастухов, работал до войны инженером коммунального хозяйства Львова. Ему было дано особое задание: изучить туннели под городом.

Очень хотелось пойти во Львов радистке Марине Ких.

— Львов я знаю как свои пять пальцев. Я там работала, у меня там родственники и знакомые. Почему же вы меня не посылаете с группой? — говорила Марина.

— Подожди. Пойдешь вместе с отрядом, и тогда ты нам очень понадобишься. Ты лучше подумай хорошенько, к кому из твоих знакомых могут обратиться наши разведчики, и напиши письма, — ответил я.

Марина написала письма к сестре и знакомым и передала их командиру группы Крутикову. Группа ушла от нас 5 января. Несмотря на то что с ними был радист, никаких сведений от них мы не получили ни в первые дни, ни позже.

Кузнецов страдал от вынужденного безделья.

— Дмитрий Николаевич! Смотрите, что получается. Красная Армия так быстро продвигается, что скоро и из Львова немцы начнут эвакуироваться, а ведь я там кое-что сумел бы сделать. Да и Валя, вероятно, уже там ждет. Пустите меня одного!

— Вы, пожалуй, правы, Николай Иванович: незачем вам тащиться со всем отрядом.

На этот раз машину для Кузнецова мы «одолжили» у гебитскомиссара города Луцка. Перекрасить ее мы не могли: у нас не было ни краски, ни времени, а чтобы все-таки эту машину не узнали, ей придали старый вид — поцарапали кабину, сорвали с колес колпаки. Всю эту «операцию» проделал шофер Белов, который по заданию Струтинского угнал эту машину из гаража.

Мы решили отправить с Кузнецовым Белова и Яна Каминского, которые хорошо знали Львов. Кузнецов уезжал по своим старым документам на имя лейтенанта Пауля Зиберта, но к этим документам мы добавили командировочное удостоверение во Львов, а затем в Краков «по служебным делам». Ян Каминский уезжал

под видом крупного спекулянта, убегающего от Красной Армии.

Пока шли эти приготовления, мы со всем отрядом двинулись ко Львову. Кузнецов все еще был с нами. Отряд шел медленно, и автомашина Кузнецова не могла идти своим ходом. Даже на первой скорости она обгоняла бы колонну, к тому же шум мотора мог привлечь внимание карателей, поэтому мы впрягли в машину пару хороших лошадей. Белов сидел на своем шоферском месте. Рядом с ним сел я, позади — Кузнецов и Каминский. За закрытыми дверцами машины мы подробно обсуждали план действий во Львове.

Нам надо было перейти железную дорогу Ровно — Луцк. Теперь это оказалось трудным делом. Чтобы меньше выставлять постов, гитлеровцы завалили почти все переезды, оградил их колючей проволокой и заминировали подходы, а там, где переезды остались, настроили оборонительные укрепления. Наши конные разведчики пробовали перейти железную дорогу в нескольких местах, но везде наткнулись на пулеметный огонь. Отряд был большой, и времени на переход требовалось много. Вступать в бой с фашистскими частями, которые могли вызвать себе подкрепление и даже бронепоезд, не было смысла.

Попутно с поисками выхода своему отряду мы устраивали засады на шоссе на дорогах, по которым двигались отступающие пехотные и моторизованные колонны врага.

Но Кузнецов решил больше нас не дожидаться. Я не возражал. Кто знает, когда и как мы перейдем железную дорогу!

Наступила минута отъезда Кузнецова.

— Ну, прощайте, Дмитрий Николаевич! — сказал мне Николай Иванович.

Я обнял его, и мы три раза, по русскому обычаю, расцеловались. Потом он попрощался с Лукиным, Стеховым, Струтинским и другими товарищами. Всем хотелось на прощание крепче обнять Николая Ивановича и сказать самое хорошее слово.

Кузнецов не просто поехал к переезду. Он подозревал, что его разыскивают, и решил действовать осторожно. Около шоссе, в лесочке, километра за два от переез-

да, он остановил машину, и наши провожающие помогли замаскировать ее. До рассвета Кузнецов не выезжал. А когда уже стал брезжить рассвет, он пристроился к отступавшей колонне немецких автомашин и вместе с ней переехал через железную дорогу. Это было 17 января 1944 года.

Так мы расстались с Кузнецовым и были уверены, что через неделю-другую встретимся у Львова, но все повернулось иначе. Дня через четыре мы узнали от связанного из Луцка, что Николай Иванович с Каминским и Беловым пробыли в Луцке двое суток и потом выехали во Львов. Почему он так долго был в Луцке, неизвестно. При выезде из города у шлагбаума железной дороги его остановил немецкий пикет и стал проверять документы. Проверяли какой-то майор-гестаповец и два жандарма. Вероятно, Кузнецов почувствовал что-то неладное. Он не стал ждать, пока проверят документы, перестрелял всех троих, разломал шлагбаум, и машина на полном ходу умчалась. После этих сведений я очень долго ничего не знал о Кузнецове.

19 января мы решили перейти железную дорогу во что бы то ни стало. Для перехода наметили участок между двумя переездами, где были неглубокие кюветы.

Мы выдвинули две крупные боевые группы — налево и направо от намеченного места перехода. Каждую группу предупредили, что если будет идти бронепоезд, они должны взорвать его и биться до тех пор, пока мы не сообщим, что колонна прошла.

Отряд двигался через дорогу часа полтора, а может, и больше. Никто нам не помешал, прошли без единого выстрела.

19 января мы перешли железную дорогу, а с 20-го у нас начались бои. Нам предстоял двухсоткилометровый путь; на каждом шагу нас подстерегали крупные засады.

Ночью мы непрерывно двигались и, натываясь на засады, вели бои, а днем располагались на отдых, и тут вновь происходили стычки. Мы завели такой порядок: одно подразделение ведет бой, а другое готовит обед и отдыхает. Владимир Степанович Струтинский и здесь, в походе, был незаменим. Несмотря на постоянную опасность, он, как заместитель командира хозяйственной роты, обеспечивал питанием бойцов и заботился о раненых.

Почти все деревни занимали с боем. Я отдал такой приказ: если у хутора или деревни будут замечены вражеские часовые или вооруженные группы, то, прежде чем входить, обстреливать деревню из пушек и минометов. Это помогало. Давали десятка полтора выстрелов, и кавалерийский полуэскадрон шел на «ура». После этого отряд вступал уже в очищенную деревню.

Но бывало и иначе. Заходим в деревню — она пуста: ни людей, ни скота, ни птицы, ни даже мебели в хатах. Куда все девалось? Неужели людей со всем их скарбом немцы вывезли в Германию?

Ответ на эти вопросы нашли Коля Струтинский, Шевчук, Валя Семенов и Новак.

В одной из хат, в чулане, они обнаружили какую-то яму. Она была тщательно закрыта пустой бочкой. Отодвинули бочку, и Семенов с фонариком полез в дыру. Вдруг под землей — выстрел. Семенов — назад. Наши кричат: «Выходите добровольно!» Ответа нет.

В одном из боев мы захватили у немцев несколько дымовых гранат. Мы их взяли с собой, но не знали, к чему применить. Теперь решили попробовать — бросили в дыру дымовую гранату. Через несколько минут из-под земли послышалось: «Сдаемся!» — и сразу из дыры показалась сначала винтовка, а затем черная от копоти физиономия бандита. За ним вылез второй. От них-то мы и узнали, куда девались люди и их имущество.

По указанию гестапо всем жителям под страхом расстрела было приказано вырыть под домами так называемые «схроны», куда заранее спрятать хлеб, скот и все имущество и самим прятаться при подходе большевиков. Мы проверили. Действительно, под многими домами были эти «схроны» — подвалы, где стояли кровати, находилось зерно и имущество, коровы, лошади, свиньи и птица. Везде была заготовлена и вода на много дней. Увидев советских людей, жители охотно выходили из «схронов».

Особенно много боев провел отряд, когда мы пересекали границу Галиции, которую немцы сильно охраняли. И сама дорога, по которой мы шли, стала очень тяжелой. Начались предгорья Карпат; приходилось то забираться на высокие лесистые холмы, то спускаться вниз. Пушки и подводы со снарядами и ранеными тащили

чуть ли не на руках. Снег то выпадал, то начинал таять, образуя на дорогах непролазную грязь. По пути нам встречались реки, и под огнем врага мы строили мосты и переправы.

Но так или иначе, а мы уже были в шестидесяти километрах от Львова.

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ ТИШИНА

Мы подошли к деревне Нивице. Разведчики донесли, что никаких постов в деревне нет. Я удивился: столько прошли и везде натыкались на немцев, а здесь спокойно.

Въехали в деревню — действительно все спокойно. Начали распределять людей по квартирам. Штаб остановился в самой крайней хате. Я вошел в домик, поздоровался с хозяином, пожилым крестьянином, и его женой. Тут же заметил на стене репродуктор.

— Работает? — спросил я у хозяина.

— Работает. У нас и церковь и школа работают.

— Немцы есть здесь?

— Нет, сейчас никого нет.

— Ну, а как вы живете?

— Ничего, живем.

— Часто тут они бывают?

— Бывают.

— Часто?

— Приезжают по три-четыре человека. Вывозят древесину из лесу.

Я поручил Лукину послать по деревне разведчиков и разузнать все получше. Через час разведчики вернулись и доложили, что все спокойно. Я вызвал командира первой роты Ермолина и сказал ему:

— Тишина тишиной, а ты все-таки поставь дополнительные посты.

Народ наш устал, и все улеглись спать, но мне не спалось. Уже больше месяца я был болен и последние дни совсем не поднимался с повозки: лежал, укрытый периной. Около меня постоянно находились связные. Болезнь и теперь не давала мне спать. Под утро, когда было еще темно, я все же решил выйти посмотреть, про-

верить посты. С большим трудом натянул на себя шинель, надел шапку, положил пистолет в карман и, держась за стену, перешагивая через спящих товарищей, вышел. Часовой, дежуривший около штаба, отсалютовал мне.

В плетеном заборе я нашел калиточку и вышел прямо в огород. За огородом начиналось открытое поле, и там я заметил на фоне серого неба какие-то силуэты. Я сначала подумал, что это идет развод, что командир первой роты, согласно распоряжению, расставляет посты, но в ту же секунду понял, что это не развод. Вглядываясь пристально: люди идут цепью, а не группой. Я присел на землю, чтобы силуэты людей были виднее. Да, это цепь, и есть определенная дистанция между каждым человеком, причем эта дистанция увеличивается по мере приближения людей ко мне.

Минута — и они уже совсем близко. Темнота мешала мне раньше определить расстояние. Неужели это враги? Я поднялся и крикнул:

— Кто идет?

Молчание. Вижу, по сторонам начинают меня обходить.

Я опять:

— Кто идет?

— А ты кто?

— Я командир, полковник.

— Ходы сюды!

Раз «ходы сюды» на командира — значит, все ясно: бандиты. Я выхватил пистолет. Но только хотел выстрелить, как ударила автоматная очередь, одна, вторая. Слышу — немецкая команда. Я дал два выстрела — кто-то упал.

Наши открыли огонь по врагам. Это хорошо, но я-то оказался «между двух огней». От врагов в пяти метрах, от своих — в двадцати. И те и другие стреляют. Пули пролетают около меня; одна сбила шапку. Я лег на землю. Думаю: «Если к своим поползу, гитлеровцы увидят, что я жив, и начнут стрелять. Да и свои откроют стрельбу, если увидят, что к ним ползет какой-то человек. Что делать?»

Вдруг чувствую, кто-то тянет меня за ноги. Поворачиваюсь: человек в немецкой каске хочет снять с меня

меховые унты. Вероятно, подумал, что я мертвый. Я выстрелил в упор.

Стрельба идет вовсю. В петлицу на воротнике шинели попадает разрывная пуля. Из всей мочи кричу:

— Прекратить огонь!

Но перекричать пулеметную стрельбу трудно. Меня не услышали. Кричу еще раз:

— Прекратить огонь! Это я, Медведев!

Услышали! По нашей цепи от бойца к бойцу передавалась команда: «Прекратить огонь... прекратить огонь... там полковник».

Под ливнем вражеских пуль я пополз к своим. У плетня меня подхватили, но помощь мне не требовалась: в эти минуты крайнего напряжения я был как будто здоровым и продолжал командовать.

Шевчук, Струтинский, Новак, Гнедюк с группой бойцов из комендантского взвода врезались во вражескую цепь и били в упор. Коля Маленький, притаившись за плетнем, короткими очередями стрелял по убегавшим врагам.

Хата, в которой разместился Цессарский с медперсоналом, стояла правее штаба и еще больше вдавалась в открытое поле. Туда в самом начале боя удалось ворваться нескольким бандитам. Не успел Цессарский выстрелить из своего маузера, как в комнате одна за другой разорвались две вражеские гранаты. Цессарский был тяжело ранен. Были ранены еще два врача и две санитарки. Услышав вражескую команду, Цессарский крикнул:

— Хлопцы, нас окружили! Тикаемо в лес!

Бандиты поняли это как команду и мигом бросились наутек.

Минут через сорок в деревне было уже тихо. Стрельба шла километрах в двух, где наши продолжали преследовать противника. На месте боя враг оставил до трех десятков трупов.

У меня в шинели было двенадцать пробоин, в шапке две, а на мне — ни единой царапины.

— Сегодня у вас второй день рождения, — сказал мне Коля Струтинский, считая дыры на шинели и шапке.

Еле волоча ноги, я пошел в санчасть. Раненый Цессарский и его помощники были уже перевязаны другими

врачами. Зубной врач был забинтован с головы до ног: он был весь изрезан осколками гранат.

Ко мне подошел Сухенко:

— Товарищ командир, вас просит Дарбек Абдраимов.

— Где он?

— В соседней хате. Он тяжело ранен.

Я пошел.

— Командир, ты жив? Не ранен? — спросил Дарбек, как только увидел меня.

— Жив и не ранен.

— Ну и хорошо...

Он улыбнулся, протянул руку и слабо сжал мою. Оказывается, он первый услышал мой крик, когда я был в перекрестном огне, бросился вперед и был срезан пулеметной очередью.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я Дарбека.

— Очень плохо, товарищ командир.

— Ну что ты, Дарбек! Мы еще будем кушать твою «болтушку по-казахски».

Он ничего не ответил, только улыбнулся.

Через несколько часов он умер.

Мы ожидали нового наступления и решили подготовиться. На повозке я объехал кругом деревню и отдал все распоряжения. В хате, где остановился штаб, ни хозяина, ни хозяйки уже не было.

— Вот так спокойная деревня! — сказал я.

Лукин теперь все уже узнал. Оказывается, мы остановились у старосты-предателя, и он успел сообщить о нас фашистам.

Вскоре вражеские войска начали наступление. Появились бронемашины и танкетки, заработали крупнокалиберные пулеметы, пушки и минометы.

В самом начале обстрела крайние хаты загорелись. Гитлеровцы пришли с той стороны, куда нам нужно было идти, — с запада, но ворваться в деревню они не решились.

Боеприпасов у нас было мало, и с наступлением сумерек мы решили отойти. Отходили с хитростью: сначала отошел отряд, оставив в деревне роту, которая отстреливалась. Потом рота отошла — оставила взвод. Взвод выскользнул, а немцы продолжали бесцельную стрельбу.

На первом же привале после боя Лида Шерстнева подала мне радиограмму. Это был приказ командования о выводе отряда в ближайший тыл Красной Армии. Ближайшим тылом, по нашим расчетам, могли быть знакомые нам места, приблизительно там, где мы переходили железную дорогу Ровно—Луцк. Теперь наш отряд пошел назад — уже по пройденному пути.

Утром 5 февраля метрах в трехстах от железной дороги Ровно—Луцк мы натолкнулись на расположение кавалерийских частей Красной Армии. Но это еще не было линией фронта; это были передовые подвижные части нашей армии, которые прорывались вперед во вражеские тылы и отрезали немцам пути отхода. Здесь эти части оседлали шоссейную дорогу, по которой должна была отступать большая мотомеханизированная колонна немцев. Немцы сунулись на шоссе, напоролись на части Красной Армии и пошли в обход, к деревне, где расположился на отдых наш отряд. От разрывов снарядов и мин деревня загорелась. Мы отошли к лесу, залегли и открыли огонь.

Немцы ринулись от нас в сторону и бросили свой обоз.

В этом бою у нас погибло восемь человек, и это был наш последний бой. Вечером 5 февраля мы перешли железную дорогу и оказались уже на отвоеванной родной земле.

В конце февраля в санитарной машине я был отправлен в Москву. Со мной вместе поехали Коля Маленький и раненые, в том числе Альберт Вениаминович Цессарский. Отряд остался под командованием Сергея Трофимова Стехова.

ПИСЬМО КУЗНЕЦОВА

...Я лежал в московском госпитале. После жизни, полной борьбы и опасностей, я оказался в тишине и покое. Не слышно выстрелов, не видно людей. Только время от времени в палату заходят врачи, сестры. Я чувствовал себя как-то тоскливо, непривычно. Единственное утешение — ежедневно свежие газеты и возможность слушать радиопередачи, не опасаясь, что не хватит питания для

рации. Целыми днями я вспоминал в мелочах и подробностях нашу жизнь в тылу врага, и странно: насколько тогда, в ходе борьбы, мне казалось все недостаточным, теперь, когда я мысленно составлял отчет командованию, все представлялось значительным.

Мы передали много ценных сведений командованию о работе железных дорог, о переездах вражеских штабов, о переброске войск и техники, о мероприятиях оккупационных властей, о положении на временно оккупированной территории. В боях и стычках мы уничтожили до двенадцати тысяч вражеских солдат и офицеров. По сравнению с этой цифрой наши потери были небольшими: у нас за все время было убито сто десять и ранено двести тридцать человек. В своем районе мы организовывали советских людей на активное сопротивление гитлеровцам, взрывали эшелоны, мосты, громили фашистские хозяйства, склады, разбивали и портили автотранспорт врага, убивали главарей оккупантов.

По несколько раз в день я вспоминал Николая Ивановича Кузнецова. Где он теперь? Что делает? Встретился ли с Вале́й?

И вот однажды я получил о нем весточку.

Я лежал с наушниками и слушал последние известия по радио. Без десяти минут двенадцать вдруг слышу:

«Стокгольм. По сообщению газеты «Афтенбладет», на улице Львова среди бела дня неизвестным человеком, одетым в немецкую форму, были убиты вице-губернатор Галиции доктор Бауэр и высокопоставленный чиновник Шнайдер. Убийца не задержан».

Я подскочил в постели, хотел подняться, но боль пронизала меня. Я протянул руку и нажал кнопку звонка.

Все это было излишне: никого не надо звать.

Вошла сестра.

— Пожалуйста, дайте мне пирамидон,— сказал я.

— Сейчас принесу.

Кому я здесь буду рассказывать!

Итак, Кузнецов «не задержан». Да, это, конечно, сделал он, об этом мы говорили с ним в машине, которую тянула пара лошадей. Но только через полгода я узнал подробности пребывания Николая Ивановича во Львове.

Отыскались разведчики Крутиков, Дроздов и Пасту-

хов, посланные когда-то мной с маневренной группой во Львов. Мы тогда в отряде думали, что все они погибли, но это было не так.

На границе Галиции группа попала в засаду, и в бою из двадцати человек семеро погибли и сам командир Крутиков был ранен. Убит был и радист. Вот тогда-то мы и потеряли связь с этой группой. Дальше в пути, во время одного боя, Дроздов и партизан Приступа отбились от группы. Остальные кое-как добрались до цели.

Разведчики Пастухов и Кобеляцкий, как знающие город, стали там работать. Они вели разведку на львовском вокзале, в городе и изо дня в день обследовали туннели под Львовом. 20 июля 1944 года, когда Красная Армия подошла уже к Львову, Пастухов и Кобеляцкий выбрались по туннелям из города и передали разведывательному отряду 38-й армии план города Львова со всеми нанесенными там данными: где проходит линия укреплений, где минные поля, где минометные и артиллерийские батареи, где расположены войска, какие здания заминированы. Затем Пастухов и Кобеляцкий провели по туннелям и в обход минных полей в центр города большую группу бойцов Красной Армии. Группа ударила в тыл фашистам. Пастухов и Кобеляцкий участвовали в этом бою.

Дроздов и Приступа, оторвавшиеся от группы Крутикова, организовали из местных жителей партизанский отряд. И Пастухов и Дроздов видели Кузнецова: первый — еще во Львове, второй — позже, в лесу. Вот что они рассказали.

Николай Иванович узнал, что вице-губернатор Галиции Бауэр будет в театре проводить совещание высших представителей немецкой власти. Кузнецову удалось проникнуть в зал во время совещания. Он посмотрел на Бауэра, сидевшего в президиуме, затем вышел и стал ждать неподалеку от театра. Совещание кончилось, и из театра стали выходить немцы. Вышел и Бауэр вместе со своим секретарем, сел в поданную машину и уехал. Следом за ним поехал на своей машине и Кузнецов. Он выяснил, где живет Бауэр.

На следующий день машина Кузнецова неожиданно «испортилась», когда проезжала по улице Ивана Франко мимо дома Бауэра. Белов вышел из машины и начал

копаться в моторе. Кузнецов тоже вышел из машины и громко на немецком языке стал ругать шофера:

— Всегда у вас машина не в порядке! Вы лентяй, не следите за нею. Из-за вашей лени я опаздываю...

Продолжая возмущаться, он незаметно поглядывал на противоположную сторону улицы, где около красивого особняка стояла комфортабельная машина.

Ровно в десять утра из особняка вышли двое и направились к машине. Шофер выскочил из кабины и услужливо открыл дверцу. Но в эту минуту Кузнецов подошел к машине.

— Вы доктор Бауэр? — спросил он, обращаясь к одному из них.

— Да, я Бауэр.

— Вот вы мне и нужны!

Несколькими выстрелами он убил Бауэра и его секретаря. Затем бросился к своей машине. Пока он бежал, Каминский и Белов открыли огонь по часовому, стоявшему у особняка.

Видимо, Кузнецов, памятуя историю с Даргелем, решил сперва спросить у Бауэра фамилию, чтобы не ошибиться.

С бешеной скоростью машина пронеслась по улицам Львова и выехала за город. Километрах в двадцати от Львова, у села Куровцы, машину остановили жандармы. Гестаповец-майор долго рассматривал документы Кузнецова и, внимательно вглядываясь в пассажиров, стал требовать дополнительные документы. Николай Иванович понял, что ждать хорошего нечего, и дал очередь из автомата. Майор и четыре жандарма были убиты.

Позади, на шоссе, показалась погоня. Белов нажимал: 100, 110, 120 километров... Но тут беда: кончилось горючее. Кузнецов, Каминский и Белов выскочили из машины и побежали к лесу. Это был Гановический лес. Там после трехдневного блуждания они нашли отряд Дроздова. Но у Дроздова не было радиостанции, и Кузнецов все в той же немецкой форме вместе с товарищами ушел к линии фронта, чтобы пройти в тыл Красной Армии.

Больше ни Пастухов, ни Дроздов ничего не знали о Николае Ивановиче, а между тем прошло уже много времени.

Последние сведения о нем были найдены в бумагах

львовского гестапо. При разборе захваченных документов гестапо была найдена копия телеграммы-молнии, адресованной в Берлин. В ней говорилось:

«2 марта 1944 года отрядом жандармов были захвачены в лесу три советских парашютиста. Арестованные имели фальшивые немецкие документы, карты, немецкие, украинские и польские газеты, среди них «Газета Львовска» с некрологом о докторе Бауэре и докторе Шнайдере, а также отчет одного из задержанных о его работе. Этот агент (по немецким документам его имя Пауль Зиберт) опознан. Речь идет о советском партизане — разведчике и диверсante, который долгое время безнаказанно совершал свои акции в Ровно, убив, в частности, доктора Функа и похитив, в частности, генерала Ильгена. Во Львове «Зиберт» был намерен расстрелять губернатора доктора Вехтера. Это ему не удалось. Вместо губернатора были убиты вице-губернатор доктор Бауэр и его президиал-шеф доктор Шнайдер. Оба этих немецких государственных деятеля были расстреляны неподалеку от их частных квартир. В отчете «Зиберта» дано описание акта убийства до малейших подробностей.

Во Львове «Зиберт» расстрелял не только Бауэра и Шнайдера, но и ряд других лиц, среди них майора полевой жандармерии Катера, которого мы тщательно искали.

Имеющиеся в отчете подробности о местах и времени совершенных актов, о ранениях жертв, о захваченных боеприпасах и т. д. кажутся точными. От боевой группы Прицмана поступило сообщение о том, что «Пауль Зиберт» и оба его сообщника расстреляны.

Так погиб Николай Иванович Кузнецов, наш боевой товарищ, проводивший ряд неслыханно смелых операций по уничтожению представителей немецких оккупационных властей и сеявший смятение в рядах озверелых врагов нашей Родины.

Когда стало известно о гибели Кузнецова, мы с товарищами вскрыли его письмо. Вот что мы в нем прочли:

Вскрыть после моей смерти. Кузнецов.

24 июля 1943 года. Завтра исполняется одиннадцать месяцев моего пребывания в тылу врага. 25 августа 1942 года, в 24 часа 05 минут, я опустился с неба на парашюте, чтобы мстить беспощадно за кровь и слезы наших матерей и братьев, стонущих под ярмом германских оккупантов.

Одиннадцать месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром германского офицера, пробирался в самое логово сатрапа — германского тирана на Украине Эриха Коха.

Теперь я перехожу к действиям

Я люблю жизнь, я еще молод. Но если для Родины, которую я люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю это. Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот и большевик. Пусть они знают, что невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить солнце.

*Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны
«Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету...»*

Это мое любимое произведение Горького. Пусть чаще читает его наша молодежь...

Ваш Кузнецов

* * *

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 5 ноября 1944 года Николаю Ивановичу Кузнецову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Э П И Л О Г

— Неужели это были мы?..

Так воскликнул недавно Лукин, когда он, Фролов и Цессарский сидели у меня на квартире в Москве и вспоминали о нашей партизанской жизни.

На самом деле, неужели это были мы, сидящие сейчас в штатских костюмах, в уютной квартире, всецело поглощенные мирными делами? Неужели это мы провели множество боев, бывали в самых рискованных делах? Неужели это мы, больные, раненые, тряслись на повозках по грязным, неровным дорогам, не помышляя даже о чистой кровати, о кипяченой воде?.. Как много силы и бодрости было в каждом из нас!

Теперь это уже «дела минувших дней».

По всему Советскому Союзу разъехались мои товарищи — партизаны. Одни вернулись на свои фабрики и заводы, другие — в колхозы, третьи пошли на учебу в вузы и техникумы. Большинство партизан остались в тех местах, где они жили до войны и где действовал наш отряд. Все они приобщились к мирному труду и своим знаниям, энергию, опыт отдают гигантской общенародной послевоенной стройке.

Я часто получаю письма от своих товарищей, партизан. Время от времени они приезжают в Москву по своим делам и обязательно заходят ко мне, поэтому я знаю дальнейшую судьбу многих из них.

В 1946 году у меня в Москве была Валя. На ее долю выпали очень тяжелые испытания. Когда все мы были уже на освобожденной земле, гестапо подвергало Валью страшным пыткам. Палачи требовали от нее выдачи местонахождения «Пауля Зиберта», адресов конспиративных квартир, имен товарищей. Валя ничего не сказала. Ее запирали в подвал, где плавали в крови убитые немцами советские люди, ее выводили на расстрел. Страшно умирать в девятнадцать лет! Но Валя выдержала все муки и не сказала ничего. Надеюсь все-таки получить от нее какие-либо сведения, гестапо переправило Валью во Львов, оттуда в Западную Германию.

День Победы застал Валью в концентрационном лагере в Германии; оттуда она возвратилась на Родину.

Терентий Федорович Новак, Борис Крутиков, наш бывший разведчик Валя Семенов и десятки других товарищей пошли на учебу.

Радистка Марина Семеновна Ких вернулась в свой родной Львов, где она тоже начала учиться.

«Спешим поделиться с вами, Дмитрий Николаевич, радостной новостью. Наша Марина избрана депутатом Верховного Совета Украины», — писали мне бывшие партизаны из Львова.

Коля Маленький после войны поступил в школу, стал автомехаником, и он уже не Коля Маленький: ростом догнал своего командира. Коля с гордостью носит партизанскую медаль 1-й степени. Его сверстник Володя теперь живет с отцом и заканчивает среднюю школу.

В мае 1946 года из Главного правления Союза польских патриотов в СССР мне переслали письмо, полученное от некоей Гриншпан. В этом письме она просила «разыскать ее сына Пиню, который бежал от расстрела и, по слухам, был подобран партизанским отрядом полковника Медведева и самолетом отправлен в Москву».

Разыскивать Пиню нам не пришлось. Мы знали, что он находится в одном из подмосковных детских домов, о чем и сообщили его матери. Она вновь обрела сына, которого считала давно погибшим.

Альберт Вениаминович Цессарский изменил свою профессию: теперь он артист. Еще в партизанском отряде он мечтал о сцене.

Коля Фадеев, которого когда-то оперировал Цессарский, работает директором вальцовой мельницы в Молдавии. Зимой 1946 года он был у меня.

— Плохи дела, товарищ командир! Мельница моя почти пустует. Недород, засуха.

— А как с протезом? Не мешает?

— Привык! Прыгаю, как на своей ноге!

В сентябре 1947 года я получил от него письмо: «На мельнице столько работы, что и передохнуть некогда. Урожай этого года огромный».

Недавно я был в Ровно, Львове и других местах, где действовал наш отряд во время войны. Вместе с братьями Струтинскими, Шевчуком и Гнедюком мы осмотрели многие места, связанные с нашей работой, и всюду встречали наших боевых друзей. Там у нас и возникла мысль о собрании бывших партизан нашего отряда. Собрание состоялось в парке имени Шевченко, у братской могилы Куликова, Галузо и других отважных патриотов.

* * *

В одном письме Валя напомнила мне слова, сказанные однажды Николаем Ивановичем Кузнецовым:

«Я представляю себе, как все на нашей земле расцветет через пять — десять лет после победы. Какая это будет жизнь!.. Если со мной что случится, знайте, что я был счастливейшим человеком на свете, потому что я боролся за эту жизнь».

Я прочитал сейчас эти слова, написанные рукой Вали, и подумал:

«Правда! Наша партизанская борьба и все тяжелые испытания, которые легли на наши плечи, — разве это не великое счастье?»

«Неужели это были мы?» — думаю я.

Да, это были мы, рядовые советские люди. Опасность, нависшая в те дни над Родиной, призывы партии удесятерили наши силы. И если кто-либо вздумает снова напасть на нашу страну, снова тысячи и миллионы простых людей встанут на защиту своего отечества, отдадут все во имя своей великой Родины.

Неслучайно произведения Георгия Брянцева и Дмитрия Медведева объединены в одном томе «Библиотеки приключений». В жизненном пути и творчестве этих писателей много общего. Оба кадровые офицеры, чекисты. А творчество их посвящено людям, с которыми они служили в мирное время, сражались в годы войны, партизанили и выполняли особые задания в тылах противника. Творчество этих писателей неотделимо от их жизни, оно как бы продолжает их ратные подвиги.

Я познакомился с Георгием Михайловичем Брянцевым в 1951 году. Вернее, сначала познакомился с его книгой «Конец осинового гнезда».

Эта книга явилась новым словом в нашей приключенческой литературе о разведчиках. Брянцев изобразил их действия в стане врага с той убедительностью, которой мог достичь лишь тот, кто сам побывал в сходной ситуации.

С тех пор мы стали часто встречаться с Георгием Михайловичем. Но новое о нем я узнавал не столько от него, сколько от его товарищей. Он предпочитал говорить о людях, с которыми сводила его судьба в годы войны.

Постепенно я выяснял все новые факты из его биографии.

Георгий Михайлович Брянцев родился в семье казака станицы Александрийской, Ставропольского края, в 1904 году. После трех классов начальной школы и четырех классов гимназии он окончил горный техникум, школу военно-морских летчиков. Это и определило дальнейшую судьбу комсомольца, а затем коммуниста Брянцева — он стал кадровым офицером и прослужил в армии четверть века, с 1925 по 1950 год.

Он служил сначала на Северном Кавказе, а впоследствии в Якутии и центральной полосе Советского Союза; потом снова на юге — в Молдавии и Узбекистане. В годы Великой Отечественной войны работал в системе органов, ведавших разведкой и подрывной деятельностью в тылах врага. Неоднократно переходил линию фронта для выполнения специальных заданий в тылу противника. Был удостоен одиннадцати правительственных наград, среди

которых были самые высокие — орден Ленина и два ордена Красного Знамени. Гордился он и скромным значком почетного чекиста.

Писать Брянцев начал уже после войны, обогащенный большим жизненным и военным опытом. Первый сборник его рассказов вышел в 1948 году. Назывался он «От нас никуда не уйдешь». За ним — еще одна книга рассказов под общим названием «Их было четверо». Первая его повесть называлась «По ту сторону фронта», вторая — «Конец осинового гнезда». Потом были другие повести («Следы на снегу», «Голубой пакет» и «Клинок эмира») и два романа («Тайные тропы» и «Это было в Праге»). Но «Конец осинового гнезда» полюбился читателям более других. Повесть эта многократно издавалась и переиздавалась и заслуженно вошла в состав этого тома как лучшее произведение Георгия Брянцева.

Георгий Михайлович Брянцев оставил нам книги, в которых образы его соратников созданы из плоти и крови, как все живое и подлинное. В его героях-разведчиках сохранены все лучшие черты сотрудников Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, учреждения, которое Владимир Ильич Ленин назвал «разящим оружием против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на Советскую власть со стороны людей, которые были бесконечно сильнее нас».

О втором авторе этого тома, Герое Советского Союза полковнике Дмитрие Николаевиче Медведеве, читатели хорошо знают и по книгам его, и по произведениям его боевых соратников.

Я познакомился с Дмитрием Николаевичем уже после войны. Мне не раз приходилось сидеть рядом на партийных собраниях писателей с этим высоким, сохранившим военную выправку человеком с Золотой Звездой Героя Советского Союза и выступать вместе с ним перед читателями. Он охотно рассказывал о своих боевых соратниках, и всякий раз что-нибудь новое, но на распросы о себе отвечал скуп.

А ему было что рассказать. Я прошел всю войну в строевых армейских частях и штабах и знаю, как велико значение командира, руководителя воинской части или

организации. Даже если его окружают люди талантливые и храбрые, им не всегда удается совершить подвиг, обессмертить свое имя. Медведев же сумел воспитать целую плеяду подлинных героев. Вспомним хотя бы Николая Ивановича Кузнецова. Его имя стало легендарным.

Но как формировался он сам, Герой Советского Союза полковник Медведев? Как складывалась его личная судьба до Великой Отечественной войны, когда партия поручила коммунисту Медведеву столь ответственное задание?

Родился Дмитрий Николаевич Медведев в 1898 году в семье рабочего-сталелитейщика в местечке Бежице, неподалеку от Брянска. Еще гимназистом он выполнял отдельные поручения революционеров-подпольщиков, а в марте 1917 года уже с винтовкой в руках охранял Бежицкий комитет большевиков.

Окончив гимназию, Дмитрий работал на паровозостроительном заводе, а к концу 1917 года вместе с большинством бежицких коммунистов перебрался в Брянск, где стал работать в Совете рабочих и крестьянских депутатов. Совет послал юношу в продотряд, отбравший хлеб у кулаков для голодающих рабочих.

Но Дмитрий рвался на фронт, и в восемнадцатом году добился назначения в войсковую разведку Орловской бригады Восточного фронта. Без военного опыта, без необходимой закалки немало лиха пришлось хлебнуть ему в те дни. Да и время было не из легких. Юденич наступал на Питер, Деникин рвался к Москве.

А в тылу анархисты, эсеры и агенты иностранных разведок готовили заговоры и диверсии. В подготовке одной из таких диверсий был замешан крупный анархист, которого Дмитрий Медведев знал. Чтобы помочь разоблачить его, он выезжает вместе со своим братом-чекистом в Москву, встречается там с Дзержинским и помогает арестовать опасного врага, участвует в ликвидации контрреволюционного подполья, готовившего восстание в Москве и взрыв Кремля.

Затем Медведев уезжает в свою бригаду, сражающуюся на Петроградском фронте против Юденича. В Брянск возвращается он лишь в мае 1920 года и пишет два заявления — одно о зачислении на работу в чека,

другое — о приеме в партию. Его назначают уполномоченным уездной чека и принимают кандидатом в члены партии.

После Брянщины — Донбасс.

В Донбассе свирепствовали тогда банды Махно и других атаманов. Медведев попросился в самый трудный уезд и вступил в бой со знаменитой Марусей Золотым Зубом, атаманшей самой жестокой в уезде банды. А потом под видом ездового одного из анархистских «идеологов» он пробирается в логово батьки Махно, узнает его замыслы и ликвидирует крупнейшую в тех краях банду атамана Каменюка, на которую Махно возлагал большие надежды.

И опять новое назначение — в Одесское ГПУ. В Одессе Медведеву удается перехватить эмиссара заграничного центра белогвардейцев, под его именем проникнуть в конспиративную квартиру контрреволюционеров и ликвидировать их организацию.

ГПУ поручает Медведеву захватить агентов Махно, которые должны были перебраться в Советский Союз из Румынии. С одним из них, знаменитым Левкой Задовым, Медведев познакомился еще в то время, когда побывал в банде Махно. Зная о сомнениях, уже тогда одолевавших Левку, Медведев убеждает его, перебравшись через границу, сдать оружие и пойти в ГПУ с повинной. Задов бросает оружие, сообщает чекистам, что посланная с ним группа имела задание организовать диверсии на железных дорогах и судостроительном заводе, взорвать электростанции в Одессе и Николаеве.

А несколько позже с помощью того же Левки Медведеву удается захватить адъютанта Махно, прибывшего из-за границы за казной «батьки». В тайнике Махно оказались драгоценности на огромную сумму.

Потом Дмитрий Николаевич работает в Харькове, Днепропетровске, Херсоне. Новые героические дела и подвиги...

А когда основные силы контрреволюции были разгромлены, Медведев с присущей его натуре энергией организует детские коммуны в Ново-Волынске.

Но очень уж стала давать знать о себе старая его болезнь — тяжелое повреждение позвоночника. Пришлось в конце 1939 года уйти на пенсию. Но как только

началась Великая Отечественная война, Дмитрий Николаевич является в Наркомат государственной безопасности и предлагает тщательно разработанный план переброски через линию фронта десантных партизанских отрядов. О том, как действовали эти отряды и каких людей в них воспитал Дмитрий Николаевич, читатели знают из его книги «Это было под Ровно». Потом он написал еще одну книгу — «Сильные духом» и повесть «На берегах Южного Буга», вышедшую уже после его смерти.

Жизнь Дмитрия Николаевича Медведева оборвалась в расцвете творческих сил, но и то, что он успел написать, долго будет волновать сердца его читателей, воспитывать в них мужество и верность Родине.

Н. Томан



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Г. Брянцев. Конец осинового гнезда</i>	<i>5</i>
<i>Часть первая. Осинное гнездо</i>	<i>7</i>
<i>Часть вторая. Конец осинового гнезда</i>	<i>224</i>
<i>Д. Медведев. Это было под Ровно</i>	<i>339</i>

Брянцев Георгий Михайлович

КОНЕЦ ОСИНОГО ГНЕЗДА

Повесть

Медведев Дмитрий Михайлович

ЭТО БЫЛО ПОД РОВНО

Повесть

Ответственный редактор

М. М. Калакуцкая

Художественный редактор

Н. З. Левинская

Технический редактор

В. К. Егорова

Корректоры

З. С. Ульянова и М. Б. Шварц

Сдано в набор 18/IV 1968 г. Подписано к печати 4/IX 1968 г. Формат 84×108¹/₃₂, 17,5 печ. л. 29,4 усл. печ. л. (29,15 уч.-изд. л.) Тираж 300 000 (1—150 000) экз.

Цена 1 р. 12 к. на бум. № 1.

Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушеаский вал, 49. Заказ № 2412.

4p. 12v.

